МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2017 **№ 40**

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 19 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссии (№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru;
Рыкун А.Ю. (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru
Агафонова Е.В. (Томск, Россия) – ответственный секре-тарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru;
Сухушина Е.В. (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru;
Скочилова В.Г.(Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com
Борисов Е.В. (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В**. (Томск, Россия) доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;
Южанинов К.М. (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Tomsk, Russia)
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia)
Syrov V.N. (Tomsk, Russia)
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia)
Ladov V.A. (Tomsk, Russia)
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia)
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia)
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сиэтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия);
Микиртумов И.Б. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия);
Целищев В.В. (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С**. (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия);
Джонсон Марк С. (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия);
Черныш М.Ф. (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал (**Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seatle, USA);
Rentsch T. (Technical University Dresden, Germany);
Scheffler U. (Technical University Dresden, Germany);
Viatkina N.B. (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **VasilyevV.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia);
Tselishcev V.V. (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia);
Johnson M. S. (University of Wisconsin, Madison, USA);
Balzer H.S. (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia);
Konstantinovskyi D.L. (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia);
Iarskaia-Smirnova E.R. (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia);
Malinova O.Y. (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia; **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia);
Czachor Rafal (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland);
Shesto-pal E.B. (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

© Томский государственный университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Бажанов В.А., Краева А.Г. Музыка в фокусе современной нейронауки 7
Боровинская Д.Н. Креативное мышление: основные направления исследования 22
Гущин И.А., Козырева О.А. Философия сознания сквозь призму анализа языка: от метафизики до нарратива 33
Золотков Г.А. «Концепция языковых игр» как решение проблемы природы философии 46
Клементьева Т.Н. Взаимоотношения религии и науки в современном мире: анализ подходов к проблеме 53
Миронов В.А. Философско-методологические проблемы геологии XIX века как предпосылка к развитию нарративных и герменевтических исследований геологического познания 61
Моисеева А.Ю. Квалиа-физикализм Дж. Перри как ответ на аргумент знания 67
Олейник П.И. Стипулятивный характер принципа Юма 81
Разумов В.И. Проблемы философии: прошлое, настоящее, будущее 89
Целищев В. В. Интенсиональность второй теоремы Гёделя о неполноте 98

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Карпова А.Ю. Маркеры и эффекты информационной аномии в политической коммуникации 112
Миллер В.И. Философское познание сущности и многообразия природы права и гуманизма 122
Найман Е.А. Проблема участников речевого события в современной прагматике 132
Яковлева А.Ф. Научная деятельность: проблемы трансформации (этические и социальные аспекты) 144

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Вольф М.Н., Косарев А.В. Концепция прагматистского поворота Р. Бернстайна 153
Ламберов Л.Д., Козьякова Т.С. Универсальная характеристика Г.В. Лейбница и перспективные разработки в области оснований математики 164
Лихоманов И.В., Бойко В.А. Евразийцы и муза Клио: от мифологии □ к науке 173
Логиновский С.С. Варсануфий Великий о критерии истины и гносеологическом статусе творений Отцов Церкви 188
Родин К.А. Устройство философской головоломки по Витгенштейну (Кембриджские лекции по основаниям математики) 200

СОЦИОЛОГИЯ

Bordovskikh A., Boussier R. An efficient and effective democracy at the local level: new alternatives to policy networks 206
Близняк Р.З., Герасимов И.А. Блоггинг как технология социальной и политической коммуникации: уточнение понятия и характеристика эвристических возможностей 223
Вялых Н.А. Модальные модели социального поведения потребителей медицинской помощи в российском обществе 233

Позаненко А.А. Пространственная изоляция и устойчивость локальных сообществ: к развитию существующих подходов 245

ПОЛИТОЛОГИЯ

Камоликова В.Р. Политические и социально-экономические факторы распределения бюджетных трансфертов в регионы РФ (2003□2015 гг.) 257
Каратеев А.Ю. Что и как измеряет индекс экономической свободы? 267
Сдельников В.А. Внутренние вызовы международному имиджу России 278

АРХИВ

Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Питер Гич об аскриптивизме 287
Шнедельбах Г. О рациональности и обосновании 298

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Бессонов А.В. Теоремы Гёделя не дезавуируют программу Гильберта 312
Чернышов А.Г. Цифровизация и технологизация общественной жизни как социально-политическая проблема: сохранение идентичности и роль государства в условиях развития глобальных сетей 320
Сведения об авторах 330

CONTENT

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Borovinskaya D. N. Creative thinking: the main directions of research 7
Bazhanov V.A., Kraeva A. G. Music in the focus of modern neuroscience 22
Gushchin I. A., Kozyreva O.A. Philosophy of mind through the prism of the language analysis: from the metaphysics to the narrative 33
Zolotkov G.A. 'The theory of language-games' as the solution of the problem of the nature of philosophy 46
Klementyeva T.N. Relationship between religion and science in modern world: analysis approaches to the problem 53
Mironov V.A. Philosophical and methodological problems of geology of the 19th century as the prerequisite to development of narrative and hermeneutical researches of geological knowledge 61
Moiseeva A.Yu. J. Perry's *qualia*-phisicalism as an answer to the knowledge argument 67
Oleinik P.I. Stipulative character of Hume's principle 81
Razumov V.I. Problems of philosophy: past, present, future 89
Tselishchev V.V. Intensionality of the Gödel's Second Incompleteness Theorem 98

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Karpova A.Yu. Markers and the effects of information anomie in political communication 112
Miller V.I. Philosophical cognition of the essence and diversity of the nature of law and humanity 122
Naiman E.A. The problem of participants in a speech event in modern pragmatics 132
Yakovleva A.F. Scientific activity: problems of transformation (ethical and social aspects) 144

HISTORY OF PHILOSOPHY

Volf M.N., Kosarev A.V. Bernstein's Concept of The Pragmatic turn 153
Lamberov L.D., Kozyakova T.S. The universal characteristic of G. W. Leibniz and the prospective developments in the foundations of mathematics 164
Lihomanov I.V., Boyko V.A. Eurasians and muse of Klio: from mythology to a science 173
Loginovsky S.S. Barsanuphius of Palestine about criterion of the truth and the gnoseological status creations of fathers of Church 188
Rodin K.A. The structure of the philosophical puzzle (Wittgenstein's lectures on the foundations of mathematics) 200

SOCIOLOGY

Bordovskikh A.N., Boussier R.F.F. An efficient and effective democracy at the local level: new alternatives to policy networks 206
Bliznyak R.Z., Gerasimov I.A. Blogging as a technology of social and political communication: specification of concept and characteristic of heuristic opportunities 223
Vyalykh N.A. Modal social behavior patterns of the medical care consumers in Russian society 233
Pozanenko A.A. Territorial isolation and the sustainability of local communities: developing the existing approaches 245

POLITOLOGY

Kamolikova V.R. Political and socio-economic factors of transfers distribution to Russian regions (2002–2015) 257
Karateev A.Yu. What and how does the index of economic freedom measure? 267
Sdelnikov V.A. Internal challenges to Russia's international image 278

ARCHIVE

Ogleznev V.V., Surovtsev V.A. Peter Geach on ascriptivism 287
Schnädelbach H. On rationality and justification 298

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUS

Bessonov A.V. Gödel's incompleteness theorems do not disrupt Hilbert's program 312
Chernyshov A.G. The digitalization and technologization of social life as a socio-political problem: the preservation of the identity and role of the state in the development of global networks 320

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS 330

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 165.2
DOI: 10.17223/1998863X/40/1

В.А. Бажанов, А.Г. Краева

МУЗЫКА В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОНАУКИ[1]

Предпринимается попытка осмыслить последние достижения в такой области нейронауки, как нейроэстетика, которая анализирует природу музыки и музыкального творчества сквозь призму онтогенетических особенностей человеческого мозга. На многочисленных примерах показывается, что ключевые идеи нейроэстетики в целом соответствуют духу кантианского априоризма, переосмысленного в современных терминах когнитивной нейронауки.В работе предложен концепт музыкального модуля, коррелирующего с когнитивной нейроструктурой, в формировании которой задействованы определенные культурно-этнические особенности той среды, где она сформирована и продолжает генерироваться.

Ключевые слова: *когнитивная нейронаука, нейроэстетика, музыка, аналитическое и холистическое мышление, полифоническая и монодическая музыка.*

Музыка – универсальный язык человечества
Г. Лонгфелло

XX век ознаменовался покорением атомной энергии. Рубеж XX и XXI столетий был отмечен торжеством и бурным развитием информационных технологий. Между тем эстафета научного прогресса, на наш взгляд, ныне переходит к комплексу когнитивных исследований, прежде всего к нейронауке.

В 2014 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена за открытие клеток навигационной системы мозга. Это открытие можно сравнить с верхушкой айсберга – если иметь в виду разворачивающуюся научную революцию в нейронауке. Было бы странно, если бы научная революция в нейронауке не затрагивала такую сферу человеческой активности, как музыка и музыкальная деятельность. Новейшие достижения нейронауки начинают проливать новый свет на природу музыки и музыкального творчества.

Еще в 2005 г. ведущий мировой научный журнал «Nature» обратил внимание на то, что музыка может стать важным полигоном нейронаучных изысканий. Р. Заторре публикует в «Nature» статью под названием: «Музыка как питательная среда для нейронауки» (Zatorre, 2005). В этой статье автор подчеркивает, что музыка предполагает работу едва ли не всех когнитивных функций, а музыкальные упражнения способствуют заметному улучшению функционирования ряда нейронных сетей [1. P. 314]. Это касается прежде всего тех нейронных сетей, которые обеспечивают языковую активность, и поэтому обучение музыке будет полезно, например, для детей, стра-

[1] Работа поддержана грантами РФФИ/РГНФ №16-03-00117а и №16-03-00487а.

дающих дислексией [2. P. 237]. Вообще, занятия музыкой улучшают когнитивные способности и детей, и взрослых, что, в частности, выражается в росте их IQ [3].

Существует точка зрения, что любое творчество в области искусства имеет общий источник, который задается онтогенетическими особенностями человеческого мозга, определяющими эстетический опыт [4. P. 17]. Этот опыт касается всех видов творчества, в том числе и художественного, и музыкального, поскольку «интегрирует нейтральные относительно друг друга нейронные сети, вызывающие сенсорные и эмоциональные реакции в соответствии с особенностями конкретного организма» [5. P. 11]. Более того, исследования когнитивных механизмов научного познания и художественного творчества, генерируемых эстетическими переживаниями, подталкивают к постановке вопроса об их общности и своего рода единстве точек роста. В таком новом направлении когнитивных исследований музыкальное творчество напрямую связывается с нейрофизиологическими процессами и утверждается становление «нейронауки эстетического опыта» – *нейроэстетики* [6]. Ее предыстория относится к концу XX века, к первому исследованию в этой области американского психолога П. Янаты [7. P. 161–172]. К настоящему моменту обнаруживается все большее количество аргументов в пользу того, что «музыка возбуждает такие внутренние физиологические программы, которые помогают восстанавливать гомеостатический баланс организма… Значит, музыка играет определенную роль в эволюции человека [8. P. 93, 99].

Большой интерес у психофизиологов, анализирующих художественное творчество, вызывает факт функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, имея в виду преимущественную связь левого полушария с вербальным, логическим, понятийным мышлением и оценкой временных характеристик окружающего мира, а правого полушария – с чувственно-конкретным, образным и пространственным восприятием внешней среды. В результате нейропсихологические исследования показали, что ритм в музыке воспринимается левым полушарием, мелодия же распознается правым [9].

Здесь нейробиологи ищут ответы на целый ряд вопросов, касающихся того, каков нейрофизиологический механизм *эмоционального воздействия музыки,* какие структуры в головном мозге активизируются при прослушивании, исполнении и сочинении музыки, отвечают за определение высоты звука, ритма и тональности, а также различается ли восприятие музыки на нейрофизиологическом уровне у мужчин и женщин.

Каковы же онтогенетические и нейробиологические основания музыкальности? Как связаны между собой естественные языки и языки музыкальные? Какие факторы сделали музыку важной частью жизни едва ли не любого народа?

Заслуживает специального упоминания тот факт, что ключевые идеи нейроэстетики, сформулированные крупнейшим британским теоретиком-нейробиологом этого направления С. Зэки, соответствуют духу кантианского априоризма, когда место трансцендентального субъекта Канта занимает человеческий мозг с его активной ролью по отношению к формированию эстетического опыта [10. P. 91].

Естественные языки и музыкально-речевой континуум: общность нейробиологических оснований

Естественные языки и музыка могут считаться полюсами единого звукового континуума: в известном смысле язык представляет собой дискретное образование, а музыка – непрерывное. Однако, согласно авторитетному отечественному искусствоведу Е.В. Назайкинскому, музыкальное искусство как непрерывную языковую систему фиксирует лишь «фоническая предметность» [11. С. 52]. Первый фактурный, фонический, предметно-звуковой уровень этой системы включает механизмы сенсорной, чувственной реакции, формирующей «прямые» наиболее конкретно-предметные ассоциации. Второй «синтаксический, интонационный уровень» активизирует механизмы моторных и интонационно-голосовых стереотипов и систем речевого интонирования мысли, связанные с двигательными и речевыми ассоциациями, третий «композиционный, музыкально-содержательный уровень» функционирования механизмов мышления, памяти, семантических, ментальных, коммуникативных эквивалентов определенной социокультурной идентичности. Поэтому неудивительно, что области мозга, ответственные за языковые и музыкальные функции, колокализованы, пересекаются [12. P. 457; 13. P. 5–6].

Среди современных нейробиологов доминирует идея так называемого «психонейронного монизма», согласно которой источники человеческой мысли в принципе могут быть прослежены вплоть до некоторого материального базиса [14. P. 4]. Фактически эта идея воплощается в недавно оформившемся движении *нейроконструктивизма*, которое считает своим непосредственным предтечей Ж. Пиаже [15; 16]. Его лейтмотив заключается в идее, согласно которой эпигенез осуществляется по вероятностным законам, т.е. развитие живой системы, проходящей ряд автономных стадий, находится в непосредственной зависимости от внешних условий (социальных и культурных факторов) и приобретаемого ею опыта, что обеспечивает системе значительный потенциал пластичности мозга и, соответственно, адаптации.

По всей видимости, музыкальные способности формируются и начинают зримо проявляться на определенных стадиях развития мозга и интеллекта, примерно к годовалому возрасту. Для младенцев первых месяцев жизни музыка и речь не дифференцируются в зависимости от речевого или музыкального звучания; они могут реагировать лишь на просодическую информацию [17. P. 582]. Так, даже в раннем детстве человеческий мозг реагирует не столько на музыку, сколько на веселые и ласковые голоса, независимо от того, облечены они в музыкальную или языковую форму [18]. Неслучайно колыбельные песни имеют схожие акустические особенности во многих культурах, причем жанр колыбельной является уникальным именно для человека [19. P. 51]. У людей с формальным музыкальным образованием области активности нейронных сетей более локалированные, чем у тех, кто музыке не учился. Занятия детей музыкой или даже пассивное приобщение к западной тональной музыке также способствует формированию такого рода локализованных в мозге сетей [20. P. 55].

Музыка всегда непосредственно связана с двигательной активностью, танцем. У детей способность реагировать движениями на музыку появляется

к концу первого года жизни, а у взрослых музыка, как известно, очень часто сопровождается танцами и ритуальными действами. Движение под музыку естественным образом вплетено в жизнь всех народов, независимо от того, что данный народ понимает под музыкой и какие музыкальные ритмы предпочитает. Соответствующие чувства наслаждения инспирируются звуком, равно как и физические движения.

С нейробиологической точки зрения движение вызывается так называемыми зеркальными нейронами мозга, которые возбуждаются при наблюдении какого-то действия; по-видимому, эти нейроны играют важную роль при обучении языку и открывают возможности эмпатии, своего рода сопереживания. Они же косвенным образом сопровождаются выработкой окситоцина в процессе наслаждения музыкой, занятиями танцами и/или в наивысшей форме психической концентрации – при впадении в транс.

Естественные языки и музыка оказываются связанными некоторыми имплицитными коррелятивными соотношениями. Конкретный язык как бы задает некоторый угол зрения на восприятие музыки и особенности музыкального творчества [21]. Так, анализ творчества британских и французских композиторов позволяет заключить, что «они слышат различные ритмы»; аналогично имеется различие, например, в восприятии простых ритмических тонов (коротких и длинных) носителями английской и японской речи [22. P. 163].

Исследования в области нейрофизиологии хореографической художественно-когнитивной практики – танца – подтверждают эту гипотезу и оказываются весьма полезными для изучения когнитивных процессов мозга и мышления в целом. Несмотря на то, что танец представляет собой фундаментальную форму самовыражения людей, нейрофизиологи традиционно уделяли ему меньше внимания по сравнению, например, с музыкой. Результаты исследований, в ходе которых была проведена функциональная магнитно-резонансная томография мозга субъектов хореографической художественно-когнитивной практики, позволили рассматривать танец как союз репрезентативной ёмкости языка и *ритмичности* музыки. Мозжечок хорошо выполняет функции нейронного метронома, своего рода дирижёра: он получает множество сенсорных входов от слуховой, зрительной и соматосенсорной кортикальных систем (это необходимо для того, чтобы можно было подстраивать движения к разнообразным сигналам, от звуков до зрительных стимулов и прикосновений) и содержит сенсомоторное отображение всего тела [23]. Активность в медиально-коленчатом теле подкорковой структуры головного мозга была специфическим образом связана с синхронизацией, а не просто с прослушиванием музыки. Данное открытие позволило ученым сформулировать предположение, согласно которому при неосознанном подчинении ритму слуховая информация попадает непосредственно в мозжечок, минуя высшие уровни – слуховые области коры больших полушарий.

Здесь уместно вспомнить о феномене композиторской художественно-когнитивной практики Л. ван Бетховена в тот момент, когда он потерял слух и зрение. Необычное исследование было проведено под руководством кардиолога З. Голдбергера [24]. Это исследование показало, что ритм биения сердца неминуемо отражается на ритме музыки, которую пишет композитор.

Оказалось, что пунктирный ритм, смена темпа, неожиданные паузы и составные ноты – все эти элементы, характерные для музыки Бетховена, свидетельствуют о нерегулярной частоте сердечных сокращений композитора. По мнению ученых, потеря слуха сделала Бетховена более чувствительным к собственному сердечному ритму – единственной «музыке», которую он в тот момент мог ощущать. Специалисты изучили ритмический рисунок трех самых сильных, с точки зрения музыковедов, произведений Бетховена того времени (струнный квартет №13 си-бемоль мажор (op. 130), сонату для фортепиано ми-бемоль мажор «Прощальная» (op. 81a), а также сонату № 12 ля-бемоль мажор (op. 110)). Ритмический рисунок этих произведений позволил ученым предположить, что Бетховен страдал нарушениями сердечного ритма. «Тонкие штрихи» нейрофизиологического обоснования значения музыкального ритма просматриваются в семитомном трактате известного французского композитора и музыкального теоретика О. Мессиана, который стал заметным явлением в эпистемологии искусствознания XX в., поскольку наметил контуры новой постнеклассической художественно-теоретической парадигмы [25]. Она была развита в трудах учеников О. Мессиана – П. Булеза, К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса. В творчестве композитора XX в. С. Губайдуллиной, произведения которой можно в полной мере назвать формально-логической «хроникой времени», «корнем» музыкальной композиции становится не гармония, а ритм. Гармония, которая движется, – это и есть ритм, всеобщий динамический закон, наложенный на время, всеобщую энергетическую субстанцию. Время в музыкальной когнитивной практике выступает как некий супергештальт [26. С. 15]. Ритм же в работе мозга связан с активностью базальных ганглий и играет первостепенное роль в синхронном функционировании некоторых нейроструктур [27. P. 177].

Культурно-этнический музыкальный модуль как онтогенетическое основание музыкальности

Музыкальные способности – это естественные и, скорее всего, уникальные свойства человеческого мозга, которые явились результатом его длительной эволюции. Они сопряжены с феноменом так называемой неявной памяти, которая оказывается важнейшим инструментом в освоении и оперировании языком [26]. Эта память фактически не сформирована у обезьян, которых можно считать нашими далекими предками и «родственниками» (в смысле общности генетического аппарата). Поэтому у обезьян хорошо развита визуальная память, но фактически отсутствует, крайне слаба слуховая память. Хотя они могут различать звуки в модальности консонанса и диссонанса, но не считают первые звуки более предпочтительными и, следовательно, более приятными [29. P. 10433].

Опыт, накопленный немецким искусствознанием начала XX в., подготовил почву для исследовательского шага в направлении поиска нейробиологических закономерностей, направленных на проблему выявления и обоснования социокультурных и нейрофизиологических оснований генезиса искусства. Они обнаруживаются при попытке поиска системных и вероятностных процессов в истории духовных практик, в частности, в работах

о художественно-исторических циклах (О. Вальцель, К. Фосслер, Г. Корф, В. Дибелиус, Б. Зейфорт, А. Гильдербранд, К. Фолль). О. Вельцель неоднократно фиксирует повторяющуюся закономерность – при смене господствующего канона, формы начинают возникать не разрозненные опыты «отклонения от нормы», а некая общая тенденция, система взаимообусловленных приёмов. При этом аналогичные приёмы проявляются одновременно у представителей разных видов художественных практик совершенно независимо друг от друга. Учитывая, что большие и существенные сдвиги в искусстве (ренессанс и барокко, классицизм и романтизм) захватывают одновременно *все* его виды, О. Вельцель выдвигает гипотезу, что причины, порождающие эти сдвиги, каждый раз оказываются за пределами собственно художественного ряда и коренятся в более фундаментальных процессах духовной культуры. Анализ конкретного материала истории литературы, изобразительного и музыкального искусства показал, что на любые, казалось бы, внутренние вопросы – о художественном цикле, каноне, традиции и новации, о границах бытования отдельных стилей и направлений – можно ответить, только связав их с *ментальной* историей человечества [30. С. 55]. Г. Зедльмайер, продолжая линию своих предшественников, справедливо полагает, что великие и значительные явления в разных искусствах возникают отнюдь не на почве стиля, жанра или иных художественно-когнитивных дефиниций. Генезис произведения искусства обнаруживается в некоей «электродуге», возникающей между представлениями отдельного субъекта художественного творчества и интенцией того *ментального* поля, к которому он принадлежит или с которым он соотносится [31. С. 196]. Это подтверждает позиция современной нейроэстетики: искусство не развивается из неких собственных начал.

Наследование музыкальных способностей имеет ярко выраженную генетическую природу: примерно на 85% музыкальность определяется генетически. При этом, как было установлено при изучении десятков пар моно- и дизиготных близнецов, музыкальное восприятие связано с геном AVPR1A хромосомы 12 q, а музыкальная память и способность к хоровому пению и танцам – геном SLC6A4 хромосомы 17q, который является переносчиком важного нейромедиатора серотонина. При этом способность воспроизводить и следовать определенному ритму связывается с геном FOXP2 [33. P. 13–14]. При этом считается, что те же самые гены участвуют в формировании модусов социального поведения.

В мозге естественным (т.е. от природы, с рождения) образом, характером деятельности субъекта, а в процессе жизни и его культурным окружением формируются определенные «модули», которые ответственны и за речь, овладение языком, и за музыкальные способности. В конечном счете набор такого рода модулей обеспечивает жизненно важные функции живых организмов [34]. Эти системы включают когнитивные модули (нейродинамические архетипы), которые, вообще говоря, призваны фиксировать объекты, попадающие в поле зрения организма; конкретные действия организма; быстро осознавать количество объектов – «чувство числа» (number sense); обеспечивать ориентацию в пространстве; осуществлять коммуникацию с ближайшими партнерами и осознавать отличия «нас» от «других» («мы» versus «они»).

Нейропсихологи высказывают убеждение, что сколь угодно сложные виды материальной и духовной деятельности, включая музыкальную, строятся на фундаменте этих достаточно простых систем (модулей).

В отечественном искусствознании существует понятие музыкального «модуса» [11. С. 194], который можно расценивать как наиболее близкий эквивалент нейрокогнитивного модуля, который относится к лимбической и паралимбической системам мозга, управляющим эмоциями [35. P. 177]. Музыкальный «модус» фактически является музыкально-языковой структурой, которая обобщает и «закрепляет» психико-эмоциональные состояния, устоявшиеся в качестве историко-культурных типов и норм. Такой музыкальный модуль – это выражение нейродинамического когнитивного архетипа, конкретного состояния, за которым исторически закреплена некая социокультурно идентифицированная константа, которая детерминирована определенной этническо-культурной атмосферой. Роль такой константы, на наш взгляд, выполняет музыкальная интонация. Автор учения о музыкальной интонации Б.В. Асафьев утверждал, что «речевая и часто музыкальная интонация – ветви одного звукового потока» [36. С. 28]. Б.В. Асафьев предложил понятие «интонационный словарь эпохи», имея в виду определенную сферу значений интонаций, появившихся или преобладающих в определенную эпоху в стиле, жанре, этнических традициях. К примеру, ниспадающая интонация стона, вопросительная, утвердительная, фанфарная имеют в традиции сложившееся значение. Сходство музыкальной и речевой интонаций проявляется в наличии опорных звуков, в расположении главного опорного звука в нижнем регистре голосового диапазона, чередовании волнообразных подъемов и спусков звуковысотного движения с нисходящим движением как итогом смыслового высказывания. Роднят музыкальную интонацию с речевой и грамматические правила – наличие пауз, цезур, вопросно-ответная структура и т.п. Напряжения, идущие вверх, ослабления, идущие вниз, – характерный прием в интонационном высказывании.

Именно в своего рода э*тнических музыкальных модулях,* которые можно определить как сложные системные образования – некий особый синтез этнических интонационных, тональных, ритмических, фактурных, формообразующих особенностей, – наиболее ярко проявляется музыкальная ментальность. Особенности их генезиса имеют нейронаучное объяснение. Идея культурной обусловленности художественно-когнитивной практики и её обратного воздействия на мозг состоит в том, что культура оказывает существенное воздействие на объективные биохимические процессы, протекающие в мозге, и на изменение генетического материала человека, которые, в свою очередь, могут предрасполагать их носителей к формированию и поддержке определенных социальных и культурных сред, напрямую связанных с характером восприятия, рассуждения и особенностями познавательной деятельности человека в целом [37. С. 137]. Исследования в области культурной нейронауки в аспекте изучения феномена ментальности демонстрируют различие когнитивных стратегий, свойственных носителям различных культур.

Этнические музыкальные модули наиболее ярко представляют музыкальную ментальность и проявляют нейробиологический характер их генезиса. Логоцистский тип мышления, свойственный западноевропейской

культуре, нашёл воплощение в музыкальной культуре в принципе *детерминированности и рациональности музыкального мышления*, который выражается в строгой определенности, замкнутости и завершённости, экстравертности – стремлении воплотить и отрефлексировать в форме художественных образов реальные исторические события, явления жизни конкретного исторического субъекта. Восточный музыкальный менталитет основан на *континуально-циклическом мышлении*, в основе которого лежит принцип круга как воплощения бесконечности, чувственно-образный, эмоциональный стиль мышления, медитационность, основанная на связи с буддийскими и исламскими религиозными традициями, символика числа, органическая взаимосвязь с немузыкальными космологическими явлениями, интровертность, воплощенная в состоянии самопогружения как воплощения восточного принципа «всё во всём». На уровне архитектоники и стиля, соответственно, западноевропейская музыкальная традиция характеризуется принципом тональной организации звукового материала, развёрнутой системой гармоний и ладов, с тональным тяготением (с разрешением неустойчивых ступеней в устойчивые), закрепленным в гомофонно-гармоническом, позже – в полифоническом музыкальном мышлении, что отразилось в строго фиксированном языке нотных знаков – пятилинейной нотации. Сильнейшим рациональным упорядочивающим началом западноевропейской музыкальной традиции является тактовая, акцентная ритмическая структура, соотношение сильных и слабых долей, завершённость формы.

Восточная музыка во времени развивается вертикально, статично: прежде всего стоит сказать о совершенном отсутствии многоголосия в музыке восточной традиции, т.е. понятия музыкальной фактуры (системы многоголосия) не существует. Восточная музыка в своих первоистоках принципиально монодична (одноголосна), что связано с совершенно особым восточным стилем мышления и особенностями культовой (религиозной) музыкальной традиции. Музыкальная рефлексия также направлена «вглубь» – в одной длительности может разворачиваться целое событие, музыка звучит пространственно, вертикально, звучание имеет вектор. Вероятно, различие западной, европейской и восточной музыки обусловлено доминированием на Западе аналитического, а на Востоке холистического мышления [38], которое в первом случае отдает безусловное предпочтение индивидуальности, а, следовательно, ценит «многоголосие» точек зрения, а во втором случае – принадлежность определенному сообществу, которое цементируется общей, кооперативной деятельностью, придающей этому сообществу целостность, важную для его самосохранения и самоидентификации.

Занятия музыкой не только совершенствуют слух, но и развивают творческий потенциал личности. В западной педагогике принято говорить об «эффекте Моцарта», – эффекте, который был экспериментально подтвержден в 1993 г. и который выражается в том, что прослушивание музыкальных произведений повышает интеллектуальный потенциал личности, особенно развивает пространственное мышление [39. P. 33]. Некоторые нейроструктуры мозга музыкантов сложнее, чем аналогичные нейроструктуры тех, кто музыкой не занимается [40. P. 65]. Впрочем, восприятие музыки оказывается детерминированным культурой: если представители западной (европейской)

культуры воспринимают музыку как распределение звуков, отличающихся высотой тона, то восприятие классической индийской музыки предполагает предварительное неявное знакомство с системой ragas, системой монофонических мелодических форм [41. P. 342].

В любой культуре музыка может использоваться и как терапевтическое средство при различных психоневрологических патологиях [42. P. 15]. Вероятно, такой эффект обусловлен тем, что определенные разновидности музыки могут способствовать генерации в организме дофамина – нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия (удовлетворения).

Ныне считается, что для естественного языка не существует какого-то выделенного модуля в мозге. Функционирование языка зависит от работы других модулей, на работу которых накладывают ограничение сенсомоторные факторы, когнитивные пределы в процессе обучения и личностного развития (скажем, допустимый объем памяти), особенности категоризации и упорядочения поступающей информации, исторически заданные, предопределенные пределы деятельности и лимитирующее ее инструментальное сопровождение [43. P. 1135–1136].

Если иметь в виду действие конкретных нейронных модулей, то стоит вспомнить о навигационной системе мозга, открытие которой отмечено Нобелевской премией. Эта система позволяет составлять своего рода нейрокогнитивные карты окружающей обстановки, в которых распознается положение организма в пространстве и обеспечивается движение, согласно особенностям этой обстановки. Данные карты имеют выраженный динамический характер, поскольку группы нейронов возбуждаются лишь тогда, когда организм оказывается в определенных участках своего ареала обитания. Можно предположить, что аналогично эти модули ведут себя и в случае музыкальной активности.

Вместо заключения: какие факторы способствовали возникновению музыки?

Каковы были причины у древних людей, наших далеких предков, начать заниматься музыкальным творчеством, которое, само собой, сопровождалось изготовлением музыкальных инструментов? Была ли музыка средством адаптации человека к среде или даже фактором его выживания в условиях, изобилующих разными опасностями, или же музыка была придумана исключительно с гедонистическими целями?

Одна группа крупных нейрофизиологов считает, что музыка – это своего рода «эволюционный паразит» [44], только «звуковое удовольствие» [45], не оказавшая никакого влияния на выживание человека; другая же, напротив, видела в музыке важный элемент человеческой эволюции и инкультурации [46. P. 46, 51]. Еще Ч. Дарвин связывал музыку с увеличением сексуальной привлекательности тех, кто ею владел и пользовался, фактором, который облегчал выбор потенциального полового партнера и успех в его покорении [47. P. 51; 48].

Если исходить из биологических соображений, то всем обезьянам свойственны элементы физического ухода за некоторыми своими сородичами, помощи им. Возможно, что у человека это свойство трансформировалось

в ухаживание не только физическими, но уже вокальными, звуковыми способами [49]. С помощью музыки достигалось сплочение пра(человеческого) коллектива, создание между его членами, так сказать, не чисто формальных связей, а эмоциональной близости, которая облегчала и придавала смысл взаимовыгодному сотрудничеству и взаимопомощи.

Ряд исследователей причин возникновения музыкального феномена обращают внимание на едва ли не уникальное качество человеческого общества – качество синхронизации звуковых действий, когда звук приобретает коллективный смысл и позволяет преследовать коллективную цель, когда звук становится важным фактором социализации и взаимодействия между людьми, своего рода социальным клеем, позволяющим им совместно и более эффективно достигать общие цели. При этом данное качество за многие сотни лет не было приобретено или заимствовано у людей теми животными, которые жили не просто рядом, а в тесном общении с человеком, например собаками [48].

Существенный аргумент в пользу этой точки зрения (связывающей музыку и процесс социализации) – наблюдения над людьми с синдромами Уильямса и Аспергера. Люди с синдромом Уильямса сильно отстают в развитии и часто не могут научиться даже читать. Однако они отличаются высокой коммуникативностью и, как правило, очень музыкальны. Люди же с синдромом Аспергера (так называемые аутисты), наоборот, часто демонстрируют выдающиеся способности к обучению, и результаты их работы отличаются очень высоким качеством. Однако они замкнуты в себе, некоммуникабельны, предпочитают одиночество и, как правило, совсем немузыкальны [47. P. 68].

Напрашивается вывод, что происхождение музыки имеет естественные и культурные основания: музыкальная активность детерминируется общностью с языковой активностью на нейробиологическом уровне и, одновременно, является важным компонентом культуры, которая позволила сформироваться роду Homo sapiens в том виде, в котором мы его знаем сегодня.

Литература

1. *Zatorre R.* Music, the Food of Neuroscience? // Nature. 2005. Vol. 434. P. 312–315.

2. *Molnar-Szakacs I., Overy K.* Music and Mirror Neurons: Form Motion to ‘e’motion // SCAN. 2006. № 1. P. 235–241. DOI: 10.1039/scan/nsl029.

3. *Amer T., Kalender B., Hasher L., Trehub S.E., Wong Y.* Do Older Professional Musicians Have Cognitive Advantages? // PLOS One. 2013. Vol. 8, № 8. Paper e71630. DOI: 10.1371/journal.pone.0071630.

4. *Starr G.* Feeling Beauty: The Neuroscience of Aesthetic Experience. MIT Press, 2013. 272 p.

5. *Vessel E.A., Starr G., Rubin N.* The Brain on Art: Intense Aesthetic Experience Activates the Default Mode Network // Frontiers in Human Neuroscience. 2012. Vol. 6. Article 66. P. 1–17. DOI: 10.3389/fnhum.2012.00066.

6. *Pearce M.T., Zaidel D.W., Vartanian O., Skov M., Leder H., Chatterjee A., Nadal M.* Neuroaesthetics: the cognitive neuroscience of aesthetic experience // Perspectives on psychological science. 2016. Vol. 11 (2). P. 265–279. DOI: 10.1177/1745691615621274.

7. *Janata P., Reisberg D.* Response-Time Measures as a Means of Exploring Tonal Hierarchies // *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*. Vol. 6. No. 2 (1988). P. 161–172.

8. *Habibi A., Damasio A.* Music, Feelings, and the Human Brain // Psychomusicology: Music, Mind, and Brain. 2014. Vol. 24 (1). P. 92–102. DOI: 10.1037/pmu000003.

9. *Красота* и мозг. Биологические аспекты эстетики / под ред. И. Ренчлера, Б. Херцбергер, Д. Эпстайна. М.: Мир, 1995. 335 с.

10. *Ruśinova M.* Reflections on Beauty: Immanuel Kant and Semir Zeki // 5th International Conference on Research in Humanities, Sociology and Education. London, November 29–30, 2016. P. 90–91.

11. *Назайкинский Е.В.* Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.

12. *Fritz J., Poeppel D., Trainor L., Schlaug G., Patel A., Peretz I., Rauschecker J., Halle J., Stregapede F., Parsons L.M.* The Neurobiology of Language, Speech, and Music // Language, Music, and the Brain: A Mysterious Relationship /Ed. M. A. Arbib. Cambridge (Mass.); L., 2013. P. 417–462.

13. *Honing H., Cate C., Peretz I., Trehub S.E.* Without it No Music: Cognition, Biology and Evolution of Musicality // Philosophical Transactions B. 2015. Vol. 370. Paper 2014088. DOI: 10.1098/rstb.2014.0088

14. *Cartwright J.* Evolution and Human Behaviour. Houndmills: MacMillan, 2000.

15. *Sirios S., Spratling M., Johnson M., Thomas M., Westermann G., Marshall D.* Precis of neuroconstructivism: how the brain constructs cognition // Behavioral and Brain Sciences. 2008. Vol. 31 (3). P. 321–331; discussion 331–356.

16. *Марютина Т.М.* Нейроконструктивизм – новая парадигма возрастной психофизиологии? // Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 4. С. 132–143.

17. *Koelsch S., Siebel W.A.* Towards a Neural Basis of Music Perception // Trends in Cognitive Sciences. 2005. Vol. 9, № 12. P. 578–584.

18. *Corbeil M., Trehub S.E., Peretz I.* Speech vs. Singing: Infants Choose Happier Sounds // Frontiers in Psychology. 2013. Vol. 4, № 372.

19. *McDermott J., Hauser M.* The Origins of Music: Innateness, Uniqueness, and Evolution // Music Perception. 2005. Vol. 23, № 1. P. 29–59.

20. *Brattico E., Pearce M.* The Neuroaesthetics of Music // Psychology of Aestheticism Creativity, and the Arts. 2013. Vol. 7, № 1. P. 48–61.

21. *Kunert R., Willems R.M., Hagoort P.* Language influences music harmony perception: effects of shared syntactic integration resources beyond attention // Royal Society Open Science. 2016. Vol. 3(2). Paper 150685.

22. *Patel A.* Music, Language, and the Brain. N.Y.: Oxford University press, 2008. 528 p.

23. *Бауэр Д., Парсонс Л.* Этот загадочный мозжечок // В мире науки. 2003. № 10. С. 72–77.

24. *Goldberger Z.* Did Beethoven have an irregular heartbeat? Diagnosing the composer through his music // The conversation. 2015. February, 15. https://theconversation.com/did-beethoven-have-an-irregular-heartbeat-diagnosing-the-composer-through-his-music-36113 (accessed Aug 12, 2017).

25. *Messiaen O.* Traite de rythme, de couleur, et d'ornitologie. Paris, 1995. Т. 2. 530 p.

26. *Ценова В.С.* Числовые тайны Софии Губайдулиной. М.: Музыка, 2000. 197 с.

27. *Buzsaki G.* The Rhythms of the Brain. Oxford: Oxford University press, 2006. XIV, 465 p.

28. *Ettlinger M., Margulis E., Wong C.M.* Implicit Memory in Music and Language // Frontiers in Psychology. 2011. Vol. 2, № 211. DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00211.

29. *Zatorre R., Salimpoor V.* From Perception to Pleasure: Music and its Neural Substrates // PNAS. 2013. Vol. 110, № 2. P. 10430–10437. DOI: 10.1073/pnas.1301228110.

30. *Кривцун О.* Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряжений // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 50–62.

31. *Зедльмайр Г.* Искусство и истина. Теория и метод истории искусства / пер. Ю.Н. Попова. СПб., 2000. 272 с.

32. *Мёдова А.А.* К проблеме обратимости времени // Философские науки. 2017. № 4. С. 129–144.

33. *Tan Y.T., McPherson G.E., Peretz I., Berkovic S.F., Wilson S.J.* The Genetic Basis of Music Ability // Frontiers in Psychology. 2014. Vol. 5, № 658.

34. *Kinzler K.D., Spelke E.S.* Core Systems in Human Cognition // Progress in Brain Research/ Eds. von Hofsen C., Rosander K. 2007. Vol. 164. P. 257–264.

35. *Nadal M., Pearce M.T.* The Copenhagen Neuroaesthetics conference: Prospects and pitfalls for and emerging field // Brain and Cognition. 2011. Vol. 76. P. 172–183.

36. *Асафьев Б.В.* Речевая интонация. М.; Л., Музыка, 1965. 136 с.

37. *Бажанов В.А.* Современная культурная нейронаука и природа субъекта познания: логико-эпистемологические измерения // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLV, № 3. С. 133–149.

38. *Nisbett R.E.* The geography of thought. How Asians and Westerners Think Differently . . . and Why. N.Y., L.: The Free press, 2003.

39. *Demorest S.M., Morrison S.J.* Does music make you smarter? // Music Educators Journal. 2000. Vol. 87(2). P. 33–39.

40. *Emmerson J.* Your Mind on Music: Muffins, Magic, Mozart, Myth // LEARNing landscapes (LEARN). 2011. Vol. 5, № 1. P. 63–70.

41. *Ambady N. Bharucha J.* Culture and brain // Current directions in psychological science. 2009. Vol. 18. N 6. P. 342–345.

42. *Sachs M.E., Damasio A., Habibi A.* The pleasures of sad music: a systematic review // Frontiers in Human Neuroscience. 2015. Vol. 9. Article 404. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00404.

43. *Chater N., Christiansen M.* Language Acquisition Meets Language Evolution // Cognitive science. 2010. Vol. 34. P. 1131–1157. DOI: 10.1111/j.1551-6709.2009.01049.x.

44. *Sperber D.* Explaining Culture. Oxford: Blackwell, 1996.

45. *Pinker S.* How the Mind Works. N.Y.: W.W. Norton, 1997.

46. *Cross I.* Music, Cognition, Culture, and Evolution // The Cognitive Neuroscience of Music / Eds. Peretz I., Zatorre R. Oxford: Oxford University press, 2003. P. 42–56.

47. *Huron D.* Is Music and Evolutionary Adaptation? // The Cognitive Neuroscience of Music / Eds. Peretz I., Zatorre R. Oxford: Oxford University press, 2003. P. 57–78.

48. *Patel A.* The Evolutionary Biology of Musical Rhythm: Was Darwin Wrong? // PLOS Biology. 2014. Vol. 121, № 3. Paper e1001821.

49. *Dunbar R.* On Evolutionary Foundations of Song and Dance // Music, Language, and Human Evolution / ed. N. Bannan. Oxford: Oxford University press, 2012. P. 201–214.

Valentin A. Bazhanov Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russian Federation)
E-mail: vbazhanov@yandex.ru, http://staff.ulsu.ru/bazhanov/
DOI: 10.17223/1998863X/40/1
Alexandra G. Kraeva Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russian Federation)
E-mail: kraevalex@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/1

MUSIC IN THE FOCUS OF MODERN NEUROSCIENCE

Key words: cognitive neuroscience, neuroaesthetics, music, analytical and holistic thinking, polyphonic and monodic music

The article try to comprehend the latest achievements in such a field of neuroscience as a neuroaesthetic that explores the nature of music and musical creativity through the prism of ontogenetic features of the human brain. Numerous examples show that the key ideas of neuro-aesthetics generally correspond to the spirit of Kantian apriorism, reinterpreted in modern terms of cognitive neuroscience. The research suggests the unity of the growth points of the cognitive mechanisms of scientific knowledge and the artistry, and vistas of the research movement in this direction. Cognitive studies make it possible to establish a direct relationship between musical practice and neurophysiological processes (in particular, with functional asymmetry of the cerebral hemispheres), and the formation of neuroscience of aesthetic experience, neuro-aesthetics. This field of knowledge has the goal to answer questions related to the neurophysiological mechanism of emotional influence of music, what structures in the brain are activated when listening, performing and composing music, are responsible for determining the sound, rhythm and tonality, as well as whether the perception of music at the neurophysiological level varies between men and women. In the first part of the study "Natural Languages and the Musical-Speech Continuum: the Community of Neurobiological Foundations", ontogenetic and neurobiological bases of musicality are revealed. The article deals with the idea of the commonness of neurobiological bases of natural languages and the musical-speech continuum, which confirmed by the data of neuroscience studies on the colocalization of brain regions responsible for linguistic and musical functions. Since music is traditionally directly associated with motor activity, dance, - the idea of the role of mirror neurons of the brain in the perception of the rhythm set by musical sounds in the modalities of consonance and dissonance expressed. In the second part of the work "Cultural-ethnic musical module as an ontogenetic basis of musicality" the concept of a musical module correlating with the cognitive neurostructure is suggested, in the formation of which certain cultural and ethnic features of the environment where it is formed and continues to be generated are involved. On the basis of data from studies of Western European and Eastern artistic practice, an unambiguous depend-

ence of their genesis and evolution on mental and neurobiological factors, which distinguish representatives of different cultures, for example, biological modes in the form of internal pulse and respiration, physical and astronomical measurements of certain cultural and historical modes, is affirmed. An assumption is made about the nature of the difference between the Western (homophonic-harmonic, and later polyphonic) and Eastern (monodic) musical traditions. It assumed that reason for this difference explained by the predominance in the West of analytical, and in the East, holistic thinking, which generated by the corresponding differences of certain areas of the brain activity. Therefore, in the first case an unconditional preference is given to the individuality, and, consequently, to the harmonious orderliness of the polyphonic texture of the "points of view". In the second, belonging to a certain community united by cooperative activity, which gives this community integrity, important for its self-preservation and self-identification, gave rise to the monodic constancy of recitation in combination with the immanent improvisation of intonations, the synchronization of sound impulses acquiring a collective meaning. The musical sound in the eastern musical tradition is an important factor of socialization and interaction between people. In the West, with its emphasis on individual personality traits, a different musical format adopted. The article touch the problem of the origin of music as an effective means of adapting a person to the environment. Analysis of the factors that made music an important part of human and social life allowed us to consider music as an important determinant of socialization and interaction between people. A number of researchers of the causes of the phenomenon of music pay attention to the almost unique quality of human society - the quality of synchronization of sound actions when the sound acquires a collective meaning and allows pursuing a collective goal.

References

1. Zatorre, R. (2005) Music, the Food of Neuroscience? *Nature*. 434. pp. 312–315. DOI: 10.1038/434312a

2. Molnar-Szakacs, I. & Overy, K. (2006) Music and Mirror Neurons: Form Motion to ‘e’motion. *SCAN*. 1. pp. 235–241. DOI: 10.1039/scan/nsl029.

3. Amer, T., Kalender, B., Hasher, L., Trehub, S.E. & Wong, Y. (2013) Do Older Professional Musicians Have Cognitive Advantages? *PLOS One*. 8(8). DOI: 10.1371/journal.pone.0071630

4. Starr, G. (2013) *Feeling Beauty: The Neuroscience of Aesthetic Experience*. MIT Press.

5. Vessel, E.A., Starr, G. & Rubin, N. (2012) The Brain on Art: Intense Aesthetic Experience Activates the Default Mode Network. *Frontiers in Human Neuroscience*. 6(66). pp. 1–17. DOI: 10.3389/fnhum.2012.00066

6. Pearce, M.T., Zaidel, D.W., Vartanian, O., Skov, M., Leder, H., Chatterjee, A. & Nadal, M. (2016) Neuroaesthetics: the cognitive neuroscience of aesthetic experience. *Perspectives on Psychological Science*. 11(2). pp. 265–279. DOI: 10.1177/1745691615621274

7. Janata, P. & Reisberg, D. (1988) Response-Time Measures as a Means of Exploring Tonal Hierarchies. *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*. 6(2). pp. 161–172. DOI: 10.2307/40285423

8. Habibi, A. & Damasio, A. (2014) Music, Feelings, and the Human Brain. *Psychomusicology: Music, Mind, and Brain*. 24(1). pp. 92–102. DOI: 10.1037/pmu000003

9. Renchler, I., Herzberger, B. & Epstein, D. (eds) (1995) *Krasota i mozg. Biologicheskie aspekty estetiki* [Beauty and the brain. Biological aspects of aesthetics]. Translated from English. Moscow: Mir.

10. Ruśinova, M. (2016) Reflections on Beauty: Immanuel Kant and Semir Zeki. *5th International Conference on Research in Humanities, Sociology and Education*. London. November 29–30, 2016. pp. 90–91.

11. Nazaykinskiy, E.V. (1982) *Logika muzykal'noy kompozitsii* [Logic of musical composition]. Moscow: Muzyka.

12. Fritz, J., Poeppel, D., Trainor, L., Schlaug, G., Patel, A., Peretz, I., Rauschecker, J., Halle, J., Stregapede, F. & Parsons, L.M. (2013) The Neurobiology of Language, Speech, and Music. In: Arbib, M.A. (ed.) *Language, Music, and the Brain: A Mysterious Relationship*. The MIT Press. pp. 417–462.

13. Honing, H. Cate, C., Peretz, I. & Trehub, S.E. (2015) Without it No Music: Cognition, Biology and Evolution of Musicality. *Philosophical Transactions B*. 370. DOI: 10.1098/rstb.2014.0088

14. Cartwright, J. (2000) *Evolution and Human Behaviour*. Houndmills: MacMillan.

15. Sirios, S., Spratling, M., Johnson, M., Thomas, M., Westermann, G. & Marshall, D. (2008) Precis of neuroconstructivism: how the brain constructs cognition. *Behavioral and Brain Sciences*. 31(3). pp. 321–331. DOI: 10.1017/S0140525X0800407X

16. Maryutina, T.M. (2014) Is neuroconstructivism a new paradigm in the age-related psychophysiology? *Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya – Journal of Modern Foreign Psychology*. 3(4). pp. 132–143. (In Russian).

17. Koelsch, S. & Siebel, W.A. (2005) Towards a Neural Basis of Music Perception. *Trends in Cognitive Sciences*. 9(12). pp. 578–584. DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00110

18. Corbeil, M., Trehub, S.E. & Peretz, I. (2013) Speech vs. Singing: Infants Choose Happier Sounds. *Frontiers in Psychology*. 4(372). DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00372

19. McDermott, J. & Hauser, M. (2005) The Origins of Music: Innateness, Uniqueness, and Evolution. *Music Perception*. 23(1). pp. 29–59. DOI: 10.1525/mp.2005.23.1.29

20. Brattico, E. & Pearce, M. (2013) The Neuroaesthetics of Music. *Psychology of Aestheticism Creativity, and the Arts*. 7(1). pp. 48–61. DOI: 10.1037/a0031624

21. Kunert, R., Willems, R. M. & Hagoort, P. (2016) Language influences music harmony perception: effects of shared syntactic integration resources beyond attention. *Royal Society Open Science*. 3(2). Paper 150685. DOI: 10.1098/rsos.150685

22. Patel, A. (2008) *Music, Language, and the Brain*. New York: Oxford University Press.

23. Bauer, D. & Parsons, L. (2003) Etot zagadochnyy mozzhechok [This etched arclock]. *V mire nauki*. 10. pp. 72–77.

24. Goldberger, Z. (2015) *Did Beethoven have an irregular heartbeat? Diagnosing the composer through his music*. [Online] Available from: https://theconversation.com/did-beethoven-have-an-irregular-heartbeat-diagnosing-the-composer-through-his-music-36113. (Accessed: 12th August 2017).

25. Messiaen, O. (1995) *Traite de rythme, de couleur, et d'ornitologie* [Deals with rhythm, color, and ornithology]. Vol. 2. Paris: Editions musicales Alphonse Leduc.

26. Tsenova, V.S. (2000) *Chislovye tayny Sofii Gubaydulinoy* [The numerical secrets of the Sophia Gubaydulina]. Moscow: Muzyka.

27. Buzsaki, G. (2006) *The Rhythms of the Brain*. Oxford: Oxford University Press.

28. Ettlinger, M., Margulis, E. & Wong, C.M. (2011) Implicit Memory in Music and Language. *Frontiers in Psychology*. 2(211). DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00211

29. Zatorre, R. & Salimpoor, V. (2013) From Perception to Pleasure: Music and its Neural Substrates. *PNAS*. 110(2). pp. 10430–10437. DOI: 10.1073/pnas.1301228110

30. Krivtsun, O. (2005) Ritmy iskusstva i ritmy kul'tury: formy istoricheskikh sopryazheniy [Rhythms of art and rhythms of culture: forms of historical conjugation]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 50–62.

31. Zedlmayr, G. (2000) *Iskusstvo i istina. Teoriya i metod istorii iskusstva* [Art and Truth. Theory and Method of Art History]. Translated from German by Yu.N. Popov. St. Petersburg: Axioma.

32. Medova, A.A. (2017) K probleme obratimosti vremeni [To the problem of time reversibility]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 4. pp. 129–144.

33. Tan, Y.T., McPherson, G.E., Peretz, I., Berkovic, S.F. & Wilson, S.J. (2014) The Genetic Basis of Music Ability. *Frontiers in Psychology*. 5(658). DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00658

34. Kinzler, K.D. & Spelke, E.S. (2007) Core Systems in Human Cognition. *Progress in Brain Research*. 164. pp. 257–264. DOI: 10.1016/S0079-6123(07)64014-X

35. Nadal, M. & Pearce, M.T. (2011) The Copenhagen Neuroaesthetics conference: Prospects and pitfalls for and emerging field. *Brain and Cognition*. 76. pp. 172–183.

36. Asafiev, B.V. (1965) *Rechevaya intonatsiya* [Speech intonation]. Moscow; Leningrad: Muzyk.

37. Bazhanov, V.A. (2015) Sovremennaya kul'turnaya neyronauka i priroda sub"ekta poznaniya: logiko-epistemologicheskie izmereniya [Modern cultural neuroscience and the nature of the subject of cognition: logical-epistemological measurements]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 45(3). pp. 133–149.

38. Nisbett, R.E. (2003) *The geography of thought. How Asians and Westerners Think Differently . . . and Why*. New York, London: The Free Press.

39. Demorest, S.M. & Morrison, S.J. (2000) Does music make you smarter? *Music Educators Journal*. 87(2). pp. 33–39. DOI: 10.2307/3399646

40. Emmerson, J. (2011) Your Mind on Music: Muffins, Magic, Mozart, Myth. *LEARNing landscapes (LEARN)*. 5(1). pp. 63–70. DOI: 10.2139/ssrn.2327943

41. Ambady, N. & Bharucha, J. (2008) Culture and brain. *Current Directions in Psychological Science*. 18(6). pp. 342–345.

42. Sachs, M.E., Damasio, A. & Habibi, A. (2015) The pleasures of sad music: a systematic review. *Frontiers in Human Neuroscience*. 9. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00404

43. Chater, N. & Christiansen, M. (2010) Language Acquisition Meets Language Evolution. *Cognitive Science*. 34. pp. 1131–1157. DOI: 10.1111/j.1551-6709.2009.01049.x

44. Sperber, D. (1996) *Explaining Culture*. Oxford: Blackwell.

45. Pinker, S. (1997) *How the Mind Works*. New York: W.W. Norton.

46. Cross, I. (2003) Music, Cognition, Culture, and Evolution. In: Peretz, I. & Zatorre, R. (eds) *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: Oxford University Press. pp. 42–56.

47. Huron, D. (2003) Is Music and Evolutionary Adaptation? In: Peretz, I. & Zatorre, R. (eds) *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: Oxford University Press. pp. 57–78.

48. Patel, A. (2014) The Evolutionary Biology of Musical Rhythm: Was Darwin Wrong? *PLOS Biology*. 121(3). DOI: 10.1371/journal.pbio.1001873

49. Dunbar, R. (2012) On Evolutionary Foundations of Song and Dance. In: Bannan, N. (ed.) *Music, Language, and Human Evolution*. Oxford: Oxford University Press. pp. 201–214.

УДК 165.2
DOI: 10.17223/1998863X/40/2

Д.Н. Боровинская

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определены онтологические и эпистемологические основания в исследовании креативного мышления на современном этапе развития научного знания. Креативное мышление с онтологической точки зрения исследуется с позиции деятельности и в контексте акта коммуникации. Эпистемологические направления исследования креативного мышления предполагают ориентированность на изучение определенного набора личностных характеристик, нацеленность на изучение общих методологических вопросов и креативного мышления в науке.
Ключевые слова: *мышление, креативное мышление, опыт, язык, мышление в контексте акта коммуникации, мышление в контексте деятельности, эпистемология креативного мышления, интуиция, воображение, интеллект.*

Необходимость изучения креативного мышления обусловлена стремительными изменениями, происходящими в различных сферах жизнедеятельности. С одной стороны, проблемы современного мира требуют практической реализации оригинальных решений, основанных на максимальном использовании нетрадиционных типов мышления; с другой – создания и внедрения новых, значимых для общества продуктов, что невозможно без понимания реальных ситуативных обстоятельств.

В современном научном исследовании повсеместно используются особые знания, образующие, в частности, такое понятие, как *креативное мышление*. Однако проблема заключается в том, что при детальном анализе существующих мнений можно выявить определённые расхождения в содержании, структуре и способах его использования. Дискуссии по этим вопросам проводятся в различных областях, но с точки зрения научного подхода они зачастую малопродуктивны, поскольку, как правило, недостаточно опираются на конкретный методологический анализ процессов научного исследования мышления в целом и креативного мышления в частности.

Цель данной статьи – обозначить некоторые актуальные направления исследования креативного мышления с позиции современного научного знания, что, в свою очередь, позволит выявить его сущностные признаки.

Прежде чем приступить к реализации поставленной цели, заметим: в своей работе автор совершенно сознательно не будет касаться многочисленных и разнообразных исследований, формирующихся на основе частных наук, как то математики, физики, химии, биологии и т.п. Это сделано для того, чтобы сконцентрировать внимание на знаниях, которые принято называть методологическими, что и поможет решить стоящую перед нами задачу.

Здесь следует опираться на особые знания дисциплин, в которых с помощью конкретных понятий и принципов созданы научные теории для решения проблем, связанных с мышлением. Именно философия и психология предла-

гают наиболее глубоко разработанные, систематизированные и общепризнанные знания в области мышления.

Начиная с середины XX в. развитие научных представлений о мышлении характеризуется, с одной стороны, превалированием «логицизма», а с другой – определённым распространением субъективно-психологической точки зрения.

В этот период развития научных знаний о мышлении актуальным стало исследование соотношения мышления и языка, мышления и речи. По мнению С.Л. Рубинштейна, трудность решения этой проблемы связана с тем, что при постановке её в одних случаях мышление рассматривалось как процесс, как деятельность, в других – мысль как продукт этой деятельности [1].

Исследования в области мышления претерпели значительные изменения. Сегодня подробно анализируются внешние и внутренние формы мышления. Например, на основе восприятия внешних предметов или специальных знаковых систем, данных субъекту внешним образом. Это могут быть текст, схема, изображения, а также формы на основе речевых высказываний, когда исследуются закономерности формирования языка, предпосылок осуществления коммуникации.

Большая часть фундаментальных работ в области мышления формирует определённое единство логических и психологических представлений о мышлении, что наложило отпечаток и на развитие научных представлений о креативном мышлении.

С точки зрения современных исследований можно выделить несколько групп направлений, которые ориентированы как на исследование теоретического мышления, так и на достижение практического результата и тесную его взаимосвязь с опытом.

Первая группа направлений нацелена на изучение онтологических оснований креативного мышления.

Первое направление – понимание мышления в контексте акта коммуникации.

По мнению Г.П. Щедровицкого, мышление выступает как операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение (или фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста (именно такое представление, в частности, фиксировали многоплоскостные изображения мышления в содержательно-генетической логике); в качестве «побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать смысл – связку из многих сопоставлений и соотнесений объектных и операциональных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста, которую мы можем представить в виде статической структуры из отношений и связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями содержания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла, рассматривается как объективное, или экстериоризованное, знание [2].

«Мышление не является самостоятельным, непосредственно данным, непосредственно воспринимаемым объектом исследования; оно дано нам прежде всего в языке, или, вернее, нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление» [3. С. 56].

Мышление определяется как образ определённых объектов, как фиксированное знание. Г.П. Щедровицкий отмечает, что мышление, рассматриваемое в аспекте знания, представляет собой сложную взаимосвязь, в которой группы определённым образом связанных между собой знаков по определённым законам замещают реальные объекты и друг друга в отношении к действиям человека.

В отношении креативного мышления коммуникативный аспект активно исследуют отечественные психологи Е.М. Березина, В.И. Кабрин, Д.А. Карнаухов, Я.Б. Частоколенко [4].

Оперируя понятием транскоммуникации как первичной экзистенциальной реальности, открывающейся в последовательном коммуникативном подходе к душевной жизни человека, В.И. Кабрин выделяет четыре континуума-вектора ноэтической креативности человека.

Катартическая креативность избавляет взрослого и охраняет ребёнка от эгоизма в очищающем и одухотворяющем сочувствии смеха и слёз, что и осмысливается как нисходящий луч транскоммуникации.

Импрессивная креативность, т.е. способность восхищаться миром и запечатлевать сокровенное, может быть осмыслена как импрессивный луч транскоммуникации.

Экспрессивная креативность выражает невыразимое как шаг в бездну, как отодвигание тьмы неведомого, реализует луч экспрессивной транскоммуникации.

Трансцендирующая, инсайтная креативность как просветляющая, озаряющая интуиция-эйдос может быть осмыслена как восходящий луч транскоммуникации [5].

По мнению В.И. Кабрина, транскоммуникация проявляется как синхронизация и соответствие в самых разномасштабных и разномерных мирах (от геномного до трансперсонального и транскультурального) не просто через физическую, а именно через смысловую синергию или смыслообразование [6. С. 13].

Второе направление – мышление – изучается в контексте деятельности.

В ходе исследования механизмов развития мыслительных знаний и операций Г.П. Щедровицкий говорит о специфике решения познавательных задач с помощью мыслительных процессов и процессов замещения.

«Если определённая познавательная задача, взятая в применении к какому-либо объекту (мы называем его *исходным* и обозначаем выражением “$О_и$”), в силу каких-то особенностей этого объекта (мы называем их *ограничивающими* свойствами) не может быть решена посредством традиционно связанного с этой задачей мыслительного процесса α, то этот объект, как правило, *замещается* другим (назовем его *объектом-заместителем* и обозначим выражением “$О_з$”), таким, который тождествен исходному в исследуемом свойстве, но в то же время не имеет ограничивающих свойств и, следовательно, может быть исследован посредством мыслительного процесса α. В ходе замещения между $О_и$ и $О_з$ устанавливается определенное отношение, которое позволяет “переносить” знание об объекте-заместителе, полученное посредством процесса α , на исходный объект» [7].

Подобные аспекты замещения применимы в процессе создания новых результатов или так называемых продуктов активной конструктивной деятельности субъекта. При этом деятельность эта носит дуальный характер. С одной стороны, она осуществляется с учётом законов и использованием форм познающего мышления, формализуемых с помощью логического языка, но с другой – не поддаётся рациональному объяснению.

В психологии креативное мышление рассматривается с позиции деятельности, направленной на решение определённых задач и проблем. Исследуемая мыслительная деятельность формируется на основе практической, предметной деятельности. Акцент переносится на источники креативного мышления, на специфику его формирования и использования.

В рамках этого направления накоплен большой опыт. Например, креативный тип мышления определяется через деятельностные критерии и критерии достижений в работах психологов Г.С. Альтшуллера, Н.Н. Вересова, И.П. Волкова и др.

Перейдём ко второй группе исследований, которые ориентированы на выявление и анализ эпистемологических оснований креативного мышления.

По мнению А.С. Майданова, методологический и эвристический анализ творческого процесса предполагает «извлечение эпистемологических уроков из осуществленного познавательного процесса, выявление и включение в арсенал науки новых познавательных средств» [8. С. 293].

В настоящее время в исследовании природы креативного процесса используются подходы, развиваемые отечественными философами, – такие, как натуралистический, феноменологический, эволюционный, личностно-мотивационный, когнитивный.

Среди основных вопросов этой группы особо выделяются: специфика механизмов функционирования креативного мышления и работы творческой интуиции, способы развития и тренировки креативного мышления, условия, помогающие реализовать творческий потенциал личности, особенности креативного мышления при создании систем искусственного интеллекта.

В качестве базовых терминов, используемых для описания данной предметной области, выделяются творчество, интуиция, воображение, интеллект, искусственный интеллект.

В рамках данной группы не будем углубляться в широко известные факты, а лишь ограничимся упоминанием наиболее значимых в научном плане работ в области креативного мышления.

Исследования в рамках ***первого направления*** ориентированы на изучение определенного набора личностных характеристик, способностей, определяющих развитие нестандартного мышления в конкретной области.

Отдельное место в исследовании творческих способностей занимают проблемы зависимости от интеллекта и соотношения с личностными и мотивационными особенностями человека.

Особенности психических закономерностей креативного процесса подробно раскрываются через психофизиологический, психогенетический, психометрический, средовый и многофакторный подходы, которые широко используются в психологии.

Факторная теория интеллекта Д. Гилфорда опирается на такие интеллектуальные процессы, как познание, память, дивергентное мышление, конвергентное мышление и оценка. Используя психометрический подход, в творческой индивидуальности, он идентифицировал чувствительность к проблемам, беглость, гибкость, новизну, способность к преобразованию [9].

Согласно *теории интеллектуального порога* Е. Торренса, наблюдается положительная корреляция между дивергентным мышлением и творческой активностью.

По мнению Р. Стернберга, теории Д. Гилфорда и Е. Торренса являются частью общей теории WICS (wisdom, intelligence and creativity synthesized), т.е. совокупностью разума, интеллекта и креативности [10].

Предметом изучения многофакторного подхода являются такие базовые составляющие, как когнитивные (интеллект, знания), конативные (когнитивный стиль, личностные черты, мотивация), эмоциональные и средовые факторы [11].

В качестве особенностей технологии креативных мыслительных процессов зарубежными психологами выделяются следующие:

- специфика формирования умозаключений, использование категорий и абстракций. Новые комбинации идей основаны на восприятии креативным человеком аналогий (подобия), а именно восприятия между ментально не связанными элементами [12];
- специфика категоризации идей. Более широкие категоризации свойственны креативно мыслящим людям. Широкая категоризация позволяет усматривать подобие между большим количеством элементов, тогда как узкая, наоборот, – между меньшим количеством элементов;
- способность объединять в ассоциации отдалённые идеи [13].

В отечественной философии творчества наряду с такими критериями, как критичность, самостоятельность мышления, инициативность, нацеленность, память и воображение, особое место отводится вопросам влияния интуиции на креативный процесс мышления.

В широком восприятии всё мышление может пониматься как творческое [14]. Тогда как на конкретном уровне, согласно Я.А. Пономарёву, творческое мышление, в противоположность логическому, тесно связано с интуитивным полюсом [15].

«Креативность мышления проявляется в образах и идеях, в способности человека выдвигать собственные концепции и обобщать опыт предшественников; анализировать факты, наблюдать за развитием событий, привлекать интуицию, соотносить собственное знание предмета исследования и включать творческое предвидение» [16. С. 83].

Выявляя специфику внерациональных элементов познания, в особенности интуиции, Е.Н. Шульга рассматривает проблему соотношения творчества, интуиции и интеллекта. В процессе определения сути и смысла проблемы, по мнению исследователя, благодаря интуиции человек осознаёт и предвидит их.

Е.Н. Шульга отмечает, что интуиция связана с проявлением такого внутреннего качества интеллекта человека, как проницательность. А интуиция проявляется на основе опыта и знания в качестве своего предварительного условия.

При этом в науке спорным остаётся вопрос возможности соотношения таких понятий, как интуиция, воображение и интеллект, применительно к креативному мышлению и их влияния на способность сопоставлять и комбинировать факты с помощью логического анализа.

Нацеленность на изучение общих методологических вопросов креативности и креативного мышления является основой для выделения ***второго направления.***

Подчинённость творчества единым закономерностям самоорганизации сложных структур, возникновение парадоксов в результате творческого процесса, влияние критического мышления на креативное, мышление как процесс созидания человеческих смыслов, сопряжённость творчества со свободой воплощения личного замысла – таковы основные идеи и концептуальные положения, отстаиваемые авторами данного направления.

Отдельное место отводится положениям когнитивной теории, согласно которой мыслительные процессы изучаются в рамках дивергентного, метафизического мышления, скрытой ассоциации и др.

В качестве раскрытия специфики функционирования креативного мышления Е.Н. Князева предлагает модель самодостраивания мыслей и образов. Философ говорит об автопоэзисе мысли, подразумевая под этим наличие вектора на самодостраивание, изобретение и конструирование, достижение цели и построение целостности: «Сознание в своей когнитивной и креативной функции автопоэтично в том смысле, что оно направлено на поиск того, что упущено, на ликвидацию пробелов» [17. С. 16–17]

А.А. Ивин, акцентируя внимание на особенности творчества в формальных науках (логика и математика), говорит о связи логико-математического творчества с парадоксами и выявляет некоторые из них, а именно те, которые иллюстрируют идею парадоксальности всякого творчества [18]

В своих исследованиях Н.М. Смирнова и Л.М. Демченко, обращаясь к культурным и философским истокам современной интерпретации творчества, утверждают, что «исследование феноменологических механизмов конструирования смыслов чужого сознания позволяет сформулировать когнитивные принципы феноменологического исследования смысловых содержаний фундаментальных универсалий культуры как высших продуктов коллективного социального творчества» [19. С. 129].

В числе актуальных зарубежных исследований в области методологических вопросов креативности находятся работы В. Винаке, Р. Сачмена, Д. Лао.

Творческая мысль состоит из определённых элементов, обобщающих функций и предполагает новые формы, которые включают прошлый опыт. Креативное мышление есть реальное слияние форм, а не просто их соединение. По мнению В. Винаке, это воображение, а не рациональные операции [20].

С точки зрения психологии характерными особенностями креативного мышления является то, что оно автономно и полностью самонаправленно, а также ориентировано на создание новой формы – новой в том смысле, что мыслитель не знал о форме прежде, до того, как он стал работать над ней. Взаимосвязь мышления и опыта прослеживается в работах известного психолога Р. Сачмена. В своём исследовании он соотносит креативное мышление с

термином «концептуальный рост», который представляет собой расширение, выработку модификации концептуальной основы для обеспечения большего значения опыта. «Посредством концептуального роста большая часть опыта имеет значение, которое определено в каждой его единице. Это шаг к более объединённой системе идей на более высоком уровне абстракции» [21. P. 89].

А теперь – о другой точке зрения.

Обладая критическим мышлением, человек умеет устанавливать логические связи между идеями, кратко и точно формулировать идеи, определять и оценивать аргументы, оценивать плюсы и минусы решения, выявлять несоответствия и типичные ошибки в суждениях, систематически анализировать проблемы, определять актуальность и важность идеи, обосновывать свои убеждения и ценности, проявлять и оценивать свои умственные способности [22. P. 2].

Согласно Д. Лао, существует несколько теоретических областей знания, в которых используется критическое мышление: анализ (использование определений для уточнения смысла, четкое и систематическое объяснение идей), логика (анализ и оценка аргументов, выявление логических несоответствий), научные методы (определение причин и следствий, использование теории вероятностей и статистики), решение и ценности (рациональное принятие решений, критическая рефлексия ценностных и моральных суждений), заблуждения и предрассудки (типичные ошибки суждений). В качестве основных критериев мышления философ выделяет: независимость мышления, открытость новому, хладнокровность и беспристрастность, аналитическое и рефлексивное отношение.

Всё это способствует развитию креативного мышления – как при анализе проблем, так и при определении недостатков существующих решений.

По мнению Д. Лао, несмотря на то, что не существует алгоритма создания новых и полезных идей, есть много способов развивать креативность. Креативные люди прилежны, дисциплинированы и сосредоточены. Рождение новых идей осуществляется согласно процессному подходу, который включает четыре основные стадии: подготовку, исследование, инкубацию и проверку. А определяющим моментом в этом процессе является активное исследование связи между идеями, что возможно благодаря развитому критическому мышлению.

Основу ***третьего направления*** составляют исследования креативного мышления в науке.

Динамика творческого процесса в научном познании подробно анализируется в работах А.С. Майданова. Процесс научного знания осуществляется в условиях неравномерного, неоднозначно направленного и далёкого от строгого поступательного движения процесса познания, что, по мнению автора, позволяет охарактеризовать научное творчество как драматически-прогрессивный процесс. Существенные черты его проявляются в таких характеристиках и формах развития познавательного процесса, как плюралистичность, конвергенция и дивергенция, кумуляция и элиминация, диалог, дискуссия [23. С. 87].

В своих исследованиях А.С. Майданов предлагает концептуальную метатеоретическую образную схему научного познания, выделяя определённые

этапы такого рода интеллектуальной деятельности: фаза первичного знания, фаза экстенсивных исследований, связанная с поиском предпосылочного знания, фаза интенсивных исследований, где раскрывается эвристический потенциал самого научного знания, а также тот предварительный опыт исследовательской работы учёного, который может привести к озарению, вызывая ощущение внезапности [24. С. 290–291].

Отдельные факторы, влияющие на современные проявления творческой активности в инженерном деле, подробно анализируются в работах Е.А. Гаврилиной [25].

А.Ю. Алексеев определяет проблему творчества в исследованиях искусственного интеллекта и предлагает методологическую модель изучения данной проблемы применительно к е-культуре [26].

Существенные трансформации, вызванные глобальным распространением информационные технологий, обусловливают необходимость дельнейшего, более детального исследования креативного мышления в различных областях научного знания.

Подводя итог, отметим, что мышление, в том числе и креативное, есть процесс, осуществляющийся на основе определённых знаний и процессов, складывающихся исторически.

Креативное мышление предполагает процесс отражения многообразных свойств предмета, характерной особенностью которого является то, что в ходе его развития изменяется степень существенности отражаемых свойств. При этом в центре внимания оказываются не отдельно взятые предметы и их свойства, а связи между ними, установление которых невозможно без грамотного использования рациональных форм мышления.

Согласно выделенным направлениям исследования, креативное мышление с онтологической точки зрения наряду с деятельностью по созданию новых результатов или так называемых продуктов активной конструктивной деятельности субъекта невозможно вне акта коммуникации.

В свою очередь, среди основных эпистемологических направлений исследования креативного мышления стоит выделить, во-первых, ориентированность на изучение определенного набора личностных характеристик, способностей, определяющих развитие нестандартного мышления в конкретной области. Во-вторых, нацеленность на изучение общих методологических вопросов креативности и креативного мышления. Формирование особенностей креативного мышления, с одной стороны, обусловлено тесной взаимосвязью с критическим мышлением, с другой – определяющей ролью интуиции в процессе создания и реализации новых оригинальных и необходимых обществу идей. В-третьих, это исследования креативного мышления в науке, к числу которых относятся система методов анализа научного творчества, факторы научного творчества, особенности творчества в различных областях научного знания.

Литература

1. *Рубинштейн С.Л.* К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языкознания. 1957. № 2. С. 42–49.

2. *Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г.* Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67

3. *Щедровицкий Г.П.* «Языковое мышление» и его анализ // Вопросы языкознания. 1957. № 1. С. 56–68.

4. *Кабрин В.И.* Коммуникативный мир и транскоммуникативный потенциал жизни личности: теория, методы, исследования. М.: Смысл, 2005. 247 с.

5. *Кабрин В.И.* Креативность, духовность и личностный рост в ноэтической и транскоммуникативной перспективе // Сибирский психологический журнал. 1999. № 10. С. 83–86.

6. *Транскоммуникация*: преобразование жизненных миров человека / под ред. В.И. Кабрина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 400 с.

7. *Щедровицкий Г.П.,* Ладенко И.С. О некоторых принципах генетического исследования мышления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/4

8. *Майданов А.С.* Методология научного творчества. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 512 с.

9. *Guilford J.P.* A Psychometric Approach to Creativity, Mimeographed, University of Southern California, Mar., 1962.

10. *Sternberg R.J.* Wisdom, intelligence and creativity synthesized. New York: Cambridge University Press. 2003.

11. *Sternberg, R.J.* The nature of creativity // Creativity Research Journal. 2006. V. 18, № 1. P. 87–98.

12. *Martindale C.* Personality, situation and creativity // J. Glover, R. Ronning, G. Reynolds (Eds). Handbook of Creativity. N.Y.: Plenum. 1989. P. 211–232.

13. *Mednick S.A.* The associative basis of the creative process // Psychological Review. 1962. Vol. 9. P. 220–232.

14. *Брушлинский А.В.* Психология субъекта. СПб.: Алетея, 2003

15. *Пономарёв Я.А.* Перспективы развития психологии творчества // Психология творчества: школа Я.А. Пономарёва / под ред. Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2006. С. 145–276.

16. *Шульга Е.Н.* Философия креативности: важнейшие вехи изучения творчества // Философия творчества. Ежегодник. М., 2016. Вып. 2.

17. *Князева Е.Н.* Природа креативности в зеркале креативности природы // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С. 10–47.

18. *Ивин А.А.* «… И гений, парадоксов друг…» // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С. 48–81.

19. *Смирнова Н.М., Демченко Л.М.* Трансцендентальная ориентация когнитивного анализа творчества // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С. 104–129.

20. *Vinacke W.E.* The Psychology of Thinking. New York: McGraw-Hill, 1952.

21. *Suchman J.R., Demos G.D., Torrance E.P.* Creative Thinking and Conceptual Growth // Creativity Its Educational Implications. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1967. 336 p.

22. *Joe Y.F.* Lau An introduction to critical thinking and creativity: think more, think better. Wiley, cop. 2011. 262 p.

23. *Майданов А.С.* Динамика творческого процесса в научном познании // Философия творчества. Ежегодник. М., 2016. Вып. 2.

24. *Майданов А.С.* Методология научного творчества. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 512 с.

25. *Гаврилина Е.А.* Инженерное творчество: опыт эпистемологического анализа // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С. 362–373.

26. *Алексеев А.Ю.* Проблема творчества в исследованиях искусственного интеллекта // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С. 374–413.

Daria N. Borovinskaya. Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation)
E-mail: sweetharddk@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/2

CREATIVE THINKING: THE MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH

Key words: thinking, creative thinking, experience, language, thinking in the context of the act of communication, thinking in the context of activity, epistemology of creative thinking, intuition, imagination, intellect.

In the introduction part of the article the author gives a proof of the topicality issue, defines the goal and formulates the problem of the research. In the main part of the article the author identifies the

ontological and epistemological basis of the study of creative thinking at the present stage of development of scientific knowledge. The most of the fundamental works in the field of thinking form a certain unity of logical and psychological ideas about thinking. From the point of view of modern research, several groups of directions can be identified that are oriented both to the study of theoretical thinking and to the achievement of a practical result and its close interrelation with experiment. The first group of directions is aimed at studying the ontological foundations of creative thinking. This is understanding of thinking in the context of the act of communication and in the context of activities. The second group of directions is focused on the identification and analysis of epistemological foundations of creative thinking. The main questions of this group are the specifics of the mechanisms of the functioning of creative thinking and the work of creative intuition, the ways of developing and training creative thinking, the conditions that help to realize the creative potential of the individual, the features of creative thinking when creating artificial intelligence systems. The basic terms of this group are creativity, intuition, imagination, intellect, artificial intelligence. Studies in the first direction are focused on studying a certain set of personal characteristics, abilities that determine the development of non-standard thinking in a particular area. Aiming at studying the general methodological issues of creativity and creative thinking is the basis for identifying the second direction. Studies of creative thinking in science form the basis of the third direction. At the end of the article the author summarizes and concludes.

References

1. Rubinstein, S.L. (1957) K voprosu o yazyke, rechi i myshlenii [On language, speech and thinking]. *Voprosy yazykoznaniya*. 2. pp. 42–49.

2. Shchedrovitskiy, G.P. & Yakobson, S.G. (n.d.) *Zametki k opredeleniyu ponyatiy "myshlenie" i "ponimanie"* [Notes to the definition of the concepts "thinking" and "understanding"]. [Online] Available from: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67.

3. Shchedrovitskiy, G.P. (1957) "Yazykovoe myshlenie" i ego analiz ["Linguistic thinking" and its analysis]. *Voprosy yazykoznaniya*. 1. pp. 56–68.

4. Kabrin, V.I. (2005) *Kommunikativnyy mir i transkommunikativnyy potentsial zhizni lichnosti: teoriya, metody, issledovaniya* [Communicative world and transcommunicative potential of an individual's life: theory, methods, research]. Moscow: Smysl.

5. Kabrin, V.I. (1999) Kreativnost', dukhovnost' i lichnostnyy rost v noeticheskoy i transkommunikativnoy perspektive [Creativity, spirituality and personal growth in a noetic and transcommunicative perspective]. *Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Psychology.* 10. pp. 83–86.

6. Kabrin, V.I. (ed.) (2011) *Transkommunikatsiya: preobrazovanie zhiznennykh mirov cheloveka* [Transcommunication: The transformation of the living worlds]. Tomsk: Tomsk State University.

7. Shchedrovitskiy, G.P. & Ladenko, I.S. (n.d.) *O nekotorykh printsipakh geneticheskogo issledovaniya myshleniya* [. On some principles of genetic research of thinking]. [Online] Available from: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/4.

8. Maydanov, A.S. (2008) *Metodologiya nauchnogo tvorchestva* [Methodology of scientific creativity]. Moscow: LKI.

9. Guilford, J.P. (1962) *A Psychometric Approach to Creativity, Mimeographed*. University of Southern California.

10. Sternberg, R.J. (2003) *Wisdom, intelligence and creativity synthesized*. New York: Cambridge University Press.

11. Sternberg, R.J. (2006) The nature of creativity. *Creativity Research Journal*. 18(1). pp. 87–98. DOI: 10.1207/s15326934crj1801_10

12. Martindale, C. (1989) Personality, situation and creativity. In: Glover, J., Ronning, R. & Reynolds, G. (eds) *Handbook of Creativity*. New York: Plenum. pp. 211–232.

13. Mednick, S.A. (1962) The associative basis of the creative process. *Psychological Review*. 9. pp. 220–232.

14. Brushlinskiy, A.V. (2003) *Psikhologiya sub"ekta* [The psychology of the subject]. St. Petersburg: Alteya

15. Ponomarev, Ya.A. (2006) Perspektivy razvitiya psikhologii tvorchestva [Prospects for the development of the psychology of creativity]. In: Ushakov, D.V. (ed.) *Psikhologiya tvorchestva: shkola Ya.A. Ponomareva* [Psychology of creativity: Ya.A. Ponomarev's school]. Moscow: Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences. pp. 145–276.

16. Shulga, E.N. (2016) Filosofiya kreativnosti: vazhneyshie vekhi izucheniya tvorchestva [Philosophy of creativity: the most important milestones in the study of creativity]. In: Smirnova, N.M. (ed.) *Filosofiya tvorchestva* [Philosophy of Creativity]. Issue 2. Moscow: IIntell.

17. Knyazeva, E.N. (2013) Priroda kreativnosti v zerkale kreativnosti prirody [The nature of creativity in the mirror of the creativity of nature]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: Kanon+, ROOI "Reabilitatsiya". pp. 10–47.

18. Ivin, A.A. (2013) "… I geniy, paradoksov drug…" [And genius, the paradoxes' friend]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: Kanon+, ROOI "Reabilitatsiya". pp. 48–81.

19. Smirnova, N.M. & Demchenko, L.M. (2013) Transtsendental'naya orientatsiya kognitivnogo analiza tvorchestva [Transcendental orientation of cognitive analysis of creativity]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: Kanon+, ROOI "Reabilitatsiya". pp. 104–129.

20. Vinacke, W.E. (1952) *The Psychology of Thinking*. New York: McGraw-Hill.

21. Suchman, J.R., Demos, G.D. & Torrance, E.P. (1967) Creative Thinking and Conceptual Growth. In: Gowan, J.C. et al. *Creativity Its Educational Implications*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

22. Lau J.Y.F. (2011) *An Introduction to Critical Thinking and Creativity: Think More, Think Better*. John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118033449

23. Maydanov, A.S. (2016) Dinamika tvorcheskogo protsessa v nauchnom poznanii [Dynamics of the creative process in scientific knowledge]. In: Smirnova, N.M. (ed.) *Filosofiya tvorchestva* [Philosophy of Creativity]. Issue 2. Moscow: IIntell.

24. Maydanov, A.S. (2008) *Metodologiya nauchnogo tvorchestva* [Methodology of scientific creativity]. Moscow: LKI.

25. Gavrilina, E.A. (2013) Inzhenernoe tvorchestvo: opyt epistemologicheskogo analiza [Engineering creativity: the experience of epistemological analysis]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: Kanon+, ROOI "Reabilitatsiya". pp. 362–373.

26. Alekseev, A.Yu. (2013) Problema tvorchestva v issledovaniyakh iskusstvennogo intellekta [The problem of creativity in the studies of artificial intelligence]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: Kanon+, ROOI "Reabilitatsiya". pp. 374–413.

УДК 165.0
DOI: 10.17223/1998863X/40/3

И.А. Гущин, О.А. Козырева

ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ АНАЛИЗА ЯЗЫКА: ОТ МЕТАФИЗИКИ ДО НАРРАТИВА

Обсуждается вопрос о взаимоотношении философии языка и философии сознания. Демонстрируется версия ответа на него, которая предполагает, что метод анализа языка является методом анализа ключевых проблем философии сознания, что приводит к тому, что философия сознания поглощается философией языка и утрачивает менталистскую специфику.
Ключевые слова: *философия сознания, философия языка, ментализм, гетерофеноменология, Рассел.*

Вопрос о соотношении предметных областей философии языка и философии сознания (philosophy of mind) носит открытый характер. Тем не менее в многообразии существующих вариантов ответа на него можно выделить два основных направления аргументации: первое направление стремится обособить проблему природы сознания от языка, второе, напротив, не видит возможности разговора о сознании без разговора о языке. В рамках второго направления, которое условно можно назвать лингвистическим, также реализуются различные варианты соотношения философии языка и философии сознания (включение одной области в другую, их объединение или пересечение и т. д.). В этой работе мы проанализируем основные вехи в развитии лингвистического направления, выбрав наиболее значимые, с нашей точки зрения, фигуры, так или иначе обращавшиеся к проблеме сознания. Наш главный тезис состоит в том, что использование метода анализа языка с неизбежностью приводит к содержательным противоречиям с метафизикой и ментализмом.

1. Лингвистическое направление аргументации существует внутри аналитической традиции философии с начала XX в., когда «особенности различных психических состояний («ментальных актов», по ставшему популярным выражению английского философа П. Гича) рассматривались в пределах основного для аналитической философии проблемного поля – поддающихся описанию лингвистических явлений. Многим аналитикам показалась бесспорной связь лингвистического поведения людей и их психических возможностей. Вопросы о свойствах и закономерностях психического трансформировались у них в вопросы о том, как мы *говорим* о психическом и как *понимаем* высказывания о нем. При этом сам лингвистический отчет о психических процессах стал трактоваться не как внешняя, случайная форма их проявления, но как важнейшая и необходимая сторона психического» [1. С. 208]. Подобный взгляд на возникновение лингвистического направления в философии сознания можно уточнить, добавив, что сам «лингвистический

поворот» в философии XX в. открыл путь к решению проблемы объективного воплощения в опыте субъективно переживаемого психического.

Критикуя метафизическую направленность предшествующей философии, аналитические философы обратились к анализу языковых структур, в которых оформляется наш познавательный опыт. Основные философские категории выражают не реальные сущности, а наш способ говорения о мире, который этот мир во многом и конституирует. И если мы имеем в нашем словаре некоторое слово, то нам не следует искать за ним сущностей и приписывать ему онтологический статус, нам необходимо выяснить, какую роль оно играет в нашем языке (как в обыденном, так и в языках различных теорий).

Однако условия возможности формулировки той самой проблемы «связи лингвистического поведения людей и их психических возможностей» сформировались задолго до появления аналитической традиции философии, а именно – еще в философии Р. Декарта, чье имя традиционно связывается с возникновением философии сознания как отдельной области философского знания. Именно из его философской системы вырастает классическая онтологическая проблема взаимоотношения ментального и телесного (mind-body problem), проблема ментальной каузации, проблема других сознаний (problem of other minds), которая исходит из определения сознания (consciousness) как внутренней непосредственной осведомленности субъекта о своих восприятиях различного рода.

Любая современная теория сознания (mind) стремится предложить свои решения перечисленных выше проблем, составляющих ядро проблематики философии сознания. Философская система Р. Декарта в большинстве этих теорий предстает в виде мишени для критики. Помимо указания на несостоятельность концепции субстанциального дуализма главной претензией к Р. Декарту является создание им мифа о наличии внутренних, приватных и, следовательно, недоступных наблюдению и описанию извне, достоверно известных только самому субъекту ментальных состояний. Эти состояния могут выражаться и таким способом становиться публичными, но по своей природе они являются приватными. Как происходит критика подобного картезианского мифа (иначе, философии ментализма)? Она осуществляется в режиме постановки проблемы взаимоотношения языка и ментального и ее решения.

Такое классическое представление о философии Р. Декарта как о философии ментализма воспроизводится во многих теориях сознания. Однако оно достаточно фрагментарно, поскольку зачастую мыслители при разработке собственных концепций нацелены не столько на подробный анализ идей Р. Декарта, сколько на поиск удобного объекта критики для утверждения своих концепций и вследствие этого упускают из вида, что в самой метафизике Р. Декарта можно обнаружить условия для постановки проблемы взаимоотношения языка и мышления.

Эта возможность станет очевидной, если поставить в отношении философской системы Р. Декарта следующий вопрос: каков критерий приписывания ментальных состояний различным существам? И несмотря на то, что сформулированный таким образом вопрос отсылает к современной философии сознания – ведь это вопрос, который особо остро встает при обсуждении

проблем функционализма [2], – он так или иначе уже присутствует в картезианской философии, и попытка эксплицировать его с целью рассмотреть метафизику Р. Декарта с не столь привычной стороны дает возможность лучше понять специфику философской концепции, ставшей родоначальницей этой области философского знания.

В отношении заявленного выше вопроса Р. Декарт мог бы сказать следующее: нам действительно необходимо отличать мыслящих существ от существ немыслящих, которые полностью состоят из материальной субстанции, и для этого нам необходимо иметь ясный критерий. Продемонстрировать, каков же этот критерий и в чем его преимущества, можно при помощи сопоставления человека – существа, состоящего из материальной и ментальной субстанций, – и двух его ближайших «товарищей» по наличию материальной составляющей: животного и машины.

В первом случае и человек, и животное обладают телом, которое является полностью детерминированной системой, чье функционирование не зависит от какой-либо ментальной субстанции. Отличие же человека от животного состоит в том, что последнее не мыслит. Р. Декарт отмечает, что наделять животных мышлением – предрассудок, возникающий из своего рода бихевиоризма: исходя из сходства органов тела и движений у людей и животных, мы склонны к тому, чтобы допускать у последних наличие некоего движущего первоначала, отвечающего в том числе и за мышление.

Какова в таком случае специфика человека, позволяющая наделять мышлением только его? Эта специфика заключается в языке, которым обладают люди: «Но главным из соображений, согласно которым животные лишены мышления, является, на мой взгляд, то, что <…> до сих пор никогда не наблюдалось, чтобы какое-то дикое животное достигло столь высокого совершенства, что могло бы пользоваться истинной речью, или, иначе говоря, чтобы оно обозначило голосом или кивком нечто соотносящееся исключительно к мышлению, а не к естественным потребностям. А ведь такая речь – единственный достоверный признак скрытого в теле мышления, и ею пользуются все люди, даже самые тупые и лишенные разума, а также языка и всех органов речи, но только не животные; поэтому ее следует считать истинным видовым различием между людьми и животными» [3. С. 575].

Во втором случае – в случае сопоставления человека с машиной – Р. Декарт предлагает осуществить небольшой мысленный эксперимент и вообразить себе искусно сделанную машину, чье поведение невозможно было бы отличить от поведения человека[1]. И тем не менее мы все равно смогли бы сказать, что перед нами не настоящий человек: «Такая машина никогда не могла бы пользоваться словами или другими знаками, сочетая их так, как это делаем мы, чтобы сообщать другим свои мысли. Можно, конечно, представить себе, что машина сделана так, что произносит слова, и некоторые из них – даже в связи с телесным воздействием, вызывающим то или иное изменение в ее органах, как, например, если тронуть ее в каком-нибудь месте, и она спросит, что от нее хотят, тронуть в другом – закричит, что ей больно, и т.п. Но никак нельзя себе представить, что она расположит слова различ-

[1] В этом мысленном эксперименте Р. Декарта уже улавливаются философские интуиции, которые получат свое воплощение в XX в. в аргументе философского зомби Д. Чалмерса.

ным образом, чтобы ответить на сказанное в ее присутствии, на что, однако, способны даже самые тупые люди» [4. С. 283].

Описанные выше два варианта определения специфики человека как обладающего мышлением через наличие языка формируют так называемый языковой аргумент Р. Декарта, который, согласно Дж. Коттингему, демонстрирует несостоятельность представления о приверженности Р. Декарта идее семантической приватности: «Декарт недвусмысленным образом выдвинул утверждение о том, что не бывает мышления без языка; и, защищая это утверждение, он все время трактует язык как объективный зафиксированный в межличностных отношениях феномен, подлежащий четкому «внешнему» критерию того, что может считаться его подлинными конкретизациями» [5. Р. 30]. Человеческий язык превосходит любой другой вид языка, будь то язык животных или язык искусственный, которые легко описываются как система из стимулов и реакций на него. Человеческий язык описать подобным образом не удастся, так как он принципиально богаче в отношении возможности порождения новых смыслов.

По сути, картезианское представление о тесной взаимосвязи языка и мышления возрождается в XX столетии в аргументе Китайской комнаты Дж. Серля. И несмотря на то, что последний является одним из самых непримиримых борцов с картезианским дуализмом, его собственные взгляды на природу языка неосознанно совпадают с взглядами Р. Декарта. К.О. Апель, упрекая Дж. Серля в недостатке аналитизма, пишет, что аргумент последнего о том, что «интенциональность более фундаментальна (а по существу имеет онтологическую и филогенетическую первичность), чем лингвистическое значение, становится окончательно понятным, только если он постигается в свете следующего эволюционистского тезиса: Мозг первичен по отношению к сознанию в человеческом смысле, которое, в свою очередь, филогенетически и онтогенетически первично по отношению к языку, который, в свою очередь, в начале своего развития не является пропозиционально дифференцированным языком» [6. С. 102]. Интенциональная семантика, присущая человеческому мозгу, о которой размышляет Дж. Серль, во многом коррелирует с утверждаемой Р. Декартом способностью человека бесконечно порождать новые смыслы в языке, которая обусловлена наличием мышления. С позиции Р. Декарта, именно язык – его семантика – отличает мыслящих существ от немыслящих, и тогда критерий наличия подлинных ментальных состояний заключается в способности субъекта пользоваться языком.

2. В современной философии сознания одним из наиболее радикальных критиков картезианского ментализма является Д. Деннет[1]. Он атакует ментализм одновременно с двух позиций: с позиции натурализма и с позиции нарративизма. В этой статье мы ограничимся рассмотрением исключительно нарративизма, поскольку в нем дается прямой ответ на вопрос о соотношении языка и ментального.

[1] Д. Деннет, как и многие другие, видит основания ментализма в философии Р. Декарта, но его критика являет собой не столько критику философской системы самого Р. Декарта (которая, как мы стремились показать, не столь однозначна в отношении природы ментального), сколько сложившегося представления о картезианстве в целом.

Нарративизм Д. Деннета связан, прежде всего, с предлагаемым им методом гетерофеноменологии для исследования ментальных состояний и сознания. Гетерофеноменологический метод выступает связующим звеном между методологией естественных наук и интроспективной методологией феноменологии, будучи нацеленным на преодоление разграничения на перспективу третьего лица и перспективу первого лица при описании, объяснении и предсказании поведения людей.

Содержанием деятельности гетерофеноменолога выступает проведение экспериментов, в которых испытуемые взаимодействуют с экспериментатором, а именно, высказывают мнения, делают предположения, описывают свой внутренний опыт, отвечают на вопросы. В результате экспериментов гетерофеноменолог получает набор первичных данных – произнесенные испытуемыми людьми звуки, – которые затем он интерпретирует таким образом, что рассматривает их в качестве обладающих значением слов и предложений, а затем и речевых актов в целом. Интерпретация осуществляется на основании интерсубъективно установленных правил социальной и языковой практики и представляет собой процесс приписывания значения.

Механизм приписывания значений, или интерпретация, осуществляется тогда, когда мы принимаем интенциональную установку, чье функционирование Д. Деннет описывает так: «Сначала вы решаете рассматривать объект, чье поведение нужно предсказать, в качестве рационального агента; затем вы выясняете, какие убеждения этот агент должен иметь с учетом его места в мире и его цели. Затем вы выясняете, какие желания он должен иметь при тех же самых условиях, и, наконец, вы предсказываете, что в свете своих убеждений этот рациональный агент будет действовать таким образом, чтобы способствовать достижению своих целей» [7. P. 17]. Из идеи приписываемой интенциональности вытекает неприятие идеи естественной интенциональности, что, в свою очередь, приводит к тому, что в рамках гетерофеноменологического метода вопрос об истинности пропозициональных установок (или ментальных состояний) испытуемых субъектов не ставится. Гетерофеноменология, с точки зрения Д. Деннета, нейтральна в отношении вопроса о реальности ментальных состояний, она также заключает в скобки и вопрос об истинности утверждений субъекта о себе самом.

Гетерофеноменолог не стремится обнаружить, например, несоответствие между «подлинными» мотивами поведения испытуемых и предлагаемыми ими самими объяснениями своих действий. Точка зрения первого лица – точка зрения испытуемого субъекта – сохраняет свою значимость, но само ее появление обусловлено существованием в социальной практике интенциональной установки по отношению к людям: не будучи наученными говорить о себе и своих действиях в терминах убеждений и желаний, мы бы никогда не имели убеждений и желаний. Поэтому не только содержание ментальных состояний определяется интерсубъективностью, но и само их *наличие* у существ: убеждения могут оказаться всего лишь теоретическими фикциями, но до тех пор, пока с их помощью нам удается описывать, объяснять и предсказывать поведение других людей и самих себя, они будут являться неотъемлемой частью нашего способа представления о ментальном.

Другими словами, при использовании гетерофеноменологического метода критерий приписывания ментальных состояний носит интерсубъективный характер. И Д. Деннет уверен в том, что подобная интерсубъективность позволяет включать в поле научного исследования как субъективные феномены, так и объективные: «Эта межперсональная коммуникация дает возможность вам, исследователю, составить каталог того, что субъект считает истинным о своем сознательном опыте. Этот каталог убеждений конкретизирует гетерофеноменологический мир субъекта, и мир, согласно субъекту, – субъективный мир субъекта – не следует смешивать с реальным миром. Полный набор деталей гетерофеноменологии плюс все данные, которые мы можем собрать о происходящих событиях в мозге субъектов и в окружающей среде, составляют полный набор данных для теории человеческого сознания» [8. P. 20].

Описанный выше каталог убеждений исследуемого субъекта Д. Деннет именует нарративом – изложением событий внешнего мира и/или отчетов о своих внутренних переживаниях сознательного характера, объединенных единой темой и структурированных определенным образом. Нарратив имеет не только теоретическую значимость (для гетерофеноменолога), но и значимость практическую – для самого рассказывающего субъекта: из нарративов формируется так называемая самость или Я рассказывающего.

Д. Деннет считается одним из основателей теории нарративной самости, в которой самость рассматривается не как реальная сущность какого бы то ни было вида, но как теоретический конструкт, который удобно использовать для описания и предсказания поведения субъекта. Вполне вероятно, что, как и в случае с интенциональностью, следует вести речь о приписанной самости, и это приписывание осуществляется на основе успешно функционирующего рассказа о себе – рассказа, чей способ составления должен тоже носить интерсубъективный характер, дабы подпадать под принятое в обществе представление о том, каким должен быть рассказ о себе.

В итоге, исходя из того, что мы – это то, что мы о себе рассказываем, получается, что гетерофеноменологический мир субъекта является языковым. Таковым является и мир, образуемый гетерофеноменологическим методом, так как любая научная теория – это язык и способ рассказа о мире. По Д. Деннету, неважно, существуют, например, убеждения на самом деле или нет, важно то, что в нашем теоретическом и естественном языке существует традиция разговоров о них, и эти разговоры являются объективными, даже если сами убеждения окажутся на деле субъективными и иллюзорными.

Подобная онтологическая нейтральность гетерофеноменологии и следующая из нее попытка объяснения феноменов ментального и сознания при помощи метода языкового анализа становятся для Д. Деннета основанием критики Дж. Серля и его аргумента Китайской комнаты. Последовательный гетерофеноменолог не может принять интуицию, согласно которой сознание связано с точкой зрения от первого лица и внутренней интенциональностью – а это именно то, что заявляет Дж. Серль, когда говорит о том, что семантика присуща человеческому мозгу, и ни один ИИ не сможет обладать ею в той же мере, что и человек. Д. Деннет утверждает, что позиция Дж. Серля – это регресс к картезианству, которое последний так отчаянно критиковал, поскольку

на вопрос о том, каким образом биохимия мозга порождает сознание, он отвечает, что «посредством удивительной причинно-следственной силы; это та же самая причинно-следственная сила, которую Декарт приписывал нематериальным душам, и Серль, убеждая нас в том, что все это так или иначе просто вопрос биохимии, сделал ее не менее удивительной или мистической – или в конечном счете неясной» [7. P. 336].

И несмотря на то, что Д. Деннет придерживается материалистического подхода к изучению ментального, он скептически настроен по отношению к различным версиям материализма, предлагаемым другими философами. Помимо уже упомянутой позиции Дж. Серля неприятие Д. Деннета вызывает и позиция элиминативного материализма, поддерживаемая П.С. и П.М. Черчлендами. Эту позицию можно рассматривать как проект критики языка – языка фолк-психологии, на котором нас научили описывать свой предположительно внутренний мир опыта. Так как фолк-психология представляет собой научную теорию (сеть понятий, описывающих, объясняющих и предсказывающих поведение человека), то у нее имеется и своя онтология, в которой существуют такие феномены, как убеждения, желания, страхи и т.д. Элиминативный материализм полагает, что эта онтология в корне неверна и, следовательно, неверен и сам язык описания, т.е. теория: «Элиминативный материализм – это тезис, согласно которому наша повседневная концепция психологических феноменов составляет совершенно ложную теорию, теорию фундаментально настолько дефектную, что и ее принципы, и ее онтология в конце концов будут вытеснены – а не мирно редуцированы – завершенной нейронаукой» [9. P. 67]. Смена одного концептуального каркаса другим влечет за собой смену онтологии, и именно поэтому решение классической онтологической проблемы взаимоотношения ментального и физического переходит из плоскости метафизики в плоскость языка[1].

В противоположность Д. Деннету элиминативисты настаивают на необходимости отказа от наших повседневных способов описания себя, так как они лишь запутывают, а не проясняют то, что происходит в сфере ментального/физического. Для Д. Деннета же фолк-психология конституирует тот самый гетерофеноменологический мир субъектов, так как они были научены создавать рассказы о себе при помощи понятий из словаря фолк-психологии. И если мы хотим включить в теорию о ментальном точку зрения первого лица – а это значит, включить в теорию рассказы испытуемых о самих себе, прошедшие интерпретацию исследователем, – то мы никак не можем отказаться от фолк-психологии, даже если будем знать, что она действительно представляет собой ложную теорию.

3. Несмотря на то, что сама идея выделения фолк-психологии в качестве теории и ее критика возникли относительно недавно, статус высказываний о ментальном проблематизировался уже в концепциях сознания первой половины XX века. В определенном смысле их авторы решали ту

[1] Отдельно стоит отметить, что, на наш взгляд, в проекте нейрофилософии П.С. Черчленд следует видеть попытку продемонстрировать возможный – с точки зрения самого автора, конечно же, единственно верный – язык описания ментальных феноменов, имеющий определенную онтологию, а не попытку представить решение онтологической проблемы взаимоотношения ментального и его носителя – мозга.

же самую проблему, что и оперирующие с понятием фолк-психологии Д. Деннет и П.С. и П.М. Черчленды, но в отличие от последних объектом их исследований были высказывания о ментальном, все еще насыщенные смыслами уходящей в прошлое классической метафизики.

Одним из традиционных примеров таких концепций принято считать концепцию логического бихевиоризма Г. Райла[1]. В результате ее развития способом работы с проблемами, возникающими в теории сознания, после отказа от метода интроспекции и критики метафизического (картезианского) статуса ментального оказывается подробное описание поведения субъекта или агента, которое осуществимо только на достаточно выразительном языке. Но необходимость такого языка порождает, по крайней мере, два вопроса. Первый звучит следующим образом: насколько наши описания поведения агента должны быть редуцированы к физическому уровню? И второй − каков статус высказываний агента о своих состояниях, допустимо ли их включение в описание поведения (т. е. насколько само высказывание является поведением)?

Схожие вопросы возникают и в концепции другого знаменитого философа-аналитика Л. Витгенштейна, которые во многом являются следствием попытки применить метод анализа языка в рамках философии сознания. Но рассмотрение возможных ответов на эти вопросы в концепциях данных авторов неизбежно уведет нас в сторону от целей нашего исследования. Поэтому прагматически более эффективным выглядит анализ позиции Б. Рассела, на которую в той или иной степени опирались оба названных нами философа.

В концепции Б. Рассела представлен один из наиболее примечательных примеров соотношения философии языка и философии сознания. Обращение Б. Рассела к проблематике философии сознания носило во многом эпизодический характер, и прежде всего Б. Рассел известен достижениями в области исследований языка. Не останавливаясь на подробном рассмотрении этих результатов, ограничимся обобщением того, что стремление использовать логический анализ языка для решения традиционных философских проблем является одной из отличительных черт аналитической философии, у основания которой как раз и стоит Б. Рассел.

В данном контексте можно сделать вывод о том, что философия языка была для него шире философии сознания, так как он анализировал проблемы второй области знания через первую, в определенном смысле подчиняя проблематику сознания положениям в активно развивавшейся им самим философии языка.

В качестве яркого примера подобного положения дел можно привести описание одного из первоначальных тезисов Б. Рассела, связанное с проблемой сознания (consciousness). Разрабатывая свою концепцию, он подробно останавливается на таких различных аспектах ментального (mind), как инстинкты, привычки, память, убеждения и т.д., давая им истолкование с использованием метода анализа языка (настаивая также и на важности научного – бихевиористского – подхода при построении теории сознания (mind). И в то же время такой гипотетический аспект ментального, как сознание

[1] Важным является то, что философский бихевиоризм Г. Райла представляет собой достаточно неоднозначную концепцию [10]. Но в рамках данного исследования мы остановимся на традиционном представлении, хотя в целом наши выводы верны и для альтернативных подходов.

(consciousness), является, согласно Б. Расселу, лингвистической фикцией, он просто локально удобен как описательный конструкт, но вовсе не является действительной частью ментального. Получается, что предлагаемое Б. Расселом исследование аспектов ментального имеет своим результатом исключение значительной части объема философии сознания, что представляет собой весомую критику ментализма: на первый взгляд для него аспекты ментального имеют лингвистический характер, а феномен сознания (consciousness) оказывается иллюзией, возникающей в результате функционирования нашего языка.

Но возможна и более сложная интерпретация позиции Б. Рассела. Для того чтобы ее продемонстрировать, необходимо сначала указать на одно важное обстоятельство: Б. Рассел приходит к проблематике сознания в начале XX в., когда в психологии и физике сложилась во многом парадоксальная ситуация. Он характеризует ее следующим образом: «С одной стороны, многие психологи, особенно принадлежащие к бихевиористской школе, стремятся занять, по сути, материалистическую позицию в качестве основы метода вместо метафизики. <…> В то же время физики, особенно Эйнштейн и другие сторонники теории относительности, делают "материю" все менее и менее материальной» [11. P. XIX]. Такое неоднозначное движение – одновременно и навстречу друг к другу и в противоположные друг от друга стороны – психологии и физики становится своеобразным положением дел, в котором происходит обращение Б. Рассела к проблемам теории сознания.

Указывая на эту ситуацию, Б. Рассел высказывает намерение снять с неё вуаль парадоксальности. Подобное намерение в принципе характерно для аналитической философии того периода, и стандартным методом в данном случае как раз и является применение анализа языка. Но в контексте проблемы соотношения физики и психологии, ментального и физического Б. Рассел решает также обратиться к одной из основных идей философии У. Джемса – уходу от материализма: то, из чего состоит мир, имеет одну природу, не разделяясь на ментальное и физическое.

Данное утверждение, по сути, носит онтологический характер, оно не отсылает напрямую к философии языка или философии сознания, не сводится к ним, хотя, безусловно, коррелирует с ними. Используя эту онтологическую компоненту как предпосылку для разрешения парадоксальной ситуации во взаимоотношениях физики и психологии, Б. Рассел прибегает как к анализу материи [12], так и к анализу сознания [11]. Предпосылкой такого анализа выступает необходимость примирения естественнонаучных и психологических методов, поэтому Б. Рассел вступает в спор с исследователями, придерживающимися распространенного убеждения о наличии принципиальной разницы между предметами физики и психологии: «Они остаются убежденными в том, что существует непреодолимая пропасть между ними двумя, и что оба принадлежат к на самом деле существующему в мире» [11. P. 2]. Как и У. Джемс, он отказывается от идеи наличия такой принципиальной разницы: «Вещество, из которого состоит мир нашего опыта, по моему убеждению, не есть ни материя, ни ментальное, а нечто более простое, нежели и то, и другое» [11. P. 2], что же касается конкретных методов исследования феноменов, относящихся к физике и психологии, то они могут и должны

различаться, но у ментального как предмета психологии нет особой сущности, требующей специального метода.

Именно анализ предмета психологии как доступного для изучения методами естественных наук и становится одной из основных задач Б. Рассела при обращении к философии сознания. Как уже отмечалось выше, формулируя свою теорию, он подробно разбирает различные аспекты ментального, используя метод анализа языка и экспериментальную базу концепций бихевиоризма, и пытается дать ясное и четкое описание всего, что считается частями ментального. Это описание в итоге получает название двухаспектной теории, в которой постулируется отсутствие принципиального разрыва между ментальным и физическим: и то, и другое − просто разные способы рассмотрения одних и тех же явлений, что в рамках философии сознания подтверждает и развивает идею У. Джемса о том, что мир нашего опыта состоит из одного базового вещества.

Таким образом, можно заключить, что при рассмотрении проблемы соотношения философии языка и философии сознания в концепции Б. Рассела допустимы две интерпретации. Первая состоит в том, что ввиду преобладания содержания философии языка над содержанием философии сознания последняя является ветвью первой. Вторая интерпретация дополняет первую, вводя онтологическую компоненту в соотношение философии языка и философии сознания. Для Б. Рассела обоснование единства предмета психологии и физики становится одной из основных задач при критике разрыва между ментальным и физическим.

Важно уточнить, что философия языка не является исключительно методом, она также представляет собой более или менее отдельную философскую систему со своей онтологией, и в таком случае интерпретацию соотношения философии языка и философии сознания у Б. Рассела можно расширить, указав на то, что выбранная им локальная онтологическая компонента для рассмотрения проблем теории сознания уже имеет своей предпосылкой его философию языка. При этом следствием из этой локальной онтологической компоненты также является философия языка, но уже предстающая исключительно в виде метода для анализа проблем философии сознания. Обрамляя онтологическое содержание с двух сторон, философия языка оказывается как предпосылкой обращения к проблемам сознания, так и методом их анализа. При этом изначальный тезис о преобладании содержания философии языка над содержанием философии сознания не вступает в противоречие с таким описанием, а значит, подобная расширенная интерпретация совместима с первой, являясь ее уточнением.

4. Множество вариантов применения метода языкового анализа в философии сознания, безусловно, не исчерпывается представленными нами концепциями. Более того, разговор об использовании метода анализа языка в какой бы то ни было области философского знания может вызвать вопрос о необходимости прояснения понятия самого языка. Но дать одно универсальное определение понятия языка, которое было бы подходящим для всех рассмотренных концепций, не представляется возможным по двум причинам.

Во-первых, при использовании метода языкового анализа сама философия языка, на которой базируется этот метод, оказывается в определенном

смысле сокрытой за анализируемым. Так, Б. Рассел не формулирует основных положений своей философии языка, когда решает проблемы философии сознания, напротив, он обращается к ней, уже исходя из этих положений. Во-вторых – и это более тривиально – различные концепции философии языка предполагают различные определения основных понятий.

Подобная разнородность понятийного аппарата значительно осложняет задачу интерпретации следствий метода анализа проблем философии сознания через язык. Тем не менее как минимум один способ интерпретации становится возможным, если мы установим корреляции между различными случаями такого анализа. В каждом из этих случаев основной массив проблем философии сознания, возникший с момента ее основания Декартом и дошедший до современности, претерпевал трансформации в результате последовательного применения такого метода.

Так, начиная с наиболее современной из рассмотренных концепций – гетерофеноменологии Д. Деннета, – стоит заметить, что в ней наряду с естественнонаучным способом анализа ментального особую роль играет анализ ментального через язык. Этот анализ базируется на идее нарративов – построенных агентом рассказов о самом себе, за которыми не находится никакого метафизического содержания. Отказ от метафизики и постулируемая Д. Деннетом незаинтересованность в онтологии при изучении ментального тем более показательны, что таким образом происходит атака на ментализм. Тем не менее мы не будем делать сильных выводов о тождественности или нетождественности ментализма и онтологии в теории сознания, лишь отметим, что по стечению обстоятельств критика одного зачастую оказывается критикой другого.

В более классической концепции Б. Рассела анализ языка оставляет место онтологии. Это происходит благодаря выбранной им предпосылке о том, что ментальное ничем принципиально не отличается от физического. В обратном хронологическом порядке список концепций завершается метафизикой Р. Декарта, которая, с одной стороны, стала основанием возникновения философии сознания менталистского типа, а с другой – сама же создала условия для своего последующего опровержения аналитической философией сознания, в которой даже сознание (consciousness) предстает лингвистически опосредованной осведомленностью субъекта о своем опыте. Таким образом, первым результатом интерпретации следствий метода языкового анализа проблем философии сознания становится утверждение о том, что последовательная реализация такого метода ведет к уменьшению менталистского содержания.

Второй результат является более очевидным. Если мы используем метод языкового анализа в философии сознания, то в ней закономерно возникают те же проблемы, что были в самой философии языка. Как было указано выше, чтобы применять метод, сформулированный в рамках конкретной философии языка, мы должны брать на себя определенные обязательства соответствующей философии языка. Так, решение существующей в рамках философии языка проблемы индивидуального языка становится тем самым обязательством, которое должна принять теория сознания: если мы считаем, что индивидуальный язык возможен, то не должно возникать противоречий с теми поня-

тиями, которые принадлежат области теории сознания, и наоборот. Если же данная проблема в философии языка не решена вовсе, то она переходит по наследству в теорию сознания, лишая ее устойчивости.

Таким образом, на каждом новом витке применения метода языкового анализа к философии сознания решаются метафизические проблемы теорий сознания, но им на смену приходят проблемы из философии языка. Несмотря на это, в рамках лингвистического направления аргументации считается, что применение метода языкового анализа в философии сознания с учетом представленных выше затруднений оказывается эффективнее, чем попытки решить проблемы философии сознания возвращением к картезианской метафизике.

Литература

1. Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. М.: Высшая школа, 2006.

2. *Block N.* Troubles with Functionalism // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. 1978. № 9. P. 261–325.

3. *Декарт Р.* Сочинения в 2 т. Т. 2 / пер. с лат. и фр. М.: Мысль, 1994.

4. *Декарт Р.* Сочинения в 2 т. Т. 1 / пер. с лат. и фр. М.: Мысль, 1989.

5. *Cottingham J.* "The only sure sign…": Thought and Language in Descartes // Royal Institute of Philosophy Supplement. 1997. № 42. P. 29–52.

6. *Апель К.-О.* Лингвистическое значение и интенциональность: соотношение априорности языка и априорности сознания в свете трансцендентальной семиотики или лингвистической прагматики // Язык, истина, существование. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 101–109.

7. *Dennett D.* The Intentional Stance. Cambridge: The MIT Press, 1998.

8. *Dennett D.* Who`s On First? Heterophenomenology Explained // Journal of Consciousness Studies. 2003. № 10. P. 19–30.

9. *Churchland P.M.* Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes // The Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78, № 2. P. 67–90.

10. *Tanney J.* Gilbert Ryle // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition) / ed. by E. N. Zalta. URL: https://plato.stanford. edu/archives/spr2015/entries/ryle/

11. *Russell B.* The Analysis of Mind. London: Routledge, 2006.

12. *Russell B.* The Analysis of Matter. London: Spokesman, 2007.

Ilya A. Gushchin. Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russian Federation)

E-mail: cfuffy@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/3

Olga A. Kozyreva. Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russian Federation)

E-mail: olgakozyreva@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/3

PHILOSOPHY OF MIND THROUGH THE PRISM OF THE LANGUAGE ANALYSIS: FROM THE METAPHYSICS TO THE NARRATIVE

Key words: philosophy of mind, philosophy of language, mentalism, heterophenomenology, Russell.

In this paper, we discuss the relationships between the philosophy of mind and the philosophy of language. The central thesis is that the philosophy of mind loses its metaphysical and mentalistic character when one applies the method of language analysis to the crucial problems in the philosophy of mind. This paper is divided into three parts. The first part deals with the interpretation of R. Descartes' attitude to the language. Contrary to the traditional view on his philosophy of mind as a mentalism, we argue that R. Descartes treats linguistic capacity of humans as a true criterion for the attribution of mental states. Animals and human-like machines lack the genuine language, which means that they do not have minds. Such interpretation of R. Descartes' philosophy expresses the idea of «linguisticity» of mind opposite to the tradition of mentalism. The second part examines D. Dennett's heterophenome-

nological method. According to him, heterophenomenology is a unique way of taking the first person point of view seriously and rejecting metaphysic entities behind it. Heterophenomenology is ontologically neutral and focuses on the narratives told by humans. The narratives are linguistic constructions that are socially embedded. Thus, D. Dennett's heterophenomenological method attempts to explain mind and consciousness through the language analysis. The third part is concerned with B. Russell's account of the relationships between the philosophy of mind and the philosophy of language. Two interpretations of these relationships are possible. The first one is based on the widely accepted belief about the method of analytic philosophy. The second one adds an ontological component to the first interpretation. This component presupposes that the stuff of the world is neither mental nor material. Such ontological presupposition allows to reject mentalism, and B. Russell's philosophy of language includes his philosophy of mind. We conclude by presenting two main results of the application of the method of language analysis in the philosophy of mind. The first one is that philosophy of mind loses its metaphysical and mentalistic character because of application of this method. The second one is that although the method of language analysis resolves metaphysical problems, it brings problems from the philosophy of language into the theory of mind. This happens due to the method is formulated within a particular philosophy of language with its own limitations.

References

1. Gryaznov, A.F. (2006) *Analiticheskaya filosofiya* [Analytical philosophy]. Moscow: Vysshaya shkola.

2. Block, N. (1978) Troubles with Functionalism. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*. 9. pp. 261–325.

3. Descartes, R. (1994) *Sochineniya v 2 t.* [Works in 2 vols] Vol. 2. Translated from Latin and French. Moscow: Mysl'.

4. Descartes, R. (1989) *Sochineniya v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 1. Translated from Latin and French. Moscow: Mysl'.

5. Cottingham, J. (1997) "The only sure sign . . . ": Thought and Language in Descartes. *Royal Institute of Philosophy Supplement*. 42. pp. 29–52. DOI: 10.1017/S1358246100010171

6. Apel, K.-O. (2002) Lingvisticheskoe znachenie i intentsional'nost': Sootnoshenie apriornosti yazyka i apriornosti soznaniya v svete transtsendental'noy semiotiki ili lingvisticheskoy pragmatiki [Linguistic significance and intentionality: The ratio of a priori language and a priori consciousness in the light of transcendental semiotics or linguistic pragmatics]. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Yazyk, istina, sushchestvovanie* [Language, truth, existence]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 101–109.

7. Dennett, D. (1998) *The Intentional Stance*. Cambridge: The MIT Press.

8. Dennett, D. (2003) Who`s On First? Heterophenomenology Explained. *Journal of Consciousness Studies*. 10. pp. 19–30.

9. Churchland, P.M. (1981) Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. *The Journal of Philosophy*. 78(2). pp. 67–90. DOI: 10.5840/jphil198178268

10. Tanney, J. (2015) Gilbert Ryle. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Spring 2015 Edition. [Online] Available from: https://plato.stanford. edu/archives/ spr2015/entries/ryle/.

11. Russell, B. (2006) *The Analysis of Mind*. London: Routledge.

12. Russell, B. (2007) *The Analysis of Matter*. London: Spokesman.

УДК 1 (091)
DOI: 10.17223/1998863X/40/4

Г.А. Золотков

«КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ИГР» КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДЫ ФИЛОСОФИИ

Рассматривается представление об отсутствии у философии собственной предметной области, строящееся на концепции языка как совокупности автономных семантических систем. Прослеживаются негативные следствия этой позиции для таких составляющих природы философии, как её цель, метод и проблемы. Делается вывод о недостаточности принятия множественности семантических систем для решения проблемы природы философии.
Ключевые слова: *концепция языковых игр, проблема природы философии, метафилософский парадокс.*

1

Прежде чем перейти к цели и задачам работы, несколько вводных замечаний. В настоящее время в философии языка широко обсуждается ряд таких позиций, как эпистемический контекстуализм, эпистемический плюрализм, эпистемический релятивизм[1].

Эти позиции представлены разными группами исследователей и направлены на решение различных проблем. И всё же в них может быть усмотрено нечто родственное, а именно, лежащая в основе этих позиций концепция языка. Более того, можно предположить, что отличия между этими позициями происходят от выделения разных аспектов этой концепции. Она, следовательно, является одним из наиболее влиятельных взглядов на язык. Однако общепринятое название за ней пока не закрепилось.

Основная идея этой концепции заключается в постулате семантической дискретности языка. Говоря иначе, утверждается, что значения предложений устанавливаются не одним-единственным принципом, но множеством различных, а сам язык является не неким однородным целым, но совокупностью автономных языковых систем, в каждой из которых значения устанавливаются согласно нормам отдельной системы.

Привлекательность этой концепции языка объясняется способностью показать, почему, например, предложение «я не знаю» может иметь различные значения. Традиционно философия предпосылает языку целостность и один принцип установления значений, т.е. существование некоторого объективного значения, не зависящего от контекста. Недостатком такого шага является, например, то, что в рамках традиционных концепций предложение «я не знаю» имеет только одно отчётливое значение, а все остальные значения есть его искажения, значения которых всегда размыты. Очевидно, однако, что значения предложений повседневной речи, приводимые традиционалистами

[1] Среди участников этих дискуссий можно назвать Е. Лепура, К. Деросе, Дж. Дюпре, П. Богосяна (см. [3–6]).

в качестве примера неточного использования языка, зачастую вполне однозначны. Например, предложение «я не знаю» как ответ на повседневный вопрос «мне идёт это платье?» имеет не менее чёткий смысл («не спрашивай меня»), чем если бы служило «объективному» указанию на отсутствие у говорящего знания, например, как в случае с вопросом «где моё платье?».

Принятие дискретности языка предлагает более удачное решение подобных проблем. Если допустить, что существует множество разных контекстов употребления «я не знаю», то каждое отдельное значение устанавливается уникальными правилами выбранной языковой системы. Дискретная концепция языка, разделяющая его на множество автономных систем, будет именоваться «концепцией языковых игр», сокращённо «КЯИ».

Название КЯИ отсылает к хрестоматийному примеру этой концепции, данному в поздних работах Л. Витгенштейна [1. С. 75–407]. Классический характер этих работ позволяет усмотреть КЯИ во многих актуальных тенденциях современной философии языка. С другой стороны, сделанная отсылка позволяет ввести уже устоявшийся терминологический аппарат: для обозначения автономной семантической системы – термин «языковая игра», для обозначения принципов наделения знаков этой системы значением – термин «правила».

Ниже будет рассмотрено приложение КЯИ к проблеме природы философии. Следует отметить, что даже в базовом варианте эта концепция предлагает мощное и в то же время простое решение этой проблемы. Пример её сокрушительной силы – рассмотрение философии Витгенштейна, ставящее под сомнение наличие у дисциплины собственной предметной области. Также не удивительно, что применение КЯИ к проблеме природы философии получило основное распространение в витгенштейнианстве [2] и в связанных с ним течениях. Автор, однако, предполагает, что для любого исследователя, принимающего КЯИ, естественным будет ход мысли, созвучный общему метафилософскому тону витгенштейнианства.

Цель работы – показать, что принятие КЯИ не необходимо влечёт отрицание предметной области, принадлежащей философии.

2

Рассмотрим метафилософский парадокс, который возникает при рассмотрении природы философии в КЯИ.

В общих чертах трактовка природы философии КЯИ состоит в следующем. Язык есть совокупность языковых игр, каждая из которых имеет собственные правила. Из этого представления о языке следует, что не существует универсальной системы правил, устанавливающей объективные значения. Традиционное стремление философии изложить универсальные правила есть ошибка, вызванная недопониманием природы языка. КЯИ склоняет философа ограничить свои умозрения реально существующими языковыми играми.

Если, однако, КЯИ верна, то в чём состоит отличие ви́дения правила языковой игры философом от видения этого же правила участником языковой игры? Так, последний осознаёт правило и действует согласно ему, философ осознаёт это правило таким же образом, но не следует ему, а анализирует его. Самого по

себе этого описания не достаточно для разведения двух видений, так как очевидно, что на понимание правила не влияет то, следуют ему или нет.

Интуитивно видение правила философом представляется семантически более богатым. То есть оно должно дублировать стандартное видение, но добавлять к нему некоторые дополнительные значения. Поясним на примере. Представим, что некто осознаёт правило, но прокрастинирует, т.е. не торопится привести правило в исполнение. В этом случае видение правила не будет названо «философским», так как ему не хватает специфического осмысления правила. Если бы потребовалось переделать этот пример так, чтобы прокрастинатор стал философом, потребовалось бы добавить к его видению отсутствующие там значения.

Определение философии, стимулируемое принятием КЯИ и ставшее классическим, трактует философию как деятельность по анализу языка. Воспользуемся этим определением и предположим, что специфические значения синтезирует философский анализ языка. Не пытаясь дать определение этого анализа, сразу заметим, что возлагаемая на него функция синтеза новых для языковой игры значений противоречит КЯИ.

На первый взгляд, анализ имеет чёткую задачу – описать всё как есть, не добавляя ничего от себя, ограничиться извлечением значений из рассматриваемой им игры. Но в таком описании этот анализ, как было показано выше, теряет свою специфику и становится синонимичным прокрастинации.

Чтобы можно было сказать, что философский анализ раскрывает специфические значения, требуется указать на внешний источник этих значений. В противном случае останутся только значения, одинаково извлекаемые и тем, кто следует правилу, и тем, кто его анализирует. Также очевидно, что изложение правила как оно есть, без дополнительного осмысления, нельзя назвать философским анализом. Видение правила должно отличаться, так как ведёт к двум разным типам деятельности: следованию правилу и анализу правила.

Если же в самих языковых играх не содержится принцип их анализа, то он должен быть найден вне их. Запрет на осмысление языковых игр извне, устанавливаемый КЯИ, ведёт к невозможности философии синтезировать специфические значения.

Метафилософский парадокс КЯИ заключается в её неспособности объяснить, что служит источником специфики философского видения языковой игры. Языковая деятельность по созерцанию правил нуждается в дополнительных правилах, иначе теряется её отличие от обычного следования правилу.

Можно сформулировать этот парадокс в упрощённой форме. Проведём аналогию КЯИ с портретом семейства языковых игр. Такой портрет будет изображением всех форм осмысленной языковой деятельности, всё, что не попадает на портрет, – либо не языковая деятельность, либо лишено смысла. Будет ли на этом портрете изображена также и философия? По-видимому, нет. Философия это не языковая игра, у неё отсутствуют собственные правила. Будь они у неё, её анализ искажал бы смысл игр. Допустим, среди языковых игр её нет, но где-то она определённо должна быть. Парадокс КЯИ заключается в том, что никакого другого места для осмысленной языковой деятельности она не допускает.

3

Рассмотрим подробнее, какие трудности указанный парадокс вызывает при решении проблемы природы философии. Для большей конкретности анализа примем стандартное деление этой проблемы на подпроблемы: цель, метод и природа проблем философии.

Традиционно целью философии считалось построение теорий, описывающих мир и мышление некоторым предельным образом. Если частные науки занимались развитием конкретных областей знания, то в философии обсуждалось знание вообще. Философия должна была синтезировать такое знание, истинность которого не зависела бы от контекста. Отрицание возможности такого знания выражается в принятии «негативной» и (или) «позитивной» цели философии.

«Негативная» цель философии состоит в устранении метафизических высказываний. Так, метафизики, объясняя значение таких концептов, как, например, концепт «знать», легко поддаются соблазну упростить себе задачу и дать обобщённое значение. Поступая так, метафизик отказывается от существующих употреблений этого концепта и вводит собственное. Такой ход позволяет ему освободиться от необходимости соблюдать конкретные языковые правила и объяснять концепт, используя те правила, которые он сам сочтёт нужным. «Негативная» цель философа, принимающего КЯИ, – произвести «терапию» метафизического употребления языка, т.е. показать, каким образом некоторое метафизическое высказывание нарушает правила.

Эта цель сталкивается с трудностью – чтобы осуществить терапию путаницы, её нужно сначала идентифицировать как путаницу. Сделать это можно, только указав, правила какой игры были нарушены. Например, метафизик использует для наделения значением некоторого понятия *p* языковой игры *X* не свойственные этому понятию правила языковой игры *Y*. Здесь вопрос вызывает то, идентифицирует философ, принявший КЯИ, путаницу потому, что были нарушены правила игры *X* или правила игры *Y*? Каким бы ни был ответ, он предполагает принятие перспективы, рассматривающей сразу две игры, т.е. предлагает метапозицию. Отсюда следует, что принятие в КЯИ «негативной» цели опирается на возможность метапозиции.

«Позитивная» цель сводит философию к прояснению специфики отдельных игр. Если философ сам не должен изобретать новые правила, то он должен прояснять уже существующие.

Данная цель оправдывается тем, что выявить специфику языковой игры невозможно, пока её правила используются. Таким образом, чтобы следующий правилу мог осмыслить значение правила в рамках игры, ему нужно «поставить игру на паузу». Это позволит взглянуть на игру как на нечто целое, а не как на небольшое число актуально исполняемых правил. Тем не менее, чтобы представить игру целиком, требуется взглянуть на языковые игры извне. Кроме этого, чтобы можно было говорить о специфическом характере той или иной игры, требуется сравнить её с другими играми. Таким образом, данное определение цели философии, опять же, требует от философа занять метапозицию.

Традиционный метод философии в самом общем виде выглядит следующим образом: выдвигается метафизический тезис, затем следует его доказа-

тельство. КЯИ определяет метафизические тезисы как бессмысленные и отрицает существование правил их доказательства. В качестве правильного метода философии КЯИ предлагает описание правил рассматриваемой игры, описание значений концептов или указание на неправильное их использование. Проще говоря, метод философии – это описание содержания языковых игр.

Основным преимуществом этого метода является обращение к реальным языковым правилам. Т.е. использующий этот метод всегда имеет перед глазами чёткий критерий легитимности своего анализа. Этим критерием являются действительные примеры работы языка, показывающие, верно ли описание или нет.

Основной трудностью, связанной с методом, понятым таким образом, является невозможность составить описание самого этого метода. Если КЯИ верна, то описано может быть только содержание языковых игр. Сам же этот метод не может иметь какого-то теоретически значимого содержания, но должен интуитивно схватываться через рассмотрение примеров его применения. То есть если в КЯИ делается утверждение, что существует метод философии, и этот метод – описание, то следует принять, что кроме языковых игр существуют нечто ещё, сообразно чему можно осуществлять философский анализ.

Традиционно природа проблем философии трактовалась как отражающая некоторое реальное положение дел. Например, онтологические проблемы описывают бытие, т.е. реально существующие феномены, например феномен «движение». КЯИ трактует природу подобных проблем как грамматическую, происходящую от неправильного употребления понятий. Смешение правил приводит к тому, что понятия типа «движение» начинают одновременно «отражать положение вещей» и «не отражать положение вещей». В КЯИ подобные высказывания лишаются какого-либо значения. Их природа целиком сводится к характерным языковым ошибкам, таким как излишнее обобщение, приписывание каждому существительному сущности, использование метафизического категориального аппарата. Резюмируя, философская проблема есть характерная языковая путаница.

Здесь следует подчеркнуть, что не каждая проблема определяется в КЯИ как философская. Допустим, некто задаётся вопросом, есть ли универсальные правила ношения на голове смешных колпаков. В другой раз этот же человек пытается понять, чем отличаются колпак и шляпа. В первом случае проблема имеет философский характер, во втором – нет. Отличить их позволяет, как уже было сказано, характерный тип совершаемой в первом случае ошибки.

Где, однако, можно найти перечень этих характерных ошибок? Его необходимо указать, чтобы понимание в рамках КЯИ концепта «философская проблема» было обоснованным. Кроме этого, сам этот перечень будет не чем иным, как специальным теоретическим аппаратом философии. Всё это ставит понимание природы философских проблем, вызываемое к жизни КЯИ, в зависимость от отрицаемых ею теоретических основ философии.

4

Выше были рассмотрены метафилософский парадокс КЯИ и те трудности, которые возникают при попытке решить проблему природы философии

средствами этой концепции. Возможные следствия из этого парадокса и этих трудностей для проблемы природы философии могут быть следующими:

Первое возможное следствие. Философия является языковой игрой. Если исходить из того, что философия существует, а отрицание наличия у неё собственных правил ведёт к парадоксу и трудностям с определением целей, метода и природы философских проблем, то естественным шагом будет заключить об ошибочности отрицания специфических языковых правил философии.

Второе возможное следствие. Философия невозможна или бессмысленна. Этому, однако, противоречит как то, что КЯИ сама является философской концепцией, так и то, что тот факт, что философия существует, достаточно очевиден. С другой стороны, можно допустить, что философия существует как бессмысленная языковая деятельность. Но, опять же, это следует из самой философии, что приводит к парадоксу лжеца. Можно допустить, что устройство языка, на которое указывает КЯИ, истинно независимо от того, истинна ли сама КЯИ, но это не будет достаточным основанием для отрицания у философии содержания.

Третье возможное следствие. КЯИ не верна. Метафилософский парадокс и проблемы, возникающие при решении проблемы природы философии в рамках КЯИ, следует истолковать как доказательство неверности КЯИ.

Четвёртое возможное следствие. КЯИ не является абсолютной картиной языка, но должна быть дополнена, чтобы объяснить возможность философского взгляда на языковые игры. Таким образом, одновременно осуществляется принятие КЯИ и непринятие её решения проблемы природы философии. Действительно, интуитивно представляется верным, что язык является семейством языковых игр. В то же время следующая отсюда трактовка философа не как «специалиста в своём деле», но как «специалиста в чужих делах» представляется интуитивно неверной.

Таким образом, ни одно возможное следствие не допускает, что КЯИ позволяет решить проблему природы философии. Это позволяет сделать вывод о том, что принятие «КЯИ» не решает проблему природы философии, но, скорее, является способом вывести осмысление этой проблемы на новый уровень.

Литература

1. *Витгенштейн Л.* Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 75–321.

2. *Золотков Г.А.* Проблема природы философии в «ортодоксальном» витгенштейнианстве // Философский журнал. 2017. Т. 10, № 3. С. 61–74.

3. *DeRose K.* Solving the Skeptical Problem // The Philosophical Review. 1995. Vol. 104, No 1. P. 1–52.

4. *Cappelen H. and Lepore E.* Insensitive Semantics. Oxford: Basil Blackwell Pub., 2005.

5. *Boghossian P.* Fear of Knowledge: against Relativism and Constructivism. Oxford: Clarendon Press, 2006.

6. *Dupré J.* The Disorder of Things. Metaphysical Foundations of the Disunity of Science. Cambridge, MA: Harvard University Press,. 1993.

Grigory A. Zolotkov. National Research University Higher School of Economics. (Moscow, Russian Federation)

E-mail: zolotkov_grigory@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/4

‘THE THEORY OF LANGUAGE-GAMES’ AS THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE NATURE OF PHILOSOPHY

Key words: theory of language-games, the problem of the nature of philosophy, the metaphilosophical paradox

The paper is concerned with metaphilosophical cases in which the assumption that there is no subject matter of philosophy is based on the position called ‘the theory of language games’. In the contemporary philosophy of language there are a number of popular positions which based on the similar understanding of language. This popularity gives to the metaphilosophical paradox of that understanding and to the metaphilosophical difficulties which that understanding brings a certain value. The metaphilosophical paradox of ‘the theory of language games’ consists in the impossibility of that that understanding of language to explain the difference between the contemplation of the rule by a philosopher and the analogous contemplation by a rule-follower. That impossibility gives way to losing difference between two. The paradox could also be stated in the following way: the theory of language games’ depicts the language in manner analogous to the way how a family portrait images a family. The paradox emerges from our attempts to place philosophy on that portrait. Also the paper provides the analysis of the difficulties which that understanding brings for the solving of the problem of philosophy. Using the example of the aim of philosophy, the method of philosophy and the nature of philosophical problems the author shows that ‘the theory of language games’ could say nothing non-controversial about the nature of philosophy. The aim of philosophy according to ‘the theory of language games’ is or the removing of the philosophical confusions or the conceptual analysis. For both of them it is necessary to see language games from some meta-perspective. The right method of philosophy according to ‘the theory of language games’ is the describing of the language games. Such method to be pointed out should be based on some kind of rules. The nature of philosophical problems according to ‘the theory of language games’ is grammatical. Nevertheless, to describe something as the philosophical problem there should be given some theoretical basis. In the end author made a conclusion that ‘the theory of language games’ is not a sufficient position for solving the problem of the nature of philosophy.

References

1. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical works]. Translated from German. Part I. Moscow: Gnozis. pp. 75–321.

2. Zolotkov, G.A. (2017) Problema prirody filosofii v “ortodoksal'nom” vitgenshteynianstve [The problem of the nature of philosophy in the “orthodox” Wittgensteinism]. *Filosofskiy zhurnal*. 10(3). pp. 61–74.

3. DeRose, K. (1995) Solving the Skeptical Problem. *The Philosophical Review*. 104(1). pp. 1–52.

4. Cappelen, H. & Lepore, E. (2005) *Insensitive Semantics*. Oxford: Basil Blackwell Pub.

5. Boghossian, P. (2006) *Fear of Knowledge: against Relativism and Constructivism*. Oxford: Clarendon Press.

6. Dupré, J. (1993) *The Disorder of Things. Metaphysical Foundations of the Disunity of Science*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

УДК 215
DOI: 10.17223/1998863X/40/5

Т.Н. Клементьева

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ

Анализируются основные подходы к решению проблемы взаимоотношения религии и науки в современном мире – несовместимость и конфликт, независимость, диалог и интеграция. Автор утверждает, что взаимодействие между религией и наукой идет в области мировоззрения и выражается в поиске идентичных идей и представлений.
Ключевые слова: *религия, наука, мировоззрение, диалог, интеграция.*

Отношения между религией и наукой в современном мире остаются весьма неоднозначными. К их исследованию периодически обращаются философы, теологи и ученые, однако единая точка зрения в отношении характера взаимоотношений между ними по-прежнему отсутствует. Для того, чтобы кратко описать существующие позиции в этом вопросе, воспользуемся типологией, предложенной англиканским священником и физиком Джоном Полкингорном. Согласно этой типологии, все существующие оценки отношений религии и науки могут быть сведены к четырем типам: несовместимость и конфликт, независимость, диалог и интеграция.

Тезис о том, что религия и наука до сих пор находятся в конфликте друг с другом, давно уже не популярен. Подавляющее большинство исследователей считает, что мнение о враждебном отношении религии к науке основано всего лишь на двух эпизодах в истории их взаимоотношений: истории с Галилеем и с теорией эволюции Ч. Дарвина. Во всех остальных случаях ни христианство, ни тем более другие религии не демонстрировали активной враждебности к науке, если и не поддерживали, то давали ей возможность спокойно развиваться. То же самое можно сказать и об отношении науки к религии. Единственным эпизодом открытой агрессивной политики в отношении религии можно считать советский период в российской истории, результатом чего стало практически полное уничтожение православной церкви и формирование атеистически настроенного научного сообщества. В основном же наука развивалась параллельно религии и не была заинтересована в ее дискредитации.

Однако оценка религии и науки как несовместимых сфер общественного сознания продолжает высказываться рядом известных ученых [1–4]. Сторонники этой точки зрения считают, что религия и наука представляют альтернативные варианты объяснения естественных явлений, которые взаимоисключают друг друга. Кроме того, они используют разные средства получения нового знания и совершенно по-разному оценивают его истинность. Например, Джерри Коэн, американский биолог, считает, что несовместимость науки и религии основана на непримиримых противоречиях в области методологии, философии и результатах, что не позволяет людям

придерживаться этих двух противоположных взглядов на мир одновременно. Не менее категоричной позиции придерживается С.П. Щавелев: «Я не согласен с попытками их уравнивания в информационно-познавательном отношении … Хотя религия, причем вполне определенного типа, как это теперь вполне выяснено, оказалась необходима для становления классического естествознания, это совсем не значит, что эти две формы духовной практики и в дальнейшем пойдут рука об руку. Я бы сравнил мистику, религию, магию и иже с ними со своего рода идейными «ракетоносителями», которые сделали свое полезное дело и «сгорели в плотных слоях атмосферы» – духовной культуре Европы новейшего времени» [2. С. 26].

В последнее время все большее распространение получает оценка религии и науки как независимых друг от друга сфер познавательной деятельности человека. Сторонники этой точки зрения полагают, что конфликта между религией и наукой никогда не было и быть не может, потому что области изучаемых ими вопросов и проблем никогда не пересекались. Одним из самых ярких представителей этой позиции является американский палеонтолог, эволюционный биолог и историк науки Стивен Джей Гулд, предложивший термин «неперекрывающиеся магистериумы» [5]. Он считал, что конфликт между религией и наукой является больше воображаемым явлением, чем реальностью, так как каждая из них является самостоятельной областью со своим предметом исследования и соответствующими для этого методами познания. В частности, наука изучает «эмпирическую сферу Вселенной», а религия – ее трансцендентальную сферу и моральные ценности, следствием чего является их мирное сосуществование.

Развитием данной точки зрения является представление о разных функциях религии и науки, сформулированное, например, в работах католического архиепископа Джона Хэбгуда [6]. Если наука описывает, как устроен наш мир, то религия формулирует предписания в области морали, индивидуального и социального поведения. Проблемы в их отношениях возникают тогда, когда они выходят за пределы своей сферы или выполняют не свойственные им функции. Когда религия предписывает, каким должно быть устройство мира, она порождает тем самым неадекватные научные теории, а наука, пытаясь описать нормативную сферу, «размывает» критерии морального поведения. С другой стороны, религиозное описание мира является слишком общим и часто неточным, а нормативная моральная наука так до сих пор и не создана. Таким образом, залог мирного сосуществования религии и науки – выполнение своих задач и невмешательство в дела друг друга.

Со второй половины XX в. в связи с ростом числа работ по истории науки и исследованию процесса научного познания растет популярность точки зрения на религию и науку как на равнозначные сферы познавательной деятельности человека. Все эти исследования убедительно опровергли претензии науки на абсолютную и объективную истину и показали, что она обладает рядом особенностей, сближающих ее с религией. Например, наука не является сферой исключительно рационального познания, в ней, так же как и в религии, присутствует иррациональный момент. Если основой любой религии является откровение или мистический опыт, то основой науки – интеллектуальная интуиция, позволяющая ученому делать открытия и формулировать

гипотезы [7–11]. И то, и другое до сих пор не поддается рациональному объяснению. Религия, в свою очередь не является сферой свободного воображения. В ней так же, как и в науке, используются рациональные методы познания: логический анализ, систематизация, классификация и т.д. и учитывается опыт. Еще в 60-х гг. XX в. американский физик Гарольд Шиллинг, писавший о науке и религии, сделал вывод об одинаковой структуре этих областей знания: опыт, теоретическое осмысление и практическое применение [12].

Кроме того, выяснилось, что научное знание не является ни абсолютно объективным, ни основанным только на проверяемых эмпирических фактах. Было доказано наличие априорных предпосылок (аксиом) в основе научных теорий, теоретическая «нагруженность» эмпирических фактов, зависимость научных представлений от социокультурных факторов [13–16] и личных особенностей ученых [17]. Этими исследованиями был доказан относительный характер научной истины и недостижимость идеала абсолютной достоверности научного знания. В связи с этим неоднократно высказывалась мысль о присутствии элемента веры не только в сфере религиозного, но и научного познания [18–20]. «Итак, наука в значительной мере состоит из относительных истин, из утверждений научной веры, – пишет М.О. Шахов, – а религиозное знание также содержит набор не всегда доказуемых, но, возможно, истинных высказываний … В этом смысле наука стоит на твердой почве, сознательно минимизируя долю утверждений, принимаемых научной верой без достаточных доказательств, а теология осмеливается на рискованный полет мысли, познавая недоступное науке, но всегда рискуя ошибиться, ибо доля вероятного, непроверяемого в религиозном знании выше.» [19. С. 46].

Таким образом, религия и наука рассматриваются как равноценные, обусловленные историческими и социокультурными факторами, формы познания окружающего мира, стоящие в одном ряду с другими такими же формами, например с художественной или мифологической. При этом многие исследователи подчеркивают, что признание равного статуса науки и религии указывает не только на общие черты этих форм, но и на их различия. «Итак, – пишет А.И. Алешин, – известная парадоксальность ситуации, порожденная пересмотром особого эпистемологического статуса науки, состоит в том, что формальное равенство культурного статуса науки и религии открывает как раз более широкие возможности для осознания большей глубины их различий в качестве особых перспектив (в качестве особых культурных символических систем)» [21. С. 81].

Третий тип оценки взаимоотношений религии и науки, названный диалогом, предполагает, что эти формы познания имеют «пересекающиеся» области. К этим областям необходимо отнести представления о возникновении мира, жизни и человека, об их устройстве, развитии и цели существования. В течение длительного времени монополию на эти мировоззренческие представления сохраняла религия, однако начиная с Нового времени европейская наука активно вмешивалась в эти области и предлагала альтернативные варианты решения «старых вопросов». Именно это породило мировоззренческие противоречия между религией и наукой и напряженность в их отношениях друг с другом. При этом сторонники данной точки зрения полагают, что, когда мы говорим о конфликте религии и науки, необходимо уточнять, что речь

идет о противоречиях между религиозными представлениями и материалистическими научными теориями [22, 23]. Наука же в целом включает самые разнообразные научные теории, которые не всегда имеют исключительно материалистический характер. Между ними и религиозными учениями никогда и не возникало серьезных противоречий. Эти научные теории могут стать основой для диалога и согласования позиций религии и науки по основным мировоззренческим вопросам.

Многие религиозные деятели и ученые выражали готовность к такому диалогу и оценивали его как весьма полезный для обеих сторон. Например, Далай-Лама XIV в одном из своих интервью четко дал понять, что буддизм не является догматической религией и готов принять те представления, которые доказаны наукой: «Допустим, что что-то со всей определенностью было доказано в ходе научного исследования, что некоторая гипотеза подтвердилась или что в результате такого исследования был установлен определенный факт. Более того, предположим, что этот факт несовместим с теорией Будды. Вне всякого сомнения, мы должны принять результат научного исследования. Видите ли, общий буддийский подход заключается в том, что мы всегда должны принимать факты. Досужие домыслы, не основывающиеся на эмпирическом опыте, когда таковой возможен, неуместны. Таким образом, если гипотеза была подвергнута проверке, в результате которой она на 100 процентов подтвердилась, то это именно то, что нам следует принять» [24].

Наконец, последняя позиция характеризует отношения религии и науки как интеграцию. Согласно этой точке зрения, начавшийся диалог религии и науки должен в результате привести к их объединению и образованию единой системы представлений. Основанием для такого оптимистичного утверждения являются, с одной стороны, научные открытия и теории последнего времени, которые, по мнению сторонников данной позиции, дают возможность доказать истинность ряда религиозных представлений с помощью научного метода. С другой стороны, процессу интеграции будет способствовать отказ от догматизма в интерпретации священных текстов и готовность религии к современному обновлению старых учений. Если эти процессы будут продолжены, то возможно формирование единой совокупности мировоззренческих представлений, признанных и в религии, и в науке. Эта точка зрения не является широко распространенной, однако периодически высказывается, прежде всего, в философской литературе. Самыми известными ее представителями являются Пьер Тейяр де Шарден [25], Иан Барбур [26–28] и Джон Полкингорн [29–31].

Данный разброс позиций в оценке отношений религии и науки говорит, на наш взгляд, о том, что эта тема актуальна для современного общественного сознания. Многие философы, ученые и богословы понимают, что разобщенность и даже изолированность религии и науки друг от друга только усугубляют кризис современной культуры. Диалог и более интенсивное взаимодействие между ними могли бы помочь преодолению основных противоречий между религиозной и научной мировоззренческими системами, а тем самым способствовало бы формированию целостного мировоззрения современного человека. Многие из авторов, пишущих на эту тему, выражают надежду на

сотрудничество теологов и ученых, но при этом с большой осторожностью и даже скептицизмом говорят об интеграции религии и науки.

На наш взгляд, процессы, происходящие сегодня в сфере отношений религии и науки, весьма сложны и неоднозначны. Очевидно, что институциональная интеграция религии и науки невозможна и не обусловлена никакими общественными потребностями. Религия и наука являются самостоятельными социальными институтами, выполняющими разные общественные функции. Однако в мировоззренческой области идет постоянная работа взаимного анализа и оценки идей и представлений. Новые прорывы неклассической науки в изучении природы материи, микро- и макромира, создание фундаментальных теорий возникновения мира, жизни и человека в XX в. только усилили этот процесс. Интересно, что он сопровождался не только взаимной критикой, как это было ранее, но и выделением таких понятий, идей и представлений, которые имеют идентичное содержание и примерно одинаково понимаются как в религиозных учениях, так и в научных теориях. Причем если в начале XX в. в этот процесс были вовлечены только физические теории, касающиеся природы материи и устройства микромира, то в начале XXI в. почти во всех сферах естественнонаучного знания появились теории, в которых можно обнаружить аналогии с религиозными представлениями.

Необходимо заметить, что эта тенденция носит объективный характер. Нельзя сказать, что научное сообщество, с одной стороны, и представители религиозных конфессий, с другой стороны, демонстрируют заинтересованность в процессе сближения науки и религии. Скорее, наоборот, в большинстве случаев они проявляют консерватизм в этом вопросе и стараются сохранить самостоятельность и независимость этих сфер общественного сознания. Тем не менее уже более ста лет, с начала XX в., тема аналогии отдельных религиозных и научных представлений продолжает развиваться. На наш взгляд, это обусловлено реальной общественной потребностью, заключающейся в преодолении чувства когнитивного диссонанса, возникающего у современного человека при знакомстве с религиозными и научными представлениями о мире. По этой причине возможность преодоления этих противоречий продолжает вызывать интерес как у теологов, так и у ученых. Сложно прогнозировать сегодня, возникнет ли в результате этого процесса некая новая форма интегрированного мировоззрения, но приходится признать, что данный процесс идейного взаимодействия между наукой и религий уже необратим, и он неизбежно окажет влияние на мировоззрение современного человека.

Литература

1. *Докинс Р.* Бог как иллюзия / пер. с англ. М.: КоЛибри, 2010. 560 с.

2. *Щавелёв С.П.* Демаркация типов знания: по «горизонтали» или «по вертикали» пространства культуры // Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / отв. ред. И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2008. С. 25–29.

3. *Coyne J.A.* The Faith That Dare Not Speak Its Name. The case against intelligent design. // The New Republic. August 22 & 29, 2005. P. 21–33.

4. *Coyne J.A.* Faith Versus Fact: Why Science and Religion Are Incompatible. New York: Viking, 2015. 336 p.

5. *Gould S.J.* Rocks of Ages. Science and Religion in the Fullness of Life. New York: Ballantine Publishing Group, 1999. 222 p.

6. *Seybold K.* The Untidiness of Integration: John Stapylton Habgood // Communication: Perspectives on Science and Christian Faith. 2005. V. 57, № 2. P. 114–119.

7. *Бернар К.* Введение к изучению опытной медицины / пер. с фр. М.: КРАСАНД, 2010. 314 с.

8. *Бунге М.* Интуиция и наука. М.: Прогресс, 1967. 188 с.

9. *Ирина В.Р., Новиков В.В.* В мире научной интуиции: интуиция и разум. М.: Наука, 1978. 192 с.

10. *Пуанкаре А.* Наука и метод // А. Пуанкаре О науке / пер. с фр. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. С. 283–404.

11. *Platt W.*, *Baker B.* The relation of the scientific "hunch" to research // Journal of Chemical Education. 1931. Vol. 8. P. 27–35.

12. *Schilling H.* Science and religion: an interpretation of two communities. New York and London: Routledge, 1963. 288 p.

13. *Микешина Л.А.* Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М.: Наука, 1990. 380 с.

14. *Степин В.С.* Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.

15. *Тулмин С.* Концептуальные революции в науке // Структура развития науки. Из Бостонских исследований по философии науки / пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. С. 170–190.

16. *Фейерабенд П.* Против метода. Очерк анархистской теории познания / пер. с англ. М.: АСТ; Хранитель, 2007. 413 с.

17. *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии / пер. с англ. М.: Прогресс, 1985. 344 с.

18. *Вайнгартнер П.* Сходство и различие между научной и религиозной верой // Вопросы философии. 1996. № 5. С. 90–109.

19. *Шахов М.О.* Религиозное и научное знание, религиозная и научная вера // Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / отв. ред. И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2008. С.40–61.

20. *Шахов М.О.* Реализм как общая основа религиозного и научного знания // Вопросы философии. 2008. № 10. С. 66–77.

21. *Алёшин А.И.* Сближает ли религию и науку «эпистемологическая релятивизация науки»? // Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / отв. ред. И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2008. С. 62–83.

22. *Plantinga A., Dennett D.* Science and Religion: Are They Compatible? New York: Oxford University Press. 2010. 96 p.

23. *Plantinga A*. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism. New York: Oxford University Press. 2011. 359 p.

24. *Далай-Лама XIV.* Интервью 1981 г. / Интервью в Бодхгайе. 1981–1985 гг. С. 5 // БиблиотекаRIN.RU URL: http://lib.rin.ru/doc/i/3919p.html (дата обращения: 31.01.2017).

25. *Тейяр де Шарден П.* Божественная среда / пер. с фр. М.: Ренессанс, 1992. 312 с.

26. *Барбур И.* Религия и наука: история и современность / пер. с англ. М.: Библейско-богословский институт, 2001. 430 с.

27. *Barbour I.G.* Myths, Models and Paradigms. A Comparative Study in Science and Religion. San Francisco: HarperCollins Publishers, 1974. 208 p.

28. *Barbour I. G*. When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners? San Francisco: HarperCollins Publishers, 2000. 224 p.

29. *Polkinghorne J.C.* Exploring Reality: The Intertwining of Science and Religion. New Haven: Yale University Press, 2007. 200 p.

30. *Polkinghorne J.C.* Theology in the Context of Science. New Haven: Yale University Press, 2009. 166 p.

31. *Polkinghorne J.C.* Science and Religion in Quest of Truth. New Haven: Yale University Press, 2011. 160 p.

Tatiana N. Klementyeva. Novosibirsk State Medical University (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: tklementyeva@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/5

RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND SCIENCE IN MODERN WORLD: ANALYASIS APPROACHES TO THE PROBLEM

Key words: religion, science, outlook, dialog, integration

The main research subject is the problem relationship between religion and science in modern world. Since a unified position in relation to the evaluation of these relations is missing, the article analyzes the main approaches to solving this problem is incompatibility and conflict, independence, dialog and integration. Most contemporary researchers in this issue do not support the thesis that religion and science are in conflict with each other. The most popular is a point of view, considering religion and science as an independent field of knowledge of reality, having its own subject and methods of research. Some researchers believe that religion and science are "overlapping" region of the knowledge, particularly the concept of the structure and appearance of the world, life and man. In this areas they can dialog with each other. The adherents of the position integration believe that scientific discoveries of recent times given the opportunity to prove the truth certain religious ideas. This suggests that, over time, can form a single set of ideological views, recognized in religion and in science. From the author's point of view the processes happening today in the sphere of the relations of religion and science is complex and ambiguous. It is obvious that the institutional integration of religion and science is impossible and is not subject to any public needs. Religion and science are separate social institutions that perform different social functions. However, in the ideological field there is a constant mutual work of analysis and evaluation of ideas and concepts. New breakthroughs non-classical science in the study of the nature of matter, micro and macrocosm, creation of fundamental theories of the world, life and man in the twentieth century only reinforced this process. Interestingly, he was accompanied not only mutual criticism, as it was previously, but also the release of such concepts, ideas and representations that have identical contents and about the same are understood as in religious teachings and scientific theories. This process is due to a real social need, namely, to overcome the feeling of cognitive dissonance, which a modern person when meeting with religious and scientific ideas about the world. For this reason, the possibility of overcoming of these contradictions continues to be of interest, as theologians and scientists.

References

1. Dawkins, R. (2010) *Bog kak illyuziya* [The God Delusion]. Translated from English. Moscow: KoLibri.

2. Shchavelev, S.P. (2008) Demarkatsiya tipov znaniya: po "gorizontali" ili "po vertikali" prostranstva kul'tury [Demarcation of types of knowledge: Across and down of the the space of culture]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Problema demarkatsii nauki i teologii: sovremennyy vzglyad* [The problem of demarcation of science and theology: the modern view]. Moscow: RAS. pp. 25–29.

3. Coyne, J.A. (2005) The Faith That Dare Not Speak Its Name. The case against intelligent design. *The New Republic*. 22nd & 29th August, 2005. pp. 21–33.

4. Coyne, J.A. (2015) *Faith Versus Fact: Why Science and Religion Are Incompatible*. New York: Viking.

5. Gould, S.J. (1999) *Rocks of Ages. Science and Religion in the Fullness of Life*. New York: Ballantine Publishing Group.

6. Seybold, K. (2005) The Untidiness of Integration: John Stapylton Habgood. *Communication: Perspectives on Science and Christian Faith*. 57(2). pp. 114–119.

7. Bernard, K. (2010) *Vvedenie k izucheniyu opytnoy meditsiny* [Introduction to the study of experimental medicine]. Translated from French by N. Strakhov. Moscow: KRASAND.

8. Bunge, M. (1967) *Intuitsiya i nauka* [Intuition and Science]. Translated from English by E.I. Palskiy. Moscow: Progress.

9. Irina, V.R. & Novikov, V.V. (1978) *V mire nauchnoy intuitsii: intuitsiya i razum* [In the world of scientific intuition: intuition and reason]. Moscow: Nauka.

10. Poincaré, A. (1983) *O nauke* [About Science]. Translated from French. Moscow: Nauka. pp. 283–404.

11. Platt, W. & Baker, B. (1931) The relation of the scientific "hunch" to research. *Journal of Chemical Education*. 8. pp. 27–35. DOi: 10.1021/ed008p1969

12. Schilling, H. (1963) *Science and religion: an interpretation of two communities*. New York and London: Routledge.

13. Mikeshina, L.A. (1990) *Tsennostnye predposylki v strukture nauchnogo poznaniya* [Axiological prerequisites in the structure of scientific knowledge]. Moscow: Nauka.

14. Stepin, V.S. (2000) *Teoreticheskoe znanie* [Theoretical knowledge]. Moscow: Progress-Traditsiya.

15. Tulmin, S. (1978) Kontseptual'nye revolyutsii v nauke [Conceptual revolutions in science]. In: Gryaznov, B.S. & Sadovskiy, V.N. (eds) *Struktura razvitiya nauki. Iz Bostonskikh issledovaniy po*

filosofii nauki [Structure of the development of science. From Boston Studies on the Philosophy of Science]. Translated from English. Moscow: Progress. pp. 170–190.

16. Feyerabend, P. (2007) *Protiv metoda. Ocherk anarkhistskoy teorii poznaniya* [Against the method. A sketch of the anarchist theory of knowledge]. Translated from English. Moscow: AST; Khranitel'.

17. Polani, M. (1985) *Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoy filosofii* [Personal knowledge. Towards a postcritical philosophy].Translated from English by M. Gnedovskiy et al. Moscow: Progress.

18. Weingartner, P. (1996) Skhodstvo i razlichie mezhdu nauchnoy i religioznoy veroy [The similarity and difference between scientific and religious belief]. *Voprosy filosofii*. 5. pp. 90–109.

19. Shakhov, M.O. (2008) Religioznoe i nauchnoe znanie, religioznaya i nauchnaya vera [Religious and scientific knowledge, religious and scientific faith]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Problema demarkatsii nauki i teologii: sovremennyy vzglyad* [The problem of demarcation of science and theology: the modern view]. Moscow: RAS. pp. 40–61.

20. Shakhov, M.O. (2008) Realizm kak obshchaya osnova religioznogo i nauchnogo znaniya [Realism as a common basis of religious and scientific knowledge]. *Voprosy filosofii*. 10. pp. 66–77.

21. Aleshin, A.I. (2008) Sblizhaet li religiyu i nauku “epistemologicheskaya relyativizatsiya nauki”? [Does religion and science “bring together the epistemological relativization of science”?]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Problema demarkatsii nauki i teologii: sovremennyy vzglyad* [The problem of demarcation of science and theology: the modern view]. Moscow: RAS. pp. 62–83.

22. Plantinga, A. & Dennett, D. (2010) *Science and Religion: Are They Compatible?* New York: Oxford University Press.

23. Plantinga, A. (2011) *Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism*. New York: Oxford University Press.

24. Dalay-Lama XIV. (n.d.) *Interv'yu v Bodkhgaye. 1981–1985 gg.* [Interview in Bodhgaya. 1981–1985]. pp. 5. [Online] Available from: http://lib.rin.ru/doc/i/3919p.html. (Accessed: 31st January 2017).

25. Teilhard de Chardin, P. (1992) *Bozhestvennaya sreda* [The Divine Environment]. Translated from French. Moscow: Renessans.

26. Barbour, I. (2001) *Religiya i nauka: istoriya i sovremennost'* [Religion and Science: History and Modernity]. Translated from English. Moscow: Bibleysko-bogoslovskiy institut.

27. Barbour, I.G. (1974) *Myths, Models and Paradigms. A Comparative Study in Science and Religion*. San Francisco: HarperCollins Publishers.

28. Barbour, I.G. (2000) *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?* San Francisco: HarperCollins Publishers.

29. Polkinghorne, J.C. (2007) *Exploring Reality: The Intertwining of Science and Religion*. New Haven: Yale University Press.

30. Polkinghorne, J.C. (2009) *Theology in the Context of Science*. New Haven: Yale University Press.

31. Polkinghorne, J.C. (2011) *Science and Religion in Quest of Truth*. New Haven: Yale University Press.

УДК 165.12+168.52+551
DOI: 10.17223/1998863X/40/6

В.А. Миронов

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ XIX В. КАК ПРЕДПОСЫЛКА К РАЗВИТИЮ НАРРАТИВНЫХ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Рассматривается философско-методологическая проблематика геологического познания первой и второй половины XIX века. Показано, что уже в XIX веке на стадии своего формирования как академической дисциплины геология была нарративной и герменевтической (интерпретационной) наукой, что указывает на фундаментальный характер гуманитарных методов в рассматриваемой отрасли естествознания.
Ключевые слова: *геология, философия геологии, теория познания, философия и методология науки, нарратология, герменевтика.*

Изучение твердой оболочки нашей планеты осуществлялось так или иначе на протяжении всей истории человечества, однако как отдельная отрасль естествознания геология начала формироваться в XVIII в. В этот период начинают вырабатываться основные методологические подходы к изучению минералов и геологических разрезов. На стадии формирования геология в большей степени была сконцентрирована на систематизации полученных в полевых условиях данных. Основные споры геологов не носили методологического характера, а были по своей сущности предметными, как, например, спор нептунистов, которые объясняли образование геологических пластов деятельностью древнего океана, и плутонистов, объясняющих образование горных пород и минералов внутренними процессами планеты Земля.

Основные философско-методологические проблемы геологического знания начинают обсуждаться в XIX в. английскими геологами, такими как Адам Седжвик, Уильям Бакленд, Чарльз Ляйель, Д. Пэдж и другими. В силу того, что философские проблемы геологии не являлись и не являются первостепенной задачей геологов, то по вполне понятным причинам исследователей, занимающихся философскими проблемами своей отрасли знания, как и самих работ, посвященных этой тематике, в XIX веке было немного. Мы остановимся на двух основных направлениях философско-методологической мысли XIX в., хронологически относящихся к разным периодам развития геологии, а именно: «героическому» (первая половина XIX столетия) и «классическому» (вторая половина XIX в.).

Рассуждая о «героическом» периоде геологии, академик Хаин пишет: «Наиболее ярким событием начала XIX столетия в истории геологических наук, равнозначным научной революции, явилось взаимосвязанное возникновение палеонтологии и биостратиграфии, создавших основу геологического картирования» [1. С. 54]. Иными словами, на начало XIX в. в геологии была создана методологическая и фактическая база для написания истории Земли.

Также были сформулированы основные принципы геологического познания, такие как принцип актуализма, суть которого заключается в определении возраста геологических толщ на основании данных о скорости современных осадконакоплений, и стратиграфический принцип Стенона, согласно которому нижние пласты горных пород считаются более древними, чем верхние. Данные принципы актуальны и сегодня. Поэтому для английских геологов первой половины XIX в. в большей степени была актуальна проблематика формы представления научных гипотез, а именно, в каком виде должны быть представлены геологические гипотезы о прошлом планеты – в виде повествования или же в виде законов.

Аделена Бакленд в своей работе «Потеря сюжета: геологическое исследование как анти-нарратив» (*Adelene Buckland* «Losingthe Plot: the Geological Anti-Narrative» 2010) рассматривает проблематику применения в геологии XIX в. повествовательных конструкций, идентичных повествовательным характеристикам романов и новелл. А. Бакленд пишет: «Геологи, спорящие о форме и структуре Земли в начале XIX в., также всегда спорили и о литературных формах и структурах [геологических гипотез], с помощью которых могли бы быть лучше поняты особенности Земли» [2. С. 1]. Исходя из этого, автор рассматривает «проблематизацию сюжета как способа рационального исследования в XIX в.» [2. С. 1] на примере анализа критики применимости повествования в геологических исследованиях.

Причиной дискуссий и критики повествовательных форм в геологии послужила анонимная публикация книги Роберта Чемберса «Следы естественной истории творения» [3]. Этот труд стал популярным в Англии вскоре после публикации в середине XIX века в связи с доступностью стиля изложения для широкой публики, в которой отражались основные идеи эволюционного развития в противовес теологическому представлению о развитии планеты. Научная среда геологов с большим скептицизмом относилась к подобным попыткам некоторых исследователей представлять геологические теории о прошлом Земли в виде естественнонаучного романа. Например, А. Бакленд так описывает отношение английского геолога Адама Седжвика к литературным формам в геологии: «Для Седжвика <…> роман был подозрительным жанром, написанным женщинами, и читаемым праздно» [2. С. 3].

Основная же критика представления геологических гипотез в виде рассказа среди геологов сводилась к тому, что форма рассказа может отвлечь геологов от полевых исследований и сосредоточить их не на написании научного геологического труда, а на написании «беллетристики», являющейся бесполезной для науки. Описывая отношение геологов к естественнонаучным романам, А. Бакленд приводит рассуждения геолога Седжвика: «Чтение романа могло бы отдалить читателей от трудной научной работы, с тем, чтобы потенциальные мужи науки потратили впустую свои жизни, преследуя литературные цели, возможно, читая геологические работы, расположившись в креслах, но редко решаясь выходить в поля и открывать для себя мир» [2. С. 3].

Поэтому значительная часть геологов XIX века, согласно А. Бакленд, призывала «подавлять романы [в геологических текстах] и поворачивать свои глаза к природе» [2. С. 3]. Однако, несмотря на негативное отношение к бел-

летристике и повествовательному жанру в геологии, были также геологи, в частности Ч. Ляйель, не отрицавшие некоторые элементы повествования в геологии. Взяв за основу произведения Вальтера Скотта в качестве формальной структуры повествований о прошлом, по мнению А. Бакленд, английские геологи в своих исследованиях предпочли «эпизодическое и блуждающее повествование, с плохо связанными сценами и отсутствием контроля за началом и окончанием» [2. С. 6]. Такое отношение к воспроизведению прошлых геологических событий, по мнению А. Бакленд, позволяло геологам строить свои труды в популярном для своего времени стиле с позиций авторитетного подхода построения отрывистого повествования В. Скотта. Учитывая противоположные взгляды геологов на повествование в геологии, А. Бакленд приходит к выводу, что, несмотря на скептическое отношение к повествованию большинства геологов, «аргументы, касающиеся формы, структуры и истории Земли, всегда также являлись частичными аргументами литературной формы и структуры (геологических гипотез. – *В.М.*)» [2. С. 15].

Во второй половине XIX столетия, т.е. в период, который в развитии геологии принято назвать «классическим» [1. С. 81], философско-методологические проблемы геологии решались также в научной среде геологов. В классический период своего развития геология уже сформировалась как специфическая область знания, были развиты такие фундаментальные геологические дисциплины, как палеонтология, минералогия, петрография и стратиграфия. Плюс ко всему уже было собрано огромное количество фактического материала, который требовал дополнительного теоретического осмысления и объяснения.

Примером философско-методологической работы в области геологии классического периода может послужить книга английского геолога Дэвида Пэджа «Философия геологии». Рассуждая об уже достигнутых результатах в геологии, Пэдж пишет: «Успехи ее [геологии], в самом деле, так существенны, что теперь геология заняла уже почетное место наряду с остальными естественными науками; она заманчива теперь как умственный труд и получила непосредственное влияние на промышленность и обыденную жизнь» [4. С. 5]. Однако английский геолог, признавая значимость успехов в геологии, призывает к рефлексии над предметом и границами геологии: «Несмотря, однако, на эти успехи, все-таки нам полезно время от времени остановиться, чтобы посмотреть, верно ли мы понимаем предмет и границы нашей науки» [4. С. 5].

Дэвид Пэдж, прежде чем начать детальное философско-методологическое исследование геологии, констатирует сложность геологического объекта исследования: «Я очень хорошо знаю, какие разнообразные мнения существуют между геологами, знаю, как много недостатков в нашей науке, как много препятствий встречаем мы на пути правильного, удовлетворительного истолкования явлений» [4. С. 6]. Поэтому в своей работе Пэдж осуществляет попытку очищения геологии от недостатков, стремится «точнее определить цель, границы и характер нашей науки [геологии]» [4. С. 2].

Стоит отметить, что уже в самом начале своей работы английский геолог упоминает проблему истолкования явлений, которые повлияли в прошлом на формирование геологических тел. Методологией истолкования или, другими

словами, интерпретации с точки зрения западноевропейской философской традиции считается герменевтика. О герменевтике американский философ Фродеман пишет следующее: «Термин “герменевтика” означает теорию интерпретации; герменевтика – искусство или наука об интерпретации текстов. Текст (которым представляется, как правило, литературная работа) является системой знаков, значение которых не очевидно, но должно быть расшифровано» [5. С. 962]. Как и в случае истолкования смысла текста, геолог, согласно Пэджу, должен максимально точно истолковывать геологические процессы, информация о которых по большей части представлена в геологических телах не очевидно. Поэтому информация о прошлых геологических процессах должна быть расшифрована через описание фактического материала в виде образцов горных пород и минералов. Английский геолог пишет: «Сознавая предмет и цель нашей науки, мы должны поставить себе первой заботой наблюдение, и непременно наблюдение без предвзятых теорий, наблюдение, сопровождаемое точным описанием, настолько точным, насколько возможно при теперешнем состоянии наших знаний» [4. С. 137].

Даже тот факт, что геология не может провести эксперимент над геологическими толщами в полном объеме, не останавливает английского геолога в формировании образа геологии как точного знания: «Конечно, нет никакой возможности воспроизвести в лаборатории процессы, совершающиеся в самой природе; тем не менее опыт может нас познакомить с характером этих процессов» [4. С. 45].

На основе такой методологической установки он полагает, что следует ограничить область исследования геолога земной корой, и считает, что геолог не должен тратить свои силы на исследование тех объектов, к которым у него нет непосредственного доступа. По мнению Пэджа, «наука должна иметь дело только с достоверным, а это достоверное, для геологии, ограничено исключительно каменистой, твердой оболочкой Земли, повествующей об изменениях, которым она некогда подвергалась» [4. С. 16]. Таким образом, он призывает исследователей Земли отказаться от предположений, не основанных на фактическом материале: «Все остальное относится к области умозрений, которые, может быть, и согласны с другими предположениями насчет образования нашей планетной системы, но которые все-таки не подлежат проверке и суть не более чем остроумные догадки» [4. С. 13].

Далее Пэдж формулирует основную познавательную установку геологии, которая и позволяет нам относить его взгляды к классическим и употреблять выражение «классические методы», «классическая геология» применительно к рассуждениям подобного рода. Пэдж полагал, что «задача геолога состоит в следующем: он должен изучать каждое естественное или искусственное обнажение, раскрывающее внутреннее строение коры, определять распространение и границы каждой последовательной формации, <…> на основании общего обозрения всего этого стремиться к раскрытию разнообразных состояний, пережитых Землей в минувшие времена…» [4. С. 18].

Проанализировав философско-методологические работы английских геологов XIX века, можно сделать вывод, что основной проблематикой геологи-

ческого познания являлось воссоздание геологического прошлого нашей планеты. Обнаружено, что в первой половине XIX в. геологические теории о прошлом Земли и ее участков, имели характер отрывистого повествования, без структурированного сюжета, состоящего из разных фрагментов законченных и незаконченных нарративов. Стоит отметить, что в отношении нарративной структуры построения своих гипотез геология с методологической точки зрения не претерпела значительных изменений.

Во второй половине XIX века осуществлялись попытки разграничения геологии от астрономии, ограничения предмета исследования земной корой, а также формулировались критерии, по которым геология могла бы стать максимально точной наукой, насколько это возможно. Геология представлялась наукой, основанной на фактах как условиях объективности, строящей свои гипотезы на проверяемых данных. В этот период было обращено внимание на сложность объекта геологических исследований, который необходимо правильно истолковать, что, по нашему мнению, является предпосылкой к рассмотрению геологии с герменевтических позиций.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на стадии своего формирования как академической дисциплины, а именно в XIX в., геология уже имела черты нарративной и герменевтической (интерпретационной) науки. Данные черты геологического познания являются предпосылкой рассмотрения его уже в конце XX века с позиций методологических подходов, традиционно относящихся к гуманитарному знанию, а именно с позиций нарратологии и герменевтики.

Литература

1. *Хаин В.Е., Рябухин А.Г., Наймарк А.А.* История и методология геологических наук. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 416 с.

2. *Buckland A.* Losing the Plot: the Geological Anti-Narrative. //19: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century. 2010. 1–15 p. http://www.19.bbk.ac.uk/articles/10.16995/ntn.578/ (дата обращения: 25.06.2017)

3. *Chambers R.* Vestiges of the natural history of creation. London: John Churchill. 1844. 390 p.

4. *Пэдж Д.* Философія Геологіи. СПб.: Н. Тиблен и комп., 1867. 149 с.

5. *Frodeman R.* Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science.// Geological Society of America Bulletin. 1995. № 107. P. 959–968 http://www.brynmawr.edu/geology/documents/Geologyscientificmethod.pdf (дата обращения: 25.06.2017).

Vasily A. Mironov. Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)
E-mail: mironovv@mail2000.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/6

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF GEOLOGY OF THE 19TH CENTURY AS THE PREREQUISITE TO DEVELOPMENT OF NARRATIVE AND HERMENEUTICAL RESEARCHES OF GEOLOGICAL KNOWLEDGE

Key words: geology, geology philosophy, theory of knowledge, philosophy and methodology of science, narratology, hermeneutics

The article discusses philosophical and methodological issues of the geological knowledge of the first and second half of the XIX century. Due to their specificity these issues were developed by geologists rather than philosophers. The first half of the XIX century was a formative period of Geology as an academic discipline. Some researchers offered their hypotheses in form of natural-science short novels. This in turn has led to the development of active discussions about possibility and the correctness of geological data systematization in form of narrative. The main criticism of such geological hypotheses submission among geologists consisted in the fact that such a form of submission may

distract geologists from field studies. This way of hypotheses offering could focus geologists on writing scientific geological papers and writing "fiction", which is useless for science. However, despite the negative attitude towards “fiction” and narrative genre in Geology, there also were geologists who did not deny some elements of the narrative in Geology. According to A. Buckland English geologists studies have formal analogy with Sir Walter Scott works. She writes that these studies are rather "episodic and meandering narration, with poorly connected scenes and a lack of control over beginnings and endings" [A. Buckland, p. 6] Taking into account the opposing views of geologists on storytelling in Geology A. Buckland concludes that despite skepticism about the narrative of most geologists "Arguments about the form and structure of the earth and its history were always, in part, arguments about literary form and structure, too (geological hypotheses – V. M.)" [A. Buckland, p. 15]. In the second half of the XIX century the geology was attempted to form as STEM discipline. To solve this problem the boundaries of study were established, the requirements of accurate description and interpretation of geological objects and their history were offered. It is assumed that in the XIX century already Geology on the stage of its formation as an academic discipline was the narrative and the hermeneutic (interpretive) science. This fact indicates fundamental nature of humanitarian methods in this branch of science.

References

1. Khain, V.E., Ryabukhin, A.G. & Naymark, A.A. (2008) *Istoriya i metodologiya geologicheskikh nauk* [History and methodology of geological sciences]. Moscow: Akademiya.

2. Buckland, A. (2010) Losing the Plot: the Geological Anti-Narrative. *19: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century*. (11). [Online] Available from: http://www.19.bbk.ac.uk/articles/10.16995/ntn.578/. (Accessed: 25th June 2017). DOI: http://doi.org/10.16995/ntn.578

3. Chambers, R. (1844) *Vestiges of the natural history of creation*. London: John Churchill.

4. Page, D. (1867) *Filosofiya Geologii* [Philosophy of Geology]. St. Petersburg: N. Tiblen i komp.

5. Frodeman, R. (1995) Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. *Geological Society of America Bulletin*. 107. pp. 959–968. [Online] Available from: http://www.brynmawr. edu/geology/documents/Geologyscientificmethod.pdf. (Accessed: 25th June 2017).

УДК 165.0; 165.12
DOI: 10.17223/1998863X/40/7

А.Ю. Моисеева

КВАЛИА-ФИЗИКАЛИЗМ ДЖ. ПЕРРИ КАК ОТВЕТ НА АРГУМЕНТ ЗНАНИЯ

Рассматривается предложенный Дж. Перри вариант защиты физикализма от аргумента знания, более известного как мысленный эксперимент «комната Мэри». Сочетая индексикальную стратегию объяснения результатов эксперимента с минимальным вариантом физикализма, этот философ показывает, что можно, не впадая в противоречие, принимать как тезис об эпистемической нередуцируемости квалиа, так и теорию тождества ментального и физического.
Ключевые слова: *квалиа, физикализм, редукция, аргумент знания, комната Мэри.*

Философия сознания в качестве самостоятельной дисциплины еще молода и не до конца концептуально оформилась, поэтому одной из важных задач для нее является переосмысление многих из тех понятий, которые применялись философами прошлого для описания сознания человека. Не являются исключением и такие понятия, как видимость, кажимость или, пользуясь старым философским термином, феномен. В процессе познания мы не можем избежать опоры на феномены, поскольку только через них мир становится эпистемически доступным для нас. Классическая философия уделяла много внимания вопросу о том, какие ограничения на нас накладывает такой способ познания и вправе ли мы вообще говорить, что способны познавать мир «внешних» объектов. Окончательный ответ на этот вопрос так и не был получен, однако сегодня большинство философов признает весьма вероятным, что, по крайней мере, наиболее успешные наши научные теории отражают объективные закономерности. Иначе трудно было бы объяснить, почему они работают, причем вне зависимости от того, кто их применяет. Современная философия сознания разворачивает фокус внимания с объектов на субъект и задается вопросом, способны ли мы объяснить с научной точки зрения, что такое феномены и какую роль они играют в познании, т.е. выразить предельные основания своих теорий языком самих этих теорий. До сих пор такая амбициозная задача ставилась только в рамках математики, однако ничто априори не противоречит тому, чтобы она могла быть поставлена в рамках естественных наук.

Однако с феноменами связано еще одно старое и весьма загадочное философское понятие, а именно *квалиа*. В современной философии под квалиа понимается феноменальный характер переживания некоторого состояния, имеющего место в конкретной психике в конкретный момент времени. (Более подробное определение см. в [10].) Предположительно, квалиа представляют собой нечто такое, что позволяет нам распознавать, запоминать и воспроизводить в памяти те или иные свои состояния по тому, как они переживаются. Мы знаем, *каково это для нас* – видеть свет, слышать гром или

пробовать шоколад, быть грустным, радостным или напуганным, чувствовать опьянение или тошноту, находиться в депрессии или испытывать воодушевление. Именно поэтому о состояниях собственной психики мы обычно лучше осведомлены, чем о состояниях чужой (если, конечно, обращаем внимание на эти состояния и не имеем особых причин для самообмана по их поводу).

Наибольший интерес философов всегда вызывали сенсорные квалиа. Примечательно, что сами свои имена они заимствуют от свойств объектов внешнего мира. Да и другие квалиа при ближайшем рассмотрении выглядят так, как будто они отражают некоторые свойства объектов и событий во внешнем мире: мы, как правило, не чувствуем грусти, если не произошло что-то плохое, не чувствуем опьянения, если не пили перед этим алкоголь, и т.д. Логично предположить, что между квалиа и этими свойствами, по крайней мере, в норме имеется причинная связь. Но единственный вид причинности, известный нам до сих пор, – это физическая причинность, а квалиа, на первый взгляд, не являются физическими, что выглядит как проблема для теории. Можно физически описать механизмы реагирования нейронов на раздражители и обработки этой реакции в нервной системе, но это описание ничего не даст нам для понимания того, почему данная конкретная реакция должна сопровождаться данным конкретным субъективным переживанием или вообще каким-нибудь субъективным переживанием. Дж. Левин [7], впервые четко сформулировавший эту проблему, дал ей удачное название «объяснительный разрыв» (explanatory gap), под которым она с тех пор фигурирует в философских текстах.

Объяснительный разрыв ставит перед исследователем, стремящимся построить теорию психического, непростой выбор: нужно либо доказать, что квалиа, вопреки интуиции, могут быть объяснены в физических терминах, либо настаивать на существовании некоторых нефизических следствий физических причин. Первый путь обычно ведет к физикализму или функционализму, второй – к эпифеноменализму или интеракционному дуализму[1]. Однако как физикализм, так и функционализм представляются многим чересчур вульгарными, упускающими нечто существенное относительно квалиа, а именно их субъективно-качественный характер. Что же касается эпифеноменализма и интеракционного дуализма, то в контексте современной научной картины мира для большинства философов принятие тезиса о том, что в результате взаимодействия некоторых объектов реальности изменяются не только физические свойства этих объектов, но и некие дополнительные их свойства, непосредственно наблюдаемые только из субъективной перспективы, является весьма нежелательным. За три с лишним века, прошедших с начала дискуссии, мы нисколько не приблизились к консенсусу по поводу того,

[1] Есть также менее распространенные варианты. Так, вариантом монистической теории является панпсихизм, а вариантом дуалистической теории – неинтеракционный дуализм типа мальбраншевского. В панпсихизме квалиа не редуцируются к физическим свойствам, объявляются фундаментальными свойствами всей материи вообще. Соответственно, физическая и психическая причинность трактуются не как разные виды причинности, а как разные аспекты одной и той же причинности, для описания которой мы просто не имеем пока подходящих терминов. В неинтеракционном дуализме причинная связь между физическими свойствами и квалиа как таковая отрицается, а корреляция между ними объясняется действием внешней причины, например Бога. В настоящее время оба варианта являются экзотикой потому, что они предполагают крайне сильные и не подкрепляемые опытом допущения.

редуцируемы ли квалиа к каким-то свойствам других типов, и если да, то к каким, зато изобрели массу новых аргументов в пользу и против каждой из точек зрения. Об одном из этих аргументов – так называемом *аргументе знания* – речь и пойдет в данной статье.

Оригинальной формулировкой аргумента знания был мысленный эксперимент, представленный Ф. Джексоном в статье «Эпифеноменальные квалиа» [6] и получивший широкую известность под названием «комната Мэри». Условия эксперимента таковы: Мэри – учёный, изучающий цвета, и она настолько преуспела, что знает все физические факты о цвете и его восприятии другими людьми, начиная с поведения, которое конкретный цвет может вызвать у человека, и вплоть до последовательностей нейрофизологических событий, которые регистрируются при восприятии цвета. Однако, согласно идее эксперимента, Мэри с самого рождения была заключена в комнате, окрашенной только в чёрно-белые цвета, и могла наблюдать внешний мир только через чёрно-белый монитор. Вопрос в том, узнает ли Мэри что-нибудь новое о красном цвете, когда ей позволят покинуть комнату и она увидит, например, спелый томат. Интуитивно кажется очевидным, что что-то узнает, а именно то, каково видеть красное. Но если это так, то квалиа нередуцируемы к физическим свойствам, поскольку *все* физические факты о красном цвете Мэри знала заранее.

Мысленный эксперимент Ф. Джексона – одна из наиболее удачных попыток показать, что объяснительный разрыв действительно существует и является проблемой для редуктивных теорий квалиа. Значение эксперимента трактуется философами в очень широком диапазоне. Некоторые авторы полагают, что наличие разрыва в объяснении означает его наличие и в мире, т.е. физическое описание мира неполно не только эпистемологически, но и онтологически. Эта точка зрения наиболее полно выражена Д. Чалмерсом в ходе его аргументации в пользу эпифеноменализма (см. [2, 4].) В дискуссии о квалиа она занимает антиредукционистский полюс. На противоположном полюсе находится, например, каузальный функционализм Д. Деннета. (По поводу квалиа см. [5].) Умеренная позиция представлена нередуктивным физикализмом, который у каждого философа имеет свои особенности (см., например, [1]). Следует признать, что с точки зрения здравого смысла умеренная позиция по вопросу о природе квалиа представляется предпочтительной, однако в большинстве своем нередуктивные физикалистские теории не доходят до объяснения того, почему квалиа не могут быть редуцированы к физическим свойствам, если они в действительности являются физическими.

На этом фоне выгодно отличается стратегия, которая получила в литературе название индексикальной. Эта стратегия не только объясняет, почему новое знание Мэри является действительно новым, она еще и позволяет сформулировать такую концепцию знания, в которой случай Мэри не является чем-то исключительным. Именно этой стратегии придерживается Дж. Перри, развивая свою теорию, которую называют квалиа-физикализмом, поскольку она предполагает, что, с одной стороны, квалиа являются физическими свойствами, с другой стороны, знания о квалиа невыводимы из знаний о физических свойствах. С точки зрения квалиа-физикализма всякое знание включает в себя, помимо объектного, также рефлексивный компонент, кото-

рый определяет, как данное знание должно применяться в некоторой ситуации. Именно различием в этом рефлексивном компоненте объясняется тот факт, что Мэри, зная все о физических свойствах переживания красного, не может вывести из своего знания феноменальные свойства этого переживания.

В книге «Знание, возможность и сознание» (Knowledge, Possibility and Consciousness, 2001) Дж. Перри начинает раскрывать свое видение проблемы объяснительного разрыва с того, что устанавливает различие между собственно феноменальными свойствами и нашими понятиями об этих свойствах. Как он пишет [8. С. 48], феноменальные свойства существенно отличаются от других свойств и отношений тем, что само их наличие означает их эпистемическую доступность. Например, чтобы узнать, что Берлин – большой город, мы должны или сами побывать в нем и оценить его величину, или узнать этот факт из книг, карт, со слов других людей и т.п. Чтобы узнать, каково наше переживание красного, нам не нужно удовлетворение каких-то дополнительных условий – в эпистемическом смысле это переживание всегда «с нами», коль скоро оно имеется у нас. Но из этого не следует, что всякий раз, когда мы видим красный, мы фактически знаем об этом. Чтобы узнать, нам нужно, во-первых, обратить внимание на данное переживание, во-вторых, обладать понятием, позволяющим отличать те переживания, которые являются переживаниями красного, от тех, которые ими не являются.

Здесь следует подчеркнуть, что понятие красного цвета как такового не тождественно понятию переживания красного цвета. В норме между ними существуют определенные когнитивные отношения. Так, если в какой-то момент субъект, скажем, убежден, что имеет переживание красного, то это убеждение обычно является причиной того, что он убежден, что в зоне его видимости находится нечто красное. Однако даже эти отношения не универсальны. Например, человек, страдающий цветовыми галлюцинациями и знающий об этом, может сомневаться, действительно ли видимый им объект красный, не сомневаясь при этом, что он действительно имеет переживание красного. Особенность таких случаев в том, что понятие феноменального свойства не выполняет должным образом ту адаптивную функцию, которую оно выполняет в норме, т. е. не является достойным доверия индикатором соответствующего реального свойства. Именно это заставляет нас считать галлюцинации нежелательными. Люди (за исключением, возможно, некоторых философов) убеждены, что их феноменальный опыт является реальностью, проецирующейся на реальность «внешнего» мира, в частности, на реальность их деятельности в этом мире. Они убеждены, что от того, как они действуют в определенных обстоятельствах, зависит то, какой опыт они получат в результате. Например, человек, впервые ударивший собственный палец молотком, как правило, немедленно приходит к выводу, что чтобы избегать в будущем переживаний, имеющих то же неприятное феноменальное свойство, нужно избегать бить молотком по пальцам. Способность рационально прийти к такому выводу зиждется на том, что, во-первых, имеется понятие феноменального свойства, во-вторых, имеется понятие реального события, в-третьих, имеется убеждение, в котором оба этих понятия ассоциированы посредством понятия причинного отношения, а именно убеждение в том, что первое переживание, имеющее это феноменальное свой-

ство, было вызвано не чем иным, как данным событием – ударом молотка по пальцу. Таким образом, понятия феноменальных свойств играют важную роль в практическом рассуждении, но только если мы убеждены в их связи с реальностью.

Метафорически понятие вообще можно представлять себе в виде папки с документами, содержащими записи, полученные из различных источников. Папка поименована именем объекта, свойства или отношения, понятие о которых она содержит. Объект может быть связан с папкой различными способами. Во-первых, он может быть причиной создания папки. Во-вторых, он может быть причиной создания большинства записей в папке. В-третьих, об объекте может быть истинна большая часть записей в папке. В-четвертых, объект может быть тем, в отношении чего будет использоваться большая часть записей в папке. Со свойством дело обстоит аналогичным образом. Дж. Перри пишет: «Наши понятия о свойствах могут содержать всевозможные вещи: частные объекты, которые имеют свойство, типичные причины наличия свойства у объектов, типичные эффекты его наличия, критерии распознавания проявлений свойства, изображения в памяти объектов, имеющих свойство, имена свойства и т. д. Какие вещи мы найдем, будет зависеть от того, какие свойства, которыми обладают концепции, а также от того, как они вовлечены в нашу собственную жизнь, – и ниже – В случае понятия о феноменальном опыте кажется, что его основная часть, по крайней мере, во многих случаях должна быть связана с тем, каков этот опыт был и каков он будет для нас, обладателей понятия» [8. С. 153–154]. Эту демонстративно-распознавательную часть понятия, формирующуюся в процессе переживания данного опыта, Перри называет *юмовской идеей*. Именно в этой части существует сходство между вспоминаемым, предвосхищаемым и непосредственно переживаемым опытом, которое позволяет нам учиться на собственных ошибках. Так, человек из предыдущего примера, вспомнив, насколько неприятным было ощущение удара молотком по пальцу, сможет предсказать, что ощущение удара молотком по голове тоже будет неприятным настолько, что лучше и не пробовать.

Конечно, кроме демонстративно-распознавательной части, понятие о феноменальном свойстве содержит и описательную часть: типичные причины этого свойства, его типичные эффекты и т.д. Благодаря этой описательной части мы можем судить о переживаниях других людей на основании воспоминаний о наших собственных переживаниях в сходных обстоятельствах, поскольку все мы (опять же, за исключением некоторых философов) убеждены в том, что не только наш опыт, но и опыт других людей проецируется на реальность «внешнего» мира. Например, мы имеем основания полагать, что наш собеседник чувствует боль, если видели, как он только что ударил молотком себе по пальцу, и сами имели опыт боли от удара по своему пальцу молотком. И мы имеем еще большие основания полагать так, если он при этом стонет, поскольку и мы обычно стонем, когда чувствуем боль. Как полагает Дж. Перри, наиболее обоснованные суждения о переживаниях других людей мы можем получить, исходя из данных нейронауки.

Таким образом, переживание можно в принципе описать с помощью только функциональных или только физических фактов. Вопрос о том, может

ли полученное описание быть таким, чтобы ему удовлетворяло одно и только одно феноменальное свойство (скажем, феноменальное свойство переживания красного), на данном этапе не поддается окончательному разрешению. Но даже если и может, это описание будет лишь косвенным образом указывать на интересующее нас свойство. Единственным способом прямо (демонстративно) указать на феноменальное свойство является указание на опыт, обладающий этим свойством. По этому поводу Дж. Перри пишет: «Сила термина "субъективный", как я его использую, не в том, чтобы отрицать возможность для других быть осведомленными о событиях, происходящих в [психике] другого человека, а в том, чтобы утверждать, что существуют особые методы, доступные для субъекта. Есть такие методы познания опыта, которые могут быть применены только тогда, когда у субъекта имеется этот опыт, и только этим субъектом, и которые являются прямыми, по крайней мере, в смысле отсутствия участия органов и средств внешнего восприятия» [8. С. 57].

В отсутствие опыта, обладающего искомым феноменальным свойством, мы можем знать кое-что об этом свойстве на основании описаний чужого опыта, но такое знание будет существенно неполным. Пользуясь словом из обыденного языка, можно сказать, что в этом случае мы можем сформировать *представление*, но такое представление не будет юмовской идеей. Пока мы не получим опыт, мы не узнаем, соответствует ли наше представление действительности, даже если оно точно ей соответствует. Суть различия между юмовской идеей и обычным представлением состоит в том, что последнее не обладает правильным типом причинной зависимости от опыта. Если воспользоваться аналогией, то можно сказать, что обычное представление похоже на фотографию одного из близнецов, которую используют, чтобы опознать другого близнеца. Сходство может быть абсолютным, но это не дает нам права говорить, что это его фотография. Точно так же мы не имеем права говорить, что мы знаем, каково феноменальное свойство некоторого опыта, если по факту наше знание получено без участия самого этого опыта.

С точки зрения обыденной интуиции утверждение, что феноменальные термины прямо указывают на опыт, а не на его функциональную роль или физическую реализацию, кажется очевидно истинным. Можно отрицать, что оно истинно, как делают некоторые современные философы. Но, как подчеркивает Дж. Перри [8. С. 79], принятие его за истину не обязывает к тому, чтобы перестать быть физикалистом. Следует различать физикализм максимальный, утверждающий, что феноменальные термины *не могут указывать ни на что кроме* физических свойств, и физикализм минимальный или, по выражению Перри, антецедентный, утверждающий, что феноменальные термины *могут указывать* на физические свойства. Этот последний допускает, что феноменальные термины указывают на нередуцируемо феноменальные свойства, но считает правдоподобным, что все феноменальные свойства в конечном счете тождественны каким-то физическим свойствам. Теория, которой придерживается обсуждаемый нами автор, принадлежит ко второму типу и совмещает тезис о нередуцируемости квалиа с тезисом о тождестве ментального и физического. За это ее и называют квалиа-физикализмом.

По мнению Дж. Перри, вся защита антецедентного физикализма против аргумента знания сводится к тому, чтобы показать, как можно обладать двумя независимыми понятиями об одном и том же феноменальном свойстве. Свою мысль он поясняет сначала на примере понятий об объектах. В семантике существует старая проблема, состоящая в том, что истинностное значение предложений, говорящих нечто о пропозициональных установках субъекта (его убеждениях, желаниях, надеждах и т.д.) по отношению к некоторому объекту, зависит от того, как этот объект именуется. Все выглядит так, как будто в контекстах с пропозициональными установками нарушается принцип подстановочности тождественного. Поиск решения для данной проблемы привел Г. Фреге к тому, чтобы признать, что в таких контекстах значениями имен становятся не референты, а понятия, которые субъект связывает с этими именами. Однако его решение было небезупречным. Позже предлагались и другие решения, более или менее удачные, но каждое из них вызывало серьезную критику. Некоторые философы дошли до того, что объявили предложения с предикатами пропозициональных установок вообще не выражающими содержание этих установок, а только описывающими их. Однако, как полагает Перри, мы должны не выбрасывать за борт содержание таких предложений, а как можно больше узнать о нем. Именно это он и пытается сделать в своей книге.

Если излагать семантические взгляды Дж. Перри кратко, то они состоят в следующем. Содержанием, согласно его точке зрения [8. С. 125], называется некоторый способ классификации языковых и когнитивных репрезентаций по их условиям истинности или, в более общем виде, условиям выполнимости. Действие этого способа классификации Перри поясняет с помощью специальной формулы – Анализатора содержания (Content Analyzer), – которая выглядит так:

(0) Если дано B, φ истинно, если и только если A,

где φ означает репрезентацию, имеющую значение истинности, B – некоторые фиксированные *фоновые* условия, при которых оценивается истинность φ, а A – содержание, приписываемое φ, если даны эти фоновые условия[1]. Иначе говоря, A есть условия, которые должны выполняться *дополнительно* к условиям B, чтобы φ было истинно. Ясно, что, если мы варьируем B, варьируется и A. Согласно Перри, полное содержание репрезентации определяется полными условиями ее истинности C такими, что для всех возможных сочетаний A и B в формуле (0) верно, что $A \in C$ и $B \in C$.

Чтобы проиллюстрировать, как работает Анализатор содержания, Дж. Перри использует пример, придуманный К. Донелланом для иллюстрации различения атрибутивного и референциального употребления определенных дескрипций, а именно предложение «Убийца Смита безумен». Аналогично различению Донеллана, Перри различает два способа прочтения этого предложения. Первый способ фиксирует в левой части формулы (0) ответы на вопросы о том, на каком языке высказано предложение, каковы семантические и синтаксические правила данного языка, применяемые для

[1] Следует сказать, что в этой работе Дж. Перри не использует слово «фон» для обозначения тех условий, которые принимаются как данность, но оно встречается в других его работах (см.: [9. С. 200, 210, 266]) и, на наш взгляд, хорошо выражает суть дела.

интерпретации предложения, а также кто является референтом имени «Смит», и не фиксирует денотат дескрипции «убийца Смита»:

(1) Если дано, что χ есть предложение, в котором выражение «убийца Смита» означает единственного убийцу Смита, то χ истинно, если и только если существует единственный убийца Смита, и он безумен.

Но предположим, что нам дано, что убийцей Смита является Джонс. Тогда появляется второй способ прочтения, состоящий в том, чтобы ввести новое условие в левую часть формулы (0):

(2) Если дано, что χ есть предложение, в котором выражение «убийца Смита» указывает на Джонса, то χ истинно, если и только если Джонс безумен.

Согласно Дж. Перри, ни один из этих двух способов не дает единственно правильного ответа на вопрос об *объектном содержании* (subject matter content) предложения «Убийца Смита безумен», т.е. о том, что данное предложение сообщает о мире. В каждом отдельном случае произнесения предложения решить, какое содержание передается, *атрибутивное* или *референциальное*, можно только на основании экстралингвистических фактов. Поэтому правильный ответ должен состоять в том, что оба этих содержания являются компонентами объектного содержания, и какой из компонентов будет релевантным в конкретном случае, зависит от контекста. Как подчеркивает Перри, содержание наших языковых и когнитивных репрезентаций не является чем-то данным свыше. Именно мы приписываем его, сообразуясь с теми знаниями о языке и о мире, которые могут быть релевантны в данном контексте.

Существуют и другие способы приписать репрезентации содержание. Один из них состоит в том, чтобы поставить само индивидуирующее свойство в зависимость от контекста. Парадигмальный случай такой зависимости – употребление личных местоимений. Для примера рассмотрим следующую ситуацию. Пусть Смит имеет убеждение, которое выражает предложением «Джонс убийца», и приобрел он это убеждение без личного знакомства с Джонсом. Пусть, далее, однажды Смит лицом к лицу встречается с Джонсом и дружелюбно беседует с ним, не зная, что это и есть Джонс, но в какой-то момент вдруг слышит, как некто окликает его собеседника «Эй, Джонс!». Вполне естественно ожидать, что его поведение по отношению к собеседнику после этого момента изменится: Смит начнет проявлять нервозность, постарается поскорее ретироваться или станет незаметно искать подходящее средство самозащиты. Теперь зададимся вопросом: приобрел ли Смит новое убеждение, которое могло бы служить объяснением этих перемен? Очевидно, что, если бы Джонс спросил его об этом и если бы Смит пожелал ответить искренне, он сказал бы «Я приобрел убеждение, что ты – убийца». Проинтерпретировав с использованием Анализатора содержания придаточное предложение его высказывания (для краткости обозначим это предложение ψ), получим два варианта:

(3) Если дано, что ψ есть предложение, в котором местоимение «ты» указывает на Джонса, то ψ истинно, если и только если Джонс убийца.

(4) Если дано, что ψ есть предложение, в котором местоимение «ты» означает адресата этого предложения, то ψ истинно, если и только если адресат ψ убийца.

В (3) дополнительные условия истинности задают референциальное (оно же в данном случае и объектное) содержание аналогично тому, как это было в (2) выше. Содержание, которое задано в (4), называется у Дж. Перри *рефлексивным содержанием* (reflexive content) и представляет собой то, что данное предложение сообщает относительно ситуации его произнесения. Можно было бы подумать, что рассматривать рефлексивное содержание отдельно от объектного содержания не нужно, так как первое сводимо ко второму. Однако сам Перри [8. 68] считает, что эта точка зрения, которую он обозначает как предположение объектности (subject matter assumption), в корне неверна. Несводимость рефлексивного содержания проявляется, по его мнению, всегда, когда в предложении нас интересует не его истинность, а то, что мы можем из него заключить о ментальных состояниях и поведении субъекта, который его произносит.

Действительно, в нашем примере объектное содержание предложения ψ ничем не отличается от объектного содержания предложения «Джонс убийца», которым Смит выражал свое старое убеждение. Если бы убеждения определялись только объектным содержанием, нельзя было бы сказать, что Смит приобрел новое убеждение и, следовательно, нельзя было бы объяснить перемены в его поведении. Но рефлексивное содержание предложения ψ не совпадает с рефлексивным содержанием предложения «Джонс убийца», поскольку рефлексивное содержание этого последнего описывается условием, чтобы человек, которого говорящий называет Джонсом, был убийцей, и в этом условии ничего не говорится об адресате. Таким образом, именно рефлексивное содержание отличает новое убеждение Смита от старого и позволяет объяснить поведение Смита. Более того, оно позволяет предполагать, что кто бы ни произнес искренне «Ты – убийца» и каков бы ни был его адресат, он с высокой вероятностью будет проявлять нервозность, стараться ретироваться или искать средство самозащиты. Иначе говоря, поведение во многих случаях зависит от рефлексивного содержания и не зависит от объектного содержания. Отсюда можно заключить, что для целей психологии и семантики контекстов с пропозициональными установками рефлексивное содержание является более удобным способом классификации языковых и когнитивных репрезентаций.[1]

Ситуацию с Мэри и переживанием красного Дж. Перри объясняет аналогично тому, как мы только что объяснили ситуацию со Смитом и Джонсом. Он рассматривает три аспекта знания, имеющегося у Мэри, когда она покинула черно-белую комнату и увидела спелый томат. Во-первых, некоторое имеющееся у нее знание можно было бы выразить предложением «Это переживание – переживание красного». Обозначим данное предложение ξ_1 и сформулируем его рефлексивное содержание:

(5) Если дано, что ξ_1 есть предложение, выражающее знание некоторого субъекта, и что выражение «это переживание» означает переживание, на ко-

[1] Подобную идею Дж. Перри впервые высказал в [9. С. 65].

торое направлено внимание этого субъекта в момент, когда он имеет знание, выражающееся в ξ_1, то ξ_1 истинно, если и только если переживание, на которое направлено внимание субъекта в тот момент, является переживанием красного.

Заметим, что определить переживание, которое Мэри получит, выйдя из комнаты и увидев спелый томат, как переживание красного она могла бы, еще находясь в комнате. Несомненно, она знала заранее, что спелые томаты красны. Но она не могла «указать» на это переживание, поскольку оно просто отсутствовало в тот момент. Она могла лишь описать его.

Во-вторых, кое-что о переживании красного Мэри знала уже давно благодаря представлению о нем, основанному на теоретических знаниях, полученных, пока она находилась в комнате. Введем обозначение Q_R для этого ее знания. Тогда знание, которое она имела до выхода из комнаты и продолжала иметь после выхода, мы сможем выразить в предложении «Q_R – феноменальное свойство переживания красного». Обозначим полученное предложение ξ_2 и посмотрим на его содержание:

(6) Если дано, что ξ_2 есть предложение, выражающее знание некоторого субъекта, то ξ_2 истинно, если и только если понятие о Q_R, вовлеченное в данное знание, удовлетворяется переживанием красного.

В-третьих, из конъюнкции ξ_1 и ξ_2 можно вывести предложение «Q_R – феноменальное свойство этого переживания». Это предложение и будет выражать новое знание, которое Мэри приобрела о Q_R. Обозначим его как ξ_3. Рефлексивным содержанием ξ_3 будет

(7) Если дано, что ξ_3 есть предложение, выражающее знание некоторого субъекта, и что выражение «это переживание» означает переживание, на которое направлено внимание этого субъекта в момент, когда он имеет знание, выражающееся в ξ_3, то ξ_3 истинно, если и только если переживание, на которое направлено внимание субъекта в тот момент, удовлетворяет понятию о Q_R, вовлеченному в данное знание.

Таким образом, выйдя из комнаты, Мэри дополнила свое понятие о Q_R юмовской идеей, то есть образцом для распознавания сходных переживаний в будущем. Теперь, если она встретит незнакомый красный объект, ей не нужно будет анализировать отражающие свойства его поверхности, чтобы понять, что этот объект красный. Она может просто сравнить наличное переживание с тем переживанием красного, которое она имела до этого, и понять, что они принадлежат к одному типу.

Как и в случае со Смитом и Джонсом, изменение в знаниях Мэри не объясняется изменением в объектном содержании ее репрезентаций. В самом деле, зафиксировав референты выражений «это переживание» в ξ_3 и «переживание красного» в ξ_2, мы получим одно и то же содержание этих предложений. Но если абстрагироваться от референтов, то содержание будет разным. При этом мы вовсе не обязаны говорить, что новое знание Мэри *полностью* выражается в (7). Мы можем сказать, что тем, что она узнала, является необходимая истина, что $Q_R = Q_R$, и будем правы, поскольку именно таково объектное содержание ξ_3. Однако сказав так, мы не объясним, почему это знание является новым. Чтобы получить адекватное объяснение, мы должны использовать что-то вроде (7).

Далее Дж. Перри переходит к тому, чтобы показать, что физикализм в его минимальном варианте не противоречит признанию нередуцируемости квалиа. Он пишет [8. С. 166], что точка зрения, согласно которой существуют способы познания физических фактов, субъективные в том простом и естественном смысле, который был описан ранее, противоречит не физикализму, а предположению объектности. Это предположение гласит, что существует вид знания, который состоит в усмотрении истинности некоторой языковой или когнитивной репрезентаций без какой-либо субъективной перспективы, «взглядом из ниоткуда». Однако нет никаких существенных причин принимать такое предположение. На самом деле существование знания, лишенного рефлексивного содержания, крайне сомнительно. Даже если у нас имеется некое сугубо аналитическое знание типа «Всякий безумный убийца – убийца», мы все же связываем его с некими понятиями о безумии и убийцах, предназначенными для использования в конкретных жизненных ситуациях и, следовательно, содержащими ссылку на какую-то субъективную перспективу.

Таким образом, Дж. Перри удается защитить физикализм от аргумента знания путем сугубо эпистемологической интерпретации последнего. Против такой интерпретации тоже, конечно, выдвигаются некоторые доводы. В частности, некоторые сторонники онтологической интерпретации аргумента знания используют для атаки на минимальных физикалистов, подобных Перри, средства семантики возможных миров (см., например, [11].) Они говорят, что теория тождества ментального и физического, если представить ее утверждения в семантике возможных миров, предполагает, что все миры, в которых имеет место ментальное событие, но не имеет места соответствующее физическое событие, невозможны. Но знание в той же семантике возможных миров моделируется как функция, разделяющая все множество возможных миров на два непустых подмножества: миры, совместимые с данным знанием, и миры несовместимые с ним. Если нет ни одного возможного мира, совместимого со старым знанием Мэри, но несовместимого с ее новым знанием, то и самого этого нового знания нет.

На подобные возражения можно ответить, что они скрыто опираются на предположение объектности, ограничивая все доступное Мэри знание лишь знанием объектных фактов. Дж. Перри же настаивает на том, что существует особый тип фактов – рефлексивные факты [8. С. 159]. Один и тот же объектный факт в разных субъективных перспективах соответствует разным рефлексивным фактам, и знание нового рефлексивного факта является новым знанием, даже если никакой новый объектный факт при этом не познается. Если бы мы сами не считали, что возможно новое знание старого объектного факта, невозможно было бы объяснить, почему мы считаем естественным изменение поведения Смита по отношению к Джонсу и почему мы считаем естественным удивление Мэри при виде первого в ее жизни спелого томата, увиденного без посредства черно-белого монитора. Все это означает, что когда мы оцениваем модальные характеристики некоторого положения дел по отношению к некоторому знанию, нужно учитывать не только объектные факты, составляющие это положение дел, но и все рефлексивные факты, которые могут в него входить.

Для большей ясности попытаемся выразить идею Дж. Перри языком семантики возможных миров. Что значит утверждение, что Мэри знает, каково видеть красный цвет? С точки зрения семантики возможных миров это значит, что она знает, как описать переживание, которое она имела бы при виде чего-то красного, таким образом, что во всех возможных, исходя из данного его знания, мирах, это переживание и только оно удовлетворяло бы описанию. Так вот, используемое здесь понятие возможности, исходя из некоторого знания, можно трактовать двояко. Можно понимать возможность как *реальную возможность*. Тогда при условии, что описание истинно и полно, исходя из его знания, Мэри следует считать возможными лишь те миры, где переживание красного имеет место тогда и только тогда, когда описание удовлетворяется. С другой стороны, можно понимать возможность как *концептуальную возможность*. Тогда, даже исходя из знания Мэри истинного и полного описания, некоторые миры, где в определенный момент времени переживание красного есть, хотя описание не удовлетворено, или, наоборот, переживания красного нет, хотя описание удовлетворено, следует считать возможными. Конечно, эти миры не будут реально возможными при условии, что описание истинно и полно. Однако, как нам представляется, применительно к данному случаю нужно использовать понятие концептуальной возможности, поскольку понятие реальной возможности означает, что Мэри обладает не только истинным и полным описанием, но и знанием того, что описание истинно и полно. Однако сам факт, что описание истинно и полно, не является физическим фактом о восприятии красного цвета, он является фактом об этом описании. Данный факт выходит за пределы знания, которое приписывается Мэри по условиям эксперимента, и не следует логически из этого знания. Поэтому без изменения условий мы не имеем права утверждать, что ей известен этот факт.

Отвергнув предположение объектности, мы ничуть не погрешим против физикализма, если скажем, что миры, совместимые со старым знанием Мэри, но не совместимые с ее новым знанием, лишь реально невозможны, но концептуально возможны для нее – или, пользуясь формулировками Дж. Перри, они невозможны исходя из объектного содержания знания Мэри, но возможны исходя из рефлексивного содержания ее знания. Точно так же можно сказать, что возможность того, что Джонс находится в здравом уме, существует исходя из атрибутивного содержания знаний некоторого детектива, которому известно, что убийца Смита безумен, но не существует исходя из референциального содержания его знаний. Таким образом, вместо одного множества возможных миров мы должны получить иерархию таких множеств, отображающуюся в иерархию всех содержаний, которые можно приписать данному знанию субъекта. Следует признать, однако, что стандартное понятие возможного мира противится такому использованию, поскольку мир рассматривается как *максимальное* непротиворечивое описание некоторого объектного (но не обязательно реально существующего) положения дел. «Материалом» для построения миров являются те же самые объекты и свойства, которые составляют реальный мир, хотя в некоторых возможных мирах они будут присутствовать в других комбинациях, а некоторые объекты и свойства – во-

все отсутствовать[1]. Поэтому для всякого объекта или свойства возможного мира, для которого в этом мире истинно утверждение о его тождестве какому-то другому объекту или свойству, то же самое утверждение будет истинно и в любом другом возможном мире. Видимо, семантика возможных миров просто не годится для моделирования содержания пропозициональных установок[2].

Литература

1. *Серл Дж.* Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002.

2. *Чалмерс Д.* Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. М.: Либроком, 2013.

3. *Barwise J., Perry J.* Situations And Attitudes // The Journal of Philosophy. 1981. V. 78, № 11. P. 668–691.

4. *Chalmers D.* Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap // Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism / T. Alter and W. Walter (eds.). NY: Oxford University Press, 2005. P. 167–194.

5. *Dennet D.C.* Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. MA: MIT Press, 2005. P. 122–150.

6. *Jackson F.* Epiphenomenal Qualia. // The Philosophical Quarterly. 1982. Vol. 32, № 127. P. 127–136.

7. *Levine J.* Materialism and Qualia: The Explanatory Gap // Pacific Philosophical Quarterly. 1983. № 64. P. 354–361.

8. *Perry J.* Knowledge, Possibility and Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

9. *Perry J.* The Problem of the Essential Indexical and Other Essays. NY, Oxford: Oxford University Press, 1993.

10. *Tye M.* Qualia // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). Edward N. Zalta (ed.) [Электронный ресурс]: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/qualia/ (дата обращения: 15.05.2017).

11. *Nida-Rümelin M.* Qualia: The Knowledge Argument. // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2015 Edition). Edward N. Zalta (ed.) [Электронный ресурс]: https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/qualia-knowledge/ (дата обращения: 16.05.2017).

Anna Yu. Moiseeva. Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the RAS (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: abyssian03@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/40/7

J. PERRY'S *QUALIA*-PHISICALISM AS AN ANSWER TO THE KNOWLEDGE ARGUMENT

Key words: qualia, phisicalism, reduction, the knowledge argument, Mary's room

The article is dedicated to one of the most complicated questions of philosophy of mind – reducibility of phenomenal properties or *qualia* to properties of other types. There are a lot of arguments used by proponents of irreducible *qualia* to prove their position. Likely, the knowledge argument, better known as "Mary's room" thought experiment, is the most discussed of them. It's a story about girl who has been imprisoned in black and white room since her birth, where she, impulsed by her curving to unknown, has studied every single physical fact about color, and then she was released to see the colored world with her own eyes. Intuition tells that Mary, who has leaved the room, will study something new about colors, for example, what it is like to see red. It's usually considered that accept-

[1] Или, более строго, некоторые объекты не будут существовать, а некоторые свойства не будут представлены ни в одном из существующих объектов.

[2] В нескольких местах своей книги [8. С.122, 193, 202] Дж. Перри намекает, что для анализа пропозициональных установок могло бы подойти понятие частично описанного возможного мира или ситуации. Семантика, в которой вместо возможных миров используются ситуации, развивается им в нескольких работах (см., например: [9. С. 130–137, 153–191]; а также совместно с Дж. Барвайзом [3].) Однако действительно ли с помощью ситуационной семантики можно ясно и интуитивно адекватно моделировать содержание знаний и убеждений – это вопрос для отдельного исследования.

ing the intuition testifies against physicalism about *qualia*. John Perry, the author of "Knowledge, Possibility and Consciousness" (2001), disagrees with this position. Basing on analysis of examples from semantics of propositional attitudes, Perry formulates his own concept of content, assuming that any knowledge contains a reflexive component that bounds the subject matter component of this knowledge to some subjective perspective – a perspective, from which this knowledge was received or from which it can be used in practice. As he shows further, the novelty of Mary's knowledge of colors is in that reflexive component. So, assuming existence of some special non-physical properties is not necessary to accept intuitive result of thought experiment with Mary, it is sufficient to distinguish subjective perspectives.

References

1. Searle, J. (2002) *Otkryvaya soznanie zanovo* [A Re-Discovery of the Mind]. Translated from English by A.F. Gryaznov. Moscow: Ideya-Press.

2. Chalmers, D. (2013) *Soznayushchiy um: V poiskakh fundamental'noy teorii* [The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory]. Translated from English by V. Vasiliev. Moscow: Librokom.

3. Barwise, J. & Perry, J. (1981) Situations and Attitudes. *The Journal of Philosophy*. 78(11). pp. 668–691. DOI: 10.2307/2026578

4. Chalmers, D. (2005) Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap. In: Alter, T. & Walter, W. (eds) *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press. pp. 167–194.

5. Dennet, D.C. (2005) *Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness*. MA: MIT Press. pp. 122– 150.

6. Jackson, F. (1982) Epiphenomenal Qualia. *The Philosophical Quarterly*. 32(127). pp. 127–136. DOI: 10.2307/2960077

7. Levine, J. (1983) Materialism and Qualia: The Explanatory Gap. *Pacific Philosophical Quarterly*. 64. pp. 354–361. DOI: 10.1111/j.1468-0114.1983.tb00207.x

8. Perry, J. (2001) *Knowledge, Possibility and Consciousness*. Cambridge, MA: MIT Press.

9. Perry, J. (1993) *The Problem of the Essential Indexical and Other Essays*. New York, Oxford: Oxford University Press.

10. Tye, M. (2016) Qualia. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2016 Edition. [Online] Available from: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/qualia/. (Accessed: 15th May 2017).

11. Nida-Rümelin, M. (2015) Qualia: The Knowledge Argument. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2016 Edition. [Online] Available from: https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/qualia-knowledge/. (Accessed: 16th May 2017).

УДК 510.2
DOI: 10.17223/1998863X/40/8

П.И. Олейник

СТИПУЛЯТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ПРИНЦИПА ЮМА[1]

Рассматривается методология неофрегеанского проекта философии математики. Раскрывается понятие стипулятивного определения. Проблематизируется статус принципа Юма как стипулятивного определения: анализируется взаимосвязь стипулятивного характера принципа и так называемой проблемы плохой компании.
Ключевые слова: *неологицизм, принцип Юма, принципы абстракции, стипулятивные определения.*

В работе «Концепция Фреге чисел как объектов» [1] Криспин Райт показал, что из «Grundlagen der Arithmetik» [2] Фреге можно извлечь доказательство бесконечности натуральных чисел, используя только соответствующую формализацию следующего «частного контекстуального определения» числовой идентичности (впоследствии с подачи Булоса утвердилось наименование этого принципа как «принцип Юма»):

для любых понятий F и G число Fs идентично числу Gs, если и только если Fs и Gs находятся во взаимно однозначном отношении.

Райт обосновал, что это доказательство может стать основой законной (модифицированной) формулировки философии арифметики Фреге, которая опирается на тезис, что числа являются объектами, но вместе с тем не прибегает к использованию проблематичной теории классов. Книга «Абстрактные объекты» Боба Хейла [3] является следующей важной вехой в разработке «неофрегеанской» философии арифметики линии концепции самого Фреге.

Неофрегеанская программа Райта и Хейла стремится показать это логическое открытие как философски интересный взгляд относительно нашего знания арифметики, относя принцип Юма под общий метод введения понятия с помощью «принципа абстракции». Эта программа объясняет эпистемологический интерес открытия того, что арифметика – это часть не логики второго порядка, но арифметики Фреге, с помощью положения о введении понятий путем абстракции. Ключом к достижению этой цели является идея, что принципы абстракции имеют исключительный статус: они представляют собой особый вид стипуляции. Их стипулятивный характер показывает их важность наряду с эксплицитными определениями, даже если их создание предполагает сходство с аксиомами; и это – главный принцип неофрегеанского логицизма: принципы абстракции являются удовлетворительными в качестве определений, которые представляют объяснение, согласно традиционной линии, почему арифметические знания – это знания априори. С по-

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект № МД-4664.2016.6).

мощью «принципа абстракции» неофрегеанцы обозначают универсальное «замыкание» любого выражения формы:

$$\Sigma(X) = \Sigma(Y) \leftrightarrow X \mathfrak{R} Y,$$

где $\mathfrak{R}$ – отношение эквивалентности, переменные X и Y могут быть любого порядка, и функция Σ может быть смешанного типа. В случае с принципом Юма отношение эквивалентности является отношением понятий с взаимно однозначным соответствием, а «функции численности» – это отображение от фрегеанских понятий к объектам.

Стипулятивные определения

Поскольку данная статья тематизирует использование неофрегеанским логицизмом стипулятивных определений *(stipulativ edefinition)*, сделаем небольшое пояснение по поводу этого вида определений. В силу того, что в русскоязычной литературе данный вид определений не встречается, мы будем использовать кальку с английского языка. В англоязычной литературе некоторые источники приравнивают данный вид определений с номинальными определениями, другие же источники разделяют их. Поэтому мы во избежание путаницы не станем отождествлять номинальные и стипулятивные определения. Согласно определению, стипулятивные определения – это определения, в которых новым или существующим терминам дается специфическое значение в целях аргументации или дискуссии в данном контексте. Например, в загадке индукции Нельсона Гудмэна, слово «зелубой» *(«grue»)* было стипулятивно оговорено как «свойство объекта, который, будучи рассмотренным до момента *t,* является зеленым, а будучи рассмотренным позже момента *t,* является голубым». *«Grue»* не имеет смысла в стандартном английском; следовательно, Гудмэн создал новый термин и дал ему стипулятивное определение.

Однако существует ряд претензий к использованию стипулятивных определений. Зачастую они применяются в спорах, «когда один человек тайно использует слово каким-то особенным образом и затем ведет спор, как если бы любой использовал бы это слово таким же образом. При таких обстоятельствах человек использует слово “стипулятивно”. В таких случаях предположение, что другой человек использовал слово точно так же, редко бывает оправданным» [4]. Кроме того, когда стипулятивное определение путают с лексическим, существует риск неопределенности, и, более того, «слова в языке являются общедоступными инструментами для общения на этом языке, и стипулятивное определение имеет смысл, только если оно соответствует стандартам использования, которые необходимы для настоящих целей, для целей “под рукой”» [5].

Вместе с тем употребление стипулятивных определений является обязательным компонентом языка, и на это есть ряд веских причин. Так, мы используем стипулятивное определение каждый раз, когда слово определяется впервые или совершенно новым способом (к примеру, Гелл-Манн дает термину «кварк» именно стипулятивное определение). Кроме того, это может быть просто вопрос удобства – способ использования одного слова вместо пары десятков (например, использование понятий «гугол» или «йотта»). Сти-

пулятивное определение может также быть необходимым, чтобы ясно донести какую-то новую идею или факт.

Принцип Юма как стипуляция

В случае с принципом Юма основная идея, по-видимому, такова: принцип Юма – это стипуляция, которая задает условия истинности для ограниченного класса утверждений о числовой идентичности, а именно, формы «число Fs идентично числу Gs». Хотя спецификация условий истинности является частной – она касается только ограниченного класса утверждений о числовой идентичности, – полученное объяснение понятия числа является полным в той мере, в какой оно является достаточным для вывода основных законов арифметики. Как подчеркивает сам Райт, будет ли считаться принцип Юма аналитической истиной, целиком и полностью зависит от его статуса как стипуляции, регулирующей наше применение понятия числа.

Формирование понятия на основании принципа Юма, как и формирование понятия в соответствии с каким-либо другим принципом абстракции, предполагает введение *нового* понятия: принцип Юма является тривиальным выводом о природе понятия числа, потому что он является стипуляцией, регулирующей введение этого понятия (а не анализом уже существующего понятия). Стипулятивный характер принципа важен, поскольку именно эта особенность позволяет ему сдержать (пусть в ограниченном и несколько модифицированном смысле) обещание логицизма обеспечить априорность арифметики, дополненной некоторыми видами стипуляции. Сам Райт изначально обозначил свой подход как «теоретико-числовой логицизм», потому что он выводит основные законы арифметики из стипуляции, регулирующей понятие числа, не представляя, однако, эксплицитных определений отдельных чисел или «непосредсвенного последования» на основании чисто логической лексики. Хотя теоретико-числовой логицизм не соответствует цели эксплицитного определения словаря арифметики в чисто логических терминах, он исходит из одной только стипуляции, и «объяснение» числовой идентичности посредством принципа Юма достигается в терминах понятий логики (второго порядка).

Стипулятивный характер принципа Юма и проблема плохой компании

Первый класс возражений, которые были выдвинуты против неофрегеанской программы, известны как возражение «плохой компании».

Позиции Райта направляются два возражения о плохой компании. Во-первых, введение понятий с помощью принципа абстракции может дать сбой и может сделать это так зрелищно, как в случае с принципом абстракции, выраженным в «Grundgesetze» Фреге – Аксиомой V Фреге. Но (возражение продолжается) как мы можем принять подход, который призывает нас полагаться на методологию, которая, как известно, имеет серьезные изъяны? Во-вторых, учитывая нашу свободу вводить тот или иной принцип абстракции, необходимо дополнить этот подход критерием, способным регулировать предпочтительность выбора одной абстракции вместо другой.

По поводу первого возражения Райт убедительно показал (см. [6]), что тот факт, что методология иногда приводит к ошибочным выводам, не означает, что она сама является ошибочной, и он напоминает нам, что принцип Юма является согласующимся с анализом. Так почему необходимо показать, что процедура будет работать независимо от того, какой принцип абстракции используется?

Однако непротиворечивость принципа Юма не опровергает второе возражение «плохой компании», которое поднимает вопрос, является ли, и в какой степени, этот принцип истинным. Предположим, что мы допускаем, что принцип Юма устанавливает условия истинности для определенных утверждений о числовой идентичности. Так является ли истинность принципа Юма всего лишь делом стипуляции? Сам Райт пишет: «Положение дел изначально дано нам как получение определенного отношения эквивалентности ...; но у нас есть возможность, путем стипуляции, которую содержат абстракции, так переосмыслить такие положения дел, что они составляют новый вид вещей…» [6. P. 277]. То, что Райт видит принципы абстракции как стипуляцию, усиливается контрастом, который он обозначает между основой нашего познания истины принципа Юма и нашим знанием о существовании чисел: абстрактные объекты не являются творением человеческого разума, «введенного своего рода стипуляцией. То, что формируется – создается – путем такой абстракции, – это скорее концепция (понятие): результатом является просто фиксация условий истинности утверждений о тождественности относительно нового вида вещей, и это уже совсем другой вопрос, реализуются ли когда-либо эти условия истинности» [6. P. 278]. Фактически Райт утверждает, что существование чисел – это что-то скорее обнаруженное, а не стипулированное, в то время как наше априорное знание о необходимости их существования является производным от принципа, истинного в силу стипуляции.

Хейл и Райт подчеркивают различие между трактованием принципа Юма как стипуляции – то, что они полагают непроблематичным – и рассмотрением существования чисел как результата стипуляции, что, соглашаются они, является проблематичным. Они пытаются показать, что принцип Юма просто устанавливает частные условия выполнения отношения числовой идентичности. Хейл и Райт настаивают, что это не является частью их позиции относительно того, что стипуляция такой выполнимости условий должна обеспечивать существование объектов, связанных с отношением числовой идентичности; скорее, их существование обеспечивается доказательством того, что существуют объекты, связанные соотношением, введенным таким образом. Действительно, открытие этого доказательства придаёт тот смысл, который они вкладывают в то, что существование чисел «обнаруживается».

Возможно, стипулятивный характер принципа Юма должен мыслиться по образцу фиксирующей референцию стипуляции, наподобие примера Сола Крипке введения такого термина, как «метр». Идея заключается в том, что мы стипулируем, что в момент времени *t* брусок *b* имеет длину в метр, из чего следует, что во время *t* длина *b* подпадает под понятие *метр*. Хотя мы задали стипуляцию (фиксирующую референцию стипуляцию), при этом мы преуспели в создании утверждения, основанного на фактах, а именно, что *b* имеет определённую длину в момент *t* – того, что имеется еще до того, как

конвенция была задана, и того, что будет, даже если конвенция будет «изъята». Может ли нечто подобное содержаться в концепции введения понятия путём абстракции, чтобы представить, что она также могла состоять в задании стипуляции, и в то же время имела фактическое содержание? Сложность ответа заключается в том, что, несмотря на то, что модели Крипке, фиксирующей референцию, достаточно для того, чтобы показать, что в целом не является истинным, что стипуляции не способны иметь фактическое содержание, которое не зависит от самих стипуляций, это не поможет уточнить то, как стипулятивный характер введения понятия с помощью абстракции способен предоставить фактическое содержание такого принципа, как принцип Юма. Это происходит потому, что фактическое содержание утверждения о том, что брусок *b* – метровый, осуществляется за счёт возможности демонстрации или выявления (независимо от фиксирующей референцию стипуляции) длины, к которой понятие метра должно быть применено. Но именно такой возможности не хватает в случае теоретико-числовой позиции в терминах введения понятия путём абстракции.

Идея, что истина принципа Юма является делом стипуляции, которая независима от какой-либо «априорно определяемой истины», позволяет Райту избежать тех трудностей, которые препятствуют тому, чтобы показать, что он истинный или что он правильно отражает наше доаналитическое понятие числовой идентичности. Однако это сопряжено с определенными издержками: проблема в том, что есть много абстракций, которые являются выполнимыми, но относительно некоторых предположений, они не обязательно являются *взаимно* выполнимыми. Булос [7] вводит несколько предложений с очень разными свойствами в теории моделей, но с равным правом считаться принципами абстракции, которые вводят класс абстрактных сингулярных терминов. Райт [8] рассматривает модификацию одного из примеров Булоса, который сам он называет NP*(Nuisance Principle – досадный принцип)*. Может быть показано, что результат этого принципа абстракции выполняется в конечных областях, но не выполняется, если область индивидуальных терминов бесконечна и круг переменных понятий является полной мощностью множества этой области. Если мы принимаем стипуляцию, выраженную в NP, мы будем ограничены моделями, имеющими только конечное число объектов. Поскольку принцип Юма выполняется только в бесконечной области, наше принятие NP будет препятствовать нашему стипулированию того, что числовые сингулярные термины должны использоваться в соответствии с принципом Юма. Но если принимать всерьез идею, что принципы абстракции являются лишь стипуляциями, регулирующими использование сингулярных терминов, которые они вводят, т.е. что они являются конвенциями, которые мы свободно установили, мы могли бы легко низвергнуть истину принципа Юма в силу «некорректного» изначального выбора принципа абстракции, который выполняется только в конечной области. Это будет происходить, если, например, мы впервые обратились к стипуляции, выраженной в NP. Но если принципы абстракции являются стипуляциями, и, таким образом, принцип Юма – это только одна стипуляция из многих, то каким образом возможно придать смысл идее, что существует правильный изначальный выбор? Если истина некоторой абстракции является вопросом стипуляции, то наличие об-

ласти, достаточно большой, чтобы содержать числа, может показаться зависящим от того, какие абстракции заложены в первую очередь, тогда вопрос о том, содержит ли область объектов подобласть, способную смоделировать основные законы арифметики, будет зависеть от нашего произвольного решения.

Очевидно, что это вывод, который Райт и Хейл не одобрят, и они признают, что то, что можно было бы назвать «квази-конвенциональными» особенностями их подхода, обязывает их сформулировать принципиальное разделение абстракций. Одно из выдвигаемых Райтом предложений заключается в том, что некоторая абстракция является приемлемой, только если она удовлетворяет требованию «консервативности», согласно которому некоторый принцип абстракции является приемлемым, если он не ограничивает мощность множества понятий, с введением которых он сам эксплицитно не связан. Но для того, чтобы знать, что принцип Юма ограничивает только мощность множества чисел, мы должны знать функцию численности, не только то, что он связывает понятия с объектами, что, в частности, неравночисленные понятия связаны с различными объектами, мы должны также знать, что объекты, таким образом связанные, – это числа. Иначе говоря, как мы можем утверждать, в соответствии с условием консервативности, что он распространяется только на числа? Проблема демаркации принципа Юма от «плохих» принципов абстракции на основе консервативности, казалось бы, предполагает решение проблемы демаркации чисел от других объектов на основе принципов, приводящих теоретико-числовой логицизм к так называемой проблеме Юлия Цезаря. Райт может ответить на это обвинение таким замечанием, что предполагается, что мы обладаем нереконструированным понятием числа, которое находится в ведении принципа Юма. Но весь смысл введения понятий с помощью абстракции, скажет он, заключается в том, чтобы объяснить, как числа могут быть введены, не прибегая к любой подобной зависимости. Поэтому существует определенная внутренняя согласованность программы Райта, что делает ее устойчивой к критике такого рода. Тем не менее, даже если окажется возможным провести принципиальное разделение между плохими и хорошими абстракциями, точка развития теории хороших абстракций зиждется на допущении, что некоторый принцип абстракции, настолько состоятельный, как принцип Юма, может быть адекватно представлен в качестве стипуляции.

Напомним, что ключевая *философская* идея «Grundlagen» – идея, которая лежит в основе возрождения программы Фреге, – это понятие о том, что числовые сингулярные термины «референциальны», поскольку благодаря принципу Юма у нас есть четкий критерий, позволяющий определить, когда одно и то же число «дано нам» двумя различными способами, как число одного или другого понятия. Обеспечив истинность этого критерия идентичности, мы имеем право в силу принципа контекстуальности сделать вывод о том, к чему отсылают числовые сингулярные термины. Наш «доступ» к числам, следовательно, опосредован нашим признанием истинности принципа Юма, и этот принцип также служит основной предпосылкой в доказательстве их бесконечности. Позиция Фреге относительно нашего доступа или референции к числам, таким образом, существенно опирается на наше при-

знание истины принципа Юма. Что необходимо для того, чтобы сделать эту позицию жизнеспособной, так это дать удовлетворительное объяснение смысла, в котором принцип Юма является истинным, и объяснение того, как известно, что он истинный.

Таким образом, последствия трактования принципа Юма в качестве стипуляции распространяются на широкий круг вопросов. Основная сложность, судя по всему, имеется с переходом от характеристики истины принципа Юма как простой стипуляции к его развертыванию в качестве истины, имеющей значительные экзистенциальные последствия. В силу того, что использование принципа Юма опирается на его сочетание с принципом контекстуальности, этот переход явно требуется; тем не менее этот тупик и является главным камнем преткновения для принятия претензий неофрегеанского логицизма в обеспечении и объяснении референции числовых сингулярных терминов.

Нет никаких сомнений в важности вклада Хейла и Райта и витальности, которую они придали теме, которая долгое время рассматривались как имеющая в большей степени исключительно исторический интерес. Возрождение Райтом теоремы Фреге было основным стимулом для переоценки философии арифметики Фреге, и их с Хейлом совместная оборона модифицированной формы логицизма Фреге вызвала критическую реакцию, которая привела к существенному уточнению неофрегеанской позиции.

Литература

1. *Wright C.* Frege's conception of numbers as objects. AberdeenUniversity Press, 1983. 194 p.

2. *Фреге Г.* Основоположения арифметики [Электронный ресурс] // philosophy.ru: философский портал. URL: http://philosophy.ru/library/frege/frege_math.html (дата обращения: 10.05.20178.

3. *Hale B.* Abstract objects. OxfordUniversity Press, 1987. 224 p.

4. *Hurley P.* A Concise Introduction to Logic (Study Guide). Wadsworth Pub Co; 7th Sg edition, 2000. 680 p.

5. *Govier T.* A Practical Study of Argument, Enhanced Edition, 2010. 432 p.

6. *Hale B., Wright C.* The Reason's Proper Study: Essays towards a Neo-Fregean Philosophy of Mathematics. Oxford: Clarendon Press, 2001. 455 p.

7. *Boolos J.* The Standard Equality of Numbers // Logic, Logic and Logic. Harvard University Press, 1999. P. 202–219.

8. *Wright C.* On the philosophical significance of Frege's theorem // Language, thought, and logic, edited by Richard Heck, Jr., Oxford, Oxford: University Press, 1997. P. 201–244.

Polina I. Oleinik. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)
E-mail: polina-grigorenko@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/8
STIPULATIVE CHARACTER OF HUME'S PRINCIPLE
Key words: neologicism, Hume's principle, abstraction principle, stipulative definitions

The paper analyzes neo-logicism of C. Wright and B. Hale. The neo-Fregean methodology is based on the introduction of the concept of number by using the abstraction principle – the Hume's principle. Abstraction principles have a distinguished status: they are a special kind of stipulation.Wright derives the basic laws of arithmetic from a stipulation governing the concept of number, without providing an explicit definition of the individual numbers or of «immediately precedes» on the basis of a purely logical vocabulary. There are challenges related to the use of stipulative definitions in the neo-Fregean philosophy of mathematics, in the first place, the so-called «bad company objection». The first difficulty is that the use of the principles of abstraction, for example, Axiom V Frege, can lead to a contradiction. In response, Wright and Hale demonstrate that the presence of erroneous prin-

ciples of abstraction does not mean that methodology is irremediably flawed. The second difficulty is next. Given the fact that some abstraction principles are inconsistent with each other, it is necessary to supplement the account with a criterion capable of governing the choice of one abstraction over another. Wright and Hale suggest as a solution to this difficulty the use of the criterion of «conservatism», according to which an abstraction principle is acceptable if it does not constrain the cardinality of concepts with whose introduction it is not explicitly concerned. However, this solution is also problematic. Wright and Hale maintains that the existence of numbers is something discovered rather than stipulated, while holding that our a priori knowledge of their necessary existence is derived from a principle truth is a matter of stipulation. They're trying to show that Hume's principle merely lays down partial satisfaction conditions for the relation of numerical identity. The main difficulty of the neo-Fregean methodology, indeed, is with transition from the characterization of the truth of Hume's principle as a simple stipulation to its deployment as a truth having significant existential implications. Presently, these discussions are still ongoing and decisions are pending.

References

1. Wright, C. (1983) *Frege's conception of numbers as objects*. AberdeenUniversity Press.

2. Frege, G. (n.d.) *Osnovopolozheniya arifmetiki* [Fundamentals of Arithmetic]. [Online] Available from: http://philosophy.ru/library/frege/frege_math.html. (Accessed: 10th May 2017).

3. Hale, B. (1987) *Abstract objects*. OxfordUniversity Press.

4. Hurley, P. (2000) *A Concise Introduction to Logic (Study Guide)*. 7th ed. Wadsworth Pub Co.

5. Govier, T. (2010) *A Practical Study of Argument*. Cengage Learning.

6. Hale, B. & Wright, C. (2001) *The Reason's Proper Study: Essays towards a Neo-Fregean Philosophy of Mathematics*. Oxford: Clarendon Press.

7. Boolos, J. (1999) *Logic, Logic and Logic*. Harvard University Press. pp. 202–219.

8. Wright, C. (1997) On the philosophical significance of Frege's theorem. In: Heck, R. Jr. (ed.) *Language, thought, and logic*. Oxford, Oxford: University Press. pp. 201–244.

УДК 101.2
DOI: 10.17223/1998863X/40/9

В.И. Разумов

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Философские проблематизации связываются с идеей о переходе к новой исторической эпохе Великого Синтеза и завершении Рациональной эпохи, начавшейся в «осевое время». Снижение статуса философских проблем в интеллектуальной культуре протекает параллельно со снижением креативного потенциала в целом. Будущее философских проблем связывается с интеллектуальными интуициями, языками проблематизаций и интеллектуальной деятельности, форматами знаний.
Ключевые слова: *новая эпоха, философские проблемы, формы упаковки знаний.*

1. Введение. Философские проблемы относятся к числу первых в интеллектуальной истории. Обратимся к перечню и анализу проблем философии, проведенному Н.С. Розовым [1]. Многие полагают отличительной чертой философских проблем их принципиальную неразрешимость. Однако, принимая такую позицию, во-первых, оказывается невозможным оценивать прогресс в философии в сравнении с другими науками, где проблемы разрешаются; во-вторых, задумаемся, а насколько специфичны именно для философии формулировки указанных проблем, к примеру о смысле истории; в-третьих, как чувствительны эти проблемы к системным трансформациям общества конца XX и начала XXI в.

Философы утрачивают привилегированное положение в среде интеллектуальной культуры с конца XIX в. по мере усиления позиций эмпирически-ориентированного естествознания и позитивизма. Если философы намерены занять достойные позиции среди интеллектуалов XXI в., то целесообразно проведение серьезного переосмысления философской проблематики, которое должно быть соразмерно глубине и масштабам происходящих в обществе изменений.

Перемены в обществе обусловлены переходом к новой эпохе. В истории общества выделим три эпохи, отличающиеся особенностями интеллектуальной культуры. Первая – *Архаическая* эпоха. Она начинается от неолитической революции, т.е. около 8–10 тыс. лет назад. Интеллект можно охарактеризовать метафорой «мифопоэтический». Основная деятельность людей Архаической эпохи направлена на создание средств, требующихся для выживания. Формирование второй эпохи протекает в отрезке 800–200-е гг. до н.э. К. Ясперс называет данный период «осевым временем» и утверждает, что тогда были заложены духовные и интеллектуальные основы последующего развития человечества. Так как ведущим качеством интеллекта становится способность к доказательному рассуждению, назовем эту эпоху *Рациональной*. Деятельность людей Рациональной эпохи сосредоточивается на расширяющемся производстве разнообразных продуктов. Эпоха завершается в

конце XX начале XXI в. вместе с наступлением кризиса индустриального общества и его ведущих модераторов – науки и образования. Наступил этап радикальных трансформаций, знаменующих начало третьей эпохи.

С конца XX и начала XXI в. разворачиваются глубокие культурно-цивилизационные трансформации. Растет потребление, ресурсная база сокращается, переход человечества от экстенсивного к интенсивному формату развития тормозится. Страны-лидеры Hi-Tech имеют колоссальные внешние задолженности. США становятся крупнейшим экспортером углеводородов. Мировая динамика никогда не отличалась ранее сочетанием таких качеств, как а) высокая связность (информационная, культурная, транспортная и др.); б) рост числа коллективных субъектов как участников мировых процессов (государства, конфессии, ТНК, этносы, социальные сети и др.), с усилением противоречий между ними по контролю над ресурсами, включая культурные. И это только некоторые из многочисленных перемен в обществе.

Факты указывают на многообразные процессы, подготавливающие новую эпоху. Это эпоха – *Концептуальная (Великий Синтез)*. Ее ведущая характеристика – производство смыслов, создание и интеграция разнообразных по масштабам и качеству систем. Система науки и образования призвана сыграть ключевую роль в подготовке человечества к бытию в Концептуальной эпохе. Здесь способна проявить себя философия, проблемы которой могут определить стратегию развития, обеспечивая консолидацию интеллектуальной культуры.

Философам стоит критически подойти к декларируемым философским проблемам, решая, как минимум, следующие задачи: 1) работа над формулировками нового комплекса проблем, выражающих разные аспекты кардинальной переориентации мировоззрения, с определением новых ориентиров для человека и общества; 2) переход с поиска дефиниций неразрешимых проблем на выявление и формулировку интеллектуальных интуиций как слабо отрефлексированных мотивационных установок, инициирующих деятельность человека и социальные группы в XXI в.; 3) разработка механизмов, обеспечивающих включение результатов философских работ, прежде всего, в математические и физические исследования, с сохранением за философией роли координатора и модератора междисциплинарных исследований и проектов, ориентированных на синтез [2].

2. Прошлое философских проблем. В существенной мере оно определяется представлением о философии как о «царице наук», и ее предназначением первооткрывателя вечных истин – Sub specie aeternitatis (лат. – с точки зрения вечного). Выделение в [1] 15 философских проблем (8 «великих» и 7 «проблем-неудачниц») хорошо очерчивает богатую историко-философскую традицию и опыт проблематизаций. В продолжение высказанных идей сформулируем несколько соображений. Во-первых, любая из перечисленных проблем в [1] может квалифицироваться как междисциплинарная. Во-вторых, трудно оценить влияние решения любой из этих проблем философами на другие науки, области интеллектуальной культуры. В-третьих, в фокусы внимания философов XXI в. указанные 15 проблем философии по-

падают редко. Такой выводможно сделать, проанализировав темы кандидатских и докторских диссертаций и, названия публикаций.

От Сократа к М. Хайдеггеру протягивается линия развития философии как искусства вопрошания. Ценность философских вопросов определялась их влиянием на развитие интеллектуальной культуры. По мере совершенствования ее отраслей, а также в связи с углубляющейся дифференциацией интеллектуальной деятельности, а в особенности науки, постановка проблем специализируется, сказываясь и на философии. Лидерами науки с XX в. выступают математика и физика с приложениями их результатов в инженерно-технических дисциплинах. Философы в силу универсальности предмета, методов, категориального аппарата обладают потенциалом выступать организаторами междисциплинарных исследований и проектов, но он используется явно недостаточно. В распространенных выражениях философские проблемы представляются ученым: а) недостаточно строго сформулированными, б) не входящими в область интересов, в) такие проблемы уже решаются в науке вне зависимости от философских работ, к примеру психофизическая проблема в нейрофизиологии.

Если предпринять краткий обзор истории философских проблем, уместным будет выделить в ней три периода. Первый период совпадает с началом философии, когда философы выступают лидерами интеллектуальной культуры. Они осуществляют проблематизации, относительно которых разворачивается познание, формируются научные направления. Второй период характеризует конкуренцию философии за лидерство в интеллектуальной культуре с науками и с религией. К сожалению, философам не удалось найти удачной специализации философии среди остальных отраслей интеллектуальной культуры, к концу XIX началу XX в. философы, потерпев неудачи в натурфилософском проекте, включаются вместе с наукой и образованием в процессы предметно-методологического обособления и дифференциации (фрагментации) знания. Третий период знаменует перемещение философии на периферию интеллектуальной культуры. Позицией большинства философов становится роль свидетеля при первооткрывателях ученых, педагогах, политиках, представителях масс-медиа и пр. Со второй половины XX в. и по настоящее время можно говорить о современном (третьем) этапе становления философской проблематики.

3. Настоящее философских проблем. С конца XX в. философия, как и другие отрасли интеллектуальной культуры, переживает неудовлетворенность своим настоящим состоянием и находится в поисках иных смыслов, идей, ценностей. Обратимся к опытам новых философских проблематизаций. В [3] были предприняты попытки формулирования новых философских проблем, призванных определить ориентиры становящейся эпохи. Здесь предложим несколько формулировок, способных инициировать междисциплинарные обсуждения.

3.1. В каком из актуальных направлений и до какой степени согласованно (гармонично) пойдет развитие человека, общества, природы? При ограниченности внутренних и внешних ресурсов и с учетом современных устройств человека и общества расширенное гуманитарное и социальное воспроизвод-

ство не имеют стратегических перспектив (загрязнение окружающей среды, исчерпание ресурсов …). Важно осмысливать, какую роль в эволюции человека и общества будет играть Природа (Земля, Космос), сформируется ли в XXI в. устойчивая триада саморазвития: человек, Природа, общество.

3.2. Являются ли человек и общество высшими ступенями эволюции Космоса, способны ли они порождать и реализовывать проекты трансгуманистического, транссоциального характера, отвечающие критериям безопасности, реалистичности, эффективности? Естественно, ответ на эти вопросы требует четкого представления об эволюции, устраивающего ученых разных специальностей, философов, теологов. Современные представления об обществе далеки от их концентрации в формат научной социальной теории, позволяющей строить и анализировать имитационные модели, прогнозировать события, реализовывать адекватные управления.

3.3. На рубеже XX и XXI в. происходит смена форм перцепции. Книжная и аудиальная передача информации заменяются экранно-клиповыми формами, усиливается кинестатический компонент в восприятии, линеаризованные тексты замещаются гипертекстами. В этих условиях повышается эстетизация восприятия. Причем искусство разворачивается в качестве одного из инструментов познания. Перспективный синтез когнитивного, технического, эстетического компонентов можно проследить в настоящее время в развитии цифровой культуры, в частности нано-арта [4]. Может сложиться впечатление, что в основе сказанного лежит сциентистско-технократический проект, но среди философов имеет место интерес к темам архаики, мифопоэтики, к примеру [5–6]. В работах отмеченных авторов не только фиксируется факт глубокого поворота в культуре XXI в. в целом, но и указывается на рост визуального, телесного, эстетического компонентов.

3.4. После неолитической революции, невозможной без активизации интеллекта, следующим поворотным пунктом в мировой истории выступает осевое время, где сформировался современный тип интеллектуальной культуры. Апогей ее развития – индустриальное общество. Его кризис в конце XX в. не причина, а следствие стагнации в развитии интеллекта, снижения темпов развития в науке, образовании, проектировании. В перечисленных областях жизнедеятельности должна была сформироваться база для перехода от экстенсивных к интенсивным технологиям развития цивилизации. Этого не происходит, что ярко подтверждает мировой кризис, начавшийся с 2008 г., и продолжающийся до настоящего времени. В аспекте интеллекта он демонстрирует отсутствие решений, открывающих человечеству новый горизонт развития и необходимых для перехода в новую эпоху.

3.4.1. Современную интеллектуальную культуру отличает глубокая фрагментация, ярко выражающаяся в науке, философии, религии. Открытие в XX в. системного подхода, кибернетики, синергетики должно быть дополнено выходом на уровень синтеза систем, начиная от объединения философии, физики, математики, основы которого были заложены в Античности и сохранялись еще в XVIII в. В настоящее время серьезной работы в указанном направлении не проводится. В России междисциплинарные исследования практически не предусмотрены ни рубрикатором научных направлений и специальностей, ни деятельностью РФФИ, РНФ.

3.4.2. Выше (п. 3.3) было указано на кардинальную смену человеком форм перцепции. Рациональная культура от осевого времени взяла за основу линеаризованные формы рассуждения, речи, письма. Своим открытием дифференциальной геометрии Р. Декарт показывает вторичность чертежа (изображения) в отношении к аналитическим записям. Однако организация мысли, устройство большинства естественных объектов, инженерно-технических систем радикально отличаются от линеаризованных описаний. Сказанное актуализирует обращение к гипертекстам, геометрическим схемам, логико-топологическим проработкам. Это не исключает линеаризованные тексты. Воспользуемся аналогией – карта местности и текст для ее описания как дополнения друг друга.

3.4.3. В конце XIX начале XX в. неокантианцами актуализируется тема кардинального различия наук о Духе и о Природе. Представляется, что при обсуждении данной темы более точно следовало бы вести речь о не решенной наукой проблеме согласования смысло-содержательного и формально-математического аспектов рассуждения. Это уместно дополнить формулировкой о дисбалансе в развитии автоматизации вычислений (Б. Паскаль, Г.В. Лейбниц, А. Тьюринг, …) и автоматизации рассуждений (Р. Луллий, логические машины [8]).

3.4.4. Тема социального неравенства начинает конструктивно обсуждаться Платоном, предложившим выделять в государстве три сословия. В XXI в., с переносом коммуникаций на новые средства связи и интеллектуального сопровождения, новые качества приобретает процесс генезиса, развития, взаимодействия социальных групп. Появляются новые формы субъектности – интернет-сообщества, социальные сети. Идеи гражданского общества в условиях либерализации и демократизации в современных государствах послужили средой для формирования разнообразных субкультур – игровых, молодежных, сексуальных и др. Опыты революций XXI в. (бархатные, цветные, арабская весна, майдан) указывают на факт глубоких перемен в социальной структуре общества. Заметим, социально-экономическая динамика серьезно опережает прогностические предложения экспертов.

3.4.5. Темы гендера и феминизма нуждаются в глубокой онтологической проработке. Важно выявить соответствия различий полов на уровне субстанции, связать их особенности с эффектами оппозиций; рассмотреть критически их ограниченность, а также продуктивность актуализации других комбинаций, включая основывающиеся на отношениях троичности.

3.5. Серьезным препятствием для интеграции наук является отношение к понятию законов. Считается, что только фундаментальные науки способны открывать законы Природы, а искать подобные законы в обществе – бессмысленно [9]. Обратим внимание на следующее: во-первых, и наука, и философия до настоящего времени выстраивают понимание закона относительно вещественно-энергетической парадигмы; во-вторых, толкование категории закона фактически не учитывает эволюции: как, например, быть с законом гравитации, если не появились массы. В междисциплинарном исследовании Р. Коллинза понятие закона употребляется в ряду синонимов с принципами, механизмами (силами) [10. С. 248–250]. С учетом механизма номогенеза, вплетенного в развитие Мироздания, целесообразно учитывать,

что общество (как совершенно особый социум), начиная формироваться от неолитической революции, есть чрезвычайно молодой, но ускоренно развивающийся, к примеру, в сравнении с человеком, объект. Достигнет ли общество уровня внутренней связности (как, например, у математических и физических объектов), обеспечив ему эмерджентный переход в стадию номологического развития?

3.6. В пункте 3.4.1 поставлена проблема отсутствия синтеза философии, физики, математики в современной интеллектуальной культуре. Отмеченная в п. 3.1 триада устойчивого саморазвития – человек, общество, Природа – не станет эффективной без участия техники. Для этого как для человека, общества, Природы, так и для направлений разработки новой техники должна быть определена общая миссия: от любого локального уровня сочетать всякое индивидуальное саморазвитие с саморазвитием Мироздания. В таком случае техника оказывается инструментом, существенно расширяющим до масштабов Космоса участие человека и общества в глобальной эволюции.

4. Будущее философских проблем. Тема непосредственно связана со становлением новой эпохи. Успехи философских проблематизаций могут быть связаны с отказом от сложившейся традиции, в частности, от рефлексий материалов, накопленных наукой, религией и другими отраслями культуры. Наметим области, перспективные для формирования философских проблем будущего.

4.1. В стремлении осмыслить новые пути философских проблематизаций уместно обратиться к материалам, которые заключают богатый потенциал для их развертывания в философские проблемы – к интеллектуальным интуициям. Это основополагающие идеи, которые, как правило, даже не обсуждаются, поэтому некритично используются как условие для умозаключения, гипотезы, модели, теории, эксперимента. Несмотря на факт дистанцирования философии от других наук, именно она до настоящего времени служит источником творческих новаций. Философы de facto занимаются не столько вопрошаниями, сколько генерацией метафизических предположений, а для их выражения изобретаются новые или переопределяются существующие категории. Примеры интеллектуальных интуиций представлены в [3].

4.2. Любая существенная трансформация интеллектуальной культуры тесно связана с изменениями языка, особенности которого серьезнейшим образом влияют на особенности выделения областей проблематизации и формулировки проблем. От выражений проблем на древних языках с XV–XVII вв. начинается использование для развития философии национальных языков. Со 2-й половины XX в. в мировой интеллектуальной культуре преобладает тенденция утверждения английского языка как универсального для коммуникаций интеллектуалов. На каком языке (языках) будут формулироваться философские проблемы новой эпохи? Наша точка зрения заключается в том, что переход на английский является тенденцией уходящей эпохи и переходного периода. Глубоких перемен в миропонимании не добиться без серьезных изменений языка. Возможно, будут идти разнообразные лингвистические гибридизации с выходом на новые версии эсперанто. Перспективы

национальных языков окажутся связанными со способностью их носителей к порождению конкурентоспособных инноваций.

4.3. Еще одним аспектом понимания будущего философских проблем выступает то, в каких форматах они будут выражаться. С древности для интеллектуальной культуры рационального типа в качестве ведущего формата утверждается линеаризованная упаковка знаний в мысли, речи, письме. Будущее философских проблем, как и переход к интеллектуальной культуре нового типа в целом, будет определяться конструированием знаний в виде гипертекстов. В указанном направлении ведутся работы по созданию и применению в междисциплинарных исследованиях когнитивных визуализаций, интеллектуальных схемотехник, разрабатываемых на базах категориально-системной методологии, теории динамических информационных систем [2–3. С. 11].

4.4. Постараемся выделить несколько направлений развития интеллектуальной культуры, по которым уместно разворачивать новые философские проблематизации.

4.4.1. Переход исследовательских стратегий на уровень синтеза систем. Как интегрировать системы, включая такие, как отдельные науки, учебные дисциплины, проекты? К примеру, как объединить установки на создание высоких технологий в сферах технической и гуманитарно-социальной деятельности?

4.4.2. Отказ от неокантианского разъединения наук о Природе и Духе с переходом к интеграции содержательно-смысловых и формально-математических описаний. В данной проблемной области важное место занимает создание универсального исследовательского инструментария, не только пригодного к применению в разных областях интеллектуальной деятельности, но и содействующего их интеграции.

4.4.3. Создание новых интеллектуальных технологий развернется на основе разнообразных приемов визуализаций рассуждений, где найдут себе место и клиповые образы, и геометрические конструкции. В таком ключе будет происходить развитие методов автоматизации рассуждений, согласующихся с современными вычислительными технологиями и формированием искусственного интеллекта.

В тенденции можно ожидать переход от доминирования аналитико-редукционистских установок к холистическо-синтезирующим, когда онтологические ориентиры сместятся от поиска простейших частей Мироздания к пониманию таких высокосложных объектов, как биосфера, человек, общество. В русле вопросов о месте общества в эволюции космоса уместен и вопрос о том, не является ли одной из функций общества выполнение им роли социокомпьютера?

5. Заключение. История философии убедительно демонстрирует наличие у философских проблем почтенного прошлого. В XX и XXI вв. аккумулируется богатая история философских рефлексий относительно материалов, накопленных в разных отраслях интеллектуальной культуры, а это все более закрепляет за философами статус доксографов интеллектуальных процессов, протекающих вне философии.

Однако обстоятельства чрезвычайно быстро меняются. Аутсайдером оказывается не только и не столько философия, сколько интеллектуальная культура в целом, включая фундаментальные науки. В этих условиях настоящее философии определяется фиксациями внимания на исчерпании интеллектуально-духовных оснований развития, заложенных в осевое время. В таком случае будущее философии целесообразно связать, как минимум, с тремя областями формирования проблематизаций. В перечень уместно включить следующее: разработку интеллектуальных интуиций; работу над формированием языков новой интеллектуальной культуры; создание инновационых форматов для упаковки знаний. Работа над философскими проблемами XXI в. оказывается связанной с настоящей битвой за знание: на каких языках, в каких форматах-упаковках оно будет представлено. При обращении к инновациям, высоким технологиям следует отдавать себе отчет в том, что стратегические характеристики конкуренции определяются сейчас именно разработкой и овладением новыми формами мышления.

Литература

1. *Розов Н.С.* Что делает философскую проблему великой? / Н.С. Розов. Философия и теория истории. Кн. 1: Пролегомены. М.: Логос, 2002. С. 580–614.

2. *Разумов В.И.* Наука и образование в эпоху перемен // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 3. С. 21–32.

3. *Разумов В.И., Сизиков В.П.* Новая эпоха и философия: от проблематизаций к интуициям и синтезу // Идеи и идеалы. 2015. Т. 1, № 4 (26). С. 57–68.

4. *Галкин Д.В.* Цифровая культура: горизонты искусственной жизни. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. 288 с.

5. *Савчук В.В.* Топологическая рефлексия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с.

6. *Кребель И.А.* Территория предела: Эстетика мысли русского модерна. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. 327 с.

7. *Голубниченко А.Н.* История логических машин. Омск, 2011. 110 с.

8. *Поппер К.Р.* Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8–10.

9. *Коллинз Р.* Телеологический аргумент: исследование тонкой настройки вселенной // Новое естественное богословие / под ред. Уильяма Крейга и Джеймса Морленда; пер. с англ. (Сер. «Богословие и наука»). М.: Изд-во ББИ, 2014. С. 235–331.

10. *Разумов В.И., Сизиков В.П.* Приложения информационных основ синтеза систем: ДИС-развёртки и парадигма закона // Электрон. текстов. дан. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. Информрегистр. Регистрационное свидетельство № 33934.

Vladimir I. Razumov. Omsk State University of F.M. Dostoevsky (Omsk, Russian Federation)
E-mail: razumovvi@omsu.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/9
PROBLEMS OF PHILOSOPHY: PAST, PRESENT, FUTURE
Key words: new epoch, philosophical problems, forms of knowledge packaging

The place and role of any field of intellectual culture is determined by the problems generated in it. From the second half of XX century the loss of a high-status philosophy in intellectual culture is closely connected with history and the current state of philosophical problems. However, the decrease of interest to philosophy among intellectuals is accompanied by a crisis in intellectual culture in general, including fundamental sciences. The article highlights the past, present, and future of philosophical problematizations. The past is determined by the view of philosophy as the "queen of sciences", and its mission as the role of discoverer of eternal truths. The value of the problems of philosophy in comparison with scientific problems is determined by their principal unsolvability. The present state of philosophical problematic is conditioned by the deepening of the global systemic crisis caused by the exhaustion of the intellectual resource formed in "axial time". Since the end of XX and with the beginning of the XXI century the process of transition to a new era are started. This allows the philosophy to

turn to the formulation of problems that prepare the intellectual culture for transition to a qualitatively new state. Formulations of the problems which relevant to modern philosophy are listed, and their brief comment is given. The future of philosophical problematic is associated with ideas about the new coordinates of the philosophy development and intellectual culture in general. It is suggested that philosophical problems in the XXI century will be associated with an appeal to intellectual intuitions; contradictions of tendencies of universalization / nationalization of languages of intellectual culture; formats of knowledge packaging. Several trends in the development of intellectual culture are allocated, according to which it is appropriate to develop new philosophical problematizations: the transition of research strategies to the level of system synthesis; integration of humanitarian and exact sciences; harmonization of automation of reasoning and computing. It is concluded that the strategic advantages of the subjects in the XXI century will be determined by innovations in the field of methods of thinking.

References

1. Rozov, N.S. (2002) *Filosofiya i teoriya istorii* [Philosophy and Theory of History]. Book 1. Moscow: Logos. pp. 580–614.

2. Razumov, V.I. (2016) Science and Education in the Era of Change. *Sibirskiy filosofskiy zhurnal – The Siberian Journal of Philosophy*. 14(3). pp. 21–32. (In Russian).

3. Razumov, V.I. & Sizikov, V.P. (2015) Novaya epokha i filosofiya: ot problematizatsiy k intuitsiyam i sintezu [New epoch and philosophy: from problematisation to intuition and synthesis]. *Idei i ideally – Ideas and Ideals*. 1(4). pp. 57–68.

4. Galkin, D.V. (2013) *Tsifrovaya kul'tura: gorizonty iskusstvennoy zhizni* [Digital culture: horizons of artificial life]. Tomsk: Tomsk State University.

5. Savchuk, V.V. (2012) *Topologicheskaya refleksiya* [Topological reflection]. Moscow: Kanon+, Reabilitatsiya.

6. Krebel, I.A. (2011) *Territoriya predela: Estetika mysli russkogo moderna* [Territory limit: Aesthetics of Russian Modern Thought]. Moscow: Kanon+, Reabilitatsiya.

7. Golubnichenko, A.N. (2011) *Istoriya logicheskikh mashin* [History of logical machines]. Omsk: Omsk State University.

8. Popper, K.R. (1992) Nishcheta istoritsizma [Poverty of historicism]. *Voprosy filosofii*. 8–10.

9. Collins, R. (2014) Teleologicheskiy argument: issledovanie tonkoy nastroyki vselennoy [The teleological argument: the study of the fine tuning of the universe]. In: Craig, W. & Moreland, J. (eds) *Novoe estestvennoe bogoslovie* [The Blackwell Companion to Natural Theology]. Translated from English. Moscow: BBI. pp. 235–331.

10. Razumov, V.I. & Sizikov, V.P. (2013) *Prilozheniya informatsionnykh osnov sinteza sistem: DIS-razvertki i paradigma zakona* [Applications of the information basis for the synthesis of systems: DIS-development and the paradigm of law]. Elektron. tekstov. dan. Omsk: Omsk State University. Informregister. Registration Certificate № 33934.

УДК 164.07
DOI: 10.17223/1998863X/40/10

В.В. Целищев

ИНТЕНСИОНАЛЬНОСТЬ ВТОРОЙ ТЕОРЕМЫ ГЕДЕЛЯ О НЕПОЛНОТЕ[1]

Рассмотрены отличия Второй теоремы Геделя о неполноте от Первой теоремы, имеющие первостепенное значение для возможной реабилитации Программы Гильберта. Доказано, что сам Гедель не усматривал во Второй теореме непосредственную угрозу этой программе, что Вторая теорема не может быть интерпретирована в качестве столь же радикального приговора для программ в основаниях математики, как в случае Первой теоремы. Суть отличия заключается в том, что если Первая теорема является экстенсиональной, то Вторая теорема – интенсиональной. Оспаривается формализация концепции непротиворечивости, используемая в доказательстве Второй теоремы, с представлением других способов выражения свойства непротиворечивости, для которых Вторая теорема не имеет места. Исследуется, что можно считать формальным выражением содержательной концепции непротиворечивости.
Ключевые слова: *интенсиональность, теорема Геделя, самореференция, непротиворечивость, доказательство.*

Доказательство К. Геделем Первой теоремы о неполноте арифметики в статье 1931 г. связывают с крушением двух важнейших программ в основаниях математики, логицизма Б. Рассела и формализма Д. Гильберта. Кодификация математического мышления в системе *Principia Mathematica* Б. Рассела и А.Н. Уайтхеда оказалась неполной. Построение в достаточно богатых формальных системах арифметики так называемого геделева неразрешимого предложения, истинного, но не доказуемого в этой системе, показало неполноту *Principia Mathematica* и родственных ей систем. Другими словами, не все содержательно истинные утверждения арифметики могли быть доказаны, что в известной степени подрывало саму идею полной формализации математики. Поскольку среди таких неразрешимых предложений оказалось утверждение о непротиворечивости системы, Программу Гильберта доказательства непротиворечивости арифметики средствами самой арифметики большинство исследователей посчитали неосуществимой. Строгий результат, утверждающий невозможность такого доказательства, представлен Второй теоремой Геделя о неполноте.

Введение нового способа обсуждения формальных систем арифметики средствами самой формальной системы с помощью кодирования синтаксических структур арифметическими средствами, так называемая геделева нумерация, и связанные с этим тонкие технические детали осложнили понимание функционирования и роли этих теорем, породив тем самым среди философов значительное число искаженных представлений и просто заблуждений в их интерпретации. Так, среди распространенных мифов о теоремах Геделя не

[1] Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 16-18-10359.

последнее место занимает убеждение, что Вторая теорема является чуть ли не тривиальным следствием Первой теоремы. Но сам Гедель не стал доказывать Вторую теорему, сделав лишь несколько замечаний о возможности такого доказательства. Оно появилось во втором томе «Оснований математики» Гильберта и Бернайса [1].

Помимо исторических деталей о разном происхождении доказательств двух теорем Геделя о неполноте, важно и различение их характера. Эта тема долгое время вообще не обсуждалась и до сих пор является относительно неизвестной [2]. Между тем обнаружение отличия Второй теоремы от Первой имеет первостепенное значение для возможной реабилитации Программы Гильберта. При этом нужно учесть, что сам Гедель не усматривал во Второй теореме непосредственную угрозу этой программе. Г. Крайзель писал:

> Как подчеркивал сам Гедель еще в 1931 г. …его Вторая теорема о неполноте не имеет отношения ни к какой разумной постановке вопроса о непротиворечивости. Ведь если Con_T сомнительна, то почему ее надо доказывать в T (а не в системе, несравнимой с T)? [3. P. 48].

Прозрения Геделя по этому поводу не были подкреплены какими-либо аргументами в то время, и только спустя три десятилетия С. Феферман озвучил причину того, почему Вторая теорема не можем быть интерпретирована столь же радикальным приговором для программ в основаниях математики, как Первая теорема в отношении логицизма. Суть отличия заключается в том, что если Первая теорема, согласно терминологии С. Фефермана, является экстенсиональной, то Вторая теорема – интенсиональной [4]. Причины относительной неизвестности этой проблематики таковы. Как известно, популярная интерпретация геделева предложения (инициированная, кстати, самим Геделем, и в настоящее время квалифицируемая как эвристическое замечание) состоит в том, что это предложение говорит о самом себе, что оно не доказуемо, и поскольку оно на самом деле недоказуемо, оно оказывается истинным. Другими словами, здесь имеет место самореференция, известная еще со времен парадокса «Лжеца». Как свидетельствует К. Сморински, одной из причин слабого интереса математиков к проблематике самореференции в связи с геделевскими теоремами о неполноте является их «замешательство» перед вопиющей интенсиональностью этих теорем [5. P. 110]. На самом деле, речь должна идти о своеобразии и необычности Второй теоремы: дело в том, что семантика математического дискурса характеризуется экстенсиональностью теоретико-модельного рода. Редкие исследования посвящены интенсиональным аспектам математики [6], а интенсиональная семантика *Principia Mathematica* была отвергнута в пользу экстенсиональной аксиоматической теории множеств Цермело.

Оживление интереса к интенсиональному аспекту Второй теоремы было связано с сомнениями ряда исследователей в давно установленном вердикте о провале Программы Гильберта [7]. Эти сомнения мотивированы двумя обстоятельствами. Во-первых, демонстрируется, что методология финитарной арифметики не может быть схвачена формальной системой типа Арифметики Пеано. Во-вторых, оспаривается формализация концепции непротиворечивости, используемая в доказательстве Второй теоремы, поскольку есть другие

способы выражения свойства непротиворечивости, которые не подлежат этой теореме. В данной статье будет исследовано, что можно считать формальным выражением содержательной концепции непротиворечивости.

Феферман отметил специфику получения предложения во Второй теореме. Детлефен [8] и Ауэрбах [9] обратили внимание на интенсиональный характер предиката доказуемости в конструировании геделевого неразрешимого предложения. Предтечей такого понимания был Г. Крейзель, который подчеркнул при исследовании проблемы Генкина о выражении предложения о самодоказуемости (в некотором смысле дуального к геделевскому предложению), что важнейшее значение имеет то, как выражается доказуемость и как конструируется формула для выражения собственной доказуемости предложения [10].

Интенсиональный характер Второй теоремы является проявлением феномена самореферентности языка. Поскольку сама по себе тема самореферентности далеко выходит за пределы собственно интерпретации теорем о неполноте, разумно ограничиться только теми аспектами интенсиональности математического дискурса, которые связаны с самореферентными конструкциями геделевского типа. Последние представляют собой арифметические предложения, приписывающие себе определенное свойство, в частности доказуемость или недоказуемость. Ф. Холбах и А. Виссер [11] называют три стадии вовлечения их в интенсиональность: во-первых, это кодирование числами выражений языка, или геделевская нумерация синтаксических образований. Во-вторых, это определение формулы, которая выражает это свойство. В-третьих, конструирование из этой формулы самореферентного предложения. Помимо выбора различных способов кодирования, которые воздействуют на остальные две стадии, требуется тщательный выбор представляющей формулы, выражающей свойство. Именно эти обстоятельства являются источниками интенсиональности. В более общей постановке вопроса, дальнейшими факторами интенсиональности являются выбранный язык и формализация. Наконец, важнейшим фактором является вопрос о соотношении содержания математического результата, выраженного на обыденном языке, и формализации этого результата. Все эти факторы создают «ауру» интенсиональности, которая делает Вторую теорему о неполноте Геделя столь отличной от Первой его теоремы.

Относительное невнимание к этой стороне геделевских теорем К. Сморински увязывает с расхождением интересов философски настроенных логиков и математиков, заинтересованных в технических аспектах самореференции [5. P. 111]. Это расхождение свидетельствует, с его точки зрения, о подлинной смене парадигм в плане соотношения логики и философии. Постепенное вытеснение философских проблем из повестки дня математических логиков видно из того, что изначальная мотивация – устранение парадоксов – сменилась на установку поиска новых технических средств в теории доказательства. Преобладание аксиоматического подхода в качестве показателя окончательного развода начинается, по свидетельству Сморински, с 1970-х. Это обстоятельство хорошо просматривается на отношении к теоремам Геделя о неполноте, доказательство которых в настоящее время связывается, в отличие от оригинального геделевского, с Диагональной Леммой, или

Теоремой о Неподвижных Точках, а также с теоремой Леба. Соответствующая трансформация происходит в понимании природы самореферентности геделевых предложений, вплоть до полного отказа им в таком статусе.

В строгой трактовке самореферентный характер можно усмотреть из Диагональной Леммы, согласно которой для произвольного рекурсивного непротиворечивого расширения S формальной системы Q (Арифметика Робинсона) можно найти такое предложение G, что в Q выводимо

$$G \leftrightarrow \neg \mathrm{Pr}_S (\ulcorner G \urcorner),$$

где Pr_s *(y) = (∃x) Proof $_S$ (x,y), в свою очередь, Proof $_S$ (x,y) есть Δ_0 формула, определяющая *Proof* $_S$ в ω, и теперь уже *Proof* $_S$ = { (m,n) ∈ ω^2: n = ⌜φ⌝ для некоторой формулы φ и m есть геделево число доказательства φ в S}. (Здесь ω есть множество натуральных чисел, а через ⌜φ⌝ обозначается геделев номер формулы φ.)

Предложение G оказывается доказуемо эквивалентным арифметическому предложению

$$(\forall x) \neg \mathrm{Proof}_S (x, \ulcorner G \urcorner).$$

Гедель в своем оригинальном доказательстве использовал именно арифметический предикат. Однако Р. Карнап, который одним из первых прочитал рукопись Геделя, заметил общий характер утверждения $G \leftrightarrow (\forall x) \neg \mathrm{Proof}_S (x, \ulcorner G \urcorner)$, в том смысле, что нет прямой зависимости от предиката доказуемости, и предложил более общий вариант, согласно которому в Q доказуемо

$$\varphi \leftrightarrow \alpha (\ulcorner \varphi \urcorner)$$

с формулой α, заменяющей предикат истины. Самореферентность возникает ввиду того, что формула φ отображается в предложение, эквивалентное ему в Q. Более точно, Диагональная Лемма, или Теорема о Неподвижной Точке, утверждает, что имеется некоторое предложение такое, что мы можем доказать в системе Q, что это предложение эквивалентно утверждению о геделевом номере этого самого предложения. Другими словами, предложение говорит нечто о своем собственном геделевом номере. Но что именно? Поскольку Теорема (или Лемма), согласно которой $\varphi \leftrightarrow \alpha (\ulcorner \varphi \urcorner)$ применима к любому предложению α, можно найти предложение такое, которое говорит о своем собственном геделевом номере все что угодно. Суть геделевского доказательства заключается в том, чтобы тщательно выбрать то, что оно *должно* сказать о своем геделевом номере. Гедель выбрал свойство нетеоремности, выраженное через отрицание предиката доказуемости [12. P. 190]. Искомое предложение в доказательстве Геделя и есть геделево неразрешимое предложение G.

Выбор в качестве α свойства «нетеоремности» вносит свой вклад в традиционное понимание G как утверждения, говорящего о собственной недоказуемости. Другими словами, G, в силу Диагональной Леммы, является в некотором смысле самореферентным. Однако есть сомнения в том, что в случае G мы имеем дело с подлинной самореференцией. Действительно, Диагональная Лемма представляет эквивалентность в терминах истинностных функций. Но такой эквивалентности вряд ли достаточно для обоснования самореферентности. Б. Булдт уподобляет ситуацию предполагаемой самореферентности с обычной эквивалентностью в арифметике: 1+1 = 2 и 2×3 = 6 эквива-

лентны в терминах истинностных функций, но в установлении такой эквивалентности нет ничего, что «говорило» бы о значении этого факта. Другими словами, установление эквивалентности в терминах истинностных функций не дает эквивалентности значений. Булдт полагает, что сама по себе Диагональная Лемма, или Теорема о Неподвижной Точке вида $\varphi \leftrightarrow \alpha (\ulcorner \varphi \urcorner)$, не выделяет именно геделева предложения в качестве φ, поскольку таких неподвижных точек может быть много. Это является результатом использования экстенсиональной логики, в которой основное значение имеют лишь истинностные значения [13].

Ситуация с установлением значения геделевого предложения, которое «говорит само о себе, что он не доказуемо», имеет дело и с более общими соображениями. Можно ли обосновывать истинность G на факте самореферентности G? Коль скоро в системе Q мы имеем выводимое выражение $G \leftrightarrow \neg \mathrm{Pr}_S (\ulcorner G \urcorner)$, а вторая часть эквивалентности равносильна $(\forall x) \neg \mathrm{Proof}_S (x, \ulcorner G \urcorner)$, все три выражения являются взаимозаменяемыми. Но что это значит в содержательном смысле? Последнее является арифметическим утверждением, а G является метаматематическим артефактом. Какой смысл заключается в их эквивалентности? На этот вопрос можно отвечать по-разному. Например, Г. Серени полагает, что подлинным смыслом обладают метаматематические операции, а арифметический предикат, имеющий дело с огромными в результате геделевой нумерации числами, просто непостижим [14]. Другая реакция заключается в обращении к интенсиональным аспектам геделева предложения.

Как уже отмечалось выше, на важность интенсиональных аспектов теорем о неполноте Геделя указал Г. Крайзель [15], который, в частности, заметил, что есть различие между предложениями, выражающими определенные свойства самих себя, и просто неподвижными точками. Если Гедель сконструировал предложение φ такое, что

$$\varphi \leftrightarrow \neg \mathrm{Pr} (\ulcorner \varphi \urcorner),$$

где Pr – предикат доказуемости, то Л. Генкин [16. P. 160] поставил вопрос, который при обобщении принимает следующий вид: пусть имеется предложение φ такое, что оно удовлетворяет утверждению

$$\varphi \leftrightarrow \mathrm{Pr} (\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Является ли предложение φ доказуемым?

К. Сморински так комментирует связь проблемы Генкина с необходимостью учета интенсионального аспекта проблемы:

> …тут есть философский вопрос: Отношение между формулой α [в выражении $\varphi \leftrightarrow \alpha (\ulcorner \varphi \urcorner)$] и неподвижной точкой φ, сконструированной методом Геделя, сильнее, чем эквивалентность φ и $\alpha(\ulcorner \varphi \urcorner)$; φ буквально имеет форму α (t) для некоторого термина t, который находит численное значение коду $\ulcorner \varphi (t) \urcorner$. Таким образом, φ буквально выражает $\alpha(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Генкин не хотел знать, не является ли некоторое предложение, случайно эквивалентное утверждению о его собственной доказуемости, доказуемым…он хотел узнать, *выражает* ли предложение, *сконструированное* таким образом, чтобы показать свою собственную доказуемость, доказуемым [5. P. 114].

Два обстоятельства тут важны: во-первых, было отмечено, что устанавливаемая Теоремой о неподвижных точках эквивалентность формулы α и неподвижной точки φ, а именно $\varphi \leftrightarrow \alpha\lceil\varphi\rceil$, на самом деле выходит за пределы экстенсиональной эквивалентности, поскольку φ буквально выражает $\alpha\lceil\varphi\rceil$. Стало ясно, что есть различие между предложениями, которые выражают некоторые свойства самих себя, и просто неподвижными точками, т.е. различие между экстенсиональной и интенсиональной трактовками геделевых предложений.

Другими словами, формальная эквивалентность утверждений, устанавливаемая Теоремой о неподвижных точках, не является достаточной для выражения интенсионального аспекта, т.е. для понимания того, что выражается соответствующей формулой. Уже одного этого достаточно для понимания приведенного выше замечания К. Сморинского о «вопиющей» интенсиональности теорем Геделя. Однако «степень» интенсиональности Второй теоремы намного выше, чем у Первой.

Первая теорема представляет собой условное утверждение, антецедент которого есть утверждение о непротиворечивости системы, а консеквент – формальное предложение о недоказуемости геделева предложения. Способ доказательства Первой теоремы таков, что этот самый консеквент эквивалентен геделеву предложению. Отсюда легко заключить, что при условии непротиворечивости системы формализованное утверждение непротиворечивости не является выводимым. Это как будто следствие Первой теоремы фигурирует в качестве наброска доказательства Второй теоремы, и оно должно было превратиться в строгое доказательство через конструирование формального вывода. Но именно в этом понятии формального вывода заключаются концептуальные трудности. Что, собственно, является невыводимым согласно этой теореме? Это формула, которая по предположению *говорит*, что формализм непротиворечив. Но это уже семантический дискурс; другими словами, уже «строгому» варианту Второй теоремы присущ семантический, или интенсиональный, характер.

Действительно, согласно Первой теореме, речь идет о предицировании простого синтаксического свойства неполноты членам обширного класса формальных систем. А вот в случае Второй теоремы речь идет о предицировании более сложного свойства, традиционно обозначаемого через Con. Между тем остается неясным соотношение неразрешимого предложения из Первой теоремы G и утверждения из Второй теоремы Con, несмотря на то, что в рамках теории выводимо утверждение об экстенсиональной эквивалентности $\mathrm{Con} \leftrightarrow \mathrm{G}$. Эта эквивалентность подсказывает нам, что точно так же, как G говорит о своей собственной недоказуемости, Con должно говорить о непротиворечивости формализма. Но конструирование G с помощью арифметического предиката доказуемости не дает оснований для подобного вывода. Экстенсиональность в Первой теореме проявляется в том, что ограничения на арифметический предикат, используемый для конструирования G, выражает свойство *есть доказательство (чего-то)*. Но «требование экстенсионального согласия в отношении предиката доказуемости, в общем случае, не дает, однако, экстенсионального согласия в отношении утверждения о непротиворечивости. То есть для некоторой теории T и некоторой фор-

мулы Con_T ложно: «Con_T истинно, если и только если T непротиворечива» [9. P. 342]. Мораль, выводимая из этих соображений, состоит в необходимости учитывать интенсиональные аспекты соотношения технических деталей и семантических вопросов при интерпретации Второй теоремы Геделя о неполноте. Ауэрбах упоминает в этой связи цитированную выше работу С. Фефермана, который показал, что прос той нумерической правильности условий формальной выводимости Гильберта – Бернайса недостаточно в том отношении, что они неадекватны для определенных результатов. (Адекватные условия взывают к экстенсиональности, а неадекватные – к интенсиональности) [4].

Особенность этой теоремы, редкая в математике, состоит в вовлечении значения или интенции некоторого математического символизма, в противоположность просто указанию или экстенсионала. Это проявляется в условии, что Con_T *выражает* T-невыводимость непротиворечивости T. Это не дополнительное условие, добавленное ради философии. Если кандидат на роль предложения о непротиворечивости не выражает непротиворечивости T, если он сконструирован из предиката, который представляет, но не выражает «x есть T-выведение y», аргумент о Второй теореме не может гарантировать доказательства для предложения, поскольку предикат не удовлетворяет условиям выводимости, о которых речь пойдет ниже. Даже если можно показать, что это предложение недоказуемо в T, трудно видеть, какое значение будет иметь этот факт, поскольку это предложение не выражает непротиворечивости T. В противоположность этому невыводимость в T предложения, которое все-таки выражает, что T непротиворечиво, значимо, поскольку с первого взгляда угрожает Программе Гильберта.

Для понимания существенного различия в характере обеих теорем нужно иметь в виду три «испостаси» каждой из них. Во-первых, это формулировка результата в обыденном языке, в которой излагается результат, полученный при доказательстве теоремы. Во-вторых, это представление теоремы в формальном языке. Наконец, это представление доказуемости этой теоремы в конкретной формальной системе. При переходе от первой «ипостаси» ко второй лежат значительные трудности, на что обратил особое внимание Д. Ауэрбах [9]. В частности, формализация доказательства Первой теоремы производится Геделем в формальной системе *Principia Mathematica* (PM), в то время как аналогичная формализация в случае Второй теоремы, которая говорит о недоказуемости непротиворечивости Арифметики Пеано (PA) в самой PA, производится в PA, которая имеет меньшие выразительные возможности по сравнению с PM. В «приспособлении» к PA лежат значительные технические трудности, которые являются одной из причин того, что доказательство Второй теоремы редко появляется в учебниках.

Здесь ключевую роль играют два фактора. Во-первых, что именно выбрать в качестве формализации утверждения «(теория) T непротиворечива». Стандартный выбор в виде геделевского Con_T хорош, поскольку Con_T действительно не доказуемо.

Предикат доказуемости для предложения φ в теории T обозначается через $Prov_T(\ulcorner\varphi\urcorner)$, где $\ulcorner\varphi\urcorner$ есть геделев номер предложения φ. Этот предикат является ключевым понятием в представлении последней «ипостаси» Первой теоремы «$PA \propto G \leftrightarrow \neg Prov(\ulcorner G\urcorner)$», где G – геделево неразрешимое предло-

жение. Далее, в первопорядковой логике PA используется константа «⊥», интерпретируемая как ложь. Центральным понятием Второй теоремы является непротиворечивость формальной системы, которая в введенной нотации представлена формулой $Con =_{Df} \neg Prov(\ulcorner \bot \urcorner)$ (недоказуемость ложного утверждения). Это одна из экспликаций понятия непротиворечивости, но это не означает, что не может быть других формул для утверждения о непротиворечивости, которые доказуемы в T. Нестандартный выбор означает, что Вторая теорема не является прямым опровержением Программы Гильберта. Эта точка зрения противоречит укоренившейся традиции в интерпретации теорем Геделя. Г. Крайзель заявляет:

> Ближе к концу [статьи о формальной неполноте] он [Гедель] предупреждает против соотнесения Второй теоремы и Программы Гильберта… [17. P. 125].

Нестандартные концепции доказуемости непротиворечивости теории внутри самой теории, например на основе предиката доказуемости Россера, представляют серьезную проблему, которая будет обсуждена ниже. Сейчас же имеет смысл добавить, что нестандартные концепции не удовлетворяют условиям выводимости Гильберта – Бернайса, соблюдение которых необходимо для доказательства Второй теоремы. Это предвидел сам Гедель. Если в теории T имеется формально неразрешимая формула, то мы можем без противоречия присоединить к T ее отрицание. Это означает нарушение одного из условий выводимости.

Таким образом, Con_T не гарантирует [условия выводимости]… Гедель высказал это предостережение в работе [18] со всей возможной ясностью еще до открытия неполноты. Однако [18] произвела гораздо меньшее впечатление, чем следующие банальности… В более поздних «популярных» произведениях Гедель всегда оказывал таким банальностям надлежащее почтение… Первоначальное название статьи… обобщающей [знаменитую статью в журнале *Dialectica*] не содержало слова «непротиворечивость»; оно было добавлено в посмертной публикации по настоянию Геделя. Он слишком хорошо знал рекламную цену этого модного слова, которое, вопреки его собственному взгляду на предмет, сделало его Вторую теорему о неполноте более популярной, чем Первая теорема [3. P. 46, 49].

Таким образом, наличие нестандартных формализаций концепции непротиворечивости поднимает проблемы, которые отчасти совпадают с идеями самого Геделя.

Вторым фактором явился, по выражению Сморинского, парадигмальный сдвиг в теории доказательства при использовании модальной логики, в частности, использование модального оператора «□», интерпретируемого как «доказуемо» в применении к формулам [5]. Концептуальное и нотационное улучшение при замене выражения $Prov_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$ выражением $\Box_T(\varphi)$ заключается в двойной функции знака «□»: во-первых, это сокращение для Prov и, во-вторых, поглощение «скобок», превращающих правильно построенную формулу φ в стандартное число, представляющее геделев номер предложения φ.

Коль скоро имеется формальное выражение непротиворечивости Con, три «ипостаси» Первой теоремы предстают в следующем виде:

1. Если PA непротиворечива, тогда в PA недоказуемо геделево предложение G.

2. Con $\rightarrow \neg \Box$ G.

3. PA $\Box$ Con $\rightarrow \neg \Box$ G.

Три «ипостаси» Второй теоремы выглядят так:

1. Если теория T непротиворечива, тогда в T не может быть доказана ее непротиворечивость.

2. Con $\rightarrow \neg \Box$ Con.

3.T $\Box$ Con $\rightarrow \neg \Box$ Con.

К теории T предъявляются определенные стандартные требования, на которых мы здесь не останавливаемся. Что касается предиката доказуемости, Prov (φ) или $\Box_T$ (φ), то его выбор должен быть осторожным. Как известно, он регулируется условиями выводимости Гильберта – Бернайса: для любых предложений φ и ψ:

(C1) Если T $\Box$ φ, тогда T $\Box \Box$ φ,

(C2) T $\Box\Box$ (φ→ψ) → ($\Box$φ → $\Box$ψ),

(C3) T $\Box \Box$ φ→ $\Box \Box$ φ.

Концепция Con интерпретируется здесь как невозможность вывода ложного утверждения. Таким образом, выражение концепции непротиворечивости является стандартным для большей части изложений сути Второй теоремы. Однако Con может быть не единственным формальным выражением концепции непротиворечивости как невозможности вывода ложного утверждения. Речь идет о поиске какого-то другого предложения, устанавливающего непротиворечивость, скажем, PA. П. Смит приводит примеры имеющихся в литературе двух явных альтернатив Con, которые он обозначает как Con’ и Con’’, демонстрируя, что все три версии попросту эквивалентны. Ввиду такого результата он называет Con каноническим утверждением непротиворечивости PA [19. P. 238]. Важный пример подобного рода привел А. Мостовский [20].

Это относится к очень четкой неформальной концепции непротиворечивости системы, при которой невозможно вывести ложное утверждение. Принимая Con в качестве канонического выражения непротиворечивости, Вторая теорема формулируется в переводе на обыденный язык следующим образом: если в достаточно богатой теории доказуемо каноническое предложение о непротиворечивости, тогда эта теория противоречива. Естественно, что термин «доказуемо» в предыдущем предложении заслуживает кавычек.

А если мы попытаемся найти неканоническое предложение для непротиворечивости, скажем, Con*, удовлетворяющее условию доказуемости в PA? Для этой цели можно попробовать слегка изменить выражение для Prf, добавив в его определение явное упоминание о невозможности получения «⊥», например

$$\text{Prf}^*(x,y) = \text{Df Prf}(x,y) \,\&\, (\forall v < x) \neg \text{Prf}(v, \ulcorner \bot \urcorner).$$

Легко показать, что Prf представляет интуитивное отношение геделевых чисел доказуемого утверждения и его доказательства [19. P. 262]. Однако при таком определении Prf* и, соответственно, определимого Prov* можно

доказать теорему, согласно которой в системе PA выводимо Con*, или PA ∝ Con*, что и было целью нашего поиска.

Поскольку в T «доказана» ее собственная непротиворечивость в варианте Con*, ясно, что новая концепция в чем-то нарушает условия, накладываемые на предикат доказуемости. И в самом деле, можно показать, что приведенное выше определение Prf* и, стало быть, Prov* не удовлетворяет условиям Гильберта – Бернайса; в частности, нарушается условие (C2). Это нарушение условий выводимости проявляется в любопытном порочном круге при попытке доказательства непротиворечивости системы в самой системе. Пусть T ∝ Con*. Вопрос заключается в том, является ли это утверждение по-настоящему информативным о непротиворечивости T. Пусть T – непротиворечива, в этом случае Prf* выражает отношение доказуемости, и тогда Con* может быть интерпретировано как выражение непротиворечивости T. Но если T противоречиво, тогда Prf* не выражает отношения доказуемости, и Con* не может быть интерпретировано как выражение непротиворечивости.

Таким образом, оказывается, что мы уже должны знать, непротиворечива ли T, перед тем, как интерпретировать вывод Con*. Но это означает, что сам по себе вывод Con* не может нам сказать, действительно ли непротиворечива T. Графически эту ситуацию можно изобразить так (приведенное ниже является не формулой, а эвристической диаграммой):

(T ∝ Con*) ⇒ T непротиворечива.

Чтобы получить заключение «T непротиворечива», мы должны заранее знать, что T в «T∝ Con*)» уже непротиворечива, так что искомое заключение уже предполагается в посылке. Мы имеем тут если не порочный круг, то тавтологию. Так что доказательство непротиворечивости с Con* не может ничего сказать о действительной непротиворечивости T.

Это обстоятельство очень важно для опровержения распространенной интерпретации Второй теоремы, согласно которой невозможно доказать непротиворечивость формальной системы в рамках самой этой системы. Крайзель приводит примеры формальных систем, в которых доказуема их собственная непротиворечивость, добавляя следующее замечание:

> Кстати, с философской точки зрения интересно, что хотя в учебниках логики редко рассматриваются [такие] системы [которые] хорошо, хотя и грубовато, отражают один существенный метод, используемый на практике для проверки доказательств, а именно, сравнение с уже накопленными знаниями… [3. C. 47].

Это означает, что поиски Con* имеют мотивацию в реальном математическом исследовании. Однако доказательства подобного рода не являются «каноническими» в следующем смысле. Что включает в себя такое гипотетическое непротиворечивое доказательство предложения φ в аксиоматизированной системе T? Технически это означает, что имеется вывод с геделевым номером m в системе T предложения φ и в то же время не существует вывода в системе T ложного предложения такого, чтобы геделев номер такого вывода был меньше m. Но именно это обстоятельство отражено в структуре предиката доказуемости Prov*. Изначально предполагается, что □ $_T$φ или же

Prov $_T$ ($\ulcorner \varphi \urcorner$) удовлетворяет условиям выводимости Гильберта – Бернайса. Выражение Prov $_T$ ($\ulcorner \varphi \urcorner$) определено в терминах предикатного выражения Prf_T, которое канонически схватывает неформализованный предикат Prf_T. Это означает, что Prf_T (m,n), где m есть геделево число доказательства утверждения с геделевым числом n, отражает детали именно такого соотношения m и n, и детали такого соотношения должны соблюдаться намеренно. В этом смысле Prf_T имеет намеренное значение, и в этом смысле Вторая теорема является интенсиональной [19. P. 263].

Отличие интенсиональной трактовки от экстенсиональной состоит в различии $Prov_T$ и $Prov^*_T$. Формальное выражение отличия состоит в том, что $Prov^*_T$ не удовлетворяет условиям выводимости Гильберта – Бернайса. Нарушение этих условий обесценивает формальную возможность доказательства непротиворечивости теории T в рамках самой T. Действительно, для обоснованной системы, т.е. когда все доказуемые утверждения являются истинными, выводимое в T гипотетическое Con* является также истинным утверждением для любой теории T. Но именно то обстоятельство, что на T не накладывается никаких ограничений, обесценивает Con*. В самом деле, для противоречивой системы T существует гипотетическое доказательство непротиворечивости φ, $\varphi \rightarrow \psi$ и $\neg\psi$. Это происходит потому, что гипотетическое выведение в T утверждения ψ – например, построения в цепочке доказательства φ после доказательства $\varphi \rightarrow \psi$ и использования *modus ponens* – может иметь больший геделев номер, чем доказательство $\neg\psi$. При этом, в частности, нарушается условие (C2): T $\Box$ $\Box$ $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$. Таким образом, истинность Con* открыта возможности того, что теоремы, доказанные при гипотетическом доказательстве их непротиворечивости, семантически противоречивы. Это означает, что не существует интерпретации логического аппарата, которая делала бы такие теоремы истинными. В качестве примера Смит заключает, что, если для некоторой обоснованной теории T, T $\Box$ Con^*_{ZFC}, что делает тем самым Con^*_{ZFC} истинным, это вовсе не означает, что теория ZFC семантически непротиворечива, и даже синтаксически непротиворечива в обыденном смысле. Таким образом, то, из какого рода предикатов доказуемости конструируются предложения о непротиворечивости, является важнейшим обстоятельством, определяющим доказуемость или недоказуемость предложений непротиворечивости.

Здесь можно подвести итоги сопоставления Первой и Второй теорем Геделя о неполноте. Чисто формальное различие между ними сводится к следующим двум пунктам [19. P. 265]:

В Первой теореме мы можем использовать, наряду с канонической правильно построенной формулой Prf_T, ппф Prf^*_T; обе представляют, или схватывают, неформальный предикат доказуемости Prf_T. Далее, образуем соответствующий предикат доказуемости $Prov^*_T$. Рассмотрим неподвижную точку α для предиката $\neg Prov^*_T$ (x). Тогда можно показать, что для достаточно богатой непротиворечивой системы T, T $\neg$ $\Box$ α, и для ω-непротиворечивой системы T, T$\neg$ $\Box\neg\alpha$. Самым важным в данном случае является то, что доказательство этого факта зависит только от того факта, что Prf^*_T схватывает Prf_T, но никак не зависит от того, как это делается.

Во Второй теореме, для доказательства, что T ¬ □ Con_T (в предположении nice T), дело обстоит тоньше. Нам нужно начинать с ппф Prf_T, которая имеет «правильное значение», т.е. канонически представляет Prf_T, и затем уже из него формировать каноническое предложение ConT. Если мы представляем Prf_T неверно, используя Prf^*_T, тогда соответствующее предложение Con*T может быть доказуемо в T. Причины, по которым такая доказуемость нежелательна, описаны выше.

Упоминание выше о непротиворечивости в обыденном смысле также является ключевым, поскольку в значительной степени интенсиональность Второй теоремы есть вопрос о переводе формальных результатов на обыденный язык, что, собственно, и придает теоремам Геделя их значимость в программах философии математики. Когда речь заходит об интерпретации математических результатов, всегда имеется в виду некоторого рода перевод в постижимые идиомы соответствующей семантики, коль скоро речь идет о самореференции. Контраст между двумя видами утверждений существен. Ауэрбах [9. P. 337–338] сопоставляет математическую формулировку Первой теоремы Геделя о неполноте

(1) Не существует непротиворечивого полного аксиматизируемого расширения Q с обычным объяснением сути теоремы

(2) Любая достаточно сильная непротиворечивая формальная система арифметики неполна.

В то время как (1) является математически доказуемым утверждением, (2) является пересказом идей теоремы. Исходя из контраста между ними, неизбежно возникает вопрос, каковы основания верить в (2) как в выражение Первой теоремы Геделя. Это не значит, что (2) является произвольным пересказом технического результата. Существуют утверждения, являющиеся частью математического дискурса, но не являющиеся «чисто» математическими, например Тезис Черча, формулировка которого не претендует на точность и полную ясность. Эта аналогия может быть перенесена на обсуждение Второй теоремы Геделя о неполноте. Ее содержание передается аналогом предложения (2), т.е. содержательно, следующим образом:

(3) Если Q достаточно сильная непротиворечивая формальная система арифметики, тогда любое предложение Q, утверждающее, что Q непротиворечиво, не выводимо в Q.

Обращаясь к соотношению (1) и (2) как образцу соотношения точного математического результата и его философской интерпретации и учитывая, что (3) является интерпретацией, представляет интерес, каков аналог (1) для Второй теоремы Геделя. Дело в том, что в отличие от Первой теоремы Геделя, математическая формулировка которой вполне постижима и без ее «пересказа», Вторая теорема постижима скорее в «пересказе», так что есть определенная асимметрия между двумя теоремами в этом отношении. Это и является еще одним источником интенсиональности Второй теоремы.

Литература

1. *Гильберт Д., Бернайс П.* Основания математики. Т. 2: Теория доказательств. М.: Наука, 1979.

2. *Smorynski C.* Review: Peter Smith. An Introduction to Gödel's Theorem. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 // Philosophia Mathematica. 2010. Vol. 18, № 1. P. 122–127.

3. *Крайзель Г.* Биография Курта Геделя. М.: Институт компьютерных исследований, 2003.

4. *Feferman S.* Arithmetization of Metamathematics in a General Setting // Fundamenta Mathematicae. 1960. Vol. 49. P. 35–92.

5. *Smorynski C.* The Development of the Self–Reference: Lob's Theorem // Perspectives on the History of Mathematical Logic / ed. T. Drucker. Berlin: Birkhauser, 1991. P. 110–133.

6. *Castonguay C.* Meaning and Existence in Mathematics. Springer, 1972.

7. *Curtis F.* The Autonomy of Mathematical Knowledge: Hilbert's Program Revisited, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

8. *Detlefsen M.* On Interpreting Gödel's Second Incompleteness Theorem // Journal of Philosophical Logic. 1979. Vol. 8. P. 297–315.

9. *Auerbach D.* Intensionality and the Gödel Theorem // Philosophical Studies. 1985. Vol. 48. P. 337–351.

10. *Kreisel G.* On the Problem of Henkin // Proceedings of Netherland Academy of Science. 1953. Vol. 56. P. 405–406.

11. *Halbach V., Visser A.* Self–Reference in Arithmetic I // The Review of Symbolic Logic. 2014. Vol. 7, №. 4. P. 671–691.

12. *George A., Velleman D.* Philosophies of Mathematics. Oxford: Blackwell, 2002.

13. *Buldt B.* On Fixed Points, Diagonalization, and Self–Reference // Von Rang and Namen. Essays in Honour of Wolfgang Spohn / eds. Freitag W. et al. Munster: Mentis, 2016.

14. *Sereny G.* How do We Know that the Godel Sentence of a Consistent Theory is True? // Philosophia Mathematica (III). 2001. Vol. 19. P. 47–73.

15. *Kreisel G.* Mathematical Logic // Lectures on Modern Mathematics 111 / ed. T.L. Saaty. N.Y.: Wiley, 1965.

16. *Henkin L.* Problem // Journal of Symbolic Logic. 1952. Vol. 17.

17. *Kreisel G.* Gödel's Excursion into Intuitionistic Logic // Gödel Remembered / ed. P. Weingartner, L. Schmetterer. Napoli: Bibliopolis, 1987. P. 65–179.

18. *Gödel K.* Diskussion zur Grundlegung der Mathematik // Erkenntnis. Bd. 2. 1931–32. S. 147–151.

19. *Smith P.* An Introduction to Gödel's Theorems. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

20. *Mostowski A.* Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of Theory of Kurt Gödel. Amsterdam: North–Holland Publishing Co, 1952.

Vitaly V. Tselishchev. Novosibirsk State University; Institute of Philosophy and Law, Siberian Division, Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: leitval@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/40/10

INTENSIONALITY OF THE GÖDEL'S SECOND INCOMPLETENESS THEOREM

Key words: intensionality, Gödel's theorem, self-reference, consistency, proof

The difference between the First and Second Gödel' s theorem is discussed in perspective of possible rehabilitation of the Hilbert Program. The essence of the difference lies in the fact that if the First theorem is extensional, then the Second theorem is intensional. The formalization of the consistency concept used in the proof of the Second Theorem is reconsidered, particularly, the other ways of expressing the consistency property that are not subject to this theorem. In this paper, we investigate what can be considered a formal expression of a meaningful concept of consistency. The formalization of the consistency concept, used in the proof of the Second Theorem, is contested with the presentation of other ways of expressing the consistency property, for which the second theorem does not hold. It is investigated what can be considered a formal expression of the concept of consistency.

References

1. Gilbert, D. & Bernays, P. (1979) *Osnovaniya matematiki* [Fundamentals of mathematics]. Translated from German by N.M. Nagorny. Vol. 2. Moscow: Nauka.

2. Smorynski, C. (2010) Review: Peter Smith. An Introduction to Gödel's Theorem. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. *Philosophia Mathematica*. 18(1). pp. 122–127.

3. Kreisel, G. (2003) *Biografiya Kurta Gedelya* [Kurt Gödel's Biography]. Translated from German by G.E. Mints, D.P. Skvortsov, E. Z. Skvortsova. Moscow: Institute for Computer Research.

4. Feferman, S. (1960) Arithmetization of Metamathematics in a General Setting. *Fundamenta Mathematicae*. 49. pp. 35–92. DOI: 10.2307/2269834

5. Smorynski, C. (1991) The Development of the Self–Reference: Lob's Theorem. In: Drucker, T. (ed.) *Perspectives on the History of Mathematical Logic*. Berlin: Birkhauser. pp. 110–133.

6. Castonguay, C. (1972) *Meaning and Existence in Mathematics*. Springer.

7. Curtis, F. (2009) *The Autonomy of Mathematical Knowledge: Hilbert's Program Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

8. Detlefsen, M. (1979) On Interpreting Gödel's Second Incompleteness Theorem. *Journal of Philosophical Logic*. 8. pp. 297–315. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00258433

9. Auerbach, D. (1985) Intensionality and the Gödel Theorem. *Philosophical Studies*. 48. pp. 337–351.

10. Kreisel, G. (1953) On the Problem of Henkin. *Proceedings of Netherland Academy of Science*. 56. pp. 405–406. DOI: https://doi.org/10.2307/2268627

11. Halbach, V. & Visser, A. (2014) Self–Reference in Arithmetic I. *The Review of Symbolic Logic*. 7(4). pp. 671–691. DOI: 10.1017/S1755020314000288

12. George, A. & Velleman, D. (2002) *Philosophies of Mathematics*. Oxford: Blackwell.

13. Buldt, B. (2016) On Fixed Points, Diagonalization, and Self–Reference. In: Freitag, W. et al. (eds) *Von Rang and Namen. Essays in Honour of Wolfgang Spohn*. Munster: Mentis.

14. Sereny, G. (2001) How do We Know that the Godel Sentence of a Consistent Theory is True? *Philosophia Mathematica (III)*. 19. pp. 47–73. DOI: 10.1093/philmat/nkq028

15. Kreisel, G. (1965) Mathematical Logic. In: Saaty, T.L. (ed.) *Lectures on Modern Mathematics 111*. New York: Wiley.

16. Henkin, L. (1952) Problem. *Journal of Symbolic Logic*. 17.

17. Kreisel, G. (1987) Gödel's Excursion into Intuitionistic Logic. In: Weingartner, P. & Schmetterer, L. (eds) *Gödel Remembered*. Napoli: Bibliopolis. pp. 65–179.

18. Gödel, K. (1931–1932) Diskussion zur Grundlegung der Mathematik [Discussion on the foundation of mathematics]. *Erkenntnis*. 2. pp. 147–151.

19. Smith, P. (2013) *An Introduction to Gödel's Theorems*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

20. Mostowski, A. (1952) *Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of Theory of Kurt Gödel*. Amsterdam: North–Holland Publishing Co.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 316.776
DOI: 10.17223/1998863X/40/11

А.Ю. Карпова

МАРКЕРЫ И ЭФФЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ АНОМИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Исследуется феномен информационной аномии в политической коммуникации. Подчеркивается, что в современном информационном обществе аномия как сложный социальный феномен становится процессным явлением, продуктом общества, развиваются ее новые формы. Информационная аномия как сложный техно-социокультурный феномен представляет единственный в своем роде продукт современного информационного общества. Вводится авторское определение информационной аномии как комплекса социо-техно-культурных феноменов аберраций информации. Результат процесса – рассогласованность коммуникативного процесса, в самом широком понимании это ведет к энтропии социальной системы. Политическую коммуникацию автор определяет как аномичную, описывает ее признаки, в том числе ключевые особенности проявления информационной аномии в политической коммуникации. Обозначаются ее маркеры и эффекты.
Ключевые слова: *информация, политическая коммуникация, аномия, информационная аномия, аберрация, маркер, эффект.*

Информационная эпоха, как ее часто называют современные исследователи, изменила в глобальном масштабе технологии создания, обработки и распространения информации. В новом информационно-технологическом укладе коммуникативный процесс через электронные средства связи – это оптический, практически мгновенный, способ производства множества смыслов одновременно, в отличие от устной и письменной коммуникации, которой свойственно диффузное распространение (медленный, хаотичный процесс рассеивания смыслов).

В XXI в. мы имеем дело с цифровой средой, принципиально отличающейся от «аналогового мира» прошлого. В цифровой среде информационный обмен через электронные средства связи позволяет создавать сложные искусственно управляемые операции «навязывания» смыслов, своего рода принудительное заражение «информационной инфекцией». Исследование путей ее распространения, «прилипчивость» ложных идей и концепций, их «возвратность» в общественное мнение не имеют пока адекватного методологического подхода и приемов измерения. Процесс коммуникации приобретает такие характерные признаки, как нелинейность, эмерджентность, многовариантность, стихийность, вирусность, и имеет трудно прогнозируемые последствия.

За прошедшее десятилетие кардинально изменился подход к определению, целям, задачам и мерам для обеспечения развития информационного общества в России. В стратегии 2008 г. информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным использованием [1]. В новой стратегии, принятой в мае 2017 г., утверждается, что информация, уровень ее применения, доступность кардинальным образом влияют на все сферы жизни общества [2]. Констатируются проблемы, которые возникают с применением новых информационных технологий, формируется новая модель восприятия информации: поверхностное, клиповое, искаженное мышление, через которое навязываются деструктивные модели поведения и разрушаются традиционные духовно-нравственные ценности. Поэтому в качестве ключевых стратегических приоритетов выдвигаются формирование и обеспечение безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационного пространства Российской Федерации, которые неразрывно связаны с технико-технологическим и социокультурным аспектами.

Вместе с динамикой количественного и качественного увеличения информации происходит «разжижение» (З. Бауман) современного мира, в котором отсутствуют новые подходы к интерпретации и управлению социальными процессами [3]. Наступает время доминирования «слабых связей» в обществе: поверхностных, кратковременных, неустойчивых [4. Vol. 78]. Источник «слабых связей» следует искать в информационно-коммуникативной системе. «Текучесть» (З. Бауман) становится не только характерной чертой нового этапа развития социума, но и свойством информации.

Применение новых информационных технологий отразилось и на политической сфере общества. В политической коммуникации информация становится стратегическим ресурсом власти. Производство и удельный вес символического капитала политической власти находятся в прямой зависимости от принятия и восприятия коллективно-обязательных политических решений массовой аудиторией. Это и есть «коллективное связывание», на которое указывал Н. Луман. По сути, он описал идеальную модель политической системы. В ней легитимность власти обеспечивается через беспрекословное принятие обязательных решений политической системы и обеспечивается институционально, независимо от конкретной личной мотивации структур, подсистем и при исключении государственного террора и насилия [5. С. 96][1]. Это можно рассматривать как идеальную, нормативную модель политической коммуникации. Но, по нашему мнению, в информационном обществе политическая коммуникация становится аномичной, поскольку процесс «коллективного связывания» декогерируется. Убеждение граждан в «благонамеренной политической стратегии» [6. С. 21] производится, «инсценируется» [7. С. 10] властью через посредников, которыми выступают СМИ.

Обозначим характерные признаки аномичности политической коммуникации:

1. В политической сфере информационное воздействие и взаимодействие перестают быть управляемым процессом. Информационные потоки выходят

[1] Это незаконченные заметки Н. Лумана по политической социологии, написанные в 60-х гг. и опубликованные в Германии в 2010 г., с комментариями, под редакцией A. Kieserling.

из-под контроля своих создателей – смыслопроизводящих акторов, распространяясь по собственной траектории, порождая ненамеренные последствия.

2. В терминологии У. Бека, СМИ становятся «производителями неопределенности» [8. С. 97–123][1]. Потребителю информации навязываются интерпретации смыслов. В результате такого искаженного информационного обмена возникает эффект «игры истины», проявляющийся в постоянном создании «новых правил игры осмысливания» [9], что может вести к нефункциональности и дисфункциональности институтов общества.

3. Амбивалентные последствия производимых смыслов в политической коммуникации ведут к декогеренции самой коммуникации и к росту общественного недоверия власти и СМИ. В современном «становящемся обществе» [10. С. 556–557] актуализируется проблема повышения доверия к производимым смыслам в политической сфере «как фактор преодоления кризиса» [11. С. 237]. Доверие как залог адекватности политической коммуникации [12. С. 80] становится своеобразной «валютой», от которой зависит функциональность власти. Власть с ее помощью генерирует повышение своего символического капитала и обеспечивает принятие и исполнение решений в обществе даже в условиях «игры истины».

4. Распространение цифровых средств массовой информации в XXI в. в очередной раз показало амбивалентность и противоречивый потенциал технологического развития. Коммуникативный процесс становится нелинейным, многовариантным, стихийным, вирусным и подверженным случайностям. Электронные средства связи приобретают такие характерные черты, как стремительность, всеохватность, вездесущность.

5. В современном информационном обществе изменился подход к границам политического поля. Его уже нельзя идентифицировать только в узко очерченных границах отдельного государства, поскольку политический процесс стал общемировым. Мировой политический процесс выходит за рамки территориальных отношений, размываются границы жесткой культурной и национальной идентификации. «Общество риска», в терминологии У. Бека, выступает как глобальная характеристика пространства. Единое информационное пространство задает новые векторы восприятия политики, разрывая узкие границы индивидуального «жизненного мира». В таком глобальном политическом пространстве воздействовать на получателя информации легче через искусственное производство «смысла», а удельный вес символического капитала политической власти находится в прямой зависимости от ресурсов других полей – экономического, культурного, научного и т.д.

6. Индивидуальные и коллективные акторы сталкиваются с тем, что смысл информации аберрируется. De facto каждый актор коммуникативного процесса имеет возможность изменять смысл информации, что К. Томпсон интерпретирует через призму «спирали означивания» – наложение друг на друга смыслов реального или воображаемого события [13]. Следовательно, непрерывный процесс аберрирования информации становится характерной чертой политической коммуникации.

[1] «Manufactured uncertainty» – выражение У. Бека, означающее, что СМИ сами создают катастрофичные тренды, не выполняют свою разоблачительную и критическую функцию, защищают интересы конкретных политических акторов.

Н. Винер одним из первых теоретиков обратил внимание ученых на исследование внешних факторов, которые влияют на протекание коммуникации, и необходимость тщательного изучения «политической техники» манипуляции массовым сознанием, управления коммуникацией. Он предупреждал о грозящей обществу социальной опасности, когда средства связи становятся оружием в руках политиков, а искажения информации создают возможность производить новые способы пропаганды [14. С. 184]. Ю. Хабермас обратил внимание на «аномические» черты распада общественных систем, которые возникают в результате «систематически нарушаемой», искажаемой речевой коммуникации, когда консенсус не достигнут [15]. Уже самой коммуникации свойственна патология, и она приобретает различные формы в конкретном обществе, в конкретный период времени. Он обозначил новый вектор изучения: поиск причин нарушений коммуникации, прежде всего в публичной политике. Ж. Бодрийяр фактически описал аномию коммуникации, утверждая, что создателями симулятивной реальности являются все участники коммуникации, что в итоге ведет к нарушению когерентности системы [16]. В современном информационном обществе мы сталкиваемся с новыми парадоксами коммуникации, которые подчас ускользают от объяснения и связаны со становлением реалий сложности. Проблемы коммуникации имеют два вектора: технический и социальный. В области технической коммуникации они практически решены, чего нельзя сказать о политической коммуникации.

Причину того, почему политическая коммуникация становится аномичной, мы видим, прежде всего, в том, что все участники коммуникативного процесса производят аберрации информации. Аберрации в данном контексте мы рассматриваем как производство ошибок, погрешностей, дефектов, искажений в процессе передачи информации, в целом уклонение от нормы. Информация, обладающая такими характеристиками, как точность, полнота, прозрачность, достоверность, определяет порядок, устойчивость политической системы. Такая информация минимизирует неопределенность и снижает энтропию системы.

Данный феномен мы назвали информационной аномией. Аномия как сложный социальный феномен является продуктом общества, имеет явные и латентные признаки с привязкой ко времени, в информационном обществе становится процессным явлением, как сложный техно-социокультурный феномен и представляет sui generis продукт современного информационного общества. В связи с этим меняется природа аномии, возникают новые формы.

Информационная аномия – это непрерывный процесс производства аберраций информации в коммуникативной цепи, который имеет естественные и искусственные формы происхождения и обладает характерными социальными, культурными, политическими и техническими особенностями в современном информационном обществе. Информационная аномия – это комплекс социо-технокультурных феноменов аберраций информации, ведет к разрушению нормативности протекания процесса политической коммуникации, в результате возникает рассогласованность «коллективного связывания», что ведет к энтропии социальной системы [17].

Социокультурный аспект информационной аномии связан с индивидуальными (характерными) особенностями участников коммуникативного про-

цесса, с их способностью домысливать, интерпретировать, создавать собственную реальность. Например, немецкие ученые Центра адаптивной рациональности М. Планка в апреле 2017 г. опубликовали некоторые данные исследования по изучению социального заражения искаженной информацией и высказали первичные гипотезы: социальное заражение практически не распространяется дальше цепочки из трех человек и сильно зависит от степени искажения информации и переоценки чужих ошибок [18]. При этом они подчеркивают, что, несмотря на важность данного феномена, его конкретные механизмы изучены недостаточно[1].

Подчеркнем ключевые особенности комплексного феномена информационной аномии как нелинейного, многовариантного, подверженного случайностям процесса:

- объективный характер происхождения;
- неразрывная связь с каналами коммуникации;
- наличие аберраций информации во всех звеньях коммуникативной цепи;
- глобальный характер распространения, в котором разрываются локальные границы политического поля, узкие границы индивидуального «жизненного мира» и задаются новые векторы восприятия политики;
- вирусный характер распространения.

Информационная аномия в политической коммуникации отражается кризисом общественного доверия власти и СМИ. В связи с этим в качестве маркеров информационной аномии в политической коммуникации мы предлагаем рассматривать следующие:

Первый маркер*: *лимит кредита доверия. Доверие как принцип конструирования социальных отношений обеспечивает определенную стабильность, устойчивость, социальный порядок. Снижение кредита общественного доверия ведет к понижению уровня накопления символического капитала власти и СМИ.

Кризис доверия охватил весь мир и касается государственного аппарата, общественных институтов, СМИ. В отдельных странах кризис доверия дошел до самых минимальных отметок за весь период времени, по которому измерялось доверие политическим лидерам. Политики во всех странах теряют позиции в рейтингах доверия. Например, крупнейшая немецкая исследовательская компания GfK назвала 2011 г. годом недоверия Правительствам. Исследователи отмечают: «Из 20 профессий, доверие к которым исследовалось в 19 странах, политики пользуются наименьшим доверием» [19. С. 111]. Рекордно низкий за все годы уровень доверия СМИ в 2015 г. зафиксирован в США на отметке в 40% [20]. По данным исследовательских центров Quinnipiac University National Poll, PEW, утрата доверия в США связана с непрофессионализмом власти [21]. В России кризис доверия связан с нарастающим разрывом между декларируемыми на государственном уровне целями и их реальным воплощением.

[1] Социальное заражение – распространение взглядов, мнений, идей, эмоций, моделей поведения и т. п. в обществе – обладает схожей динамикой вне зависимости от контекста (политическая ориентация, медицинские практики или альтруизм). Reach and speed of judgment propagation in the laboratory. PNAS. http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract

Второй маркер*: *нарушение баланса доверия как понижение его степени. Нарушение баланса общественного доверия ведет к исчерпанию лимита доверия, следовательно, к нарушению «коллективного связывания». Соблюдение баланса между доверием и недоверием становится важнейшей ценностью как фактор обеспечения согласованности процесса протекания политической коммуникации.

Например, американский институт прессы (API), Центр исследований по связям с общественностью в феврале 2016 г. провели масштабное социологическое исследование по изучению доверия новостям, освещаемым в СМИ. Исследователи определили пять основных принципов доверия новостям: точность, прозрачность, полнота, объективность, ясность. Кроме того, авторы исследования выявили основные источники потери доверия: нарушение баланса в подаче информации, непрозрачность сбора фактов и источников, из которых журналисты «добывают» факты. Ключевой вывод авторов исследования: соблюдение баланса между доверием и недоверием СМИ является, прежде всего, бизнес-императивом в современном информационном обществе [22].

Если раньше вся производимая и потребляемая человечеством информация частично исчезала, растворялась в небытии, и это была нормой. То теперь, с приходом информационных технологий, все наоборот. Мы можем записать и сохранить, потенциально, всю информацию. Во все периоды развития человеческой цивилизации, будь то период расцвета печатного станка или период создания и развития информационно-коммуникационных технологий (IKT), постоянно возникают дискуссии о том, какие новые сложности, крайности, проблемы, зависимости возникают в коммуникации с приходом новых информационных технологий. Постоянное восстановление, а не уничтожение, накопление информации привели к глобальной «эпидемии» информационной аномии, подобно тому, как могут распространяться инфекционные заболевания на планете.

Революционную роль в истории развития человечества технических средств коммуникации обозначил М. Маклюэн, обосновав тезис о том, что именно электронные коммуникации изменяют не только форму, масштаб, скорость передачи сообщений, но и само содержание: «Средства и технологии, посредством которых мы расширяем и выносим себя вовне, составляют в совокупности колоссальную коллективную хирургическую операцию, проводимую на социальном теле при полном пренебрежении к антисептикам… следует принимать во внимание неизбежность того, что во время операции заражается вся система… еще ни одно общество не обладало знаниями о своих действиях относительно своих новых расширений, или технологий» [23. С. 36].

В терминологии З. Баумана «эпоха мгновенности» характеризуется такими проблемами, как постоянная смена идентификаций, дисперсия глобальных и локальных реалий, фрагментация действительности, разрушение общественных связей, эрозия институциональной системы, кризис гражданственности, мировой беспорядок, «побочный ущерб» от развития наук и технологий, «моральная слепота» [24, 25].

Мы полагаем, что эффекты информационной аномии в политической сфере отражают нарастающий процесс аберрирования смысла информации всеми участниками политической коммуникации, и выделяем следующие эффекты:

- *Масштабируемость* (мировое пространство, глобальное распространение информационной аномии);
- *Вирулентность* (вирусное распространение, массовое «заражение» общества любой идеей связано со стремительным увеличением информационных технологий и каналов доставки информации, определяется техническими возможностями средств связи);
- *Ретроспективность* (архетипизация политического сознания, производство фантомов);
- *Взлом Роста* (применение эффективных маркетинговых приемов представления и распространения информации, вирусный рост аудитории нового информационного продукта);
- *Опасность* (последствия распространения – деструктивный характер информационного воздействия, например, тотальное распространение радикальных религиозных, политических взглядов).

Информационная аномия как комплексный феномен аберраций при современном техническом уровне развития электронных средств коммуникации имеет тенденцию глобального масштаба распространения. Новые средства связи обеспечивают рост скорости распространения информационной аномии на уровне заражения массового потребителя политической информации. Потенциальная опасность такого заражения становится реальной, если посмотреть на примеры того, к каким последствиям в мире привело сетевое распространение радикальных националистических, экстремистских идей. Террор, насилие, религиозный фанатизм нарушают повседневную жизнь во всех уголках планеты. Невозможно полностью ликвидировать производство и распространение аберраций информаций в процессе политической коммуникации, поскольку сам процесс распространения информационной аномии необратим. Но минимизировать деструктивное информационное воздействие, в результате которого создаются угрозы, опасности и риски устойчивому развитию социума становится важнейшей задачей всех участников политической коммуникации.

Литература

1. *Стратегия* развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html (дата обращения: 26.09.2017).

2. *Указ* Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. Электронный ресурс. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102431687 (дата обращения: 26.09.2017).

3. *Бауман З.* Текучая современность / пер. с англ.; под ред. Ю.В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

4. *Granovetter M.S.* The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78, Issue 6. P. 1360–1380.

5. *Luhmann N.* Politische Soziologie, Hrsg von André Kieserling. Suhrkamp, Berlin 2010, 500 S.

6. *Хиршман А. О.* Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / пер. с англ. М.: Изд. дом гос. ун-та Высш. шк. экономики, 2010. 207 с.

7. *Beck U.* World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2013. 240 p.

8. *Beck U.* From Industrial Society to Risk Society // Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment. Theory, Culture and Society. 1992. Vol. 9. P. 97–123.

9. *Lyotard J.* The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. 110 p.

10. *Штомпка П.* Социология. Анализ современного общества / пер. с пол. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. 656 с.

11. *Чупров В.И., Михеева В.В.* Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 237–251.

12. *Штомпка П.* Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. 450 с.

13. *Thompson K.* Moral Panics. London and New York: Routledge, 1998. 157 p.

14. *Винер Н.* Кибернетика и общество / пер. с англ. Е.Г. Панфилова; общ. ред. и пред. Э.Я. Кольмана. М.: Издательство иностранной литературы, 1958. 198 с.

15. *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие: / пер. с нем.; под ред. Д.В. Скляднева, послесл. Б.В. Маркова. СПб., 2000. 380 с.

16. *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013. 204 с.

17. *Карпова А.Ю.* Эвристический потенциал расширения концепции аномии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 4. С. 174–184.

18. *Moussaïda, M., Herzoga, S.M., Kämmera, J.E. & Hertwiga, R. Reach* and speed of judgment propagation in the laboratory. PNAS. 2017 № 114(16) URL: http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract (accessed: 20/08/2017).

19. *Кови С., Линк Г.* Разумное доверие // Smart trust. Stephen M. R. Covey, Greg Link / пер. с англ. Л.А. Бабук. Минск: Попурри, 2013. 155 с.

20. *Gallup.* Доверие американцев СМИ остается на историческом минимуме. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx (дата обращения: 25.08.2017).

21. Quinnipiac University National Poll. Obama Is First As Worst President Since WWII. URL: http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056 (accessed 25/08/2017); Pew Research Poll Database. Apr, 2015. URL: http://www.pewresearch.org/question search/?keyword=confidence+obama&x=0&y=0 (accessed: 25/08/2017).

22. A new understanding: What makes people trust and rely on news. This research was conducted by the Media Insight Project – an initiative of the American Press Institute and the Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Feb, 2016. URL: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/ (accessed: 21/04/2016).

23. *Маклюэн Г.М.* Понимание Медиа: Внешнее расширение человека / пер. с англ. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. М.: Жуковский: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.

24. *Bauman Z.* Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press, 2011.

25. *Bauman Z.* Moral Blindness. Cambridge: Polity Press, 2013.

Anna Yu. Karpova. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: belts@tpu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/11

MARKERS AND THE EFFECTS OF INFORMATION ANOMIE IN POLITICAL COMMUNICATION

Key words: information, political communication, anomie, information anomie, aberration marker, effect

In the new information-technological way, the communicative process through electronic means of communication is an optical, almost instantaneous, way of producing a multitude of meanings simultaneously, in contrast to oral and written communication, which is characterized by diffuse propagation (slow, chaotic process of disseminating meanings). The communication process acquires such characteristic features as nonlinearity, emergence, multivariance, spontaneity, viral-ness and has hard-to-predict consequences. The use of new information technologies has also affected the political sphere of society, where information becomes a strategic resource of power. The production and specific

weight of the symbolic capital of political power is directly dependent on the acceptance and perception of collective-binding political decisions by the mass audience. Political communication becomes anomalous, due to the mismatch in the communicative process.

The characteristic features of the anomaly of political communication are manifested as following:

1. Information impact and interaction ceases to be a controlled process;
2. The media become "factories of uncertainty";
3. The ambivalent consequences of the produced meanings in political communication lead to the decoherence of the communication itself and to the growth of public distrust of the authorities and the media;
4. The communicative process becomes non-linear, multivariate, spontaneous, viral and prone to accidents;
5. The world political process functions in a single information space in which new vectors of policy perception are set and narrow local boundaries of the individual "personal-habitable-zone" are torn;
6. The continuous process of aberrating information becomes a characteristic feature of political communication, in which each of the actors has the opportunity to change the meaning of information;

Information anomie as a complex of socio-techno-cultural phenomena of information aberrations, leads to the destruction of the normality of the process of political communication, resulting in a mismatch of "collective binding", which leads to entropy of the social system. The following markers of information anomie in political communication can be highlighted:

The credit limit of trust. Reduction of the credit of public confidence leads to a decrease in the level of accumulation of the symbolic capital of the government and the media. *Distortion in the balance of confidence*, through decrease in its degree. It leads to the destruction of "collective binding". The effects of information anomie in the political sphere reflect the growing process of aberration of the meaning of information by all participants in political communication:

- Scalability;
- Virulence;
- Retrospective;
- Growth-Hacking;
- Danger.

It is concluded that minimizing the destructive information impact, which creates threats, dangers and risks to the sustainable development of the society becomes the most important task of all participants in political communication.

References

1. Russian Federation. (2008) *Strategiya razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsii ot 7 fevralya 2008 g. N Pr-212* [Strategy of the Information Society Development in the Russian Federation of February 7, 2008 N Pr-212]. [Online] Available from: https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html. (Accessed: 26th September 2017).

2. Russian Federation. (2017) *Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 09.05.2017 g. № 203* [Decree No. 203 of the President of the Russian Federation of 09.05.2017]. [Online] Available from: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102431687. (Accessed: 26th September 2017).

3. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Flowing modernity]. Translated from English by Yu.V. Asochakov. St. Petersburg: Piter.

4. Granovetter, M.S. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*. 78(6). pp. 1360–1380.

5. Luhmann, N. (2010) *Politische Soziologie* [Political Sociology]. Berlin: Suhrkamp.

6. Hirschman, A.O. (2010) *Ritorika reaktsii: izvrashchenie, tshchetnost', opasnost'* [Rhetoric of the reaction: perversion, futility, danger]. Translated from English. Moscow: HSE.

7. Beck, U. (2013) *World at Risk*. Cambridge: Polity Press.

8. Beck, U. (1992) From Industrial Society to Risk Society. *Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment. Theory, Culture and Society*. 9. pp. 97–123.

9. Lyotard, J. (1984) *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

10. Sztompka, P. (2005) *Sotsiologiya. Analiz sovremennogo obshchestva* [Sociology. Analysis of modern society]. Translated from Polish by S.M. Chervonnaya. Moscow: Logos.

11. Chuprov, V.I. & Mikheeva, V.V. (2015) Doverie v obshchestve kak faktor preodoleniya krizisa [Trust in society as a factor in overcoming the crisis]. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*. 4. pp. 237–251.

12. Sztompka, P. (2012) *Doverie – osnova obshchestva* [Trust is the foundation of society].Translated from Polish by N.V. Morozova. Moscow: Logos.

13. Thompson, K. (1998) *Moral Panics*. London and New York: Routledge.

14. Wiener, N. (1958) *Kibernetika i obshchestvo* [Cybernetics and Society]. Translated from English by E.G. Panfilov. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.

15. Habermas, J. (2000) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral consciousness and communicative action]. Translated from German by D.V. Sklyadnev. St. Petersburg: Nauka.

16. Baudrillard, J. (2013) *Simulyakry i simulyatsiya* [Simulacra and Simulation]. Translated from French by O.A. Pechenkin. Tula: Tul'skiy poligrafist.

17. Karpova, A.Yu. (2016) Evristicheskiy potentsial rasshireniya kontseptsii anomii [Heuristic potential of the anomie concept expansion]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4. pp. 174–184. DOI: 10.17223/1998863X/36/18

18. Moussaïda, M., Herzoga, S.M., Kämmera, J.E. & Hertwiga, R. (2017) Reach and speed of judgment propagation in the laboratory. *PNAS*. 114(16). [Online] Available from: http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract. (Accessed: 20th August 2017). DOI: 10.1073/pnas.1611998114

19. Covey, S.M.R. & Link, G. (2013) *Razumnoe doverie* [Smart trust]. Translated from English by L.A. Babuk. Minsk: Popurri.

20. Riffkin, R. (2015) *Americans' Trust in Media Remains at Historical Low*. [Online] Available from: http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx. (Accessed: 25th August 2017).

21. Quinnipiac University National Poll. (2014) *Obama Is First As Worst President Since WWII*. [Online] Available from: http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056. (Accessed: 25th August 2017).

22. American Press Institute. (2016) *A new understanding: What makes people trust and rely on news*. [Online] Available from: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/. (Accessed: 21st April 2016).

23. . McLuhan, G.M. (2003) *Ponimanie Media: Vneshnee rasshirenie cheloveka* [Understanding Media: External expansion of a person]. Translated from English by V. Nikolaev. Moscow; Zhukovskiy: Kanon-press-Ts, Kuchkovo pole.

24. Bauman, Z. (2011) *Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age*. Cambridge: Polity Press.

25. Bauman, Z. (2013) *Moral Blindness*. Cambridge: Polity Press.

УДК 141
DOI: 10.17223/1998863X/40/12

В.И. Миллер

ФИЛОСОФСКОЕ ПОЗНАНИЕ СУЩНОСТИ И МНОГООБРАЗИЯ ПРИРОДЫ ПРАВА И ГУМАНИЗМА

Право и гуманизм являются сложными явлениями социальной жизни, феноменами, сущностные аспекты и существование которых обусловливает друг друга. При раскрытии содержательных аспектов понятий «право» и «гуманизм» довольно трудно избежать эмоциональной насыщенности. Это осложняется многочисленными стереотипами и предрассудками, бытующими в сфере индивидуального и общественного сознания, согласно которым гуманизм отождествляется с прекраснодушием и утопизмом, неограниченным антропоцентризмом, а все многообразие права сведено к функции социального регулирования.
Ключевые слова: *право, социальная философия, философия права, гуманизм, этика долженствования.*

Многочисленные попытки определения права и гуманизма связаны с преодолением целого ряда трудностей как объективного, так и субъективного характера. Существует потребность в переосмыслении «стандартных подходов, основанных на различии номинальных и реальных определений», так как «современный подход основывается уже не на анализе определения отдельных правовых понятий, но на оценке системы определений в целом» [1. С. 239].

Остановимся более подробно на определении права. Оно является формой социального бытия общества, в которой закреплена идея о том, что общественные системы нуждаются в сохранении своей целостности от внутренних и внешних разрушительных сил, основываясь на общепринятых нормах, на общечеловеческих гуманистических установках, право призвано регламентировать и регулировать существование цивилизованных сообществ, не только сохранять порядок в обществе, но и гарантировать свободу каждому человеку, отстаивать интересы как государства, так и личности.

Д.А. Керимов отмечал, что все многообразие права – это «система правовых норм, в которых конкретизируется общая воля государственно организованного господствующего класса по поводу определенного должного или возможного поведения людей» [2. С. 19]. В границах принятых правовых норм осуществляется процесс взаимодействия, обеспечивается координация действий субъектов в различных правовых ситуациях. Именно право проводит четкую границу между должным и необходимым и тем, что является недопустимым в той или иной правовой системе. В отличие от неформальных форм коммуникации повседневной ориентированности право имеет функциональный характер, так как с помощью правовых норм общественный порядок не только поддерживается «здесь и сейчас», но и передается от одних поколений к другим.

Интерес к осмыслению сущности и многообразия природы права наблюдается с древнейших времен на протяжении всей истории становления фило-

софского знания. Так, мыслители Античности рассматривали аспекты взаимодействия политики и законов, морально-нравственных и правовых норм в процессах становления и укрепления общественного порядка. С развитием древнеримского права возрастало число оценок складывающихся правовых норм, формирующих имперскую правовую реальность. С тех пор к вопросу определения содержательных оснований права в равной степени обращались и философы, и юристы, и правоведы, поэтому в настоящее время право характеризуется как сложное социально-философское, философско-правовое и юридическое понятие. Определение, которое представлено в Толковом словаре русского языка «право есть совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе» [3. С. 577], может быть дополнено тем, что нормы и правила должны быть гуманистически ориентированными.

Полагаем, что право неразрывным образом связано с гуманизмом. Проблема заключается в том, что само понятие «человеколюбие» постоянно ускользает от строгих границ научного определения. В первую очередь следует вспомнить, что истоки обнаруживаются в области этики и этикета. Уже в древнейших этико-философских учениях Востока уделялось значительное внимание необходимости следованию тем нормам и правилам, которые подчеркивают необходимость уважительного и бережного отношения к другим людям, подобного тому, какое мы ждем в отношении самих себя [4. С. 134].

И. Кант выделял принцип долженствования в качестве основания поведенческих моделей «делать добро другим людям по мере нашей возможности есть долг независимо от того, любим мы их или нет..» [5. С. 443–444]. Отталкиваясь от необходимости руководствоваться целополаганием потребностей и интересов другого лица, он призывал: «Делай своим ближним добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие (как навык наклонности к благодеянию вообще)» [5. С. 444]. Тем самым признавая, что если гуманистические наклонности не присутствуют в человеке изначально как врожденные качества, следует уделять особое внимание их формированию.

В своих работах И. Кант подчеркивал, что существует тесная взаимосвязь между поведением человека и существующими законами. Последние, в свою очередь, он воспринимал как производное от поведения каждого, полагая, что если добродетельность станет для людей важнейшей жизненной установкой, то можно будет говорить о том, что законы утратят свою актуальность, а им на смену придут «всеобщий закон» и «право гражданина мира». «Эта идея разума – идея мирной, хотя еще не дружеской, общности всех народов земли без исключения, которые могут вступать друг с другом в полезные отношения, вовсе не человеколюбивая (этическая) идея, а правовой принцип» [5. С. 338–389]. Тем самым философ обосновывал взаимосвязь этико-гуманистической составляющей и правовой сферы, но с трансформацией этических идей в правовой принцип. В работе «Метафизика нравов» И. Кант подчеркивал ценность права как основания единения людей и устанавливал следующую дефиницию данного понятия: «Право – это совокупность условий, при которых произволение одного (лица) совместимо с произволением другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [5. С. 253].

Р.А. Бурханов, анализируя философское наследие И. Канта, писал: «Мораль, право представляют собой априорную форму внешних поступков людей, обусловленную априорной формой их внутренних убеждений» [6. С. 96]. Тем самым формирование внутренних побуждений человека остается в границах морали, тогда как право регламентирует добродетельность поступков, опираясь на правомочие принуждать. Тем самым право выступает социальной формой регулирования человеческого общежития, в которой воплощена идея о важности и необходимости ограждения себя от опасностей внутренних и внешних разрушений. «Общепринято понимать право как систему правил поведения. Действительно, чтобы право могло оказывать регулятивное воздействие на поведение людей, оно должно располагать необходимыми средствами. Эти средства социальной регуляции, будучи нормативной основой права, не только определяют границы должных и возможных индивидуальных поступков субъектов, но, в конечном счете, нацелены на упорядочение и совершенствование общественной жизни, внесение в нее организующих начал» [6. С. 293].

Следует подчеркнуть, что морально-нравственные установки обладают абсолютным ценностным характером, хотя не имеют силы закона, но при этом «человеку вменяется в обязанность добродетель (как моральная твердость)» [5. С. 439]. С самого раннего возраста общество направляет значительные усилия на то, чтобы ребенок осваивал границы должного, необходимого, правильного. В семье, в дошкольных и школьных учреждениях особое внимание уделяется воспитанию в подрастающем поколении гуманистически ориентированных морально-нравственных норм и установок, вне границ которых невозможно правовое образование. Современное общество критически оценивает распространяющиеся модели жестокого поведения по отношению к животным, маленьким детям, пожилым людям.

Еще один важный аспект правовой теории определен тем, что необходимо создавать нормативное пространство для творческой реализации индивида в обществе. В полной мере только общественная среда создает условия для самораскрытия собственных возможностей, осознания своей значимости и востребованности. Следует отметить, что сущность гуманистической теории неразрывным образом связана с осознанием уникальной творческой природы человека в социуме. Мы полагаем заслуживающим особого внимания определение Н.А. Бердяева, который указывал: «Гуманизмом я буду называть признание высшей ценности человека в жизни мира и его творческого призвания» [7. С. 180], а возвращение к истокам гуманистического принципа философ связывал с необходимостью позиционирования «творческой любви человека к человеку…» [7. С. 277]. Она осуществляется как способность противостоять собственным эгоцентрическим запросам и одновременно возрастающим требованиям современности: «Подлинная суть трактовки сверхчеловеческого отнюдь не в учреждении инстанции сиюминутного произвола и иррационального своеволия, которые в конечном итоге всегда оборачиваются метафизикой зла и инфернальности, несмотря на все упреждающие заявления о приостановке морали и морального ценностного суждения» [8. С. 83]. В процессе становления себя как творческой сущности человек всегда способен сделать неверный шаг, ложным образом интерпретировать себя и свое место в тотальности

бытия, тем самым прийти к самоовеществлению. Эта стадия не только сближения человека и вещи, уподобления себя, живого, неживому, но предательства по отношению к свободе творения. В этом расхождении природы человека и природы творчества правовой реальности укореняется возрастающая возможность отчуждения. «Люди, создающие правовые нормы, которые отступают от принципа гуманизма, не только сами погружаются в антигуманистическую правовую реальность, но и способствуют искажению формирующегося мировоззрения других людей» [9. С. 207].

Осознание того, что значимость гуманизма в современном обществе только возрастает, позволяет рассматривать его в качестве позитивного общечеловеческого идеала. Для этого подхода характерно изучение взаимосвязи русской религиозно-философской традиции с христианской православной и католической, поиск нового общественного идеала намечается в рамках обновленного религиозного сознания [10. С. 282–303]. Так, для поддержания стабильности и порядка необходимо опираться на средства добровольного характера, которые направлены преимущественно на содержательные элементы формирующейся культуры индивидуального правового сознания, при этом активизируются механизмы внутренней мотивации. В опоре на средства принудительного характера осуществляется воздействие правовых инструментов, которые не только имеют легитимную природу, но и отвечают критериям гуманизма. Так, по мнению И. Ильина, патриот и гражданин должен служить своей родине, а обязанность государства состоит в том, чтобы «обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим центром сил» [11. С. 247]. В этом смысле идеальным государством будет то, которое вселяет в человека уверенность, создает условия творить по собственной, свободной инициативе.

Близким по смыслу к предыдущей позиции стало понимание гуманизма в качестве ориентира, направленного на совершенствование человека и общества [12. С. 11–17] в соответствии с идеалами равенства, свободы и справедливости. В свою очередь, мы согласны с мнением В.С. Нерсесянца, что «каждой ступени в историческом развитии свободы и права присуща своя юридическая концепция человека как субъекта права и соответствующие представления о его правах и обязанностях, его свободе и несвободе» [13. С. 142]. Ю.Хабермас писал о том, что «эта моральная зараженность права есть результат конституционных революций XVIII столетия. Тот, кто пытается нейтрализовать данное напряжение, покушается на само динамичное восприятие существующего…» [14. С. 76]. Сказанное означает, что свобода и справедливость как свойства правовой сущности входят в понятие права, возможны и выразимы лишь в правовой форме. В семантической форме наблюдается соединение элементов необходимости и свободы, долженствования и необходимости действия как усвоенного знания, а статичность содержательно-смысловых характеристик норм обусловлена динамикой социокультурного контекста, внутри которого она пребывает. Норма права, обладая знаковой формой, способна хранить обширное формализованное социальное знание. Предлагая должную модель поведения, норма не прописывает особенность обстоятельств ее реализации, а свобода индивида прослеживается в принятии различных возможных решений, в выборе средств по

реализации поставленных целей в границах очерченного нормами правового пространства. Свобода выбора, которую осуществляет человек, отражает весь драматизм его человеческой природы: «Люди как люди…ну, легкомысленны…ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца» [15. С. 98].

Гуманизм может рассматриваться как ядро гуманитарного процесса, постоянно усложняющегося по мере развития человеческого сообщества. В рамках данного подхода обосновывается сложность эволюции гуманитарного потенциала в отдельных культурах, а также действенность диалога различных культур в накоплении гуманитарного опыта [16. С. 45–46]. Если вспомнить историю становления античной философии, то огромную роль в процессе воспитания греков играла пайдейя. Эпоха Античности была ориентирована на свободную гражданскую личность, все граждане, принимавшие участие в жизни полиса, начинали восприниматься как подобные (homoioi), а затем более абстрактно – как равные (isoi). В политическом плане граждане считались взаимозаменяемыми единицами одной системы, ведущей нормой которой являлось равенство. В культурной практике Древней Греции субстанциональными началами антропоцентризма выступали образы-типы: героя, философа-теоретика, которые выступали истинными носителями идеи гражданина, противопоставляя себя негражданам; в своей совокупности они характеризовали собой многогранную палитру человеческих качеств, но в большей степени, осуществляли оценку социальной роли индивида. Неслучайно, древнегреческие мыслители в обращении к человеку, уделяли значительное внимание не только его внутренней жизни, но и призванию, образу жизни и жизненному пути.

Представленная нами далеко не полная классификация позволяет сделать вывод о том, что гуманизм – это своего рода силовое моральное и интеллектуальное поле, сдерживающее многоаспектные потоки социально-культурных устремлений; базисная категория, объединяющая в единое пространство открытую систему базовых человеческих ценностей. Широкое понимание гуманизма, связанное с интегральными характеристиками человека, общества и культуры, охватывает ценности свободы *личности* и человеческого *блага* в самых различных аспектах их исторического и жизненного роста. И тогда каждый вектор возможного мировоззрения, идеологии или общественной практики способен получить свое особенное *гуманистическое измерение*.

Как известно, в широком смысле гуманизм – это исторически меняющаяся система воззрений, признающая *самоценность* человека, его право на свободу, счастье, развитие своих способностей. Это культурная парадигма, в которой *благо человека* является критерием оценки деятельности социальных институтов, а человечность, справедливость и равенство – принципами (или, по крайней мере, желаемой нормой) отношений между людьми [16. С. 250–256].

Гуманизм – это мировоззрение, согласно которому человек рассматривается как уникальная ценность, как личность, обладающая правом на счастье, которое достигается в свободном развитии и проявлении своих «плодотворных ориентаций» (Э. Фромм) и способностей, в активном и ответственном участии в социальной жизни. Но в то же время гуманизм – это и духовно-

философское течение, и культурно-историческая традиция, и государственная идеология, когда забота о человеке провозглашается высшей ценностью социально-политических интересов.

Есть еще одна важная область, которая объединяет сферу права и гуманистическое мировоззрение, – это правосознание. И. Ильин писал о том, что человечество переживает кризис правосознания, что обусловливает непрочность правопорядка, «когда большие и малые государства стоят перед возможностью крушения и распада» [11. С. 218]. Любая общественная система и прошлого, и современности не может функционировать вне процессов, направленных на формирование правовой культуры и правосознания. Если понимать правосознание как основу ориентации в сфере правовой реальности, то можно утверждать о том, что существуют следующие формы правосознания: насильственно навязываемая, завуалированно навязываемая, истинно субъектно-активная. Подобная классификация носит условный характер, но позволяет нам продемонстрировать взаимозависимые связи между человеком и обществом, сознанием индивида и проводимой современной политикой.

Первая предполагает, что нормы права могут выступать как противоречащие его изначальным установкам, но, опасаясь определенного рода наказаний, человек приспосабливает свои действия к существующим требованиям. Подчеркнутая позиция главенства закона по отношению к отдельному человеку прослеживается, например, в теории законников, или легистов, где страх подвергнуться наказанию обусловливал поведение не только индивида, но и семью и даже род. Применение изощренной практики наказаний не выступало эффективным механизмом выработки должного поведения, поскольку не было ориентировано на свободу выбора и принятия правовых норм.

Вторая форма правосознания отличается тем, что нормы глубоко интегрированы в индивидуальное бессознательное, так что человек может полагать их своим внутренним выбором. В результате может сложиться впечатление политической и правовой активности индивида в ситуациях, где он лишен самого главного – свободы выбора. В данный момент практика внедрения подобных правовых норм отрабатывается на моделях формирующегося детского и юношеского мировоззрения, когда навязываемые ценности должного и модного пропагандируются как тождественные.

В третьей форме подчеркивается осознанная позиция осмысления и принятия правовых норм, ценностей, установок, которые не противоречат общечеловеческим гуманистическим ценностям и направленности на благо человека. Проблема заключается в том, что на практике вторая форма подменяет собой третью, при этом активность субъекта права возникает лишь время от времени. В этом случае автономия правосознания проявляется в свободе от социального принуждения, а законопослушное поведение опирается на «предправовые» уровни нормативной саморегуляции морально-нравственного характера, создается такая ситуация, будто правосознание законодательствует, определяя для себя модели должного социального поведения. Тем самым активность человека в процессе формирования и принятия правовой реальности может быть недостаточно высокой.

Правосознание неразрывным образом связано с гуманистическими установками, которые лежат в основе всех последующих оценок сформированной

системы права социальными субъектами. Объективность данных оценок складывается в результате столкновений существующих интересов как индивидов, так и социальных групп, а также обусловлена постановкой определенных целей, которые выстраиваются в иерархическую цепочку. В этом смысле право гарантирует гражданам некое пространство для реализации тех возможностей, которые не вступают в конфликт с законодательными нормами, одновременно оно отражает степень сформированности того или иного уровня правосознания. И.А. Ильин писал о том, что «право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для духа и ради духа и осуществляются через посредство правосознания» [11. С. 234]. Тем самым правосознание выступает сложным духовным организмом, который наличествует у каждого человека, поскольку он не существует вне правового поля, в свою очередь, правовые установки регламентируют основы его общественной жизни. Даже в те моменты, когда человек склоняется к совершению поступков, отступающих от правовых норм, и совершает преступления, мы не можем утверждать, что у него отсутствует правосознание, скорее это будет указывать на ложность нравственно-ценностных ориентиров, искаженность правовой картины мира. В целом, правосознание еще и выражает системность и глубину осмысления правовой реальности, сформированность структурных единиц личностного развития или правовой ментальности. В содержательном смысле правосознание есть единство чувств и настроений, характеризующее отношение как к существующему, так и к желаемому праву; это осознание нормы, проявленной в поведенческой модели индивида с точки зрения его прав и обязанностей, соблюдения закона или отступления от него.

Сейчас вполне правомерно утверждать, что возникшие в начале века попытки сформировать целостное направление – секулярный гуманизм – не получили должного развития в качестве самостоятельной области гуманитарного знания. Однако сам факт обращения к проблемам гуманизма в сочинениях П. Куртца заслуживает особого внимания. Он ввел термин «европейская практическая философия» [17. С. 68], подчеркивая необходимость практической реализации всего комплекса гуманистических установок, в том числе в области права. Философское направление евпраксофия было представлено гуманистической теорией, этикой гуманизма, историей гуманизма, психологией гуманизма, политологией гуманизма. Большое внимание при этом уделяется этике гуманизма: она понимается как особая форма общественной практики человека, а ее основная теоретическая задача видится в обосновании реальности, практической осуществимости принципа гуманности [18. С. 123].

Кроме того, европейская практическая философия гуманизма имеет основания для рассмотрения ее как интегративной области знаний, поскольку опирается на основные положения и результаты исследований ряда наук. Непосредственную связь она обнаруживает с гуманитарной отраслью, прежде всего – с философией, а также биологическими теориями о генетических программах человека и животных, механизме и ходе эволюции и пр. Большое значение, в частности, приобретают достижения социобиологии, раскрывающие глубинные корни антигуманизма. Основными направлениями совре-

менных исследований в области философии гуманизма можно признать следующие: изучение культурного наследия, религиозных и философских систем и концепций, включающих категорию гуманизма в качестве важнейшего элемента их содержания; анализ и оценка культурного опыта, современного состояния сфер общественной жизни, критерием которых является гуманизм; исследование в области теории гуманизма, освещение и анализ имеющегося опыта применения гуманизма.

Если придерживаться такого классификационного деления, как религиозный и секулярный гуманизм, то можно выделить ряд противоречий в подходах к процессу формирования правосознания индивида. В основание религиозного положен тезис о ценности религии как непременного условия воспитания правовой культуры. Прежде всего, вспоминаются заповеди о непременном принятии ближнего как самого себя и об условии не навредить интересам другого лица. Религия становится призмой осмысления правовой реальности. В этом смысле секулярный гуманизм подчеркивает роль философско-правового знания, которое изучает вопрос о длительности эволюции естественного и положительного права как свидетельства того, что само общество пришло к идее главенства гуманизма в праве. В качестве проектов преобразования общества и области права предлагались следующие: отделение церкви от государства, формирование критического научного мышления в рамках современного образования.

Мы согласимся с тем, что современная картина мира характеризуется не столько проблемой обоснования гуманистических ценностей, столько пониманием необходимости сознательно практиковать идеи гуманизма в различных сферах политико-правовой жизни. При этом имеет право на существование как религиозный, так и секулярный гуманизм, представляющиеся нам двумя противоположными крылами одного явления. В зачастую противоположных и резких замечаниях в отношении друг друга главное не утратить главенствующую установку гуманного отношения.

Литература

1. *Оглезнев В.В., Суровцев В.А.* Питер Хакер об определении в юриспруденции // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 39. С. 238–247.

2. *Керимов Д.А.* Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права: монография. М.: Современная гуманитарная академия, 2003. 524 с.

3. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

4. *Миллер В.И.* Осмысление сущности феномена «право» в гуманистической традиции // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 39. С. 133–141.

5. *Кант И.* Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6: Религия в пределах только разума; Метафизика нравов / под общ. ред. А.В. Гулыги. М.: Чоро, 1994. 612, [1] с.

6. *Бурханов Р.А.* Практическая философия Иммануила Канта. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 191 с.

7. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения: СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 1996. 384 с.

8. *Петренко В.В.* Нигилизм как вектор индивидуализации в философии и культуре новейшего времени // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 3 (11). С. 80–85.

9. *Миллер В.И.* Антропологический дефицит права и проблема гуманизма в западноевропейской экзистенциальной философии XX века // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. С. 204–211.

10. *Оболенская С.В.* Русские и европейцы // Одиссей. Человек в истории. 1998. М.: Наука, 1999. С. 282–303.

11. *Ильин И.А.* Собрание сочинений: в 10 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 1. 400 с.

12. *Долгов К.М.* Гуманистические ценности культуры и свобода личности // Гуманистические ценности современной культуры. М., 1988. С. 11–17.

13. *Нерсесянц В. С.* Философия права: учеб. для студентов вузов юридических специальностей. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2006. 835 с.

14. *Хабермас Ю.* Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека / пер. с нем. Э.Ю. Соловьева // Вопросы философии. 2012. № 2. С. 66–80.

15. *Булгаков М.А.* Избранное. М.: Просвещение, 1991. 384 с.

16. *Джалалов А.М.* Всестороннее развитие человека и проблемы гуманизации общества: дис. в форме науч. докл. … д-ра филос. наук. Ташкент, 1991. 56 с.

17. *Куртц П.* Запретный плод. Этика гуманизма / пер. с анг. И. Кувакина; ред. В.А. Кувакин // Здравый смысл: Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. М.: РГО, 2002. 222 с.

18. *Куртц П.* Светский гуманизм и политика: в каких случаях мы высказываемся? / пер. с англ. А. Круглова; сост. В.А. Кувакин // Здравый смысл: Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. М.: РГО, 2005. № 4. С. 14–20.

Veronika I. Miller. Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation)
E-mail: econom_law@surgpu.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/12

PHILOSOPHICAL COGNITION OF THE ESSENCE AND DIVERSITY OF THE NATURE OF LAW AND HUMANITY

Key words: law, social philosophy, philosophy of law, humanism, ethics of obligation

Law and humanism are complex phenomena of social life, phenomena, essential aspects and the existence of which determines each other. The process of becoming a legal theory of the past and present are defined by the development of the principle of humanism. If the field of the right to remove humanistic installation, the law will become anti-humanistic orientation. In the case where the humanistic theory is viewed in isolation from the practical sphere of law, we can speak about a crisis of humanism because, in this case, he remains a pure abstraction. The disclosure of substantive aspects of the concepts of "right" and "humanism" is pretty hard to avoid emotional intensity. This is complicated by the numerous stereotypes and prejudices existing in the sphere of individual and social consciousness, according to which humanism is identified with the idealism and utopianism, unlimited anthropocentrism, and the variety right is reduced to the function of social regulation.

References

1. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) Peter Hacker on the definition in jurisprudence. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 39. pp. 238–247. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/39/26

2. Kerimov, D.A. (2003) *Metodologiya prava. Predmet, funktsii, problemy filosofii prava* [Methodology of law. Subject, functions, problems of the philosophy of law]. Moscow: Sovremennaya gumanitarnaya akademiya.

3. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (1999) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian Language]. 4th ed. Moscow: Azbukovnik.

4. Miller, V.I. (2017) Understanding of the essence of the phenomenon “law” in the humanistic tradition. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 39. pp. 133–141. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/39/14

5. Kant, I. (1994) *Sobranie sochineniy: v 8 t.* [Collected Works in 8 vols]. Vol. 6.Translated from German by A.V. Gulyga. Moscow: Choro.

6. Burkhanov, R.A. (1998) *Prakticheskaya filosofiya Immanuila Kanta* [Practical philosophy of Immanuel Kant]. Ekaterinburg: Ural State University.

7. Berdyaev, N.A. (1996) *Istina i otkrovenie. Prolegomeny k kritike Otkroveniya* [Truth and revelation. Prolegomena to the Criticism of Revelation]. St. Petersburg: Russian Christianian Humanitarian Institute.

8. Petrenko, V.V. (2013) Nigilizm kak vektor individualizatsii v filosofii i kul'ture noveyshego vremeni [Nihilism as a vector of individualisation in the philosophy and culture of modern times]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 3(11). pp. 80–85.

9. Miller, V.I. (2017) Antropologicheskiy defitsit prava i problema gumanizma v zapadnoevropeyskoy ekzistentsial'noy filosofii XX veka [Anthropological deficiency of law and the problem of humanism in the West-European existential philosophy of the 20th century]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke – Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being*. 6. pp. 204–211.

10. Obolenskaya, S.V. (1999) Russkie i evropeytsy [Russian and Europeans]. In: Gurevich, A,Ya. et al. *Odissey. Chelovek v istorii. 1998* [Odyssey. Man in history. 1998]. Moscow: Nauka. pp. 282–303.

11. Ilin, I.A. (1994) *Sobranie sochineniy: v 10 t.* [Collected Works. In 10 vols]. Vol. 1. Moscow: Russkaya kniga.

12. Dolgov, K.M. (1988) Gumanisticheskie tsennosti kul'tury i svoboda lichnosti [Humanistic values of culture and personal freedom]. In: *Gumanisticheskie tsennosti sovremennoy kul'tury* [Humanistic values of modern culture]. Moscow: [s.n.]. pp. 11–17.

13. Nersesyants, V.S. (2006) *Filosofiya prava* [Philosophy of Law]. 2nd ed. Moscow: NORMA.

14. Habermas, J. (2012) Kontsept chelovecheskogo dostoinstva i realisticheskaya utopiya prav cheloveka [The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights]. Translated from German by E.Yu. Soloviev. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 66–80.

15. Bulgakov, M.A. (1991) *Izbrannoe* [Selected Works]. Moscow: Prosveshchenie.

16. Dzhalalov, A.M. (1991) *Vsestoronnee razvitie cheloveka i problemy gumanizatsii obshchestva* [Comprehensive human development and the problems of humanisation of society]. Philosophy Dr. Diss. Tashkent.

17. Kurtz, P. (2002) *Zapretnyy plod. Etika gumanizma* [The forbidden fruit. Ethics of humanism]. Translated from English by I. Kuvakin. Moscow: RGO.

18. Kurtz, P. (2005) *Svetskiy gumanizm i politika: v kakikh sluchayakh my vyskazyvaemsya?* [Secular humanism and politics: in which cases we speak?]. Translated from English by A. Kruglov. Moscow: RGO. pp. 14–20.

УДК 81’27; 81’246.3
DOI: 10.17223/1998863X/40/13

Е.А. Найман

ПРОБЛЕМА УЧАСТНИКОВ РЕЧЕВОГО СОБЫТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАГМАТИКЕ

Особое внимание уделяется дискуссионным вопросам, касающимся декомпозиции ролей участников речевого события, и взаимоотношению между ролями участия и грамматическими формами местоимения. Утверждается, что предыдущие теории оказываются несостоятельными, когда их применяют для объяснения форм компьютерно-опосредованной коммуникации. Например, гофмановская оппозиция между утвержденными и неутвержденными участниками разговора, а также его понятие «соглядатая» становятся неадекватными для объяснения многообразных форм полилога в Интернете.

Ключевые слова: *прагматика, речевое событие, участники, дейксис, компьютерно-опосредованная коммуникация.*

Введение

В последнее время все чаще отмечается, что при изучении различных форм и видов коммуникации знание грамматики и лексики языка оказывается недостаточным. Интерпретация смысла высказываний определяется «грамматикой контекста» (Р. Сколлон), важнейшим компонентом которой выступают участники речевой ситуации. В чем состоит значимость проблемы участников речевого события для дисциплин, изучающих процесс коммуникации? Прежде всего, она важна для понимания феномена дейксиса, связывающего смысловые и контекстуальные параметры высказывания. И это неудивительно, поскольку отношение между языком и контекстом отражено в структуре языка при помощи дейктических категорий. Именно за счет дейксиса происходит грамматикализация основных характеристик речевого события, а потому при интерпретации высказывания дейктическая информация наиболее значима.

Одной из важнейших разновидностей дейксиса, наряду с пространственным и временным, является персональный дейксис, отвечающий за кодирование ролей участников речевого события. Первое лицо грамматикализует отношение говорящего к самому себе, второе лицо – к адресату, а третье – к «другому». В связи с этим легко обнаружить отражение персонального дейксиса в категориях лица, а также дифференциацию ролей участников речевого события в соответствии с данным грамматическим делением.

Исходя из этого традиционная концепция речевого события, разработанная в информационной теории, лингвистике, семиотике, литературной критике и социологии, предполагала бинарную структуру отношений между говорящим и слушающим, отправителем и получателем, адресантом и адресатом. Тем не менее вот уже несколько десятков лет в прагматике и социолингвистике активно обсуждаются недостатки биполярной модели речевого взаимо-

действия как основной или даже единственной формы человеческой коммуникации. Изучение дискурса из контекстуальной перспективы вызывает неудовлетворенность классической моделью коммуникативного акта. Для объяснения связи личности и дейксиса требуется как анализ гораздо более сложных социальных условий общения, так и учет взаимосвязей между ролями участников речевого события и их социальной идентичностью. Наиболее радикальную программу «декомпозиции» бинарной модели предложил Ирвин Гофман, по мнению которого такие «фольклорные» категории, как «говорящий» и «слушающий», следует «разложить на аналитически более мелкие составные элементы» [9. С. 129].

Многие исследователи, выступившие в поддержку этой идеи, полагают, что описание речевой ситуации требует гораздо большего количества категорий, нежели используемые в классической парадигме. По мнению классика современной прагматики С. Левинсона, философы и лингвисты используют слишком упрощенную конструкцию ролевой структуры речевой ситуации при анализе категорий первого и второго лица. Как отмечает Левинсон, «такие понятия, как «говорящий» и «адресат», мало пригодны для обработки грамматических различий, происходящих в дейксических системах различных языков» [13. С.184]. Если же двойственная система «говорящий – слушающий» перестает удовлетворять, то возникает вопрос о количественном и качественном определении категорий, необходимых для описания коммуникативной ситуации.

Методология

В данной статье предполагается всестороннее обсуждение, содержащее аналитический обзор и критический анализ состояния проблемы участников речевого события в современной прагматике и социолингвистике, а также определение границ наиболее влиятельных концепций при объяснении компьютерно-опосредованных форм коммуникации.

Методологической основой выступили три ключевых подхода к проблеме участников речевого события. Первый из них – этнографический, представленный в 70-х годах основателем «этнографии речи» Деллом Хаймсом, второй – социологический, разработанный в 80-х годах Ирвином Гофманом. Третий подход – социолингвистический, связанный с исследованиями 90-х годов новозеландского социолингвиста Алана Белла. В работе проводится сравнительный анализ указанных подходов, а также привлекаются работы представителей современной прагматики (С. Левинсон) и социолингвистики (Д. Ирвайн, У. Хэнкс), направленные на их критическое обсуждение. Предметом интереса всех этих исследований является «язык в ситуации», а их общим методологическим подходом можно считать теорию социальной индексальности, контекстности значения и деятельностной природы языка.

Теоретические основания

Одним из первых исследователей, выступивших против традиционного бинарного описания коммуникативной ситуации, был Делл Хаймс – пионер антропологического подхода в социолингвистике, создавший в начале 70-х

годов прошлого века проект этнографии коммуникации и оригинальную таксономию, способную помочь этнографу классифицировать и объяснять модели группового коммуникативного поведения.

Важнейшим компонентом речевой ситуации, по Хаймсу, являются его участники. Четыре категории описывают участников речевого события: Говорящий/Отправитель – авторитет, стоящий за сообщением; Адресант – тот, кто озвучивает сообщение; Слушатель/Аудитория – человек или группа людей, воспринимающие сообщение; Адресат – тот, к кому непосредственно обращено сообщение. Таким образом, Хаймс выделяет по две категории на Отправителей и Получателей. Нужно сказать, что люди в разных речевых сообществах по-своему квалифицируют участников речевой ситуации: «В зависимости от верований и обычаев категории Отправителей и Получателей по-разному распределяются среди членов данной группы» [4. С. 59].

Несмотря на то, что Хаймс определил роли участников события, их наиболее детальный анализ предложил его коллега по Пенсильванскому университету выдающийся социолог Ирвин Гофман, считавший понятие «участие» отправной точкой при изучении речи. Гофман обозначает понятием «статус участия» (participation status) отношение человека к произнесенному им в конкретной ситуации, а «каркасом участия» (participation framework) – общую комбинацию «статусов» в каждый момент времени.

В «Формах разговора» (1981) Гофман резко выступил против модели Отправителя, который самостоятельно создает текст, озвучивает его, выражая свои убеждения. Зачастую человек произносит заученные слова или читает заготовленый текст, не участвуя в его создании и не высказывая с его помощью собственного мнения. Вспомним русское выражение «Ты поешь с чужих слов!». К примеру, при синхронном переводе переводчик передает собеседнику слова другого человека. Говорящий способен пародировать чужой акцент, диалект, цитировать, повторять многочисленные высказывания, услышанные в средствах массовой информации или рекламе.

Гофман полагает, что местоимение «Я» не идентично категориям «говорящий» или «пишущий». Оно может относиться к трем различным ролям: Аниматору, Автору и Принципалу, входящим в состав «производственного формата» (production format) высказывания. Аниматор – это «звучащий ящик»; человек, двигающий губами и жестикулирующий. В модели Хаймса Аниматор соответствует Адресанту, а роль Отправителя подразделяется Гофманом на две: Автора и Принципала.

Автор – это стратег, который формулирует сообщение, отвечая за выбор слов и чувств, выраженных в тексте. При этом автор и физический аниматор не совпадают. Казалось бы, фразы «Я думаю», «Я полагаю», «Я хочу» обозначают реальные мысли, чувства и желания того, кто их произносит. Однако это не совсем так, поскольку, употребляя местоимение «Я», говорящий превращается в персону, характер или фигуру. Не являясь частью пространства реального речевого события, он становится элементом мира, о котором говорит. Когда человек произносит: «Я сегодня не могу ясно выражаться», то «Я» в этом высказывании – какой-то иной персонаж, близкий ему, но другой. Ведь на самом деле данная фраза проговаривается вполне отчетливо. Аниматор может воскликнуть: «Я лишился дара речи!», но при этом полностью до-

носит до слушателя содержание высказывания. Можно сказать: «Я люблю бананы», когда ими угощают, ненавидя их. Этой фразой человек не выражает свои реальные чувства, а произносит ее из вежливости.

Принципал – это институциональный авторитет или инициатор, стоящий за словами, чью позицию и убеждения выражают высказанные слова. Принципалом может быть конкретный человек, как в примере Гофмана из его работы «Анализ фреймов», «когда Джон, отвечая Мэри по телефону, в порядке услуги поворачивается к Гари и говорит: «Мэри хочет знать, можешь ли ты прийти туда вечером», тогда Джон (…) лишь звуковой генератор приглашения; принципалом, ответственным источником сообщения является Мэри, даже если она не передает приглашение лично» [3. С. 619]. В этом случае Мэри совершенно не обязана физически присутствовать в момент речевого события. У Мэри, кроме того, может быть подруга, от имени которой также поступило это приглашение. В таком случае принципал становится коллективным.

За произнесенными словами у говорящего всегда стоит социальная идентичность или роль, от лица которых он высказывается. Как правило, субъектом речи выступает глашатай социальной группы, сообщества, коллектива, обращаясь к слушателям от имени некоего общего «мы». Понятие «Принципала» тесно связано с многообразием социальных ролей. Индивид способен быстро менять социальные роли и идентичность, но при этом способности Автора и Аниматора остаются неизменными. Говорящие очень часто в разговоре для того, чтобы подчеркнуть, что выражают не свою позицию, а группы, к которой принадлежат (команды, офиса, фирмы, школы, семьи, политической партии), переключаются на интституциональный голос, используя местоимение «мы».

Пьер Бурдье в работе «Что значит “говорить”». Экономика языковых обменов» (1991) полагает, что человек становится авторитетом и получает власть в обществе, когда какая-либо группа дает ему право говорить от ее имени, делая его своим доверенным лицом или «глашатаем» [7]. Взамен биологического тела он получает тело учредителя: «Государство – это Я». К примеру, сутана, латынь или церковнославянский выступают необходимыми символами, дающими основание говорить от имени Церкви или Бога. Причем текст, произносимый священником, не обязательно понимать; главное – признавать его легитимность. Свидетельством уважения к «глашатаю» выступают такие обращения, как «Его Высочество», «Его Преосвященство», которые не столько говорят о признании личности, сколько о признании назначившего его института. Именно поэтому уважительные формы обращения носят глубоко политический характер.

В большинстве современных государств на президента возложено право говорить от имени страны. Однако зачастую он делает это через своего пресс-секретаря, который превращается в аниматора слов, написанных спичрайтерами (авторами) от имени президента (принципала). Во многих культурах выделялись люди, выполнявшие функцию «носителя слов вождя». На острове Тикопия, в Меланезии, вожди не выступали перед племенем на собраниях, а давали инструкции своим помощникам, сообщавшим народу волю вождя, который не считал нужным даже присутствовать на собраниях. От

имени библейского пророка Моисея, по причине его косноязычия, говорил его брат Аарон.

Несмотря на то, что говорящий исполняет все три роли одновременно, различать их необходимо, поскольку существуют ситуации, в которых участники стремительно меняют роли и их распределение перестает быть очевидным. Например, в радиоинтервью ведущий озвучивает вопросы зрителей, зачитывая их, а затем может задавать их от своего имени или в течение лекции преподаватель обращается к цитатам классиков, а потом предлагает свои комментарии. В этих случаях бывает довольно непросто проследить ролевое переключение.

В начале 90-х гг. новозеландский социолингвист Алан Белл, исследуя процесс создания новостных историй, в особо сложные речевые события вводит четвертую роль [5]. Белл полагал, что автор может выполнять различные функции по отношению к тексту. «Автор» Гофмана у него подразделяется на «Автора» и «Редактора/Редакторов» (Editor/Editors). В результате у Отправителя, наряду с ролью Автора и Принципала, появляется новая роль Редактора. Иерархическая структура участников усложняется. Помимо Принципала существует Автор, создающий начальный вариант (драфт) проекта новостной истории. После этого история проходит через руки редакторов, вносящих изменения в текст до тех пор, пока в окончательном виде его не прочитает или не опубликует Аниматор.

Белл отмечает, что каждая роль в новостном процессе осуществляется в особом речевом событии, а всякий прежний вариант текста встраивается в последующий. Журналист со своими целями и нормами взаимодействия, подготавливая текст, передает его редактору – жертве своих профессиональных обстоятельств. Это только кажется, что журналист – единственный автор новостного репортажа, создающий его синтаксическую и дискурсивную форму. На самом деле он компилирует из многочисленных источников: интервью, матералов пресс-конференций, пресс-релизов, отчетов, предыдущих сообщений на ту же тему. Фрагменты этих текстов появляются в репортаже в виде цитат или аудио-видеоклипов. Роль Редактора состоит в редактировании, т.е. преобразовании начального текста в другой, отличный по форме, но сходный по содержанию. Редакторские изменения касаются удаления избыточной информации, лексических замен, синтаксических изменений и т.д. В результате зритель слышит новостную историю, наполненную текстуальными наслоениями, но при этом неспособен докопаться до ее первоисточника.

Однако эта «слоистость» характерна не только для новостей; она свойственна и повседневному общению. М. Бахтин настаивал на том, что многие наши разговоры наполнены словами, приходящими к нам из уст других людей, а большинство услышанных историй подвергается существенному редактированию: «Наша речь во всех областях жизни и идеологического творчества переполнена чужими словами, переданными со всеми разнообразными степенями точности и беспристрастия» [1. С. 91]. Роль редакторов приложима к анализу языковых событий всех типов, включая Интернет-тексты.

Говорящим в речевой ситуации требуется адресат – второе и третье лицо местоименной парадигмы. «На мой взгляд, – отмечает Белл, – социолингвистику от лингвистики отличает изначальный интерес к слушателю, аудито-

рии. Теоретическая лингвистика не оставляет место слушателям. По существу, идеалом говорящего / слушающего для Хомского выступает исключительно говорящий. Он / она никогда не слушают» [6. С. 109]. Ранее отмечалось, что Хаймс отделил адресатов от большого количества «ложных» слушателей. Гофман предложил еще более подробную дифференциацию категории «Слушатель / Аудитория». Он полагает, что в любой речевой ситуации существует два вида участников: санкционированные и несанкционированные. Одни имеют свое законное социальное место в разговоре, а другие его лишены. Санкционированные участники – это члены аудитории, которым прямо адресован речевой акт, на кого смотрит говорящий и ожидает ответных реакций. Такого человека (или людей) можно назвать Адресатом, вторым лицом – «ты» или «вы». В диалоге роль второго лица очень важна, поскольку в зависимости от адресата говорящие изменяют как форму, так и содержание речи. Манера речи отправителя определяется «дизайном реципиента», т.е. знаниями и оценкой социальных характеристик адресата.

Однако разговор предполагает участие множества людей. Третьи лица также могут быть санкционированные и несанкционированные. Санкционированные третьи лица физически присутствуют во время речевого события, но прямого обращения к себе не предусматривают. Например, дети, сидящие за обеденным столом, или слуги, подающие еду во время разговора хозяев дома. Если разговор не двусторонний, а включает целый круг официальных лиц, то говорящий может либо обращаться ко всем, удостаивая взглядом каждого, либо визуально сосредоточивается на единственном слушателе, оставляя без внимания остальных.

Несанкционированных третьих лиц Гофман называет Свидетелями (Bystanders), подразделяемыми на Подслушивающих (Overhearers) и Соглядатаев (Eavesdroppers). Про Подслушивающих говорящему известно, что их появление на визуальном или звуковом горизонте возможно, но обращение к ним не предусмотрено. Обычно такие люди случайно становятся участниками разговора. Не желая того, они могут вмешаться в разговор, услышав его фрагмент, но при этом, как правило, дают о себе знать и извиняются, отказываясь подслушивать дальше. При этом не исключено, что такие свидетели станут санкционированными, продолжив участие в разговоре. Соглядатаи – это шпионы, о которых говорящему ничего не известно. Они занимаются тайным наблюдением, записывая разговор, или же злонамернно подслушивают, скрываясь за занавеской.

Специфическая комбинация всех этих ролей и отношений в течение высказывания, по терминологии Гофмана, называется «каркасом участия» (participation framework) конкретного момента разговора. По большей части эти роли аудитории назначаются говорящим, а физическое месторасположение, телесная ориентация или направление взгляда определяют «кто есть кто» в разговоре. Зачастую физическая дистанция между говорящим и слушающим совпадает с их ролевой дистанцией: Адресат расположен физически ближе, а Соглядатай – дальше. Жесты или изменение тона голоса также имеют большое значение при назначении адресата.

В двуязычном сообществе выбранный язык может безошибочно номинировать адресата в разговоре, а языковое перключение способно изменить ста-

тус участников беседы. Сьюзан Гал описывала ситуацию в Оберварте (Австрия), когда двое молодых людей вели шутливый разговор на немецком в присутствии пожилой мамы. В какой-то момент беседы один из них, обращаясь к маме, переключился на венгерский, чтобы о чем-то ее спросить. Пожилая женщина была Слушателем, когда разговор шел на немецком, и превратилась в Адресата, когда выбрали венгерский [8. С. 121]. На языковой выбор говорящего может повлиять не только адресат, но и Подслушивающий. Джон Гамперц обнаружил довольно строгое правило в двуязычном немецко-словенском сообществе на юго-западе Австрии: существует жесткий запрет на разговор по-словенски в смешанной компании. Туристы неделями могут жить в деревне, не подозревая, что в ней говорят еще на каком-то языке, кроме немецкого [10. С. 47]. А С. Гал и Нэнси Дориан открыли идентичную ориентацию двуязычных сообществ с противоположными результатами. В Оберварте, в гостинице, группа билингвов переключалась с немецкого на венгерский, когда их просили об этом свидетели за соседним столиком, совершенно спокойно. Однако в Восточном Сазерленде (Великобритания) группа билингвов в баре от подобной просьбы перейти с гаэльского на английский отказывалась наотрез.

Аудитория является наиболее важным компонентом массовой коммуникации. Оригинальность подхода Гофмана состоит в том, что физическое присутствие в речевой ситуации не обязательно делает участника частью аудитории, а физическое отсутствие не исключает его полноправного участия в ней. Как отмечает А. Белл, в контексте массовой коммуникации аудитория не только обособлена от отправителя, но и сами ее представители изолированы друг от друга. Причем коммуникатора и аудиторию разделяет как пространство, так и время. В телевизионном вещании, например, большинство контента транслируется не вживую, а в записи. Кроме того, представление о составе своей аудитории у создателей массового продукта весьма расплывчато. В масс-медийных ситуациях каждый человек может оказаться Подслушивающим. К примеру, во время телевизионного интервью у нас имеется аудитория, физически присутствующая: интервьюируемый (адресат), продюсеры, техники, операторы, возможно, зрители в студии (утвержденные реципиенты). Однако наряду с ней подключена и внешняя массовая аудитория, отделенная от речевого события пространством и временем.

Дискуссия

Несомненно, что все три формы лица местоименной парадигмы в классической лингвистике являются онтогенетическими прототипами социальных ролей. Хотя и существуют языки, обходящиеся без третьего лица (например, ряд австралийских языков), все же в большинстве из них сохраняется неизменная триада: «говорящий», «адресат» и «другой». В связи с этим лингвист-антрополог Вильям Хэнкс задается любопытными вопросами: если выделение традиционных ролей говорящего и слушающего упрощает модель речевого события (как утверждает Гофман и его последователи), то почему в этом случае естественные языки имеют столь примитивные местоименные парадигмы? Если Гофман потребовал «декомпозиции» ролевой системы участия, то почему бы не осуществить ее и относительно местоимений первого и вто-

рого лица? Отчего языки лишены более «точных» форм различения ролевых отношений помимо «я» и «ты»? Исследователь отмечает: «Понятно, что язык предоставляет синтаксические средства для их обозначения, но почему не совершается их лексикализация?» [11. С. 165]. Как объяснить безразличие языков к расширению и детализации ролевой системы участников речевого события?

Первое возможное объяснение связано с тем, что местоимения универсальным образом демонстрируют семантику, основанную на диалогической ситуации речевого высказывания. Таким образом, «говорящий» и «слушающий» исчерпывают роли участников, а третье лицо таковым не является. Как известно, Э. Бенвенист утверждал, что «говорящий» субъект формируется дейктической областью самого процесса говорения. Несмотря на то, что язык без выражения лица вообразить невозможно, не все местоимения грамматической парадигмы имеют его свойства. Арабские грамматисты называли форму третьего лица «отсутствующим лицом»: «Он (или она) может служить формой обращения к кому-то присутствующему, когда его хотят исключить из личной сферы «ты» [2. С. 265]. При выражении почтения третье лицо выступает формой вежливости, возвышающей собеседника над уровнем лица, а может выражать презрение, унижающее его как лицо. Важно, что «перевод единственного числа во множественное в личных местоименях не является простой плюрализацией» [2. С. 266].

Множественные формы первого и второго лица на самом деле таковыми не являются, а превращаются в «расширенные» лица, присоединяющие некоторое возможное внеличное Другое («не-я» или «не-ты»). Только «не-лицо, расширенное и не ограниченное в своем выражении, обозначает неограниченную совокупность наличных существ» [2. С. 269]. Таким образом, если «я» и «ты» определяют дейктическую область в момент выполнения речевого акта, устанавливая социальные отношения, то в этом случае эта область предполагает расширение и проскальзывание в нее многообразных ролей участия, возникающее за счет совмещения альтернативных дейктических сфер и текущего прагматического контекста, то есть смешения и несовпадения дейктических категорий с контекстом взаимодействия.

Второе объяснение связано с тем, что диаду первого и второго лица можно обнаружить в двусторонней природе системы взятия репликого шага, которая универсальна для неформального разговора. Для двусторонней системы не имеет значения число возможных участников речевого события и их роли. В этой связи важно отметить, что, несмотря на то, что грамматикализация ролей свойственна большинству языков, грамматическая актуализация роли участника события не обязательно кодируется одними местоимениями. Роли могут быть обозначены как в морфологии глагола, так и в вокативных формах. К примеру, среди некоторых национальностей Индии принято при обращении к вышестоящему использовать глаголы и местоимения во множественном числе. В японском, баскском языках при близких отношениях говорящего к адресату к глаголу добавляется дополнительный морфологический признак, произносимый в конце глагола.

Нужно отметить, что проблема грамматикализации многообразия ролей участников в различных языках достаточно сложна. Кроме того, между множествами категорий лица и ролей участия существуют пересечения: одни

способны «проникать» в другие. Например, известен случай, когда прагматические формы второго лица используются для референтов, не являющихся участниками события; формы третьего лица или первого лица используются для субъекта, находящегося в роли адресата (снисходительное «мы»). В русском языке есть «Ваш покорный слуга», а в персидском существует обозначение для говорящего «джанэб» – «эта сторона», его произносит человек, называя себя, при обращении к вышестоящему.

Роль участника может кодироваться косвенным образом во временном, пространствнном и социальном дейксисе. Левинсон полагает, что в различных частях грамматики возможно обнаружить все виды ролей, о которых говорил Гофман. Например, в области социального дейксиса, где отношения участников по отношению к происходящему речевому событию закодированы в лингвистических формах. Наиболее типичным образом это проявляется в кодировке социального статуса говорящего по отношению к адресату или говорящего по отношению к третьему лицу. Существуют почтительные обращения, указывающие на другие виды ролей участников.

Антрополог Джудит Ирвайн, ученица Д. Хаймса, работавшая в 70-е гг. в Сенегале и изучавшая народ волоф, полагает, что декомпозицию ролей участников можно производить до бесконечности. Всегда существует возможность помыслить более сложную модель конфигурации участников, поскольку в любой момент найдутся варианты участия, которые не предусмотрены той или иной моделью. Встречаясь с такими случаями, исследователь будет вынужден постоянно искать новые классификации. Ирвайн утверждает: «Мне думается, что существует опасность, связанная с подходами к декомпозиции ролей участников; если роли фрагментируется, то они не перестают восприниматься как изначальные, универсальные, а их число признается конечным» [12. С. 135]. В этом случае такие модели, оторванные от контекста, будут отличаться от классической диады «говорящего – слушающего» лишь количественно.

Проблема ролей участия тесно связана с контекстом, коммуникативным актом, который «соотносится с другими актами, включая прошлые, будущие, гипотетические, сознательно избегаемые и т.д., и эти отношения – пересекающиеся фреймы, которые, если хотите, наполняют информацией структуру участия в каждый данный момент» [12. С. 135]. Другими словами, различение ролей предполагает диахроническую контекстуализацию, о которой говорили Бахтин и Волошинов, обсуждая проблему «голоса» и авторства. Возникнув из рассмотрения специфики повествования и речи в романе, понятие «многоголосия» связано с такими формами дискурса, которые невозможно просто приписать индивидуальному акту Говорящего или Автора.

Нужно отметить тот факт, что рассматриваемые теории Хаймса, Гофмана и даже Белла возникли в эпоху, предшествующую современной IT-революции. Интернет-коммуникация еще более усложняет систему ролевого взаимодействия ее участников и проблематизирует ряд категорий, описывающих общение «лицом-к-лицу». Специфические черты онлайн взаимодействия, связанные с асинхроничностью и публичной природой сообщений, оказывают существенное влияние на «каркас участия». В целом ряде случаев в процессе онлайн полилога становится затруднительным определить единый

круг участников речевого события, поскольку не существует какой-либо фиксированной группы или коллективного фокуса. Каждый участник в любую минуту может присоединиться или покинуть разговор. Асинхроничность компьютерной коммуникации не позволяет рассматривать взаимодействия в рамках единого временного фрейма. К примеру, вторая часть смежной пары в разговоре может быть произведена спустя неделю после первой. Состояние речевого события становится открытым, и разговор может постоянно возобновляться.

В компьютерной коммуникации очень часто возможно идентифицировать только Аниматора, но не Автора. Например, довольно трудно определить автора, посылающего сообщение в новостную группу. При этом управление процессом обмена сообщениями значительно усложняется, ибо отвечающий на сообщение не может быть полностью уверен, что его реципиент – это ожидающий получить от него ответ. По этой причине авторы иногда указывают в сообщении способы связи с ними помимо новостной группы.

Особенно проблематичным в свете интернет-опосредованной коммуникации выглядит гофмановское разделение участников на санкционированных и несанкционированных. Такая ролевая категоризация перестает соответствовать речевому событию онлайн. Особенно сомнительным выглядит понятие «санкционированного участника» по причине асинхронности компьютерного общения. Ведь посланное сообщение может быть прочитано в любой момент каждым человеком, подключенным к Интернету. Другими словами, невозможно знать состав участников события в каждый данный момент времени, поскольку группа постоянно видоизменяется.

В контексте сетевого общения каждый становится потенциальным Соглядатаем – нератифицированным и безадресным ноунеймом. Для Гофмана данная категория явно содержит негативные моральные коннотации. Однако в ситуации компьютерного общения роль человека, читающего чужие сообщения и не оставляющего каких-либо следов своего присутствия, становится вполне легитимной. Такая роль – всего лишь знак низкого уровня вовлеченности в процесс общения. Соглядатай фактически превращается в «санкционированного» участника речевой ситуации. И действительно, когда автор посылает сообщение, то прекрасно знает о существовании соглядатаев и вынужден включать их в состав своих реципиентов. Этот случай не предусмотрен моделью Гофмана: X знает, что Y – получатель его сообщения, но он не способен его видеть и не знает, кто он (Y – Соглядатай). Исходя из этого роль Соглядатая в онлайн общении выглядит пардоксальной. В результате сама оппозиция между санкционированными участниками и свидетелями, теряя свой смысл, перестает соответствовать новым формам онлайн-коммуникации.

Выводы

В настоящее время отмечается весьма низкий уровень теоретической разработанности проблемы участников речевого события, что во многом отражает современный уровень понимания данного вопроса. Мы имеем, с одной стороны, достаточно упрощенный подход к индексальным выражениям, связанным с некоторыми аспектами пространственного, временного и персонального дейксиса, а, с другой стороны, не систематизированное мно-

гообразие лингвистических и социальных форм речевого взаимодействия, реализуемых в современных коммуникативных практиках. Тем не менее более развитая система категорий для описания ролей участников речевых событий может быть крайне полезна для точного описания дейктических категорий.

Поскольку персональный дейксис лежит в основе всех дейктических систем естественных языков, то категория «роли участников» является фундаментальной для понимания контекста значения. В связи с этим необходимо провести как можно большее число различений в сфере персонального дейксиса. Это следует сделать хотя бы для того, чтобы избежать довольно часто встречающегося в лингвистической и философской литературе смешения категорий «адресат» и «слушатель», «говорящий» и «автор высказывания», «реципиент» и «целевая аудитория» и т.д. Кроме того, более подробная конкретизация ролей станет важным компонентом для компаративного анализа речевых событий в различных обществах и культурах.

Необходимо отметить и тот факт, что при анализе вербального взаимодействия, несомненно, существует уклон в изучение диалогического взаимодействия. Тем не менее во всех обществах существует полилог, испытывающий явный дефицит исследовательских техник. Современные формы компьютерно-опосредованной коммуникации показывают необходимость развивать независимую прагматическую структуру возможных ролей участников, содержащую значительно большую разновидность социально-дейктической информации. Несмотря на важность таксономий Хаймса и Гофмана, значение которых трудно переоценить, следует признать их ограниченность в отношении исследования широко распространенных в настоящее время многообразных форм сетевой коммуникации.

Литература

1. *Бахтин М.* Слово в романе // М.М. Бахтин: собр. соч. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012.

2. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

3. *Гофман И.* Анализ фреймов. М.: Институт социологии РАН, 2004.

4. *Хаймс Д.Х.* Этнография речи // Новое в лингвистике. Вып. VII: Социолингвистика. М.: Прогресс, 1975.

5. *Bell A.* Language style as audience design // Language in Society. 1984. No 13. P. 145–204.

6. *Bell A.* Style in dialoge: Bakhtin and sociolinguistic theory. Sociolinguistic variation: Thoeries, Methods, and Applications. Cambridge Univ. Press, 2007.

7. *Bourdie P.* Language and Symbolic Power. Cambridge UK: Polity Press, 1981.

8. *Gal S.* Language Shift: Sicial Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria. New York: Academic Press, 1979.

9. *Goffman E.* Forms of Talk. Philadelphia; Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1981/1983.

10. *Gumperz J.* Discourse strategies. Cambridge: Cambrdge University Press, 1982.

11. *Hanks W. F.* Exorcism and the description of participant roles. *Natural Histories of Discourse*. Chicago, Illinois: The University of Chicago, 1996. P. 131–159.

12. *Irvine J.* Shadow conversations: The indeterminacy of participant roles. Natural Histories of Discourse. Chicago, Illinois: The University of Chicago, 1996. P. 131–159.

13. *Levinson S. C.* Putting linguistics on a proper footing: Explorations in Goffman's concepts of participation. Erving Goffman. Exploring the Interaction Order. Boston, Massachusetts: Northeastern University Press. 1988. P. 161–227.

Evgenij A. Naiman. Tomsk State University, Tomsk Scientific Center SB RAS (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: enyman17@rambler.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/13

THE PROBLEM OF PARTICIPANTS IN A SPEECH EVENT IN MODERN PRAGMATICS

Key words: pragmatics, speech event, participants, deixis, computer-mediated communication.

Perhaps one of the most fundamental problem of contemporary pragmatics is that of the participants in a speech events. Nevertheless this problem, its significance and interpretation, has so far been practically ignored in Russian linguistics. The purpose of this paper is to present the modern discussion field to this problem. The first part of the paper offers an summary of the problem as it stands today. I attempt to summarize the conception of participation from D. Hymes and E. Goffman to A. Bell. Wherein Goffman's concepton is more extensive than Hymes's and Bell's and the importance of it can hardly be overestimated. In the article is analyzed a three main approaches to the problem: ethnographic, sociological and sociolinguistic. The second part focuses on the limitations of the theories that illustrates by a review of the most important critical papers involving this problem. The critical direction is presented by S. Levinson, J. Irvine and W. Hanks. Emphasis is on the discussion of decomposition of participants roles and relationship between participant roles and person forms. The paper also asserts that the phenomenon of computer's communication is very difficult to explain on this thories. The theory becomes untenable when applied to account for polyloge on Internet. For examples, the Goffman's concepts of Eavesdropper and «unratified perticipant» are inadequate for explanation many forms of computer-mediated communication.

References

1. Bakhtin, M. (2012) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 3. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.

2. Benveniste, E. (1974) *Obshchaya lingvistika* [General Linguistics]. Tranlsated from French. Moscow: Progress.

3. Gofman, I. (2004) *Analiz freymov* [The analysis of frames]. Moscow: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences.

4. Hymes, D.H. (1975) Etnografiya rechi [Ethnography of speech]. In: Chemodanov, N.S. (ed.) *Novoe v lingvistike. Vyp. VII: Sotsiolingvistika* [New in linguistics. Issue. VII: Sociolinguistics]. Moscow: Progress.

5. Bell, A. (1984) Language style as audience design. *Language in Society*. 13. pp. 145–204.

6. Bell, A. (2007) Style in dialoge: Bakhtin and sociolinguistic theory. In: Bayley, R. (ed.) *Sociolinguistic variation: Theories, Methods, and Applications*. Cambridge University Press.

7. Bourdie, P. (1981) *Language and Symbolic Power*. Cambridge UK: Polity Press.

8. Gal, S. (1979) *Language Shift: Sicial Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria*. New York: Academic Press.

9. Goffman, E. (1981/1983) *Forms of Talk*. Philadelphia; Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

10. Gumperz, J. (1982) *Discourse strategies*. Cambridge: Cambrdge University Press.

11. Hanks, W.F. (1996) Exorcism and the description of participant roles. In: Silverstein, M. & Urban, G. (eds) *Natural Histories of Discourse*. Chicago, Illinois: The University of Chicago. pp. 131–159.

12. Irvine, J. (1996) Shadow conversations: The indeterminacy of participant roles. In: Silverstein, M. & Urban, G. (eds) *Natural Histories of Discourse*. Chicago, Illinois: The University of Chicago. pp. 131–159.

13. Levinson, S.C. (1988) Putting linguistics on a proper footing: Explorations in Goffman's concepts of participation. In Drew, P. & Wootton, A.J. *Exploring the Interaction Order*. Boston, Massachusetts: Northeastern University Press. pp. 161–227.

УДК: 168+004; 001.1
DOI: 10.17223/1998863X/40/14

А.Ф. Яковлева

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ (ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)[1]

Представлен социально-философский анализ процесса трансформации научно-исследовательской деятельности на современном этапе в аспекте того, как трансформирующаяся сегодня социальная роль науки меняет нормы научной деятельности, научного творчества, его характер и структуру. Работа носит междисциплинарный характер и включает в себя элементы методологии философии науки, эпистемологии и социальной и политической философии.
Ключевые слова: *наука, этос, творчество, отчуждение, нормы научной деятельности, общество знания.*

В области развития науки и технологий сегодня происходят настолько значительные трансформации, что они требуют постоянного осмысления в контексте идей о том, что наука есть «социальный продукт», а общество – продукт науки [1. С. 605]. Мы говорим здесь не только о науке XXI в., а соглашаемся с позицией Э. Агацци, что будем «квалифицировать в качестве “современной” ту науку, которая начала формироваться в последние десятилетия XIX в. и продолжает развиваться до сих пор» [2. С. 13]. В условиях постоянного реформирования современной науки в России и в мире в целом, очень важно вовремя выявлять тенденции и опасности происходящих изменений. Это касается как науки в целом, так и более общей проблемы научного творчества, сохранения его сути и задач.

Как пишет Эвандро Агацци, научная деятельность, «как и всякая человеческая деятельность, предполагает личные и коллективные мотивы; она служит определенным целям, так же, как и более или менее законным интересам; она зависит от разного рода обусловленностей, она подвержена нравственным и политическим соображениям… Однако если мы рассматриваем науку как систему объективного знания, мы должны признать, что она является и должна быть нейтральной по отношению ко всем этим элементам» [1. С. 606].

Круг обсуждаемых в данной статье проблем, с одной стороны, имеет прямое отношение к вопросам объективности в науке в связи со спецификой интеллектуальной деятельности, в том числе в контексте «дискуссии реалистов и антиреалистов о степени влияния социальных факторов на науку, спровоцированной распространением социально-конструкционистских и постмодернистских идей в области исследований научного знания» [3. С. 61]. На фоне того, что идет бурное развитие науки и технологий, вопросы, связанные с ролью научного сообщества и науки в обществе, с социальной ро-

[1] Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-03-00742 «Влияние социальной роли науки на нормы научной деятельности».

лью науки и ее собственным состоянием в контексте собственного развития, становятся все актуальнее. За счет развития ее социальной функции наука все больше адаптируется к потребностям и требованиям социума, что имеет свои негативные последствия, связанные с выработкой приоритетов, финансирования, всесторонней оценки научной деятельности.

Поэтому этот вопрос имеет прямое отношение к выработке механизмов и способов формирования и реализации государственной политики в научно-технологической сфере на современном этапе, который характеризуется формулированием новых технологических приоритетов в форме больших вызовов. Это определяет и потребность в разработке модели экспертного сопровождения научно-технической политики, которая регулируется утвержденной 1 декабря 2016 г. Указом Президента Российской Федерации Стратегией научно-технологического развития РФ, определившей основные принципы и направления государственной политики в области научно-технологического развития. И научному сообществу, и власти, и обществу понятно, что существуют явная нехватка узкоспециальных подходов и знаний и проблематичность их интеграции применительно к тем или иным практическим проблемам в отношении управления наукой, научного менеджмента.

Интеллект, труд, деятельность

Для целостного анализа феномена научной деятельности как формы интеллектуального труда на современном этапе целесообразно обратиться к понятию деятельности и деятельностному подходу.

По определению А.П. Огурцова и Э.Г. Юдина, деятельность – «специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование» [4. Т. 1. С. 633]. Высшие когнитивные способности, согласно психологической теории деятельности, в частности мышление, рождаются из практической, преобразовательной деятельности [5]. Еще со времен Античности интеллектуальная деятельность, основной качественной характеристикой которой была свобода, а не польза и необходимость, ценилась как наиболее важная для развития общества. Не имеющая конкретной пользы, необходимости деятельность являла собой своего рода «цель в себе», а чем выше была степень полезности труда, тем скорее этот вид труда мог быть отнесен к тяжелому, изнурительному, рабскому. Свободный гражданин полиса, писал Аристотель, «склонен владеть прекрасными и невыгодными вещами, а не выгодными и для чего-нибудь полезными, так как самодостаточному первое более свойственно» [6. Т. 4. С. 629–630]. Центральным предметом философского интереса деятельность стала в немецкой традиции – в форме познавательной деятельности (Кант), деятельности как самотворчества и творчества окружающего мира (Фихте, Шеллинг), как основы всего бытия (гегелевская схема *«цель – средство – результат»*). Идея деятельности была сформулирована как фундамент любого изменения, когда активность, направленная на преобразование внешнего объекта, преобразует и самого субъекта, т.е. саморазвитие личности происходит через предметную деятельность. У Маркса эта

идея используется для описания исторической реальности, в которой существуют конкретные индивиды.

В советской философии разработка теории деятельности получает особое развитие. С.Л. Рубинштейн добавляет к схеме Гегеля несколько элементов, в том числе *оценку и социальную ситуацию.* Он отмечает, что «там, где оценка становится самостоятельной целью субъекта, к которой он идет, как бы минуя цель самого действия, где установка на оценку перемещает цель, в деятельности наступают те или иные нарушения и наклонения» [7. С. 624]. По словам Рубинштейна, влияние установки на оценку, действующую как мотив и подменяющую цель действий, возникает, во-первых, при неправильной личностной ориентации, неправильном «отношении к делу», во-вторых, в зависимости от «характера отношения между действующим субъектом и оценивающим его окружением» [7. С. 625].

Таким образом, мы видим, что для современной ситуации в науке характерны те аспекты, на которые обращают внимание советские философы и психологи: оценка без учета цели деятельности, в условиях определенной социальной ситуации, может серьезно изменить характер этой деятельности и ее направленность.

Э.Г. Юдин вводит два критерия или два вида связи между элементами, а именно связи порождения и связи регулировки, управления и корректировки, и получает схему средств научной деятельности. Для целей анализа продуктов интеллектуального труда, в частности знания, такая схема, как представляется, оказывается более продуктивной, формируя социокультурный срез деятельности. Акцент на средствах позволяет представить объективное содержание деятельности и рассматривать его эволюцию «до определенного момента… при отвлечении от индивида, от присущих ему особенностей действования, личностных характеристик и т.д.» [8. С. 301]. В то же время «как только мы переходим к рассмотрению того, как совершилось некоторое конкретное изменение в системе научных знаний, эта абстракция оказывается недостаточной и становится необходимой апелляция к индивиду, несущему, реализующему и развивающему знание» [8. С. 301]. При конкретизации средства научной деятельности, характерные для некоторой эпохи, и те, которые использует живущий в это время ученый, совпадая по типу и форме, всегда будут различаться по содержанию – индивидуальный уровень будет богаче и многообразнее. «Факт такого несоответствия и является общим условием возможности творческого акта», – заключает Юдин [8. С. 301].

Последние годы в научных дискуссиях получила новую актуальность проблема предметной деятельности, в связи с наследием Маркса и переосмыслением разрабатываемого в советской философии деятельностного подхода. «Деятельность», понимаемая как функция человека, индивидуального субъекта, наделенного сознанием, который имеет в сознании цель и осуществляет ее реализацию в материале, стала все больше пониматься в коллективном смысле как общественная определенность. И именно этот фактор оказывается решающим при переходе к новому пониманию деятельности [9. С. 94–95]. По мнению В.А. Лекторского, деятельностный подход нуждается в новом осмыслении, «существуют два варианта его дальнейшего развития: либо его нужно чем-то дополнить для осмысления современных фактов в науках о

человеке, либо расширить и в чём-то изменить его понимание» [10. С. 25]. В недавно опубликованной его беседе с Ласло Гараи В.А. Лекторский отмечает важную для нас в данном случае проблему соотношения деятельности с коммуникацией и этикой: «С.Л. Рубинштейн писал об общей схеме деятельности, он подчёркивал, что этический поступок – важнейшая форма деятельности. Но ведь ясно, что понять поступок в рамках той схемы, о которой я говорил, затруднительно. Можно выделить мотив поступка, но анализ его целей, задач, действий и операций вряд ли может помочь его пониманию» [10. С. 26].

Этот момент необходимо учитывать при организации оценивания эффективности интеллектуального труда, в частности, как нам представляется, делая оценку зависимой от содержания результатов, а не только от формальных критериев, следование которым, особенно в случае творческого труда, может привести к указанной подмене цели деятельности оценкой. Изменения в социальной роли науки непосредственно связаны с проблемой *отчуждения научного труда*. По Марксу, отчуждение труда представляет собой превращение труда в деятельность, противостоящую самой себе, в процессе которой человек не утверждает, а отрицает самого себя, его родовая сущность превращается в чуждую ему сущность, лишь в «средство для поддержания его индивидуального существования». В чем выражается отчуждение интеллектуального труда в настоящее время? Представляется, что ситуация отчуждения создается, когда несколько сочетающихся факторов, специфичных для научной деятельности, таких как намерения, идеи, интересы, условия и др., связанные сетью обратных связей, начинают существовать раздельно, поэтому необходимо “обеспечить, чтобы эффект этого сложного взаимодействия… не разрушил его “определяющих характеристик”, поскольку это означало бы уничтожение науки в собственном смысле» [1. С. 601]. Это происходит, когда из этой схемы выводится этическая составляющая.

Знание, технологии, этос

Итак, требование встраивания в систему целеполагания деятельности коммуникации и этики позволяет ставить ряд вопросов и относительно специфики современной научной деятельности. В отличие от классической науки спецификой научной деятельности сегодня является возрастающая ориентация на применение научного знания для совершенствования технологий с поправкой на восприятие науки обществом. В то же время и сами «общества знания» претерпевают изменения социальной сферы из-за превращения знаний в среду обитания человека. Социальная роль науки возрастает и меняет, таким образом, не только окружающий мир, общество, но и саму науку. О ярко выраженном социальном характере современного научного познания свидетельствует не только социальная организация науки, но и различные проявления социальности, такие как конкуренция различных научно-исследовательских программ, теорий, научных школ, идущая между ними непрерывная борьба за приоритеты, научное лидерство, профессиональное и общественное признание, финансирование, инвестиционную привлекательность и т.д. Наука все больше теряет принцип всеобщности (всеобщей дос-

тупности) научного труда и его результата. Происходит трансформация самих механизмов производства и потребления научных и технических знаний.

В.А. Лекторский в предисловии к русскому изданию книги Э. Агацци «Научная объективность и ее контексты» пишет: «Конечно, наука – это когнитивная деятельность, цель которой <…> получение истинного знания. Главный моральный долг ученого – соответствовать рациональным нормам этой деятельности. Но современная наука, тесно связанная с производством новых технологий, серьезно изменяет жизнь множества людей, и эти изменения могут порождать не только желательные последствия» [1. С. 18].

«Всеобщим является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение», – писал К.Маркс [11. Т. 25. С. 116]. В «Экономических рукописях 1857–1859 гг.» он подчеркивал: «Развитие основного капитала является показателем того, до какой степени всеобщее общественное знание превратилось в *непосредственную производительную силу*, и отсюда – показателем того, до какой степени условия самого общественного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего интеллекта и преобразованы в соответствии с ним; до какой степени общественные производительные силы созданы не только в форме знания, но и как непосредственные органы общественной практики, реального жизненного процесса» [12. Т. 26. С. 215]. Таким образом, всеобщий труд становится таковым, когда общественные процессы этому способствуют.

При невыполнении этого условия под угрозой и нормальное функционирование науки – ее этос и социальные системы норм и требований, которые поддерживаются чувствами, эмоциями тех, к кому он применяется, в данном случае субъектами научной деятельности – учеными. «Непосредственное воздействие этических норм на научное познание является сегодня не прекраснодушным пожеланием, но повседневной реальностью, можно даже сказать – рутиной, с которой приходится иметь дело множеству людей» [13. С. 292], – пишет Б.Г. Юдин, продолжая высказанную им несколько десятилетий назад мысль о том, что «этика науки, выявляя и анализируя нравственное содержание научной деятельности, выступает как одна из форм рационального самопознания науки в ее человеческом и социальном измерении» (цит. по: [14. С. 96–97]).

Впервые проблему научных норм сформулировал в статье «Наука и социальный порядок» (1937) Роберт Мертон, взяв в качестве предмета изучения именно деятельность ученого в социальном институте науки. Основное изложение концепции научного этоса он дал в статье «Нормативная структура науки» (1942) [15–17]. Напомним, что этосом науки Мертон называет комплекс ценностей и норм, разделяемых учеными, выражающихся в форме предписаний, запретов, предпочтений и разрешений на институциональном уровне. Этос науки создается четырьмя множествами институциональных императивов (CUDOS) – универсализмом (Universalism), коммунализмом (Communalism), внезаинтересованностью (Disinterestedness) и организованным скептицизмом (Organized Skepticism), которые регулируют, «по каким правилам действуют люди; какими нормами они руководствуются; какие роли выполняют; чем стимулируются (система ценностей и наград); в какие объективные структуры (стратификации, коммуникации) включены» [18. С. 28].

Нарушение принципа всеобщности, который, как нам представляется, продолжает идею К. Маркса о «всеобщем труде», становится сегодня одной из самых больших проблем, порожденных усилением социальной роли науки и амбивалентного характера этоса науки и взаимоотношений науки и социальной сферы. Этому принципу противоречит установка многих мировых издательств против так называемой «политики открытого доступа», которой сегодня следует все больше журналов, а реализует этот принцип пиратский сайт SCI-HUB, который стал бичом издательств и спасением самих ученых. Концепцию открытого доступа (Open Access) предложила Будапештская инициатива открытого доступа (БИОД): «Под «открытым доступом» мы подразумеваем свободный доступ к ней через публичный Интернет, и право каждого пользователя читать, загружать, копировать, распространять, распечатывать, искать или делать ссылки на полнотекстовые статьи, проводить поиск роботами-индексаторами, вводить их как данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету» [19]. Все научное сообщество в 2016–2017 гг. поразило и то обстоятельство, что германские научные институты практически в полном составе отказались от платных подписок на электронные ресурсы ведущих мировых издательств, считая, что их политика как раз противоречит принципу всеобщей доступности знания, а также коллективно вышли из редколлегий журналов издательства Esevier.

Но мы можем констатировать, что более распространено нарушение сразу нескольких принципов CUDOS, а не следование им. Как только уровень цитируемости или в целом представленности в поле научной коммуникации, частью которого являются всевозможные индексы, начинает детерминировать зарплату ученого, начинаются всякие нелицеприятные вещи типа безудержного самоцитирования, цитирования без какого-либо научного повода студентами и аспирантами работ своего научного руководителя, сговора журналов, отдельных ученых и целых институций по взаимному цитированию, которое никакого отношения, конечно, к науке не имеет. И все-таки ученые относятся к этому самокритично, что демонстрирует набравший огромную популярность ролик на базе сюжета индийского фильма, размещенный на YouTube, посвященный индексу Хирша, главный тезис которого звучал так: «О, радость взаимного цитирования», «давайте процитируем друг друга и затем все вместе процитируем нашего султана» [20]… В то же время ориентация государств на то, чтобы бюджетные затраты на науку (те же подписки на дорогостоящие научные журналы) гарантированно повышали ее цитируемость, ставит науку еще и в «моральную» зависимость от принятия решений. К сожалению, «так или иначе, исследователи, изучавшие науку как социальный институт и как специфическую сферу деятельности, поставили мертоновскому этосу науки диагноз „несовместимости с жизнью“, тем самым вынеся этой концепции „смертный приговор“», – вот какую характеристику критических дискуссий вокруг концепции Мертона дает Е.З. Мирская [21. С. 136–137].

Подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что ориентация науки на «чистую» прибыль, пользу и прикладной результат может привести к тому, что она превратится в деятельность, противостоящую самой себе. Сего-

дняшняя несоразмерность технологического развития и адаптации к этому общества, техники и ответственности, принятия решений и научной этики демонстрирует необходимость выработки общего языка науки и общества, нацеленного на трансдисциплинарное взаимодействие, что «является уже не частнонаучной, а общенаучной или даже методологической проблемой, поскольку предполагает выход на более высокий (по сути дела, философский) уровень. <…> Иными словами, возникает сложная проблема, каким образом наука может эффективно взаимодействовать с общественностью, что становится жизненно необходимым в современном обществе» [22. С. 11]. Широкое обсуждение «социальных затрат» на науку, чаще всего сводящееся к разговорам о том, что науке дали деньги, а она не дала в определенные сроки требуемого результата, не должно означать, что наука будет оправдываться перед обществом за то, что на нее необходимо тратить деньги. Это очень хорошо иллюстрируют слова Э. Агацци о том, что «если бы всякое научное исследование было целенаправленным, прикладным и даже ориентированным на “полезные” цели, мы всерьез рисковали бы осудить науку на смерть» [1. С. 606].

Литература

1. *Агацци Э.* Научная объективность и ее контексты / пер. с англ. Д.Г. Лахути; под ред. и с предисл. *В.А. Лекторского*. М., 2017. 688 с.

2. *Агацци Э.* Истина как путь к реализму // Философия науки и техники. 2016. Т. 21, № 2. С. 9–33.

3. *Труфанова Е.О.* Ускользающая реальность и социальные конструкции // Философия науки и техники. 2016. Т. 21, № 1. С. 61–77.

4. *Деятельность* // Новая философская энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 633.

5. *Леонтьев А.Н.* Опыт экспериментального исследования мышления // *А.Н.Леонтьев.* Избр. психологические произведения: в 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 72–78.

6. *Аристотель.* Политика: соч. в 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 376–644.

7. *Рубинштейн Л.С.* Проблемы общей психологии. СПб., 2002. 720 с.

8. *Юдин Э.Г.* Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997. 444 с.

9. *Боровских А.В., Розов Н.Х.* Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 90–102.

10. *О теориях* деятельности: диалог о том, чем они богаты и чего в них недостает. Беседа В.А. Лекторского и Л. Гараи // Вопросы философии. 2015. № 2. С. 25–37.

11. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 25. Ч. I. М.: Политиздат, 1961.

12. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 26. Ч. II. М.: Политиздат, 1962.

13. *Юдин Б.Г.* Человеческие ориентиры науки в обществе знания // Человек в мире знания. К 80-летию Владислава Александровича Лекторского / под ред. Н.С. Автономовой, Б.И. Пружинина. М., 2012. С. 275–294.

14. *Мелюхин И.С.* Международный конгресс по логике, методологии и философии науки // Вестник РАН. 1988. Т. 5, № 11. С. 93–101.

15. *Merton R.K.* Social theory and social structure. N. Y.: The Free Press, 1968. 702 p.

16. *Merton R.K.* The ambivalence of scientists // R.K. Merton sociological ambivalence and other essays. N. Y.: The Free Press, 1976. P. 32–55.

17. *Merton R.K.* The institutional imperatives of science // Sociology of science. L., 1972. P.65–79.

18. *Мирская Е.З.* Человек в науке: социологические дискуссии XX века // Социология науки и технологий. 2010. № 4. С. 26–44.

19. *Десять* лет с Будапештской инициативой открытого доступа: устанавливая открытость [Электронный ресурс] // Budapest Open Access Initiative. Электрон. дан. URL: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai–10–translations/russian (дата обращения: 10.04.2017).

20. *«Индекс Хирша»* глазами гуманитария [Электронный ресурс] // YouTube: видеохостинг. Электрон. дан. [Б. м.], 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ElCIrYUOI40 (дата обращения: 10.05.2017).

21. *Мирская Е.З.* Этос науки: идеальные регулятивы и повседневные реалии // Этос науки. М., 2008. 544 с.

22. *Конвергенция* биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии. материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 3–23.

Alexandra F. Yakovleva. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)
E-mail: afyakovleva@gmail.com
DOI: 10.17223/1998863X/40/14

SCIENTIFIC ACTIVITY: PROBLEMS OF TRANSFORMATION (ETHICAL AND SOCIAL ASPECTS)

Key words: science, ethos, creativity, alienation, knowledge society

The article presents a socio-philosophical analysis of the transformation process of research activity at the present stage. This process is characterized by two trends: the "knowledge society" changes in the social sphere due to the transformation of knowledge in the human environment and the science is shifting focus toward the application of scientific knowledge in the technologies improvement adjusted on the perception of science by society. The article relying on the activity approach shows how the increased social role of science is changing the norms of scientific activity, scientific creativity, its nature and structure, the challenges faced by the subject of knowledge. The great potential of acitivity approach to the analysis of specificity of scientific activities is illustrated, which can be applied to the analysis of both theoretical and practical problems in the field of science and scientific management development. It is shown that scientific activity which aims at the achievement of objective knowledge and truth is exposed today to the serious test by sociality. Evaluation without regard to the purpose of the activity, in terms of a particular social situation, may seriously alter the nature of this activity and its focus and distort its purpose. The resulting situation is analyzed in which scientific work is alienated when the scientific labour is turned into activity opposing to itself. The situation of alienation is created when several combined factors, specific research activities, such as intentions, ideas, interests, conditions, etc., associated in the network of feedbacks begin to exist separately. Basing on the ideas of K. Marx, R. Merton the need for ethical component in the activities is demonstrated, which also works to preserve the important principle of universality (universal access) of the scientific work and its results. The ambivalent nature of the ethos of science and the relationship between science and the social sphere is demonstrated by discussions around the "open access" policy and the examples of violation of the principle of universality and other principles of the ethos of science (CUDOS) in the scientific community. Thus, it is concluded that the orientation of science toward "pure" profit, benefit, applicaple results and toward its determination as an assessment, not a goal, may lead to the fact that it will turn into an activity, opposing to itself.

Referenses

1. Agazzi, E. (2017) Nauchnaya ob"ektivnost' i ee konteksty [Scientific Objectivity and its Contexts]. Translated from English by D.G. Lakhuti. Moscow: Progress-Traditsiya.

2. Agazzi, E. (2016) Istina kak put' k realizmu [Truth as a path to realism]. *Filosofiya nauki i tekhniki*. 21(2). pp. 9–33.

3. Trufanova, E.O. (2016) Uskol'zayushchaya real'nost' i sotsial'nye konstruktsii [Slipping reality and social constructions]. *Filosofiya nauki i tekhniki*. 21(1). pp. 61–77.

4. Stepin, V.S. (ed.) (2000) *Novaya filosofskaya entsiklopediya* [New Philosophical Encyclopedia]. Vol. 1. Moscow: RAS. pp. 633.

5. Leontiev, A.N. (1983) *Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya: v 2 t.* [Selected Works on Psychology. In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Pedagogika. pp. 72–78.

6. Aristotle. (1984) *Politika: sochieniya v 4 t.* [Politics: In 4 vols]. Vol. 4. Moscow: Mysl'. pp. 376–644.

7. Rubinstein, L.S. (2002) *Problemy obshchey psikhologii* [Problems of general psychology]. St. Petersburg: Pedagogika.

8. Yudin, E.G. (1997) *Metodologiya nauki. Sistemnost'. Deyatel'nost'* [Methodology of science. Systematicity. Activity]. Moscow: Editorial URSS.

9. Borovskikh, A.V. & Rozov, N.Kh. (2012) Kategoriya deyatel'nosti i deyatel'nostnye printsipy v pedagogike [Category of activity and activity principles in pedagogy]. *Voprosy filosofii*. 5. pp. 90–102.

10. Lektorskiy, V.A. & Garai, L. (2015) O teoriyakh deyatel'nosti: dialog o tom, chem oni bogaty i chego v nikh nedostaet [On the theories of activity: a dialogue about what they are rich with and what they lack]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 25–37.

11. Marx, K. & Engels, F. (1961) *Sochineniya* [Works]. Vol. 25(1). Moscow: Politizdat.

12. Marx, K. & Engels, F. (1962) *Sochineniya* [Works]. Vol. 25(2). Moscow: Politizdat.

13. Yudin, B.G. (2012) Chelovecheskie orientiry nauki v obshchestve znaniya [Human reference points of science in the knowledge society]. In: Avtonomova, N.S. & Pruzhinin, B.I. (eds) *Chelovek v mire znaniya. K 80-letiyu Vladislava Aleksandrovicha Lektorskogo* [Man in the world of knowledge. To the 80th anniversary of Vladislav Alexandrovich Lectersky]. Moscow: ROSSPEN. pp. 275–294.

14. Melyukhin, I.S. (1988) Mezhdunarodnyy kongress po logike, metodologii i filosofii nauki [International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science]. *Vestnik RAN*. 5(11). pp. 93–101.

15. Merton, R.K. (1968) *Social theory and social structure*. New York: The Free Press.

16. Merton, R.K. (1976) *Sociological ambivalence and other essays*. New York: The Free Press. pp. 32–55.

17. Merton, R.K. (1972) The institutional imperatives of science. In: Barnes, B. (ed.). *Sociology of Science*. London: Penguin Books. pp. 65–79.

18. Mirskaya, E.Z. (2010) Chelovek v nauke: sotsiologicheskie diskussii XX veka [Man in science: sociological discussions of the twentieth century]. *Sotsiologiya nauki i tekhnologiy*. 4. pp. 26–44.

19. Budapest Open Access Initiative. (n.d.) *Desyat' let s Budapeshtskoy initsiativoy otkrytogo dostupa: ustanavlivaya otkrytost'* [Ten years with the Budapest Open Access Initiative: establishing openness]. [Online] Available from: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai–10–translations/russian. (Accessed: 10th April 2017).

20. Youtube. (n.d.) *"Indeks Khirsha" glazami gumanitariya* [The Hirsch Index through the eyes of a humanities scholar]. [Online] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ElCIrYUOI40. (Accessed: 10th May 2017).

21. Mirskaya, E.Z. (2008) Etos nauki: ideal'nye regulyativy i povsednevnye realii [Ethos of science: ideal regulatives and everyday realities]. In: Kiyashchenko, L.P. & Mirskaya, E.Z. (eds) *Etos nauki* [Ethos of Science]. Moscow: Academia.

22. Kiyashchenko, L.P. (2012) Konvergentsiya biologicheskikh, informatsionnykh, nano- i kognitivnykh tekhnologiy: vyzov filosofii [Convergence of biological, information, nano- and cognitive technologies: a challenge to philosophy]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 3–23.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 1 (091)
DOI: 10.17223/1998863X/40/15

М.Н. Вольф, А.В. Косарев

КОНЦЕПЦИЯ ПРАГМАТИСТСКОГО ПОВОРОТА Р. БЕРНСТАЙНА

Значимое место в позднем творчестве Р. Бернстайна занимает концепция «прагматистского поворота», связанная с коммуникативной рациональностью. Анализируется происхождение этого термина, показывается, что формально происхождение этого словосочетания можно проследить от одной частной дискуссии между Р. Рорти и Ю. Хабермасом по поводу понимания философии Канта, однако актуализировать этот концепт удалось именно Бернстайну.
Ключевые слова: *прагматизм, неопрагматизм, Р. Бернстайн, Р. Рорти, Ю. Хабермас, прагматистский поворот, коммуникативная рациональность.*

Ричарда Джейкоба Бернстайна нередко характеризуют как ключевую фигуру неопрагматизма, как наиболее влиятельного популяризатора этого направления, который, наряду с Рорти и Патнэмом, был ответствен за возрождение американского прагматизма. Творчество Р. Бернстайна, связанное непосредственно с вопросами прагматизма, можно условно разделить на три периода.

Первый период, 60-е гг., посвящен изучению прагматизма, в основном наследий Дж. Дьюи и отчасти Ч.С. Пирса. Второй период, 70–80-е гг., характеризуется общим критическим содержанием написанных в эти годы работ и пониманием места и роли прагматизма среди других, по преимуществу европейских, философских направлений. Третий период, с 90-х гг., характеризуется обращением Бернстайна к более современным прагматистским дискуссиям. Написанные в 2000-е гг. статьи, посвященные тематике прагматизма и неопрагматизма, в переработанном виде вошли в сборник «Прагматистский поворот» [1], который стал своеобразным итогом этого периода. Бернстайн стремится развенчать миф о том, что аналитическая философия является единственной доминантой в американском интеллектуальном пространстве, и показывает, что она не только не уничтожила прагматизм, но скорее способствовала его возрождению в новом облике и трансформации, и что он по-прежнему является одним из наиболее живых философских направлений.

Концепция «прагматистского поворота», вынесенная Бернстайном в заголовок, широко фигурирует в научной литературе с начала 90-х гг. Бернстайн не является автором этой концепции. Вероятно, – во всяком случае, нам не удалось установить другой схемы происхождения данного термина – одно из первых употреблений этого выражения, совершенно проходное и, по-видимому, случайное, принадлежит Р. Рорти и появляется в книге «Филосо-

фия и зеркало природы» [2], однако именно оно, как нам кажется, заложило основания для возникновения понятия.

Контекст, в котором появляется это выражение, следующий. Рорти рассуждает о том, что история современной философии была бы совершенно другой, если бы Кант решился на прагматический поворот. А именно, в истории западной философии рационализм всегда противостоял эмпиризму. Кант определил рационализм как направление, стремящееся свести ощущения к концепциям. Сам Кант, настаивая на невозможности непосредственной доступности познанию внешних объектов, «говорил о внутренних репрезентациях, нежели о предложениях» [2. С. 109]. Тогда как, по мнению Рорти, рационализм следовало бы определить как то, что работает не с объектами, а с суждениями о них, и ищет достоверные суждения о вторичных качествах, т.е. тех, которые в телах представлены иначе, чем в умах [2. С. 108–109]. «К добру ли к худу ли, но Кант не предпринял этого прагматического поворота», – таковы слова Рорти, подытоживающие его видение кантовской позиции [2. С. 110].

Ю. Хабермас, обсуждая указанную концепцию в статье «Прагматический поворот Ричарда Рорти» [3. P. 31–55], проясняет смысл сказанного Рорти следующим образом. В «Зеркале природы» Рорти обрушивается с уничтожающей критикой на менталистскую эпистемологию, согласно которой некоторые ментальные состояния эпистемического субъекта (представления, желания и др.) являются предельным обоснованием для его веры в эти ментальные состояния. Или, как поясняет Хабермас, обладание самосознанием и субъективностью подразумевает, что познающий субъект получает привилегированный доступ к определенным переживаниям, данным ему непосредственно, но при этом таким, которые имеют дело не с самими объектами, а с представлениями о них [3. P. 34]. Классическая эпистемология, начиная с Декарта, говорит о разделении на область внутреннего и внешнего, порождающего дуализм разума (души) и тела, что и ведет к появлению различных менталистских или репрезенталистских направлений. У человека нет непосредственного доступа к самим объектам внешнего мира, вместо этого он имеет дело только с идеями об объектах или интерпретациями объектов, т.е. с копией мира в своих внутренних представлениях, поскольку между миром ума и физическим миром существует непреодолимая пропасть.

Хабермас приводит три парадигмальных допущения, характеризующих классическую эпистемологию:

– мы знаем собственные ментальные состояния лучше, чем что-либо;

– познание имеет место только в режиме представления объектов;

– истинность суждений опирается на доказательства, которые подтверждают их достоверность [3. P. 34–35].

Критикуя эти положения, Рорти обнаруживает три мифа, заключенные в них: миф о данности, миф о мышлении как представлении и миф об истине как достоверности. Дальнейшая критика ментализма у Рорти выливается в такое видение радикализации лингвистического поворота, которое оформляется в форме прагматистского поворота. По мнению Хабермаса, Рорти не устраивает, что лингвистический поворот претендует на смещение отношения «субъект – объект», которое устанавливается классической эпистемоло-

гией, на якобы принципиально иное отношение «предложение – факт», тогда как в действительности такое смещение ничего не изменило в способе нашего познания мира. Лингвистический поворот, не используя все возможности, открытые философией языка, продолжает транслировать старые отношения под новым именем и выполнять функцию зеркала природы. Предложенная Рорти радикализация лингвистического поворота как прагматистского должна заменить двухместные субъект-объектные отношения на трехместные так, как это предлагал сделать Ч.С. Пирс: «Символическое выражение, которое согласуется с действительным положением дел для интерпретирующего сообщества. Объективный мир не является больше чем-то отражаемым, но является просто общей точкой отсчета для процесса коммуникации (*Verständigung*) между членами коммуницирующего сообщества, которые приходят к пониманию друг друга в отношении к чему-либо» [3. P. 35]. Таким образом, знание в рамках прагматистского поворота не является внутренним представлением объекта и не совпадает с взаимно однозначным соответствием эмпирических фактов и предложений, высказывающихся о них. Оно устанавливается в интерсубъективной системе интерпретирующего сообщества, а факты являются частью процесса коммуникации. Подводя итог, Хабермас пишет: «Прагматистский поворот должен был заменить репрезенталистскую модель знания коммуникативной моделью, которая устанавливает успешное межсубъектное взаимопонимание (*Verständigung*) вместо химерической объективности опыта. Однако именно это интерсубъективное измерение, в свою очередь, замкнуто в объективизирующем описании процессов кооперации и коммуникации, которое может быть воспринято как таковое только с точки зрения их участников» [3. P. 52].

Р. Рорти, отвечая Хабермасу, замечает, что после знакомства с ней стал лучше понимать ход своего мышления, и в результате начал думать о лингвистическом повороте как о части более широкого движения от предметно-ориентированной рациональности к коммуникативной [4. P. 56]. При этом Рорти соглашается, что мотивы для одобрения этого движения у Хабермаса совпадают с теми, исходя из которых он сам принял то, что Хабермас называет прагматистским поворотом. Иначе говоря, Рорти подчеркивает, что он не использовал это словосочетание терминологически, но согласен, что Хабермас верно распознал его интенции и не протестует против такого использования слов. Мотивы же Хабермаса, как и свои основания говорить о переходе к коммуникативной рациональности, Рорти приводит следующие:

– желание возвысить общность над объективностью;

– сомнение в том, что «желание истины» отлично от желания обоснования;

– «существование в контакте с реальностью» следует понимать как «существование с человеческим сообществом», причем таким образом, что реалистские интуиции ментализма с характерным для него пониманием познания как зеркала природы и субъект-объектным репрезентализмом полностью исчезнут [4. P. 56].

Разумеется, у Рорти и Хабермаса имеются серьезные расхождения как в понимании коммуникативной рациональности, так и в видении ее конечных целей, что и обсуждается подробно в обеих статьях, но для нас пока сущест-

венны не столько те позиции, по которым эти философы расходятся, сколько понимание того, в чем они согласны относительно «прагматистского поворота». При этом Рорти в итоге склоняется к термину «риторический поворот» [5. С. 14–16], тогда как его последователи и критики охотно используют термин Хабермаса, но именно в значении, близком к «радикализации лингвистического поворота». В частности, так понимает прагматический поворот Е.В. Борисов, когда рассматривает его в качестве одной из общих характеристик для аналитической и герменевтической философий, дающих основания говорить об их типологическом единстве [6. С. 20–22].

В целом, можно наметить две стратегии понимания прагматистского поворота:

1) значимость коммуникативных практик, подразумевающая интерпретирующее сообщество или конкретную концептуальную схему как посредника между агентами классической эпистемологии – предложениями о мире и действительным положением дел (факты, или объекты);

2) общие принципы рассуждения, одинаково свойственные главным философским течениям XX в. – континентальной и аналитической философии.

В третий период своего творчества Р. Бернстайн обсуждает эти генеральные стратегии и решает задачи, которые в связи с ними возникают:

1) демонстрация значимости классических прагматистов для философии и устранение противостояния аналитической и континентальной традиций посредством их прагматистских интерпретаций, которая соответствует второй стратегии;

2) защита прагматизма от смешения с другими «измами».

Ниже мы подробнее остановимся на рассмотрении первой стратегии.

Бернстайн рассматривает влияние классических прагматистов на философию, которое, по его мнению, выражается в стирании противоречий между аналитической и континентальной философией. Обе традиции обсуждают некоторые общие друг для друга, но при этом специфически прагматистские темы, что позволяет представить их не просто как сопоставимые и не противоречащие традиции, а как направления в прагматизме. Среди этих тем Бернстайн называет критику картезианства (Ч.С. Пирс), плюрализм, но такой, который следует отличать от релятивизма (У. Джеймс), вопросы радикальной демократии, образования и социальных реформ (Дж. Дьюи), а также субъект-объектное различение, истинность и внимание к человеческой культуре (характерные для неопрагматистов, в частности Дж. Марголиса; причем эти темы Бернстайн возводит к Гегелю)[1].

Неизбежно может возникнуть вопрос, как представители континентальной и аналитической философии, например Витгенштейн или Хайдеггер, не будучи вовлечены в сами прагматистские дискуссии и в принципе не испытывая интереса к прагматистской философии, могут быть причислены в ряды прагматистов? Бернстайн отвечает: разумеется, когда ставится вопрос о «прагматизме» тех или иных аналитических или континентальных философов, речь не идет о том, что те или иные положения в их философии – это результат прямого влияния на них прагматизма: «Философы, исходя из са-

[1] Все эти темы последовательно рассматриваются в первых четырех главах книги, просматриваются в оглавлении и перечислены во введении к книге: [1. P. IX–XI].

мых разных ориентаций и не подвергаясь прямому влиянию классических прагматистов, высказывали идеи и разрабатывали тезисы, которые не только соответствовали прагматистской ориентации, но и *уточняли* ее философский смысл» [1. P. 14–15].

Иными словами, подход Бернстайна в данном случае сугубо апроприационистский[1]. Он не пытается выстроить такую картину развития событий в философии XX в., которая соответствовала бы привычным критериям историко-философского знания, сохраняя хронологию и исторический контекст, рассматривая отдельные философские доктрины в контексте их принадлежности конкретной философской школе. Согласно классической историко-философской парадигме, если Хайдеггер не принадлежал к прагматистскому направлению, невозможно анализировать его как прагматиста. Апроприационисты, в свою очередь, фактически расширяют контекст принадлежности к школе до контекста современных философских или даже социальных проблем, в противном случае, по их мнению, оказывается невозможным отличить вечные философские проблемы от частных сиюминутных задач. В случае Бернстайна сведение разных представителей различных школ к прагматизму носит характер разъясняющего, но не догматизирующего объяснения для тех процессов, которые идут в философии XX в., а для этого действительно нужно отыскать точки соприкосновения между, казалось бы, принципиально несопоставимыми позициями.

Неоднократно обращаясь к прагматистским темам и уточняя саму эту концепцию, Бернстайн в конце концов формулирует подробный, а скорее, исчерпывающий их список [8]. В нем те принципы, которые можно назвать неопрагматистской программой[2], в целом совпадают с общими интенциями и характерными особенностями риторического поворота [5. С. 20–22].

Р. Бернстайн выделяет пять уточненных тем прагматистского движения. Рассмотрим их подробнее:

1. Анти-фундаментализм.

Эта тема, по мнению Бернстайна, может быть выражена принципом У. Селларса: «Эмпирическое знание, как и его более сложная версия, наука, рационально не потому, что имеет основания, а потому, что является самокорректирующимся предприятием, которое может поставить под удар любые утверждения, хотя и не все сразу» [8]. Видно, что данная тема отвергает претензии объективизма на существование некоторых универсальных, неизменных, предельных оснований, на которых основывается все наше знание. Эта тема фактически расширяет тему критики картезианства, сформулированную в «Прагматистском повороте», и не только науку, но и прагматизм объявляет «само-корректирующимся» предприятием, не нуждающимся в основаниях, что в целом созвучно и пониманию неопрагматизма Дж. Марголисом [10].

---

[1] Подробнее об этом подходе в истории философии см.: [7. С. 228–229].

[2] Среди них: а) не редуктивный и не элиминативный натурализм; б) отказ от дуализма и когнитивных привилегий любого рода; в) признание эволюционной преемственности между животными и человеком; г) отказ от принципиальной разницы между теоретическим и практическим разумом; д) внутренне присущая самой философии неформальность; е) неотделимость факта и ценности; ж) отрицание телеологизма и фиксированных или конечных ценностей; з) историчность любых наших концептуальных различий; и) поток опыта, эмпирический мир как поток; к) неизбежность консенсуальных форм рациональности, т.е. коммуникативной рациональности; л) базовая вера в человеческую свободу, связанную только с его собственным пониманием рационального благоразумия [9. P. 8, 10. С. 5].

Как пишет Бернстайн, «прагматизм начинается с радикальной критики картезианства. Одним движением Пирс стремится уничтожить взаимосвязанные мотивы, которые составляют суть картезианства: онтологический дуализм сознания и тела; субъективный индивидуализм, присутствующий в обращении к непосредственной личной верификации; метод всеобщего сомнения, который должен привести нас к непогрешимым истинам; убеждение в том, что если мы не обнаружим прочные основания для знания, мы не сможем избежать эпистемологического скептицизма; вера в то, что знание о мире состоит из идей, которые его правильно представляют и соответствуют ему; доктрина о том, что неопределенность “нереальна” и что эпистемологическое стремление заключается в том, чтобы ясно и отчетливо знать вполне определенную реальность; и самое главное, мы можем вырваться из языка или систем знаков и обладать непосредственным знанием нелингвистических объектов» [1. P. 19]. В каком-то смысле, все перечисленные положения, с которыми борется Пирс, являются прагматистским изложением доктрины объективизма и фундаментализма, и на любую из них почти у каждого прагматиста после Пирса в том или ином виде мы найдем возражения.

2. Плюрализм.

Обозначенная тема фактически совпадает с заявленной ранее, и там Бернстайн оговаривал, что плюрализм должен пониматься как отличный от релятивизма. Иными словами, если релятивизм настаивает на несоизмеримости концептуальных каркасов, отсутствии универсальных критериев для познания и принципиальном разделении на «нашу» и «их» рациональность, то прагматизм настаивает на наличии некой, условно универсальной, формы рациональности – коммуникативной. А это влечет принятие любой множественности традиций, взглядов, философских ориентаций, и фактически совпадает с философской толерантностью.

Бернстайн пишет: «Мы также должны серьезно относиться к нашей [прагматистской] приверженности плюрализму – даже плюрализму в том, что принято из прагматистского наследия. Такой плюрализм не следует смешивать с тем, что я когда-то называл “вялым” плюрализмом, который ложно полагает, что одно повествование или нарратив так же хорош, как и другой. Это то, что я отрицаю. Плюрализм, который я считаю характерным для живого прагматизма, – это такой плюрализм, в котором мы продолжаем разворачивающийся процесс, будучи узниками, заключенными в аргументе, споре» [11. P. 66].

3. Сообщество исследователей.

Указанная тема подразумевает, что публичная критика является существенным элементом для тестирования и оценки наших утверждений, претендующих на истину, которые должны быть оправданы критическим исследовательским сообществом.

4. Фаллибилизм.

В рамках обозначенной темы прагматисты отказываются от эпистемического скептицизма в пользу фаллибилизма, согласно которому любое обоснованное утверждение может быть оспорено и изменено, в том числе под давлением публичной критики.

5. Радикальная контингентность.

Речь идет о том, что случайность и вероятность, хотя и понимаются в качестве знаков человеческого незнания, однако являются составными частями универсума, а значит, и нашего опыта. В таком случае, следуя Рорти, нужно признать, что истина является пустым понятием, которым исследователи характеризуют работающие гипотезы и идеи, помогающие конструировать реальность и эффективно взаимодействовать с другими людьми[1].

Однако, согласно характеристике Дж. Марголиса, высшей иронией эволюционного прагматизма Пирса, который включает в себя три этапа (в терминах Пирса – это *агапизм*, *синехизм* и *фаллибилизм*[2]*)*, является то, что признание радикальной контингентности исследования (*тихизм* в терминах Пирса) в бесконечно долгосрочной перспективе ведет к конечным инвариантным «привычкам» реальности, на которых строится объективизм [14. P. 35].

Обозначенная в первом списке тема социальных реформ, образования и т.п. в новом списке Бернстайном не рассматривается. Тема истинности и отношения субъект/объект, понятые через призму человеческой культуры, из раннего списка фактически вбирает в себя три темы нового списка: сообщество исследователей, фаллибилизм и радикальную контингентность. Базовыми элементами для них всех является релятивистский и, разумеется, прагматистский, поднятый еще Пирсом, мотив отсутствия пропасти между субъектом и объектом, или сознанием и миром, и посредство *tertia*, «третьих» или «третичностей», явлений, процессов, объектов, которые позволяют заполнить пропасть или служат посредниками между ментальным и физическим[3]. В неопрагматизме понятие *tertia* включено в концепцию о когнитивной непрозрачности мира и выступает посредником, облегчающим или даже обеспечивающим исключительную возможность познания. К обсуждению вопроса о третьих часто обращался Р. Рорти в контексте его дискуссий с Д. Дэвидсоном и Х. Патнэмом.

Дэвидсон полагает, что прагматизм вполне может обойтись без таких эпистемических посредников, как представления, чувственные данные, интуиции, и считает *третьи* неприемлемым для философии конструктом, поскольку, вторгаясь между миром как набором объективных фактов и сознанием, они возвращают философию к таким старым метафизическим проблемам, как существование универсалий и пр. [16. P. 83]. Признание такого рода эпистемических мостов заставляет нас думать, что и язык может служить таким же посредником между сознанием и миром. Однако, полагает Дэвидсон, если оратор говорит что-то о мире с позиций отрицания реализма, то это еще не значит, что он высказывает истину. Такая концепция отрицает все преимущества коммуникативной рациональности, а также неориторические и неософистические установки на то, что реальность оформляется в ситуации коммуникации. В целом Рорти согласен с позицией устранения третьих, но интерпретирует ее совершенно в невыгодном и неожиданном, с точки зрения Дэвидсона, свете: в результате отказа от третьих остается только бесконечный и ничем не опосредованный процесс коммуникации, обмена убеждения-

[1] Точка зрения Рорти излагается по: [12. С. 113].

[2] Данные понятия философского вокабуляра метафизики «эволюционной любви» подробно рассматриваются в: [13. С. 54–59].

[3] О том, как понимает «третичности» Пирс, см.: [15. С. 82].

ми, которые формируются в ответ на некие текущие, сиюминутные условия. Именно дискуссия с Дэвидсоном во многом спровоцировала антифундаментализм Рорти. Однако эту позицию не разделяет Дж. Марголис, который подчеркивает эпистемическое значение *tertia*, или, как он их называет, «интерпретирующих третьих», расширяя их значение и включая в их список культуру, технологию, науку, т.е. все то, что позволяет человеку уверенно ориентироваться в мире в условиях отсутствия прямого привилегированного доступа к знанию о мире и к самому миру [17].

Возвращаясь к прагматистским темам, отчетливо видно, что все три вышеперечисленные темы так или иначе фиксируют нечто, что выступает эпистемическими посредниками между человеком и миром в условиях коммуникативной рациональности.

Из вышесказанного видно, что прагматистские темы, во-первых, совпадают с характерными для релятивизма чертами, во-вторых, пересекаются с характеристиками риторического поворота, среди которых антиобъективизм и отказ от следования картезианским принципам научного метода, неприятие фундаментализма, опора на ресурсы языка, связанные с его неопределенностью и неоднозначностью, акцент на субъективизм (и тем самым, фаллибилизм) в научном поиске, приоритет методов гуманитарных наук, преимущество которых в диалоговости и коммуникативности [5. С. 20–22]. Таким образом, концепция прагматистского поворота дает определенные основания говорить о взаимообусловленности прагматизма, риторического поворота и релятивистской методологии.

Таким образом, Бернстайн не видит смысла в выделении в философии аналитической и континентальной традиций, а также обсуждении прагматизма как чего-то отдельного от этих двух традиций, поскольку все три направления имеют дело с общими для них всех темами, которые сам философ характеризует как прагматистские. Критически оценивая европейскую философию, Бернстайн стремится обнаружить те стороны в ней, которые сближают ее с прагматизмом, стремясь обозначить общие для любой философии «прагматистские темы», за которыми просвечивает признание коммуникативной рациональности. Бернстайн убежден, что все множество философских дебатов и споров, когда-либо существовавших в истории философии, по сути имеет одну цель – «определить природу и сферу человеческой рациональности» [18. P. 2]. Современные дискуссии вывели представление о рациональности на другой уровень – коммуникативный. Рациональность понимается как истинный, живой «разговор», в котором всегда есть непредсказуемость и новизна, расширенный и открытый диалог, создающий основу межсубъектных соглашений [18. P. 2]. Для Бернстайна такой разговор может осуществляться не только между индивидами, школами, но и между «несоизмеримыми» прежде философскими направлениями, а инструментом для этого могут служить прагматистские основания и техники. Именно прагматизм должен выступить в качестве такого, диалогового инструментария, поскольку вся эта традиция существует и эволюционирует как «диалог», «спор» или «аргумент» [11. P. 66], а любой ее представитель – плюралист, разделяющий позиции толерантности, а значит, доброжелательно оценивающий любые интеллектуальные достижения и идейные установки.

Литература

1. *Bernstein R.* The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010.

2. *Рорти Р.* Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1997.

3. *Habermas J.* Richard Rorty's Pragmatic Turn // Rorty and his critics / ed. by R.B. Brandom. Oxford: Blackwell Publishing, 2000. P. 31–55.

4. *Rorty R.* Response to Jürgen Habermas // Rorty and his critics / ed. by R.B. Brandom. Oxford: Blackwell Publishing, 2000. P. 56–64.

5. *Косарев А.В.* Риторический поворот: концепция риторического исследования в науке // Философия науки. 2016. № 4 (71). С. 13–25.

6. *Борисов Е.В.* Прагматический поворот в постметафизической онтологии: автореф. дис. ... д-ра философ. наук. Томск, 2010.

7. *Вольф М.Н., Косарев А.В.* Нео-софистическая риторика в свете историко-философской методологии // Вестник ТГУ. Серия: Философия. Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 225–233.

8. *Bernstein R.* The Pragmatic Roots of Cultural Pluralism // Reset DOC, web magazine. – 23 July, 2014 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.resetdoc.org/story/ 00000022436 (дата обращения: 29.08.2017).

9. *Margolis J.* Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective / J. Margolis // A Companion to Pragmatism / ed. by J. R. Shook, J. Margolis. Maiden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2006. P. 1–10.

10. *Косарев А.В., Вольф М.Н.* Неопрагматизм Джозефа Марголиса // Идеи и идеалы. 2017. №2 (32), Т. 2. С.3–16.

11. *Bernstein R.* American pragmatism: The conflict of narratives // Rorty and Pragmatism. The Philosopher Responds to His Critics / ed. H.J. Saatkamp, Jr. Nashville. London: Vanderbilt University Press, 1995. P. 54–67.

12. *Джохадзе И.Д.* Прагматизм: новое вино в старых мехах? // Западная философия конца XX – начала XXI в. Идеи. Проблемы. Тенденции / отв. ред. И.И. Блауберг. М.: ИФРАН, 2012. С. 103–118.

13. *Юлина Н.С.* Философская мысль в США. XX век. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010.

14. *Margolis J.* Vicissitudes of transcendental reason // Habermas and Pragmatism / ed. by M. Aboulafia, M. Bookman, C. Kemp. London ; New York: Routledge, 2002. P. 31–46.

15. *Марголис Дж.* Первые прагматисты // Американская философия. Введение / под. ред. А.Т. Марсубяна и Дж. Райдера; пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2008. С. 68–92.

16. *Frankenberry N.K.* Bernstein and Rorty on Justification by Faith Alone // The Pragmatic Century. Conversation with Richard J. Bernstein / ed. by Sh.G. Danavey, W.G. Frisina. Albany: State University of New York Press, 2006. P. 73–98.

17. *Honenberger Ph.* The Poverty of Neo-Pragmatism: Rorty, Putnam, and Margolis on Realism and Relativism // Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis / ed. by D.-M. Grube and R. Sinclair. Helsinki: Nordic Pragmatism Network, 2015. P. 76–99.

18. *Bernstein R.* Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis / R. Bernstein. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983.

Marina N. Volf. Institute of Philosophy and Law of Siberian Branch of Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: wolfarch@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/15

Andrey V. Kosarev. Institute of Philosophy and Law of Siberian Branch of Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: andrkw@rambler.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/15

R.BERNSTEIN'S CONCEPT OF THE PRAGMATIC TURN

Key words: pragmatism, neopragmatism, R. Bernstein, R. Rorty, J. Habermas, pragmatic turn, communicative rationality

Significant place in R. Bernstein's late works has the concept of «pragmatic turn», linked with communicative rationality. In the article we analyze the origin of this term showing that the origin of

this notion can be traced formally from one private discussion between R. Rorty and J. Habermas, which concerned of understanding some points of Kantian philosophy, but Bernstein was able to actualize this concept. Rorty and Habermas themselves have serious discrepancies in their understanding of communicative rationality and its ultimate goals, but they both agree on an understanding of the concept of «pragmatc turn». Rorty eventually tends to the term «rhetorical turn», while his followers and critics use the Habermas' term «pragmatic turn» in the meaning of «radicalization of the linguistic turn». Bernstein's reduction of various directions to pragmatism is realized in the appropriationist methodology: he extends the context of one' belonging to the philosophical tradition to the context of contemporary philosophical or even social problems, otherwise it couldn't be distinguish eternal philosophical problems from particular immediate issues, and his conclusions are of an clarification, but not of dogmatic explanation for those processes that occur in the philosophy of the XXth century. Throughout his work, Bernstein several times clarifies the pragmatic themes, and finally offers the following list: (1) anti-foundationalism; (2) community of inquirers; (3) fallibilism; (4) radical contingency; (5) pluralism. The listed topics firstly coincide with the characteristics of relativism, and secondly, they intersect with the characteristics of the rhetorical turn, which gives good reasons for talking about the interdependence of rhetorical turn, pragmatism and relativistic methodology. Three themes from the new list – the community of inquirers, fallibilism and radical contingency – are contained, as a basic element, the relativistic and pragmatic motif (raised by Peirce) of the absence a chasm between the subject and the object, or mind and world due to *tertia* or «thirdness». So we give a brief excursion into the pragmatic problem of *tertia* and the discussions around it. Bernstein seeks to discover those sides in continental and analytic philosophies that bring them closer to pragmatism by establishing a common list of «pragmatic themes» common to any philosophy, behind which the recognition of communicative rationality shines. According to Bernstein, pragmatism should act as an interactive tool, because the whole of this tradition exists as a «dialogue» or «argument».

References

1. Bernstein, R. (2010) *The Pragmatic Turn*. Cambridge: Polity Press.

2. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the mirror of nature]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

3. Habermas, J. (2000) Richard Rorty's Pragmatic Turn. In: Brandom, R.B. (2000) *Rorty and his critics*. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 31–55.

4. Rorty, R. (2000) Response to Jürgen Habermas. In: Brandom, R.B. (2000) *Rorty and his critics*. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 56–64.

5. Kosarev, A.V. (2016) Ritoricheskiy povorot: kontseptsiya ritoricheskogo issledovaniya v nauke [Rhetorical turn: The concept of rhetorical research in science]. *Filosofiya nauki*. 4(71). pp. 13–25.

6. Borisov, E.V. (2010) *Pragmaticheskiy povorot v postmetafizicheskoy ontologii* [Pragmatic turn in post-metaphysical ontology]. Abstract of Philosophy Dr. Diss. Tomsk.

7. Volf, M.N. & Kosarev, A.V. (2016) Neo-sophistic rhetoric in view of the methodology of the history of philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4(36). pp. 225–233. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/36/23

8. Bernstein, R. (2014) *The Pragmatic Roots of Cultural Pluralism*. [Online] Available from: http://www.resetdoc.org/story/ 00000022436. (Accessed: 29th August 2017).

9. Margolis, J. (2006) Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective. In: Shook, J.R. & Margolis, J. (eds) *A Companion to Pragmatism*. Maiden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. pp. 1–10.

10. Kosarev, A.V. & Volf, M.N. (2017) Joseph Margolis's neopragmatism. *Idei i ideally – Ideas and Ideals*. 2(32). pp. 3–16. (In Russian). DOI:10.17212/2075-0862-2017-2.2-3-16

11. Bernstein, R. (1995) American pragmatism: The conflict of narratives. In: Saatkamp, H.J. & Nashville, Jr. (eds) *Rorty and Pragmatism. The Philosopher Responds to His Critics*. London: Vanderbilt University Press. pp. 54–67.

12. Dzhokhadze, I.D. (2012) Pragmatizm: novoe vino v starykh mekhakh? [Pragmatism: a new wine in old skin?]. In: Blauberg, I.I. (ed.) *Zapadnaya filosofiya kontsa XX –nachala XXI v. Idei. Problemy. Tendentsii* [Western philosophy of the end of the 20th – early 21st centuries. Ideas. Problems. Trends]. Moscow: Institute of Philosphy, RAS. pp. 103–118.

13. Yulina, N.S. (2010) *Filosofskaya mysl′ v SShA. XX vek* [Philosophical thought in the USA. The twentieth century]. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.

14. Margolis, J. (2002) Vicissitudes of transcendental reason. In: Aboulafia, M., Bookman, M. & Kemp, C. (eds) *Habermas and Pragmatism*. London; New York: Routledge. pp. 31–46.

15. Margolis, J. (2008) Pervye pragmatisty [The first pragmatists]. In: Marsubyan, A.T. & Rider, J. (eds) *Amerikanskaya filosofiya. Vvedenie* [American Philosophy. Introduction]. Translated from English. Moscow: Ideya-Press. pp. 68–92.

16. Frankenberry, N.K. (2006) Bernstein and Rorty on Justification by Faith Alone. In: Danavey, Sh.G. & Frisina, W.G. (eds) *The Pragmatic Century. Conversation with Richard J. Bernstein*. Albany: State University of New York Press. pp. 73–98.

17. Honenberger, Ph. (2015) The Poverty of Neo-Pragmatism: Rorty, Putnam, and Margolis on Realism and Relativism. In: Grube, D.-M. & Sinclair, R. (eds) *Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis*. Helsinki: Nordic Pragmatism Network. pp. 76–99.

18. Bernstein, R. (1983) *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

УДК 168, 165.0
DOI: 10.17223/1998863X/40/16

Л.Д. Ламберов, Т.С. Козьякова

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г.В. ЛЕЙБНИЦА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЙ МАТЕМАТИКИ[1]

Исследуются идеи Лейбница об универсальной характеристике и отражение этих идей в современной философии математики. Рассматриваются контекст возникновения концепции универсального языка, идея универсальной характеристики и варианты её реализации у Лейбница, два принципиально различных пути развития идей Лейбница и отражение идей Лейбница в современных подходах к основаниям математики (в частности, в унивалентных основаниях математики и гомотопической теории типов).
Ключевые слова: *Лейбниц, философия математики, унивалентные основания математики, геометризм.*

Контекст возникновения идей Лейбница об универсальном языке

Идею создания универсального совершенного языка связывают в первую очередь с Г.В. Лейбницем. Тем не менее он был далеко не первым, высказавшим подобную идею: до него похожие программы предлагались Д. Уилкинсом, А. Дестют де Траси, И.Г. Ламбертом и другими. Важным отличием проекта Лейбница являлся его совершенно иной подход к построению универсального языка. В то время как прочие подобные разработки в той или иной мере отталкивались от естественных языков, Лейбниц ставил перед собой задачу построить такой язык, который мог бы быть одинаково доступен для ученых, независимо от их родного языка. Искусственный язык, призванный выполнять данную роль, должен был быть свободен от многозначности языка естественного и представлять собой особый инструмент рассуждения и получения истин.

Стоит заметить, что одним из источников вдохновения для Лейбница являлись идеи универсального языка Р. Луллия, изложенные в его *Ars Magna*. Луллий распределял все термины в шесть категорий: абсолютные начала, относительные, вопросы, объекты, добродетели и пороки, – построение же пропозиций осуществлялось путем комбинации терминов (как простых, так и сложных), принадлежащих каждой из них. Согласно Лейбницу, недостаток системы, предложенной Луллием, состоит в том, что подобное решение не позволяет осуществить анализ самой сути терминов и категорий, а только лишь вычислить количество потенциально возможных пропозиций из комбинаций простых терминов.

[1] Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект МК-6552.2016.6.

Цель Лейбница состояла в представлении всего человеческого знания в виде своего рода «всеобщей алгебры». Перевод на данный универсальный язык Лейбниц предполагал осуществить при помощи универсальной характеристики, к которой уже можно было бы применять особые вычислительные операции. В основе лежало разбиение сложных идей на элементарные понятия, которым, в свою очередь, ставились бы в соответствие определённые символы так, чтобы их комбинация отражала отношения, в которых данные понятия состоят в рамках рассматриваемой идеи. Универсальная характеристика выражает интуитивную форму мысли, направляет её и дополняет. Через неё осуществляется замена рассуждения на вычисление, а объекта обозначения символа – на сам символ (характер).

Задача выбора подходящей характеристики для выстраиваемой универсальной символьной системы является, по убеждению Лейбница, критически важной, поскольку символы, соответствующие базовым понятиям, должны быть максимально естественными с точки зрения восприятия и при этом максимально лаконичными и ёмкими, т.е. обладать способностью выражать идеи наиболее точным образом. Следовательно, данный выбор должен иметь под собой достаточно сильные основания.

Универсальная характеристика у Лейбница

Ряд историков логики (например, А.О. Маковельский [1. С. 380]) полагает, что «новая» логика у Лейбница начинается с работы «О комбинаторном искусстве». Дело в том, что число понимается им как простейший случай отношения (отношение величин), в связи с чем Лейбниц предполагает, что именно в математике воплощены многообразные формы дедукции. Таким образом, в качестве идеала характеристики Лейбницем рассматриваются алгебраические символы. В этом смысле аналогичные идеи можно также встретить у Р. Декарта, хотя он, в отличие от Лейбница, и не выстраивает развернутой программы.

По мнению Лейбница, в ряде математических областей уже имеются «локальные» характеры, которые позволяют выстраивать доказательства в этих конкретных дисциплинах. Примером таких характеров, например, в алгебре являются числа. Необходимо отметить, что алгебра для Лейбница представляла собой нечто вроде «общей теории величин», включающей геометрическую теорию величин[1]. Это означает, что под «характерами» Лейбницем понимаются символы, используемые для обозначения как чисел, так и геометрических величин. Что касается конкретно геометрии, то, по мнению Лейбница [3. С. 494 и далее], в ней имеется своя, более подходящая характеристика, поскольку попытка свести геометрию исключительно к числам приводит к тому, что она не может трактоваться исключительно аналитически. Это связано, прежде всего, с тем, что в геометрии важными оказываются не только величины, но и взаимное расположение геометрических фигур. Алгебра же, имеющая дело исключительно с величинами, не может использо-

[1] Например, в одном из писем Гюйгенсу Лейбниц указывает, что необходимо выработать «геометрический анализ», который бы мог использоваться для выражения положений фигур так же, как алгебра выражает количество. См.: [2. P. 43].

ваться для описания взаимного описания фигур. Подобно этим «локальным» характерам алгебры и геометрии, Лейбниц предлагает программу поиска универсальных характеров, т.е., по сути, специальной формы записи, при которой понятия предполагается сводить к «алфавиту человеческих мыслей». Последнее позволило бы свести рассуждения к некоторого рода решению алгебраических или геометрических задач посредством специального исчисления.

Поскольку логика схожа с алгеброй, постольку она, по мнению Лейбница, должна быть построена в качестве «универсальной математики». В рамках развития данной идеи он предпринял ряд попыток арифметизации и алгебраизации силлогистики. Среди прочих им были предложены следующие варианты: (1) приписывать терминам числа по определённым правилам; (2) приписывать терминам простые числа; (3) использовать для соответствующих терминов упорядоченные пары взаимно простых натуральных чисел; (4) выражать суждения через отношения точной делимости и т.д. Тем не менее ни одна из разработанных им систем не была лишена недостатков. Но несмотря на неудачи, постигшие Лейбница в данной работе, необходимо особо подчеркнуть два момента. Во-первых, логика по сути подвергалась арифметизации, т.е. логические отношения представлялись в виде арифметических или алгебраических. Во-вторых, нельзя не отметить интенсиональный характер получавшихся систем: как отношения между понятиями, так и структура предложений приобретали интенсиональную трактовку. К примеру, поскольку Лейбниц предполагал, что методом обнаружения связей между различными элементами служит комбинаторика, являющаяся своего рода методом построения «словаря» языка мыслей, то, по его мнению, предикат оказывается включённым в субъект суждения в том смысле, что термин предиката включается в значение термина субъекта.

В отношении интенсиональности и интерпретации у Лейбница следует отметить и другой интересный момент. Поскольку Лейбниц обнаружил [4] некоторого вида соответствие между утверждениями логики и геометрии в ходе своих изысканий при построении, с одной стороны, теории тождества и включения, а с другой – геометрического исчисления сходства и конгруэнтности, он часто использовал именно геометрические построения для иллюстрации предлагаемых им идей по созданию универсального языка; например, при помощи линий, включающихся друг в друга. Более того, представляется интересным, что в ряде построенных Лейбницем систем знаки (например, знак сложения в *Non Inelegans Specimen Demonstrandi in Abstractis*) получают разную трактовку в зависимости от интерпретации «складываемых» элементов: например, как конъюнкция, если речь идёт об атрибутах, или как дизъюнкция, если речь идёт о классах.

Проект Лейбница по построению универсального языка был встречен его современниками достаточно скептически. Тем не менее, несмотря на критику, он провел долгие годы в поисках подходящих на роль универсальной характеристики символов и соответствующего исчисления, постепенно приходя к осознанию невозможности воплощения проекта подобного масштаба за обозримое время. Большая часть его работ в данной области оказалась не опубликована.

Два пути реализации идей Лейбница

Дальнейшее развитие идей Лейбница осуществлялось двумя [5] в чём-то противоположными путями [6]. Первый – и весьма известный – путь состоит в построении логики как исчисления, свободного от всякого содержания, как изучения чистой логической формы. Данный путь связан в первую очередь с алгеброй логики в лице Д. Буля, У. Джевонса, Д. Маккола, Дж. Венна, А. Де Моргана и англо-саксонской традицией в логике в целом. Именно на этом пути мы встречаем проект *Principia Mathematica* и дальнейшие разработки логики в рамках аналитической философии.

Тем не менее второй путь развития идей Лейбница представляется не менее интересным, а возможно, и даже более важным. Его можно проследить через идеи неокантианства, Грассманов, Дж. Пеано и Г. Фреге, через разработку и развитие теории типов и, наконец, обнаружить его отражение в современных подходах к основаниям математики, и в первую очередь в гомотопической теории типов.

Г. Грассман был одним из первых, кто разделял два направления – проект построения символического исчисления и проект универсального языка на основе реальных символов [7]. Его интерес, прежде всего, касался построения конкретного геометрического исчисления. Результаты своей работы, изложенные в *Geometrische Analyse*, он представлял как реализацию программы Лейбница и воплощение его идей относительно геометрической характеристики. Одним из аргументов являлась широта области применения разработанной им теории: исчисление могло становиться независимым от пространственной интуиции, а следовательно, применяться в том числе и к непространственным объектам, как это и было задумано Лейбницем. Собственно, Г. Грассман ставил перед собой ту же цель [2], что и Лейбниц: его интересовала разработка удобного исчисления или *искусства оперирования символами* в соответствии с жесткими правилами, и выведения с его помощью истинных утверждений о вещах, причём утверждения эти должны были быть выражены в знаковой форме для удобства использования всей системы в качестве *обобщенной математики*. Можно сказать, что геометрические исчисления как Г. Грассмана, так и Лейбница являлись своего рода частными приложениями более общего исчисления конкретно к геометрии. Оба надеялись на применимость своих систем не только в области математики. Однако, несмотря на «универсальность» универсальной характеристики, её окончательное развитие должно, по мнению Г. Грассмана, проходить уж не в рамках философии, а в рамках математики. Последнее, правда, вовсе не означает, что применение универсальной характеристики должно быть чистой математикой или даже конкретно логикой и геометрией.

Дж. Пеано разделял многие идеи Лейбница, касающиеся универсальной характеристики и её роли в построении универсального языка, способного не только передавать знание, но и продуцировать его. Именно как реализацию проекта универсальной характеристики Пеано рассматривал свою работу *Formulaire de Mathématiques* – энциклопедию математики, главной целью создания которой было максимально точное изложение известного на тот момент математического знания, теорем и их доказательств при помощи разработанной им символьной записи. Правильная символьная репрезентация

концепций в математике, согласно Пеано, невозможна без их анализа. Каждый символ соответствовал базовому (примитивному) понятию, а сведение к символам позволяло осуществлять точный анализ сущностей в рамках конкретной математической теории. Исследования Пеано всегда были направлены именно на развитие идей *characteristica universalis*, а не *calculus ratiocinator*, он особо подчеркивал, что его символьная логика должна рассматриваться не как исчисление, а как точный и строгий язык. Тем не менее Пеано понимал, что значение символов остается в определенной мере конвенциональным, приписывается условно или посредством определения и различается в зависимости от контекста. Так, например, символ равенства в одной области может быть определен как отношение эквивалентности между объектами, а в другой – как взаимная импликация между пропозициями.

Стоит более подробно остановиться на идеях Г. Фреге, который зачастую считается одним из основателей современной логики. Необходимо сказать в первую очередь, что сам Фреге отрицательно относился к алгебре логики [8. С. 21]. Он выстраивает свою концепцию математики в соответствии с программой Лейбница, где математические предложения понимаются как аналитические. Подобно Лейбницу, Фреге полагал, что знаки в арифметике, геометрии и химии (во времена Лейбница химия, конечно, ещё не была в такой степени развита) являются «локальными» осуществлениями идеи универсальной характеристики. По его мнению, сами по себе логические формы как отвлечённые от своего содержания крайне нежелательны, поскольку не позволяют создать правильное исчисление [9. С. 156]. Свою задачу Фреге видел не в построении ограниченного чистой логикой исчисления, а в создании языка для выражения некоторого математического содержания, что позволило бы построить основания математики, а разработки в духе Буля, по его мнению, для этой задачи совершенно не подходят, поскольку обладают крайне бедной выразительностью [10. С. 158–193]. Согласно Фреге, логика Буля является исключительно логикой, в то время как, например, понятийная запись Пеано уже идёт дальше, предполагая анализ содержания, к чему стремился и сам Фреге. Он полагал, что логика Буля представляет собой *calculus ratiocinator*, а математическая логика Пеано – *lingua characteristica*, но также и *calculus ratiocinator*, у Фреге же эти две альтернативы уравнены [11. С. 207].

Разработка первого пути развития идей Лейбница привела в том числе к формулировке гильбертовской концепции формализации и аксиоматического метода. Особенностью данной концепции стал сам принцип построения оснований математики. К примеру, начиная с конца XIX в. подавляющее большинство работающих математиков (в особенности тех, кто не интересуется собственно основаниями математики) в качестве оснований принимали теорию множеств, аксиоматический вариант которой, предложенный Цермело и развитый Френкелем, идеально воплощает гильбертовскую концепцию. При построении аксиоматической теории множеств в качестве единственного нелогического выбирается символ, интерпретируемый как отношение принадлежности элемента множеству, а сама она выстраивается как набор содержательных аксиом (определяющих базовые понятия), сформулированных на некотором формальном языке (например, языке логики предикатов первого порядка) с «внешней» (в определённом смысле) логической системой,

обеспечивающей возможность построения выводов из предложенных аксиом. Таким образом, получается, что логика первична в эпистемологическом плане, а работа ведётся с чистой формой, которая образуется благодаря её интерпретации в определённое содержание. Подобная программа построения оснований математики идёт вразрез с общим пафосом универсального языка Лейбница и попытками таких исследователей, как Фреге и Пеано, построить основания математики.

Идеи Лейбница в современных подходах к основаниям математики

Как уже было указано, представляется, что первый путь развития идей Лейбница является скорее маргинальным по отношению к его (Лейбница) общей программе. Во-первых, Лейбниц осуществлял арифметизацию и алгебраизацию логики, что совершенно противоположно идее гильбертовской концепции формализации, предполагающей эпистемологическую первичность логики. Во-вторых, традиционный подход к построению аксиоматической теории множеств состоит в формулировке экстенсиональной формальной системы, а системы Лейбница (по меньшей мере, его поздние попытки воплощения своего же замысла) имели интенсиональный характер [4. P. 336–345]. Следует дополнительно прояснить интенсиональную характеристику систем Лейбница. Дело в том, что согласно Лейбницу, предикат включён в субъект в том смысле, что понятие предиката во всяком истинном утверждении должно включается в понятие субъекта (к примеру, понятие «животности» включается в понятие «человечности», где включение, очевидно, не является отношениями между объёмами указанных понятий). В-третьих, следует ещё раз отметить приведённый выше интересный момент, связанный с интерпретацией в том числе и того, что можно было бы назвать «логическими» символами. Здесь прежде всего имеется в виду, что логические знаки получают *различную* трактовку в зависимости от интерпретации связываемых с их помощью элементов. Последнее никак не похоже на гильбертовскую концепцию формализации, в которой интерпретация избранного набора логических символов фиксируется для конкретной системы *единоразово*. Более того, если ещё раз вернуться к интенсиональному характеру системы Лейбница, то следует отметить стремление последнего к построению максимально абстрактной системы, которая могла бы получать различную интерпретацию. К примеру, если в первую очередь имеется в виду та или иная комбинация атрибутов, то тот же самый результат у Лейбница зачастую может быть получен и «геометрическим» способом – с помощью геометрических построений, сводимых к отношению между соответствующими классами (к примеру, вписывание одних линий в другие). Таким образом, в более поздних работах Лейбница его формальная система может получать как интенсиональную интерпретацию (в терминах атрибутов), так и экстенсиональную (в терминах классов), что предполагает также и различную интерпретацию логических символов и метазнаков (например, знака выводимости)[1].

[1] Нечто подобное можно найти и у Г. Грассмана. К примеру, у последнего «равенство предполагает два отношения – тождественность положения и равенство интенсивности. Таким образом, проек-

В современных вариациях теории типов (прежде всего, в гомотопической и кубической) различие между логической формой и внелогическим содержанием перестаёт быть чётким. В чрезвычайно грубо обобщённом виде можно сказать, что гомотопическая теория типов (ГТТ) представляет собой интерпретацию интуиционистской теории типов П. Мартина-Лёфа при помощи алгебраической топологии (теории гомотопий) с добавлением ряда новых теоретических и выразительных средств, таких как аксиома универлентности и высшие индуктивные типы. Это означает, что в ГТТ логическая форма обладает геометрической природой [12] [13]. К примеру, типы в данной теории представляются как пространства, объекты определённого типа являются точками в этом пространстве, а равенство понимается как существование пути из одной точки в другую. По сути, ГТТ придаёт понятию доказательств «геометрическую трактовку» на основе современной топологии (скажем, доказательство равенства *a* и *b* в рамках ГТТ представляет собой предъявление пути из *a* в *b*, поскольку тип равенств *a=b* является типом всех путей из *a* в *b*). Более того, ГТТ оказывается в определённом смысле более естественной и близкой мышлению математиков, чем классические основания математики, выстраиваемые на базе теории множеств.

В связи с программой Лейбница необходимо отметить, что именно ГТТ обладает искомыми характеристиками: она интенсиональна по своему характеру (однако благодаря аксиоме универлентности имеет экстенсиональность для функций), она имеет вычислительную интерпретацию[1] и непосредственно описывает вычисления, она, как и вообще развитая теория типов, не требует использования внешней дедуктивной системы, её «логическая» и «геометрическая» интерпретации равнозначны, она не предполагает редукции всего многообразия математических сущностей к сущностям какого-то исключительного вида, она имеет структуралистский характер (то есть благодаря той же аксиоме универлентности поддерживает идею равенства изоморфных объектов [15]). Кроме того, необходимо учесть, что поскольку в отличие от метрической геометрии Декарта именно геометрические работы Лейбница заложили начала топологии, то непосредственное использование (даже части) топологии в основаниях математики становится весьма интересным. Безусловно, остаётся открытым вопрос о том, насколько геометризм (или, если хотите, топологизм) Лейбница связан с его проектом по созданию универсального языка. По меньшей мере, используемые в работах Лейбница примеры носят именно геометрический характер.

Литература

1. *Маковельский А.О.* История логики. Жуковский; М.: Кучково поле, 2004.

2. *Heath A.E.* The Geometrical Analysis of Grassmann and its Connection With Leibniz's Characteristic // The Monist. 1917. Vol. 27, No. 1. P. 36–56.

тивные и метрические отношения могут быть выражены в одной форме и рассматриваться как отдельно, так и вместе» [2. P. 51].

[1] Исключение составляет аксиома универлентности, которая в ГТТ не имеет вычислительной интерпретации. Тем не менее последнее обстоятельство «сглаживается» в рамках кубической теории типов, в которой аксиома универлентности выводится в качестве аксиомы чисто конструктивным путём [14].

3. *Лейбниц Г.В.* Об универсальной науке, или философском исчислении // Соч. в четырёх томах. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 494–500.

4. *Kneale W., Kneal M.* The Development of Logic. Oxford: Clarendon Press, 1962.

5. *Hintikka J.* Lingua Universalis vs. Calculus Ratiocinator: An Ultimate Presupposition of Twentieth-Century Philosophy. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997.

6. *Родин А.* Логический и геометрический атомизм от Лейбница до Воеводского // Вопросы философии. 2016. № 6. С. 135–142.

7. *Cantù P.* The Right Order of Concepts: Graßmann, Peano, Gödel and the Inheritance of Leibniz's Universal Characteristic // Philosophia Scientiæ. 2014. Vol. 18, No. 1. P. 157–182.

8. *Бирюков В.В.* Введение. Готлоб Фреге: современный взгляд // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика: Сборник трудов. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 8–62.

9. *Фреге Г.* О научной правомерности исчисления понятий // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 153–157.

10. *Фреге Г.* Булева вычислительная логика и моё исчисление понятий // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 158–193.

11. *Фреге Г.* Об исчислении понятий господина Пеано и о моём собственном исчислении // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 201–212.

12. *Monroe D.* A New Type of Mathematics? // Communications of the ACM. 2014. Vol. 57, No. 2. P. 13–15.

13. *Ламберов Л.Д.* Основания математики: теория множества vs. теория типов // Философия науки. 2017. №1 (72). С. 41–60.

14. *Cohen C., Coquand T., Huber S., Mörtberg A.* Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom // ArXiv e-prints, URL: https://arxiv.org/abs/1611.02108.

15. *Awodey S.* Structuralism, Invariance, and Univalence. Philosophia Mathematica. 22. 2014. P. 1–11.

Lev D. Lamberov. Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yelstin (Ekaterinburg, Russian Federation)

E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/16

Tatiana S. Kozyakova. Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yelstin (Ekaterinburg, Russian Federation)

E-mail: t.kozyakova@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/16

THE UNIVERSAL CHARACTERISTIC OF G. W. LEIBNIZ AND THE PROSPECTIVE DEVELOPMENTS IN THE FOUNDATIONS OF MATHEMATICS

Key words: Leibniz, philosophy of mathematics, univalent foundations of mathematics, geometrism

G. W. Leibniz was not the first who expressed the idea of creating a universal perfect language, but he proposed a very different approach in his project. The purpose of Leibniz's project was to represent all human knowledge in the form of a kind of "universal algebra." Leibniz intended to implement the translation into this universal language with the help of a universal characteristic, to which some special computing operations could be applied. By "characters" Leibniz meant symbols used to denote both numbers and geometric quantities. Since logic is similar to algebra, according to Leibniz, it must be built as a "universal mathematics." As part of the development of this idea, he undertook a number of attempts to arithmeticize and algebraize syllogistics. Despite the setbacks that befell Leibniz in this work, two points must be specially emphasized. First, logic was subjected to arithmetization (logical relations were represented in the form of arithmetic or algebraic ones). Secondly, it should be noted that the resulting systems were intensional (the relationship between concepts, as well as the structure of propositions acquired an intensional interpretation). Leibniz discovered some kind of correspondence between the statements of logic and the statements of geometry in the course of his research. Further development of the ideas of Leibniz was carried out by two somewhat opposite ways. The first way is to build up logic as a calculus free of all content, as a study of a pure logical form. This path is associated primarily with the algebra of logic. The second way can be traced through the ideas of Neo-Kantianism, Grassmann, J. Peano and G. Frege, through the emergence and development of type theory and, finally, in modern approaches to the foundations of mathematics, and primarily in the homotopy type theory. In modern variations of the type theory, the distinction between logical form and non-logical content ceases to be clear. In the homotopy type theory, the logical form has a geometric

nature. In connection with the Leibniz's program, it should be noted that indeed the homotopy type theory has the required characteristics: it is intensional, it has a computational interpretation and directly describes calculations, it does not require the use of an external deductive system, its "logical" and "geometric" interpretations are equivalent, it does not assumes the reduction of the whole variety of mathematical entities to the entities of some special kind, and it is structuralist in its nature.

References

1. Makovelskiy, A.O. (2004) *Istoriya logiki* [History of Logic]. Zhukovskiy; Moscow: Kuchkovo pole.

2. Heath, A.E. (1917) The Geometrical Analysis of Grassmann and its Connection With Leibniz's Characteristic. *The Monist*. 27(1). pp. 36–56. DOI: 10.5840/monist19172716

3. Leibniz, G.V. (1984) *Sochineniya v chetyrekh tomakh* [Works in 4 vols]. Vol. 3. Moscow: Mysl'. pp. 494–500.

4. Kneale, W. & Kneal, M. (1962) *The Development of Logic*. Oxford: Clarendon Press.

5. Hintikka, J. (1997) *Lingua Universalis vs. Calculus Ratiocinator: An Ultimate Presupposition of Twentieth-Century Philosophy*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

6. Rodin, A. (2016) Logicheskiy i geometricheskiy atomizm ot Leybnitsa do Voevodskogo [Logical and geometric atomism from Leibniz to Voevodsky]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 135–142.

7. Cantù, P. (2014) The Right Order of Concepts: Graßmann, Peano, Gödel and the Inheritance of Leibniz's Universal Characteristic. *Philosophia Scientiæ*. 18(1). pp. 157–182. DOI: 10.4000/philosophiascientiae.921

8. Biryukov, V.V. (2000) Vvedenie. Gottlob Frege: sovremennyy vzglyad [Introduction. Gottlob Frege: a modern view]. In: Frege, G. *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Translated from German by B.V. Biryukov. Moscow: Aspekt Press. pp. 8–62.

9. Frege, G. (2000a) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Moscow: Aspekt Press. pp. 153–157.

10. Frege, G. (2000b) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Moscow: Aspekt Press. pp. 158–193.

11. Frege, G. (2000c) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Moscow: Aspekt Press. pp. 201–212.

12. Monroe, D. (2014) A New Type of Mathematics? *Communications of the ACM*. 57(2). pp. 13–15.

13. Lamberov, L.D. (2017) Osnovaniya matematiki: teoriya mnozhestva vs. teoriya tipov [Foundations of mathematics: Theory of the set of vs. type theory]. *Filosofiya nauki*. 1(72). pp. 41–60. DOI: 10.15372/PS20170104

14. Cohen, S., Coquand, T., Huber, S. & Mörtberg, A. (2016) *Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom*. [Online] Available from: https://arxiv.org/abs/1611.02108.

15. Awodey, S. (2014) Structuralism, Invariance, and Univalence. *Philosophia Mathematica*. 22. pp. 1–11. DOI: 10.1093/philmat/nkt030

УДК 930.1
DOI: 10.17223/1998863X/40/17

И.В. Лихоманов, В.А. Бойко

ЕВРАЗИЙЦЫ И МУЗА КЛИО: ОТ МИФОЛОГИИ – К НАУКЕ

Рассматривается эпистемологическая значимость евразийской интерпретации отечественной истории. Смысловое ядро этой доктрины – идеологическая рационализация мифа, связанного с русской революцией. Евразийцы не создали собственной философии истории, но предложили оригинальной ракурс восприятия исторического материала, благодаря которому история России обрела новый и непривычный вид. Субъектом исторического процесса в их сочинениях выступает не русский народ и русское государство, а территория страны.
Ключевые слова: *евразийство, идеология, методология и философия истории, исторический нарратив.*

Евразийство, одно из наиболее влиятельных идейно-политических течений современной России, предлагает собственный концептуальный подход к отечественной истории. Классические труды Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева, где евразийская интерпретация отечественной истории представлена с наибольшей выразительностью, будучи опубликованы в постсоветское время огромными тиражами, вызвали широкий интерес читателей и приобрели множество последователей. Объем научной, научно-популярной и псевдонаучной литературы, пропитанной «духом» евразийского учения, стремительно возрастает. Но эпистемологическая значимость этой литературы, да и в целом евразийской интерпретации отечественной истории, осмыслена, с нашей точки зрения, слабо и недостаточно.

Внесло ли евразийство что-то принципиально новое в историческую науку, в знание о прошлом России? Позволяет ли евразийский взгляд на отечественную историю глубже проникнуть в историческую действительность, лучше ее понять? Или мы имеем дело с *идеологической конструкцией*, где «факты» служат лишь материалом для выстраивания политически ангажированных нарративов? Вопросы подобного рода звучат не впервые. Ими задавались еще первые критики евразийства в 1920–30-х гг. Не чужды они и современным исследователям феномена евразийства, в том числе зарубежным.

К числу фундаментальных работ, посвященных различным аспектам исторических и историософских воззрений представителей евразийства, можно отнести книгу Марлен Ларюэль «Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи» (1999). Однако вполне понятное и оправданное стремление автора представить западному читателю евразийство в качестве системно-организованного, целостного культурного феномена обернулось, на наш взгляд, недостатком этого выдающегося во многих других отношениях исследования.

Евразийство, утверждает в начале своей книги М. Ларюэль, – это не только самостоятельная политическая идеология, но и самостоятельная философия, в том числе философия истории [1. С. 13]. Но в дальнейшем она

признает, что «в философской мысли евразийцев содержалось немало двусмысленностей» [1. С. 60]. К числу этих двусмысленностей Ларюэль относит колебания евразийцев «между универсализмом и партикуляризмом» в трактовке исторического процесса [1. С. 78]. Проще говоря, мы не можем однозначно утверждать, разделяли ли они точку зрения О. Шпенглера, согласно которой мировая история – это бесконечный процесс возникновения, развития и гибели отдельных культур (цивилизаций), никак друг с другом не связанных, или верили в единство человечества и человеческой истории, движущейся к определенной цели. Поэтому возникает вопрос о том, как при наличии столь принципиального разногласия («двусмысленности») относительно субъекта истории возможно говорить о наличии *специфически евразийской* философии истории.

Если обратиться к теоретическому наследию Н.С. Трубецкого, то никакой философии истории в его сочинениях мы не обнаружим: он развивает оригинальную *философию культуры*. В работе «Европа и человечество» (1920) Трубецкой, применяя методологию сравнительного языкознания и разрабатываемой им совместно с Р.О. Якобсоном фонологии к области изучения человеческих культур, приходит к выводу о несоизмеримости культур с точки зрения уровней их развития. Нет культур более или менее развитых. Есть лишь более близкие/далекие и менее близкие/далекие культуры, как и языки разных народов. Трубецкой отвергает идею конвергенции культур, а также в ряде статей развивает, применительно к российской действительности, представление о «верхах» и «низах» национальной культуры. Но у него отсутствует четкое видение характера исторического процесса в целом, и титул «русского Шпенглера» Трубецкой получил, скорее, по легкомыслию, чем заслуженно.

Работы другого ведущего теоретика евразийства, П.Н. Савицкого, содержат ряд историософских идей. Он, в отличие от Трубецкого, готов признать наличие всемирно-исторического прогресса и неравенство культур, как минимум, по уровню их технологического развития. Его концепция «срединного материка» России-Евразии воспроизводит в главных чертах концепцию «срединного мира» В.И. Ламанского. Но Савицкий идет дальше, *онтологизируя* взаимосвязь культуры и географии посредством термина «месторазвитие». Здесь он следует научной традиции, сформированной представителями «географического детерминизма», такими как К. Риттер, Ф. Ратцель и др., но лишь отчасти, поскольку в трактовке Савицкого взаимосвязь культуры и географии приобретает отчетливо выраженный мистический характер. Географические и природно-климатические условия не могут в *строго научном смысле* образовывать «единое целое» с культурой. Этим термином как бы грубо «сколачиваются» онтологически разные сущности. «”Месторазвитие”, – пишет Савицкий, – нужно понимать как категорию синтетическую, как понятие, обнимающее одновременно и социально-историческую среду, и занятую ею территорию» [2. С. 288]. Однако развивать эту идею Савицкий не стал, вследствие чего иррациональная взаимосвязь между природно-географической средой и социумом оказалась им нераскрытой, а концепт месторазвития так и остался *отдельным* историософским компонентом евра-

зийской идеологии – важным, но не эксплицированным и до конца философски не продуманным.

Из теоретиков евразийства только Л.П. Карсавин, будучи профессиональным историком и философом, разрабатывал оригинальную версию философии истории. Ее основа – учение о «соборной личности» – является также одним из компонентов евразийской идеологии. Однако, если в философии истории Карсавина концепт «соборной личности» играет ключевую роль и является необходимым логическим элементом последовательности его рассуждений, то в евразийских текстах Савицкого и Трубецкого «соборная личность», хотя и упоминается время от времени, выглядит компонентом случайным и даже излишним. Культурологическая концепция Трубецкого и геополитическая концепция Савицкого не нуждаются в понятии «соборная личность». В то же время философско-историческая теория Карсавина не нуждается в евразийстве и во многих своих принципиальных положениях противоречит взглядам и Трубецкого, и Савицкого. Например, вопреки взглядам последнего, Карсавин указывал на «недостаточную убедительность» любых попыток связать в единое целое природную среду и культуру и даже полагал, что географические введения в исторических трудах являются ненужными [3. С. 32]. В противовес Трубецкому, отвергавшему, хотя и непоследовательно, конвергенцию культур, Карсавин отстаивал идею «всеединства» человечества и исторического процесса. В качестве субъекта исторического развития он рассматривал «всеединое человечество, человечество, как конкретное всевременное и всепространственное единство своих моментов или индивидуализаций вплоть, до условно-последней, до конкретного индивидуума» [3. С. 141].

Таким образом, философско-исторические взгляды Карсавина не были специфически евразийскими, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, представители евразийства не воспринимали эти взгляды как теоретическую подоплеку своих историософских воззрений, а во-вторых, в самой этой теории не было ничего, что бы явно позиционировало ее как специфически евразийскую. Карсавин, будучи представителем русской религиозной философии, развивал концепцию «всеединства» Владимира Соловьева применительно к истории. Но философия всеединства имела универсалистский характер и мало подходила для обоснования исторического партикуляризма и национального изоляционизма, одним из вариантов которого выступала идеология евразийства.

Что же касается философии культуры Трубецкого, то, как мы уже подчеркивали, она не содержит ни явно, ни имплицитно никаких философско-исторических теорий и не нуждается в них. А геополитическая концепция России-Евразии Савицкого, хотя и опирается на историософский концепт «месторазвития», не раскрывает его в той мере, которая позволяла бы выявить определенную философско-историческую позицию ее автора. Таким образом, нет оснований говорить об оригинальной философии истории евразийцев. Сторонники этого направления использовали разные философско-исторические идеи, но не выработали собственной концепции, которую можно было бы рассматривать как *евразийскую философию истории*. Это в конечном счете признал и Н.С. Трубецкой, писавший в 1927 г.: «Когда нас уп-

рекают в том, что у нас нет системы, а есть механическая смесь, ералаш совершенно разнородных, друг с другом не связанных идей, из которых каждый может выбирать себе подходящую, – то упреки эти справедливы» (цит. по:[4. С. 114]).

По-настоящему новой и оригинальной была лишь *евразийская концепция русской истории*, авторами которой в равной мере могут считаться Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий. Ни тот, ни другой не были профессиональными историками. Ни тот, ни другой в буквальном смысле не открыли ничего нового – ни новых исторических источников, ни новых исторических фактов. Революционным и новым был только *ракурс восприятия* общеизвестного исторического материала, благодаря которому отечественная история в целом обрела новый и непривычный вид. В результате такого сдвига восприятия, огромный корпус историко-культурного материала, ранее оттесненный на периферию исторического повествования, выдвинулся в центр («фокус нарратива»), что привело к изменению всей композиции повествовательной русской истории («мастер-нарратива»). Период «монголо-татарского ига», считавшийся переходным от Древней Руси к Московскому царству и не имевший преобладающего значения в концепциях дореволюционных историков (многими он даже особо и не выделялся), в евразийской трактовке приобрел центральное, определяющее значение для всей отечественной истории. Кардинально изменилась также и оценка этого периода: то, что ранее воспринималось как величайшее бедствие («погибель Русской Земли»), превратилось теперь в величайшее благо и спасение от «погибели». Вследствие этого композиция отечественного мастер-нарратива распалась на три неравноценных периода: предъевразийский (до образования Монгольской империи), евразийский (Монгольская империя и Московское царство) и расколотый (имперский и советский). При этом средний, «евразийский» период, не только оказался в фокусе нарратива, но обрел значение «эйдоса» отечественной истории, ее «смыслополагающего ядра».

Выдвинутая Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким концепция отечественной истории встретила резкую критику со стороны многих профессиональных историков и философов русского зарубежья. Но вот на что следует обратить внимание: главный критический «удар» пришелся не по самой концепции, а по ее создателям. Критическому разбору подверглись, в первую очередь, иррациональные (эмоционально-психологические) когнитивные установки, которыми они руководствовались. «Евразийство – есть, прежде всего, направление эмоциональное, а не интеллектуальное», – отмечал Н.А. Бердяев [5. С. 198] и предупреждал, что эмоциональность и ставка на идеологию этих людей новой «душевной формации» могут обернуться русским фашизмом [6. С. 107]. «”Евразийство” есть настроение, вообразившее себя системой», – вторил ему А.А. Кизиветтер [7. С. 315]. Евразийцам бросали упрек в *неискренности*, в нечестной игре, в лицемерном сокрытии подлинных мотивов, которыми они руководствуются. Их упрекали в том, что они стремятся не к истине, а к ее искажению ради целей прагматического характера.

Весомость этих упреков тем сильнее, что бросали их представители эмигрантской интеллектуальной среды, многие из которых были лично знакомы с теоретиками евразийства (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, А.А. Кизиветтер, В.В. Зеньковский, П.Н. Милюков, П.Б. Струве и др.). Среди критиков были и те, кто непосредственно участвовал в евразийском движении на начальном его этапе, а, следовательно, знал положение дел изнутри (Г.В. Флоровский, П.М. Бицилли).

Евразийство есть «*правда вопросов*, неправда ответов, – правда проблем, а не решений», – заявил Георгий Флоровский [8. С. 354]. Слово «правда» в русском языке двойственно. Отнесенное к тому, *о чем* говорится, оно – синоним слова «истина»; отнесенное к тому, *кто* говорит, оно характеризует интенциональность говорящего. Так что же имел в виду Флоровский, говоря о «неправде» евразийства: то, что евразийцы искренне заблуждаются, или то, что они намеренно лгут? Исходя из других его высказываний, очевидно, что Флоровский обвинял недавних своих единомышленников и друзей в стремлении «пленить в послушание» и «соблазнить» людей новыми идеями посредством сознательной лжи, притягательная сила которой обусловлена частично «правдой вопросов», но главным образом правдоподобием ответов. Идею о «потенциальном православии» язычества, ислама и буддизма на территории России Флоровский прямо и недвусмысленно назвал «соблазнительной и лживой теорией» [8. С. 377].

Неискренними считал некоторые высказывания евразийцев историк Петр Бицилли, принимавший участие в движении на начальном его этапе, но затем, как и Флоровский, отошедший от него. Обвинение в сознательной лжи адресовал евразийцам также Иван Ильин, характеризовавший их исторические экскурсы как «щеголяние заведомыми историческими искажениями и двусмысленными трюками», манеру «рисоваться своими вывертами» [9. С. 352].

Если принять эту критику всерьез (иной подход вряд ли оправдан, учитывая, сколь серьезно она высказывалась), то возникает ряд вопросов, на которые необходимо ответить в целях более полного понимания того, что представляло собой евразийство и какова эпистемологическая значимость евразийской концепции русской истории.

Правда ли, что евразийцы сами не верили в то, что говорили и писали? А если да, то почему и с какой целью они это делали? Ответ на эти вопросы можно найти лишь у самих евразийцев, которые, впрочем, были довольно откровенны и в своих публикациях, и в частной переписке. Так, в предисловии к первому программному сборнику «Исход к Востоку» (1921), с которого начинается отсчет истории евразийства, в декларативной форме отвергался принцип научной истинности в отношении содержания сборника. «Здесь нельзя требовать доказательств, – объявляли авторы сборника. – И думающие по-иному вправе называть нас безумцами, как мы их – слепорожденными» [10. С. 24]. Но, если нельзя требовать доказательств, если критерий истинности выдвигаемых утверждений безоговорочно и сознательно отвергается, то чем же становятся утверждения евразийцев? Ответ дается следующий: «Дело здесь не в тех или иных отдельных теоретических заключениях или конкретно-исторических оценках, а в субъективно-психологическом подходе к про-

блеме» [10. С. 24]. Другими словами, авторы сборника декларируют релятивистский подход к реальности, коренящийся в экзистенциальном выборе («субъективно-психологическом подходе») и отвергающий принцип истинности, разумеется, не в логическом, а в научном смысле, т.е. как соответствие высказываемых утверждений внеязыковой реальности, тому, что есть «на самом деле».

Можно, конечно, сослаться на полемическую запальчивость авторов «Исхода к Востоку» и не принимать их декларацию всерьез. Однако имеются свидетельства, дискредитировать которые значительно труднее. Частная переписка Н.С. Трубецкого с видным лидером движения П.П. Сувчинским раскрывает перед нами с предельной откровенностью «внутреннюю кухню» изготовления евразийских «блюд». В частности, в этой переписке речь идет о главной теоретической работе Трубецкого, где изложена евразийская концепция русской истории, о статье «Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока».

В апреле 1924 г., в процессе работы над текстом этой статьи, Трубецкой жалуется Сувчинскому: «Не обладая достаточным количеством фактического материала и знанием специальной литературы, я оказался не в состоянии детально и убедительно иллюстрировать свои мысли и подобрать такие формулы, которые, не расходясь с результатами специальных исторических исследований, в то же время вкладывали бы в исторические факты нужное содержание. Получился дилетантизм и легкомысленное построение, которое всякому Кизиветтеру не стоит разбить одним щелчком» [11. С. 87]. Как видим, Трубецкой верит в существование научно установленных фактов и не отвергает их истинности (т.е. их соответствия внеязыковой исторической реальности). Но в то же время он полагает возможным «вложить в них нужное содержание» извне, т.е. совершить, если можно так выразиться, герменевтическое насилие над историческими фактами, дать им интерпретацию, отличную от той, что дается профессиональными историками. Как известно, сверхзадача историка заключается в том, чтобы понять, объяснить и репрезентировать научно установленные исторические факты с целью приближения к истине. Интеллектуальная операция, которую осуществляет (заметим, вполне сознательно!) Трубецкой, полностью ей противоположна. Он изымает «подходящие» для его целей «исторические факты» (по крайней мере, то, что он считает фактами) из научного дискурса и включает их в идеологически ориентированный текст, предлагая читателям лишь соответствующую идеологии евразийства интерпретацию фактов.

Через год, когда работа Трубецкого над статьей близилась к завершению, он вдруг отказывается от замысла издавать ее под своим именем. 23 февраля 1925 г. он пишет Сувчинскому: «Имени своего этому произведению я давать не хочу… думаю, что с научной точки зрения мое построение можно сильно пощипать» [11. С. 106]. Спустя три недели, 15 марта 1925 г., Трубецкой предлагает жестко ограничить распространение брошюры после ее издания: «Еще большой вопрос, не нужно ли будет ее вообще скрыть от широкой публики. Так, как она у меня до сих пор выходит, она может иметь известный агитационный успех, но может и сильно повредить нам. Обращение с историей в ней намеренно-бесцеремонное и тенденциозное, так что для серьезной

исторической критики она представляет весьма удобное поле и может служить легкоуязвимым местом. Можно было бы застраховаться с этой стороны, заявив в предисловии, что написана она не историком по специальности и представляет из себя только мысли, подлежащие еще разработке специалистов. Но это сильно ослабило бы ее агитационное значение» [11. С. 107–108]. В письме от 28 марта 1925 г. встревоженный Трубецкой еще раз напоминает Сувчинскому, занимавшемуся изданием брошюры в Париже: «Я бы все-таки не хотел ставить своего имени под этим произведением, которое явно демагогично и с научной точки зрения легкомысленно» [11. С. 109]. Менее двух недель спустя, 11 апреля 1925 г., он снова возвращается к этому вопросу: «Я на эту брошюру смотрю не как на свою собственность. В ней и без того – плагиат на плагиате, и при написании ее я много кривил душой в угоду "ударности"» [11. С. 111].

Приведенные свидетельства – мнения оппонентов из числа современников и участников евразийского движения, декларативные заявления самих евразийцев, наконец, личные признания Н.С. Трубецкого, главы и ведущего теоретика движения, – убеждают нас в том, что упреки в неискренности, в сокрытии подлинных мотивов, наконец, в использовании технологий манипуляции сознанием читателя были справедливы. Между тем, что Трубецкой писал, и тем, что он думал на самом деле, существовал разрыв. Констатация наличия этого разрыва принципиально важна для понимания феномена евразийства.

Как ученый, сознание которого формировалось в традициях эпохи модерна, Трубецкой разделял классический (сциентистский) идеал научного знания, т. е. веру в способность научными методами достичь объективной истины. Однако единственной гуманитарной дисциплиной, обладающей научным методом, он считал лингвистику, тогда как история, этнография и другие отрасли гуманитарного знания, по его мнению, все еще находятся на стадии «алхимического развития» [4. С. 67]. Но со временем и они, полагал Трубецкой, дорастут до подлинной научной строгости, соответствующей сциентистскому идеалу. В то же время как человек, переживший и осмысливший опыт русской революции, он пришел к пониманию автономности политического дискурса от дискурса научного. Политик не обязан верить в то, что он говорит, а то, что он говорит, не обязательно должно быть правдой. Но в любом случае то, что говорит политик, должно «работать», т.е. завоевывать умы и сердца людей. Трубецкой, следовательно, ощупью двигался к постмодернистской трактовке идеологии как *инструмента* политической мобилизации масс и, в конечном счете, как инструмента социального конструирования (в частности, конструирования социально-культурных идентичностей).

В то же время было бы опрометчиво видеть в нем хладнокровного политического демагога. Внутренний конфликт, остро переживаемый Трубецким и столь ярко отразившийся в переписке с Сувчинским по поводу указанной брошюры, был вызван его глубокой иррациональной верой в *истинность* евразийского взгляда на Россию, который, однако же, ему не удавалось рационально обосновать на историческом материале. Революция, как справедливо отмечает М. Ларюэль, открыв «азиатский лик России», создала предпо-

сылки для рождения евразийского мифа. В ситуациях «лицом к лицу» с разгулявшейся революционной стихией многие представители образованных слоев фиксировали трансэтнический или евразийский облик революционной массы, представлявшейся им как «сплав» русских и нерусских народов России, едва различимый в своих этнокультурных составляющих. Это была первичная реакция сознания, как бы мгновенный взгляд, выхватывающий из череды микроситуаций образы социальной действительности, которые, повторяясь вновь и вновь, закреплялись в сознании как «евразийский» образ России. Такое восприятие не было обманом чувств, но в то же время не являлось и «объективным отражением» социальной действительности. Это было *мифологически-отрешенное* или *мифологическое* восприятие действительности. Но миф не является всего лишь результатом произвольной фантазии. Миф – это «магическое имя», говоря словами А.Ф. Лосева, рекомбинирующее действительность в интеллектуальном образе, который становится подлинной действительностью для носителя мифологического мышления. «Мифическая отрешенность есть отрешенность от смысла и идеи повседневных фактов, но не от их фактичности» [12. С. 452]. Поэтому миф выступает как реальность, вещественно и чувственно творимая действительность.

Трубецкой, как и многие другие представители русской интеллигенции, был зачарован евразийским ликом русской революции, «пленен» реальностью евразийского мифа. В грандиозном катаклизме 1917–1920 гг. ему открылась *истина* о России. Та истина, в которую он поверил умом и сердцем. Но природа этой истины была иррациональна, мифологична. Не случайно в сборнике «Исход к Востоку» авторы писали о «катастрофическом мироощущении», в атмосфере которого сложились их взгляды. Евразийство, таким образом, есть *идеологическая рационализация* мифа, связанного с русской революцией. Однако в XIX – начале XX в. любая идеология стремилась легитимировать себя через опору на науку, придать себе «наукообразный» характер. Тем более это стремление было присуще творцам евразийства, высокий уровень профессиональных знаний которых в той или иной области гуманитарных наук неоспорим.

Несостоятельность попыток придать иррациональной вере в евразийский миф (евразийское в*и*дение России) удовлетворительное научно-историческое обоснование, как мы видим, четко осознавалась Н.С. Трубецким. В то же время потребность в таком обосновании, заложенная в общественном сознании эпохи модерна, принуждала главного теоретика евразийского движения создавать идеологические тексты, которые он сам характеризовал как «легкомысленные», «тенденциозные», не выдерживающие «серьезной исторической критики». Считая эти тексты полезными с точки зрения политических целей движения, он в то же время стремился сохранять дистанцию по отношению к ним как ученый. Такая двусмысленная позиция приводила к самоотчуждению автора от своих произведений посредством языковой игры, где «сильные» пропозиции ослаблялись подстрочными примечаниями, а рассуждения нередко сводились на «лингвистические трюки». Это заигрывание Трубецкого с музой Клио тонко подметил Иван Ильин, усмотревший в его статьях «явное подсмеивание над слушателем, над собой (говорящим) и над всей “доктриной” в целом» [9. С. 352].

В отличие от Н.С. Трубецкого, другой теоретик движения, П.Н. Савицкий, искренне верил в возможность «научной идеологии» и не усматривал никакого разрыва между научным и политическим дискурсами. Для него как мыслителя был характерен наивный алогизм и эклектизм, проявлявшийся в умении соединять несоединимое, примером чему служит концепт «месторазвития». Как и его идейные противники, большевики («учение Маркса всесильно, потому что оно верно»), Савицкий сводил в единое целое гносеологические и праксиологические аспекты идеологий. В его понимании «истинная идеология» должна быть «несомненно, т.е. абсолютно, обоснованной в своих истоках» и в то же время «самой конкретной жизнью, которую она осмысливает, преобразует и творит» [2. С. 19, 23].

Понимание евразийства как идеологии, феноменологическим ядром которой служит евразийский миф, возвращает нас к проблеме эпистемологической ценности евразийской концепции отечественной истории. «Вопрос об истине не имеет никакого отношения к вопросу об идеологии», – утверждал М. Мамардашвили [13. С. 64]. А евразийское учение с самого начала рассматривалось его творцами и конструировалось ими как эффективный *инструмент* политической мобилизации для борьбы с большевиками, т.е. как *идеология*. Стремясь легитимировать евразийскую идеологию с помощью науки, они привлекали данные из различных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Но поступали с этими данными точно так же, как Трубецкой обращался с историческими фактами. То есть извлекали их из научного дискурса и с помощью различных «лингвистических трюков» преобразовывали их в *идеологемы*, направленные на обоснование евразийского учения в целом.

Идеологическая «обработка» отечественной истории в евразийском духе выразилась, прежде всего, в глубоком разрыве с дореволюционной нарративной историографией, традиционно воспроизводящей сюжеты и композицию русских летописей. Прежде всего, евразийцы решительно отказались от взгляда на отечественную историю как на историю *русского народа* и *русского государства*. В трудах дореволюционных историков России субъектом исторического процесса выступало русское государство и/или русский народ. В евразийской же концепции, как справедливо отметил Г.В. Флоровский, «*подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория,* – даже не народы» [8. С. 370].

Сдвиг фокуса внимания с народа и государства на территорию («месторазвитие») резко изменил ретроспективу в*и*дения отечественной истории. Теперь история русского народа и государства как бы «съехала» в дальний угол между балтийским побережьем и Киевом, превратившись в один из кусочков обширного и пестрого «мозаичного полотна» Евразии, – необъятного пространства, раскинувшегося от Днестра и Немана до Тихого океана, на котором разворачивалась историческая драма взаимодействия кочевых и оседлых народов. Это позволило евразийцам «разорвать» историческую преемственность между Древней (Киевской) Русью и Московским царством, объявив его наследником и преемником «евразийской» империи Чингисхана. Киевская Русь была признана «нежизнеспособным» государством, контролировавшим всего лишь одну из многих речных систем Евразии, «путь из варяг в греки», т.е. систему рек и волоков между Балтийским и Черным морями,

и занимавшим «незначительное место» не только в географии, но также и в истории гигантского «материка» Евразии.

В изображении евразийцев история этого пространства («месторазвития») телеологична, направлена к определенной цели – объединению территории Евразии в одном государственном «теле». Достичь этой цели могли только кочевники, «контролирующие» обширные степи между речными системами, а не оседлые народы, привязанные к этим системам. Таким образом, история Киевской Руси, бывшая ранее в центре отечественного мастер-нарратива, как бы *вытеснялась* евразийцами на его периферию. «В течение первых тысячелетий известной нам истории Евразии, – писал П.Н. Савицкий, – русское (восточнославянское) племя стояло в стороне от большого русла евразийской истории» [2. С. 124]. В центре исторического развития Евразии (а также в фокусе исторического повествования) оказались кочевники – скифы, гунны, авары, монголы: «основными фактами истории Евразии было существование скифской и гуннской держав – с теми эпизодами, которые их окружают и отделяют друг от друга… В промежутках между “гуннской” и “монгольской” эпохами евразийской истории … унификационные тенденции запечатлены в истории авар, турок и т.д.» [2. С. 124].

Историческую миссию объединения Евразии в едином государственном «теле» выполнил Чингисхан – в изображении Трубецкого отнюдь не разрушитель-варвар, а носитель «великой государственной идеи», создатель первой евразийской империи. Русь в ходе монгольского завоевания превратилась в один из улусов, которым правили наместники («губернаторы провинций») русского происхождения. По мере ослабления империи эта провинция во главе с наместниками (московскими князьями) набирала силу. В результате центр власти постепенно смещался из Сарая в Москву. Никакого свержения татаро-монгольского ига не было и в помине, а произошла естественная и постепенная «*замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву*» [14. С. 245]. Куликовская битва в таком контексте утрачивала символическое значение, каким наделяла его дореволюционная историография, превратившись в мелкий, досадный и в целом бессмысленный эпизод отечественной истории. В процессе же *мирной* трансформации монгольской империи в Московское царство, т.е. между XIII и XVI вв. возникла та Русь (народ и государство), у которой с прежней Киевской Русью не было ничего общего, кроме названия.

Началом русской истории в евразийской концепции становилась, таким образом, не Древняя Русь (IX–XIII вв.), как было раньше, а Монгольская империя чингизидов (XIII в.). Россия была объявлена наследницей и продолжательницей монгольской государственной традиции. Завоевание Руси монголами превратилось, в соответствии с этой логикой, из величайшего бедствия в русской истории во благо. «Велико счастье Руси, – писал Савицкий, – что в тот момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, а не кому другому» [2. С. 333]. Генезис великорусского этноса был представлен в сочинениях евразийцев как результат смешения древних славян с тюрками. Русский народ, сохранивший этноним «русские», объявлялся народом евразийским. И русская культура, следовательно, пози-

ционировалась как культура евразийская. Эпизоду перехода части татар на русскую службу Трубецкой придавал громадное значение. Эти новообращенные подданные московского великого князя «сделались одной из надежнейших опор зарождающейся русской государственности, а в то же время, принося с собой традиции и навыки монгольской государственности, персонально закрепляли преемственную связь между монгольской и русской государственностью» [14. С. 252].

Представленная в таком виде концепция отечественной истории, конечно, должна была восприниматься и воспринималась современниками евразийцев как грубое насилие над исторической действительностью и исторической наукой. Она не только порывала со сложившейся традицией отечественного историописания, но также вступала в острое противоречие с известными историческими фактами, а во множестве случаев и сама с собой. Идеологическая предзаданность, идеологическая целерациональность этой концепции были слишком очевидными, чтобы испытывать к ней хоть малейшую симпатию и доверие. Сам по себе этот идеологический конструкт выполнял исключительно служебную функцию в рамках евразийской идеологии. Он призван был обосновать, во-первых, политическое единство России в границах СССР, а во-вторых, смену ее внешнеполитического курса – с прозападного на антизападный.

В XX в. монархическая идея, по мнению евразийцев, себя полностью дискредитировала и уже не способна была обеспечить единство территории российского государства после падения большевистского режима. Скрепить распадающееся тело империи могла только новая идеология социально-экономического, исторического и политического единства разнородных этнокультурных и этноконфессиональных компонентов. Для этого требовалось разрушить представление о российском государстве как о *русском* проекте и заменить его *евразийским* проектом. Так возникла необходимость максимально принизить роль Древнерусского государства в отечественной истории, разорвать историческую преемственность между Киевской и Московской Русью, а начало русской истории отнести на 500 лет позднее – к образованию монгольской империи. Логика идеологического конструирования влекла за собой возвеличивание Чингисхана как носителя «великой» государственной идеи, игнорирование исторического значения национально-освободительной борьбы русского народа, преувеличение роли тюркского компонента в формировании русской государственности и т.д. Позиционирование России как Евразии, а русского народа – как народа евразийского закрепляло на идеологическом уровне также и новые внешнеполитические приоритеты будущей посткоммунистической России, которая, согласно воззрениям теоретиков евразийства, должна возглавить борьбу стран и народов Азии против политической и культурной гегемонии Запада.

Николай Трубецкой, главный «изобретатель» евразийской конструкции прошлого, отлично понимал ее целерациональность, искусственность и, как ученый, мучительно стыдился того, что делал, будучи идейным лидером евразийского движения. Но он полагал, что ради достижения политических целей можно поступиться научной добросовестностью. «Сознание того, – писал Трубецкой, – что героические усилия и жертвы бойцов белого движения ока-

зались напрасными благодаря идеологической и практической беспомощности его невоенных участников, – это сознание и вызвало к жизни евразийство как стремление создать новую идеологию, более соответствующую по своему масштабу великой задаче преодоления коммунизма» [14. С. 384].

Идеология, в его понимании, была оружием, а всякое оружие следует использовать, если оно позволяет добиться желаемых результатов. Вспомним также, что Трубецкой со студенческих лет считал историю в научном отношении менее строгой дисциплиной, чем филология. И, даже отдавая себе отчет в искусственном характере евразийской реконструкции прошлого, Трубецкой продолжал верить в истинность евразийского взгляда на Россию в целом. Он был убежден в том, что профессиональный историк мог бы лучше, чем он, справиться с задачей и «научно» обосновать евразийскую версию отечественной истории. Поэтому Трубецкой так обрадовался, когда к их движению примкнул Г.В. Вернадский, переехавший в 1922 г. из Афин в Прагу.

Увлеченность Вернадского евразийством была вполне искренней. Как и многие другие мыслители русской эмиграции, пережив опыт революции и Гражданской войны, воочию разглядев «евразийский лик» России, он находился во власти евразийского мифа. Стремление некоторых современных авторов представить Вернадского «евразийцем до евразийства», на наш взгляд, не имеет оснований. До революции Вернадский был членом кадетской партии, лично знаком с П.Н. Милюковым и другими партийными деятелями, т.е. в политическом отношении примыкал к либералам-западникам. Его первые научные статьи, посвященные истории Сибири, не заключали в себе ничего специфически евразийского. Позднее он изучал историю русского масонства под формальным научным руководством С.Ф. Платонова, специалиста в области истории допетровской Руси, далекого от русского партикуляризма и воинствующего антизападничества. Лишь в ходе революции в мировоззрении Вернадского, а также в его политических пристрастиях и научных интересах происходит заметный перелом. Оказавшись в 1917 г. в Перми, Вернадский вновь заинтересовался историей Сибири. Он даже начал изучать татарский язык у местного муллы. Одновременно с этим он испытал возрождение религиозной веры. «В Перми я, можно сказать, вернулся к церкви», – вспоминал Вернадский [15. С. 144]. В 1920 г. в Крыму он продолжал изучать татарский язык и арабскую графику, а после эвакуации в Константинополь – турецкий язык. Большое впечатление на Вернадского в Крыму произвела лекция Максимилиана Волошина, призывавшего к созданию «третьей силы», которая должна встать над схваткой белых и красных и остановить братоубийственную войну. Все это вместе взятое, как и живые впечатления, вынесенные им из революционного урагана, подготовили Вернадского к восприятию идеологии евразийства.

Личное знакомство и беседы с лидерами движения, в особенности с Николаем Трубецким, загоревшимся идеей привлечь Вернадского к написанию исторического труда в евразийском ключе, стали основой той научной программы, осуществлению которой он посвятил дальнейшую жизнь. Однако в ходе этой работы Вернадский все больше освобождался

от пут евразийской мифологии. Научная критика, научный подход постепенно вытесняли в его трудах идеологемы и мифологемы евразийской концепции Трубецкого – Савицкого. В то же время Вернадский сохранил и то истинное, что содержал в себе евразийский взгляд на русскую историю. Его классическая монография «Монголы и Русь» (1953) представила не только новый для отечественной историографии тип исторического нарратива, но также и образец евразийской интерпретации русской истории. К сожалению, после Вернадского представители евразийского направления вновь погрузились в пространство мифа и начали возрождать наиболее искусственные и эпатажные идеологические «конструкты» Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Евразийцы, набирая обороты, двинулись вспять, к истокам, от науки к мифологии.

Литература

1. *Ларюэль М.* Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи / пер. с фр. Т.Н. Григорьевой. М.: Наталис, 2004. 287 с.

2. *Савицкий П.Н.* Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 464 с.

3. *Карсавин Л.П.* Философия истории. М.: АСТ, Хранитель, 2007. 510 с.

4. *Кловер Ч.* Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи / пер. с англ. Л. Сумм. М.: Фантом Пресс, 2017. 496 с.

5. *Бердяев Н.А.* Утопический этатизм евразийцев («Евразийство». Опыт систематического изложения) // Н.А. Бердяев о русской философии / сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. Ч. 2. С. 198–204.

6. *Бердяев Н.А.* Евразийцы // Путь. Кн. 1 (I–VI). М.: Информ-Прогресс, 1992. С. 107–111.

7. *Кизиветтер А.А.* Евразийство // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 315–328.

8. *Флоровский Г.В.* Евразийский соблазн // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 354–385.

9. *Ильин И.А.* Самобытность или оригинальничание? // Мир России – Евразия: Антология / сост.Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 349–354.

10. *Предчувствия* и свершения: Предисловие к сборнику «Исход к Востоку» // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 23–26.

11. *Трубецкой Н.С.* Письма к П.П. Сувчинскому: 1921–1928 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. К.Б. Ермишиной. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», Русский путь, 2008. 384 с.

12. *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 391–599.

13. *Мамардашвили М.* Очерк современной европейской философии. СПб.: Азбука, 2012. 608 с.

14. *Трубецкой Н.С.* Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000. 556 с.

15. *Вернадский Г.В.* Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. №1. С. 129–148.

Igor V. Lihomanov. Novosibirsk Higher Military Command School (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: graingar@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/17

Vladimir A. Boyko. Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: vboyko100@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/40/17

EURASIANS AND MUSE OF KLIO: FROM MYTHOLOGY TO A SCIENCE

Key words: eurasianism, ideology. methodology and philosophy of history, historical narrative

This article discusses epistemological importance of the Eurasian interpretation of national history. Semantic core of this doctrine is ideological rationalisation of the myth connected to Russian Revolution. Eurasians have not created own philosophy of the history, meanwhile they have offered original perspective of perception of a historical material according to which the history of Russia has found a new and unusual view. They have resolutely refused to consider national history as history of *Russian people* and *Russian state*.

The subject of historical process in their works and essays is the territory of the country. According to Eurasians the history of this space has theleological character and directs to a definite purpose of unification of the whole territory of Eurasia in one state "body".

The Eurasian doctrine was initially perceived and designed by its creators as the effective tool of political mobilization for struggle against the Bolsheviks, that is as *an ideology*. They used materials and data connected to various humanitarian and natural-science disciplines on purpose to legitimize the Eurasian ideology by means of a science. These facts were taken from a scientific discourse and transformed to the ideological constructs directed to a substantiation of the Eurasian doctrine as a whole. Failure of attempts to give a satisfactory scientifically-historical proving to irrational belief in the Eurasian myth was realized by some Eurasians, and in particular by N.S. Trubetskoy.

At the same time the requirement for such substantiation, put in public consciousness of a modern history, forced the main theorist of the Eurasian movement to create ideological texts which he characterized as "thoughtless", "tendentious", not protected from «the serious historical criticism». Trubetskoy believed that these texts are useful to the Eurasian movement from the point of view of its (movement) political ends, but aspired to keep a distance in relation to them as the scientist.

The Eurasian conception of national history was perceived by their contemporaries as rough violence over the historical reality and the historical science. It broke off with tradition of a native historical science, conflicted to known historic facts, and in set of cases and with itself. This ideological construct carried out exclusively official function within the limits of the Eurasian ideology. Eurasians aspired to destroy the view of Russian state as Russian project and wanted to replace it with its Eurasian project. Positioning of Russia as Eurasia, Russian people as Eurasian people fixed at ideological level the new foreign-policy priorities of the future postcommunist Russia which, according to views of Eurasian theorists, should head struggle of the countries and people of Asia against political and cultural hegemony of the West.

References

1. Laruelle, M. (2004) *Ideologiya russkogo evraziystva, ili Mysli o velichii imperii* [Ideology of Russian Eurasianism, or Thoughts about the greatness of the empire]. Translated from French by T.N. Grigorieva. Moscow: Natalis.

2. Savitskiy, P.N. (1997) *Kontinent Evraziya* [The Continent of Eurasia]. Moscow: Agraf.

3. Karsavin, L.P. (2007) *Filosofiya istorii* [Philosophy of History]. Moscow: AST, Khranitel'.

4. Clover, C. (2017) *Chernyy veter, belyy sneg. Novyy rassvet natsional'noy idei* [Black wind, white snow. A new dawn of the national idea]. Translated from English by L. Summ. Moscow: Fantom Press.

5. Berdyaev, N.A. (1991) Utopicheskiy etatizm evraziytsev ("Evraziystvo". Opyt sistematicheskogo izlozheniya) [Utopian statism of Eurasians (Eurasianism. The experience of systematic exposition)]. In: Emelyanov, B.V. & Novikov, A.I. (eds) *N.A. Berdyaev o russkoy filosofii* [N.A. Berdyaev about Russian philosophy]. Sverdlovsk: Ural State University. pp. 198–204.

6. Berdyaev, N.A. (1992) Evraziytsy [Eurasians]. *Put'*. 1 (I–VI). pp. 107–111.

7. Kizivetter, A.A. (1995) Evraziystvo [Eurasianism]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 315–328.

8. Florovskiy, G.V. (1995) Evraziyskiy soblazn [Eurasian temptation]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 354–385.

9. Ilin, I.A. (1995) Samobytnost' ili original'nichanie? [Distinctness or Eccentricity?]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 349–354.

10. Anon. (1995) Predchuvstviya i sversheniya: Predislovie k sborniku “Iskhod k Vostoku” [Presentiments and achievements: Preface to the collection “Exodus to the East”]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 23–26.

11. Trubetskoy, N.S. (2008) *Pis'ma k P.P. Suvchinskomu: 1921–1928* [Letters to P.P. Suvchinsky: 1921–1928]. Moscow: Biblioteka-fond “Russkoe Zarubezh'e”, Russkiy put'.

12. Losev, A.F. (1990) *Iz rannikh proizvedeniy* [From early works]. Moscow: Pravda. pp. 391–599.

13. Mamardashvili, M. (2012) *Ocherk sovremennoy evropeyskoy filosofii* [An Outline of Modern European Philosophy]. St. Petersburg: Azbuka.

14. Trubetskoy, N.S. (2000) *Nasledie Chingiskhana* [The Legacy of Genghis Khan]. Moscow: Agraf.

15. Vernadskiy, G.V. (1995) Iz vospominaniy [From memoirs]. *Voprosy istorii*. 1. pp. 129–148.

УДК 234.24+276
DOI: 10.17223/1998863X/40/18

С.С. Логиновский

ВАРСАНУФИЙ ВЕЛИКИЙ О КРИТЕРИИ ИСТИНЫ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ТВОРЕНИЙ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Рассматриваются представления св. Варсануфия Великого (VI век) о гносеологическом статусе творений Отцов Церкви в свете святоотеческого учения об истине. Под Истиной Святые Отцы понимают Бога, Который как Личность Сам о Себе свидетельствует через уподобившихся Ему святых. Однако не все, что содержится в творениях святых, инспирировано Богом: святые могут излагать и усвоенные в процессе обучения мнения тех или иных людей, не причастных Истине. Критерием различения Божественного знания и человеческих мнений является указание самих святых на гносеологический статус излагаемого ими учения: как непосредственно общающиеся с Истиной, святые, по мнению Варсануфия, не могут ни ошибаться, ни обманывать.

Ключевые слова: *религиозная философия, гносеология, истина, христианство, откровение, Отцы Церкви, Варсануфий Великий.*

Проблема истины относится к числу важнейших проблем философии. Одним из самых сложных аспектов этой проблемы является нахождение критерия истины, поиск которого во многом зависит от того, как понимают истину. Целью данной статьи является рассмотрение представлений Отцов Церкви о критерии истины на примере рассуждений о гносеологическом статусе творений Отцов Церкви преподобного Варсануфия (в другом варианте – Варсонофия) Великого (Газского, Палестинского).

Для представителей философии Нового времени, чей дискурс до сих пор во многом является определяющим в данном вопросе, «истина есть не что иное, как соответствие суждения той вещи, о которой оно выносится» [1. С. 219]. В этом смысле истина есть признак человеческих знаний (мыслей), но не любых, а только таких, в которых предметы и явления внешнего мира «действительно таковы, как они существуют» [2. С. 439] сами по себе, вне сознания субъекта познания.

Отцы Церкви, признавая и используя такое понимание истины, не ограничиваются им. Они считают, что, кроме истины как истинных знаний, существует и независимая от какого-либо сознания и соответствия чему бы то ни было самосущая Истина. Истиной в этом смысле для святых Отцов Церкви является Бог, «потому что, – объясняет Григорий Палама, – это имя Господь, прежде всего, усвоил Себе. *Я есть Истина* (Ин. 14, 6), говорит, и *Дух Истины, Который от Отца исходит* (Ин. 15, 26)» [3. С. 246].

Другими словами, для Отцов Церкви истина это не только гносеологическая, но и онтологическая категория. И наоборот, любое бытие для них может и должно быть рассмотрено в его гносеологическом аспекте: как истинное или неистинное (ложное). Критерием для отнесения того или иного вида

бытия (прежде всего, разумного) к истинному или неистинному является степень его причастности к Истине (Богу). Причастность Истине, уподобление Ей, предполагающее изменение онтологического статуса уподобляющегося, есть одновременно и акт познания Истины.

Указанные варианты понимания истины не только совместимы, но и предполагают друг друга. В самом деле, человеку, который только собирается уподобиться Богу, необходимы знания (о том, каков Бог и что необходимо делать, дабы уподобиться Ему), и знания эти должны быть соответствующими действительности, истинными.

Источником таких знаний, по мнению Отцов Церкви, является опять же Бог. Причин этого несколько. Во-первых, сам по себе процесс познания Бога в силу совершенного Его отличия от тварных существ объективно весьма затруднителен. Во-вторых, вследствие грехопадения этот процесс стал еще более проблематичным: в результате действия греха человек нередко забывает даже о самом существовании Бога (см.: [4. С. 101–122]). В-третьих, Бог может (как Личность) и *хочет* (как Любовь), *чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2, 4), ведь Он сам поставил перед человеком (и всем тварным бытием) такую цель. Поэтому, как говорит преп. Иоанн Дамаскин, Бог, «как всеведущий и промышляющий о благе каждого, то, что нам потребно знать, открыл нам, а чего не можем понести, о том умолчал» [5. С. 3–4].

Это самораскрытие Бога, Божественное Откровение, представлено, как считают Отцы Церкви, прежде всего, в Св. Писании. Всеведение и безошибочность Бога делают Его Откровение важнейшим источником знаний для человека. Но, несмотря на всю безусловную важность Св. Писания для Святых Отцов, оно не является единственным источником знаний о Боге. Человек может и должен, изменившись, уподобиться Истине, познав Ее непосредственно (в доступной тварным существам мере).

Само появление Св. Писания Отцы Церкви считают вынужденной мерой, необходимой лишь после грехопадения и утраты способности к непосредственному Богообщению. При этом даже такое опосредованное общение с Богом дает максимальный эффект только в том случае, если читающий Св. Писание стяжал благодать Св. Духа, ибо, как подчеркивает свт. Григорий Чудотворец, «одна и та же сила необходима и для пророчествующих и для слушающих пророков, и никто не может слушать пророка, если ему не дал разумения Своих речей Сам Дух, действовавший в пророках» [6. С. 47]. Другими словами, по мнению Святых Отцов только сама Истина может адекватно интерпретировать Себя.

Итак, лучшим источником Истины является Сама Истина, которая открывает Себя посредством уподобившихся Ей святых людей. Для Отцов Церкви принципиально важно, что «святые не говорят что-либо от себя, но Бог говорит в них, как Ему угодно, иногда прикровенно, иногда явно» в соответствии со словами Христа, Сказавшего: *не вы будете глаголющии, но Дух Отца вашего, глаголяй в вас* (Мф. 10, 12) [7. С. 463]. Особенно важны святые, оставившие после себя «писания» (тексты), поскольку благодаря этому их опыт становится доступным и другим людям, в том числе тем, кто не имеет подобного опыта.

Однако Святые Отцы хотя и святые, но все же люди. Общаясь с Богом, они не превращаются в безвольные неразумные «приемники», механически транслирующие Божественное Откровение. Говоря о своем мистическом опыте, Отцы Церкви всегда описывают его как встречу двух личностей – человеческой и Божественной. При этом, как подчеркивает П. Минин, «даже на высших ступенях мистической жизни, когда он (человек. – *С.Л.*) всецело поглощен созерцанием "Славы Божией", его не оставляет сознание различия, лежащего между его конечным "я" и Божеством» [8. С. 342].

В этой связи и возникает главный для данной статьи вопрос: не привносит ли человек, пусть и святой, в полученное им Божественное Откровение что-то от себя, что-то, что искажает Истину? Иначе: допустимо ли считать все, что говорили Святые Отцы, происходящим от Бога и если нет, то как отличить в их творениях Истину от человеческих мнений или, скажем резче, от заблуждений? Важность этого вопроса обусловлена тем, что «христианство как тотальное духовное явление требовало от своих адептов максимальной лояльности, – в отличие, скажем, от традиционного античного философствования, где существование самых разных течений превращало истину в нечто совершенно формальное, а роль внешних ограничителей играли лишь правила логики и сложившиеся стереотипы понятийного мышления» [9. С. 17].

Ответ на этот принципиально важный вопрос был дан преп. Варсануфием Великим. Его рассуждения на эту тему имеют большое значение для святоотеческой гносеологии и помогают лучше понять ее специфику как гносеологии именно религиозной.

Преподобный Варсануфий Великий жил в VI веке в Палестине. Родился он в Египте. Еще в юном возрасте он становится монахом, подвизаясь в окрестностях Газы Палестинской, в обители аввы Серида (см. подробнее: [10]).

Согласно церковному преданию, достигнув высот подвижнической жизни, Варсануфий получил от Бога дар предвидения и пророчества. Такого же дара удостоился его ученик Иоанн, прозванный Пророком. Слава об их даре приводила к преподобным множество самых разных людей, задававших им разнообразные вопросы. Эти 850 вопросов вместе с ответами на них, данными преподобными, собраны в книге под названием «Руководство к духовной жизни». В ответе на один из вопросов, связанных с оригенистскими спорами – вопрос 611-й, – Варсануфий и раскрывает свое понимание гносеологического статуса творений Святых Отцов.

Оригенистские споры, разгоревшиеся во времена жизни преподобного в Палестине, – это споры вокруг учения Оригена разделявших его взгляды Дидима, Евагрия Понтийского и их последователей, в немалом количестве существовавших среди палестинских монахов (см. подробнее: [11. С. 570–579]).

Согласно учению Оригена, изложенному в трактате «О началах», Бог сотворил конечное число во всем равных нематериальных умов [12. С. 203–204, 209]. Впоследствии многие из них, будучи существами тварными, несовершенными, в большей или меньшей степени отпали от Бога. В наказание они стали душами и получили грубые материальные тела, став людьми [12. С. 205, 396]. Таким образом, по Оригену, Бог не творил человека. Человек (для Оригена – это душа) есть падшая, ущербная модификация бестелесного

ума [12. С. 199–201]. Впрочем, человек, по мнению Оригена, не является низшей точкой падения. Те умы, которые отпали еще больше, получили тела еще хуже, чем у людей, – холодные и темные – и стали духами злобы, демонами. Однако, всегда обладая свободной волей, все отпадшие от Бога умы могут вернуться в изначальное состояние чистоты. Более того, по мнению Оригена, отпавшие умы не только могут, но рано или поздно обязательно вернутся к первоначальному единству с Богом. Это относится и к духам злобы и даже к их главе дьяволу. Именно на это – всеобщее восстановление (апокатастасис), – по мнению Оригена, указывает апостол Павел, говоря, что в конце *будет Бог все во всем* (1 Кор. 15, 28).

Учение Оригена, более неоплатоническое, нежели христианское, вызывало споры как при жизни, так и после кончины его создателя. Многие Отцы Церкви осуждали систему, развиваемую в трактате «О началах» как нехристианскую. В конечном итоге учение Оригена, представленное в этом трактате, было осуждено Церковью, вначале на Константинопольском соборе 541 года, а затем в 551 году на Пятом Вселенском соборе (см.: [11. С. 579-583]).

Несмотря на это, сторонники осужденных положений Оригена не желали признавать свою неправоту и старались различными способами доказать истинность своих взглядов. Одним из используемых ими способов доказательства была ссылка на Отцов Церкви, в ортодоксальности писаний которых не было сомнений. Поскольку в действительности подтверждение взглядов Оригена у Отцов Церкви отсутствовало, оригенистам приходилось различным образом искажать их высказывания (например, вырывать из контекста и снабжать собственными комментариями, в контексте которых они приобретали другое звучание).

Впрочем, оригенисты не всегда искажали смысл высказываний святых отцов. Пусть и редко, но иногда и у православных отцов встречались высказывания, весьма схожие с некоторыми положениями Оригена. В частности, святитель Григорий Нисский признавал апокатастасис, хотя и понимал его не так, как Ориген и его крайние последователи. Так, святитель решительно отрицает учение о предсуществовании душ, развиваемое Оригеном, замечая, что те, кто, подобно Оригену, «утверждают, что души до жизни во плоти имеют другой образ жизни, по моему мнению, держатся еще языческих баснословных учений о переселении души из одного тела в другое» [13. С. 136]. Свт. Григорий Нисский не только показывает несоответствие этого учения Св. Писанию, но и указывает на его логическую противоречивость. Это сразу помещает учение об апокатастасисе у Григория в другой контекст. Если у Оригена в конечном итоге все превращаются (точнее – возвращаются в утраченное изначальное состояние) в ангелов (умов), то у Григория человек и преображаясь (уподобляясь Богу) остается человеком. Для Оригена человек – это падшая, греховная и поэтому преходящая форма бытия умов, а для Григория – самая ценная и непреходящая форма тварного бытия, единственная удостоенная чести быть образом Бога.

Тем не менее пусть и по причинам, отличным от Оригена, у святителя было учение об апокатастасисе. Хотя некоторые православные авторы, например Константинопольский патриарх Герман, пытались доказать, что все упоминания об апокатастасисе у святителя Григория Нис-

ского являются вставками, сделанными оригенистами, большинство как древних, так и современных авторов считают иначе. «Идеи о всеобщем апокатастасисе, – резюмирует позицию большинства митрополит Макарий (Оксиюк), в специальном исследовании, посвященном данной проблеме, – рассеяны по сочинениям св. Григория Нисского так, что внутренняя, логическая связь и грамматический строй речи не позволяют считать их вставленными рукой интерполятора. Мнение о всеобщем апокатастасисе святитель Нисский высказывает в своих сочинениях не случайно или мимоходом. Напротив, оно глубоко коренится в других основных его воззрениях»» [14. С. 573]. В итоге, рассмотрев все аргументы, митрополит приходит к выводу, что «мы не имеем никаких оснований для признания того положения, что сочинения этого Св. Отца интерполировались, и что этот святитель не учил об апокатастасисе» [14. С. 574]. Характерно, что и в разгар оригенистских споров, несмотря на все связанные с этим проблемы, православные не отрицали наличия у свт. Григория Нисского учения об апокатастасисе.

Учитывая авторитет святителя Григория Нисского, оригенисты особенно настойчиво ссылались на него, пытаясь доказать свою правоту. В этой связи монахи и спрашивают преподобного Варсануфия: «Почему такой человек не говорит справедливо, как прилично было бы мужу Святому, сподобившемуся беседовать по (внушению) Духа Святого» [7. С. 386]? Далее братия выводит разговор на новый уровень, говоря, что «также и о рае некоторые Отцы и учители не согласны между собой, говоря, что он не есть чувственный, но мысленный. И в других главах Писания можно найти некоторое несогласие. Просим тебя, Владыко, объясни нам сие, чтобы просвещенные вами, мы прославили Бог и не сомневались во Святых Отцах наших» [7. С. 386]. Очевидно, что этот вопрос имеет принципиальное значение для святоотеческой гносеологии: на примере конкретных высказываний свт. Григория Нисского и некоторых других Отцов Церкви ставится вопрос о гносеологическом статусе их творений, о том, в какой степени они причастны Истине и могут ли они содержать заблуждения.

Отвечая на вопросы братии, Варсануфий прежде всего считает необходимым подчеркнуть, что «время дано нам для того, чтобы исследовать наши страсти, плакать и рыдать (о них)» [7. С. 385], а не для того, чтобы, оставив эти «богоугодные спасительные занятия», рассуждать о недоступных человеку и ненужных для спасения предметах оригенистских споров (ангельских чинах, посмертном бытии, конечной судьбе тварных существ). Тот минимум, который необходимо знать об этом для спасения, сообщен в Св. Писании и разъяснен в Св. Предании. Все, выходящее за эти рамки, есть праздное и нередко опасное любопытство, о котором «Небеса ужасаются» и «земля сотрясается». В этом подчеркивает авва, на Страшном Суде «вас не спросят, почему вы не знаете или не изучили сего» [7. С. 388].

Этими словами преподобный хочет показать, что христианство – это не есть еще одна философская школа, последователи которой в процессе рассуждения создают всестороннее учение о бытии, в котором рассматриваются все без исключения вопросы. Христианство – это образ жизни, приводящий к спасению (уподоблению Богу), а христианин – этот тот, кто должен жить по

заповедям Христа, которые достаточны для спасения, хотя и не открывают людям всех тайн бытия, поскольку это не нужно для спасения. В конце пути, достигнув обожения, христианин сможет познать эти тайны (хотя вряд ли будет иметь такое желание, пребывая вместе с Тем, кто неизмеримо выше всякого тварного бытия), но интересоваться ими в начале или даже середине пути – это ошибка, которая может серьезно препятствовать достижению цели (уподобления Богу).

Тем не менее, понимая всю важность поставленного вопроса, авва все же дает на него развернутый ответ.

Однозначно осуждая оригенистское учение как «догматы языческие, пустословие людей, которые думают о себе, что они нечто значат, порождение прелести, [которые] не к свету ведут тех, которые им веруют, но в тьму» [7. С. 383], авва не считает возможным распространить это осуждение на свт. Григория Нисского. Объясняя причину этого, Варсануфий излагает учение о гносеологическом статусе творений святых отцов.

Начинает авва с фундаментального для христианства различения Божественной и тварной природы. Святые, говорит Варсануфий, будучи людьми, имеют тварную природу, по причине чего они не могут до конца познать не только совершенно непознаваемую сущность Бога, но и доступные тварным существам Божественные действия. Уже поэтому не следует ожидать от святых отцов знания всей полноты Истины.

Далее авва переходит к выяснению источников знаний святых отцов, которые не всегда бывают безупречными, что также может создавать определенные трудности.

Во-первых, будучи святыми, они имели возможность получать знание непосредственно от Бога, и это знание всегда является истинным.

Во-вторых, кроме Бога у святых были человеческие источники знаний, которые как человеческие могут предоставлять уже не только истинные, но и ложные знания. Эти источники также можно разделить на несколько видов.

Некоторые знания святые добывали сами, путем наблюдений и размышлений. Бог для того и дал человеку разум, говорит Варсануфий, чтобы он все делал не спонтанно, но по размышлении.

В-третьих, источником человеческих знаний для святых отцов являются окружающие их (не обязательно физически, но и в виде созданных ими текстов) люди. В принципе окружающие святого люди могут быть источником и Божественного знания, если они сами святые или передают Божественное знание, полученное святыми. Однако Варсануфий рассматривает другой возможный вариант – когда окружающие святого люди передают ему человеческое знание, созданное либо ими самими, либо кем-то третьим.

Важнейшим подвидом второго вида источников знаний, т.е. людей, окружающих святого и оказывающих на него влияние, являются учителя святого. При этом даже у святого мужа учителя могут быть либо полностью, либо частично заблуждающимися, как, например, Ориген – один из учителей святителя Григория Чудотворца. «Святые, – говорит Варсануфий, – сделавшись учителями, или сами собою, или принуждаемые к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новое уче-

ние, но вместе с тем сохранили и то, что приняли от прежних учителей своих, т.е. учение неправое» [7. С. 387–388].

Такая ситуация, по мнению аввы, хотя и естественна, но не является неизбежной. Варсануфий говорит, что, для того чтобы отличить истину от заблуждения, святому достаточно помолиться, спросить Бога о том, что из усвоенного им – истина, а что – ложь. Однако случается, что святые не пользуются этим способом проверки имеющихся знаний, т.е. «преуспев впоследствии и сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых их учителей: Духом ли Святым внушено было то, что они им преподали, но, почитая их премудрыми и разумными, не исследовали их слов» [7. С. 388]. В результате этого «мнения учителей их перемешались с их собственным учением, и Святые сии говорили иногда то, чему научились от своих учителей, иногда же то, что здраво постигали собственным умом» [7] при содействии Духа Святого.

Таким образом, как считает авва Варсануфий, даже святой человек, достигший высот доступного человеку знания самосущей Истины, может оказаться ретранслятором заблуждений своих не всегда правых учителей. И хотя, строго говоря, эти заблуждения не созданы самим святым, они все же ассоциируются с ним, тем самым необоснованно получая такой же высокий статус, как и знания, полученные им как святым от Бога. Варсануфий настаивает на том, что это неверно и опасно.

По мнению преподобного, правильный подход к творениям Святых Отцов заключается в четком различении знаний, полученных ими от Бога (и поэтому всегда истинных), от результатов их собственных размышлений и размышлений их учителей (т.е. всех, кто на них повлиял), которые как люди не чужды ошибок. Критерием этого различения, критерием истины, является указание самих Святых Отцов на источник излагаемых им знаний. «Когда слышишь, что кто-либо из них говорит о себе, что он от Духа Святого слышанное поведает, то сие несомненно, и мы должны тому верить. Если же (Святый муж) и говорит о вышеупомянутых (ошибочных мнениях своих учителей. – *С.Л.*), то не найдешь, чтобы он подтверждал слова свои, как бы имея утверждение свыше» [7. С. 388].

Подобный критерий может показаться как минимум наивным и не выдерживающим никакой критики. В самом деле, вдруг святой сознательно хочет обмануть своих читателей или он просто как человек ошибается, сам этого не подозревая? Но рассуждать так можно, только если смотреть на данные рассуждения вне того контекста, в котором они существуют. Если же попытаться оценить данный критерий в контексте всей системы христианского мировоззрения, то он уже не будет выглядеть наивно, но, напротив, будет логичен и неизбежен.

В самом деле, с точки зрения Отцов Церкви, во-первых, святой не может обманывать именно потому, что он святой. Обман присущ несовершенным людям, рабствующим греховным страстям. Святой же, став новым человеком, *новой тварью во Христе* (2 Кор. 5, 17), не имеет причин для сознательного обмана ни себя, ни других.

Во-вторых, уподобившись Истине, святой получает способность различать истину от лжи. Хотя, как видно из рассуждений Варсануфия, эта способность не действует автоматически, а святой, к сожалению, не всегда пользуется ею, в принципе он всегда может узнать непосредственно у Истины, где Она, а где – противное Ей. И если отдельный святой может и забыть вопросить Бога о статусе имеющихся у него знаний, то другие святые исправляют его «недоработку».

В связи с ответом Варсануфия, разрешившим первое недоумение братии относительно Святых Отцов, возникает новое недоумение, связанное с позицией Бога в этом вопросе: «Почему, – спрашивает братия, – Бог попустил таким мужам иметь неправильные мнения, хотя они не просили о сем (разумении); но почему не дано оно им *туне* для отвращения вреда, который могут получить впоследствии читающие» [7. С. 389] их творения?

Решение этой проблемы Варсануфий видит в фундаментальном для святоотеческой антропологии утверждении свободы воли человека. Благодаря ее наличию для человека возможно и необходимо свободное волеизъявление для достижения чего-либо, в том числе Божественного указания на статус знания, которым обладает святой. Все требования устранения Богом любого греха и заблуждения – сформулированные как в общем виде, так и в частном (например, применительно к статусу известных Святым Отцам знаний) – неизбежно предполагают устранение свободной воли человека. В самом деле, если Бог постоянно будет устранять все зло, то «в таком случае жизнь человека будет уже не свободная, но подверженная насилию» [7. С. 389]. Поэтому вместе со злом исчезнет и добро, поскольку и то, и другое коренится в свободной воле человека. «То, что происходит насильно или по естественной необходимости, не добродетель» [15. С. 65], заявляет преп. Иоанн Дамаскин, выражая общую для всех Святых Отцов позицию по данному вопросу. Если Бог хотел такого отсутствия греха, он бы не создал человека. Само существование человека становится при таком подходе к проблеме устранения греха ошибкой. Но для Святых Отцов Церкви Бог как Всеблагой и Всеведущий не ошибается, из чего для них с необходимостью следует ложность подобных «проектов» по устранению греха.

Отцы Церкви считают, что Бог не только сотворил человека, но и неотлучно его сопровождает, во всем помогая Своему творению, но только если творение само этого хочет. В частности, подчеркивает Варсануфий, если бы святые спросили бы Бога о полученных от других людей знаниях, «**то получили бы** (вразумление), **ибо Он сказал:** *всяк просяй приемлет, и ищай обретает* (Мф. 7, 8)» [7. С. 390].

Еще одну сторону данной проблемы преподобный рассматривает, отвечая на другой (787-й) вопрос, обращенный к нему. Авва отмечает, что, несмотря на то, что на вопрошание о характере полученных от других людей знаний Бог всегда дает ответ святым, тем не менее «не все, просимое ими у Бога, получали они, что получали, то и написали нам» [7. С. 464]. Другими словами ни у одного святого отца не содержится вся полнота доступной человеку Истины. Даже апостолы, подчеркивает авва, не обладали всей полнотой Истины, но *отчасти знали*. Бог не дает всей полноты знаний святым соз-

нательно, щадя «святых, чтобы они не превозносились откровениями, которые явно даются им» [7. С. 390].

Что касается читателей творений святого, то, по мнению преподобного, причиной их заблуждений чаще всего являются не те или иные высказывания святых, а обусловленное грехом неправильное мировоззрение читающего. В конце концов, подчеркивает авва, и в Св. Писании «находятся такие изречения, о которые претыкаются не ведающие и не разумеющие духовного смысла Писания» [7. С. 389–390], что говорит не о несовершенстве Св. Писания, а о несовершенстве читающих.

Главное же, подчеркивает Варсануфий, заключается в том, что даже в тех случаях, когда святые не вопросили Бога о гносеологическом статусе полученных от других людей знаний, Бог не оставляет читателей их творений без указаний на то, как найти Истину, т.е. Его. Действительно, ищущий Бога всегда может обратиться за разъяснением каких-либо непонятных мыслей одного святого к творениям других святых. «Как Бог не вещал исключительно чрез одного из них, а оставленное одним по воле Божией сказано другим, так творил Бог и со Святыми, после них бывшими: о чем одни говорят сомнительно, то истолковывают следующие за ними, чтобы Бог всегда прославлялся чрез Святых Своих. Ибо Он есть Бог первых и последних» [7. С. 390]. Другими словами, следует рассматривать решение той или иной проблемы не только у одного отдельно взятого Отца Церкви (например, того же свт. Григория Нисского), но смотреть, как решали данную проблему другие отцы Церкви, ведь с церковной точки зрения «"все отцы" не могут ошибаться в одном и том же вопросе вероучения» [9. С. 16].

То же самое можно сказать и о полноте раскрытия христианского вероучения в творчестве того или иного Отца Церкви. Поскольку Святых Отцов множество, постольку нет необходимости в том, чтобы один из них с предельной ясностью раскрыл всю полноту хранимой Церковью Истины. Взятые все вместе творения Отцов Церкви, составляющие Св. Предание, с достаточной для спасения души точностью являют полноту Божественной Истины, доступной и необходимой человеку.

Таким образом, в деле постижения Истины недопустимо то, что можно назвать духовным номинализмом: хранимое Церковью вероучение не складывается из творчества отдельных, в себе самих замкнутых Святых Отцов. Хранимое Церковью вероучение Священное Предание первично по отношению к Святым Отцам, как бы много кто из них ни сделал для его утверждения и раскрытия. Как справедливо замечает в этой связи А.А. Столяров, с христианской точки зрения истина – это «достояние не индивидуальное, а корпоративное: сначала (в порядке логического первенства) она принадлежит всему христианскому сообществу, а уж затем – группе лиц или отдельному лицу» [9. С. 14], сам авторитет писаний которого определяется мерой соответствия этих писаний хранимому Церковью вероучению.

Интересно, что свои собственные рассуждения о гносеологическом статусе творений Святых Отцов преп. Варсануфий в полном соответствии со своим учением прямо объявляет инспирированными Святым Духом. Перед тем как ответить на вопрос братии о святителе Григории Нисском, авва спе-

циально подчеркивает, что все сказанное «Бог открыл мне, за три дня до того, как вы написали мне свой вопрос» [7. С. 387]. Поэтому можно сказать, что сама Истина устами преподобного Варсануфия свидетельствует о Себе, указывает людям Свой критерий. В этой связи можно констатировать внутреннюю согласованность позиции Варсанофия, следование им базовым принципам святоотеческой гносеологии.

Таким образом, согласно преп. Варсануфию Великому, гносеологический статус творений Святых Отцов весьма высок: в них содержатся знания, полученные святыми от Бога. Вместе с тем нельзя сказать, что все, что содержится в творениях Святых Отцов, является Божественным знанием: кроме него святые могут излагать и не соответствующие истине мнения тех или иных людей, усвоенные в процессе обучения. Критерием различения Божественной истины и человеческих мнений (нередко – ложных) является указание самих Святых Отцов на гносеологический статус излагаемого ими учения: в случае его Божественного происхождения святой указывает на это. При этом как человек, непосредственной общающийся с Истиной, святой не может ни ошибаться, ни обманывать. Лишь относительно знаний, полученных от людей, святой может, не спросив об их гносеологическом статусе Бога, как человек заблуждаться. Однако и это не является непреодолимым препятствием для святоотеческой гносеологии, поскольку то, что остается непроверенным у одного святого, обязательно проверяется другими святыми, совокупность мнений которых по тому или иному вопросу, содержащая прямые отсылки к источнику знаний, является надежным путем обретения Истины.

Литература

1. *Декарт Р.* Возражения некоторых ученых мужей против изложенных выше «Размышлений» автора // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 73–417.

2. *Локк Дж.* Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1. 621 с.

3. *Три* послания приснопамятного митрополита Никейского Феофана // Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии): в 3 ч. М.: Паломник, 1993. Ч. 2. С. 207–248.

4. *Логиновский С.С.* Специфика святоотеческой гносеологии. Челябинск: Энциклопедия, 2010. 164 с.

5. *Иоанн Дамаскин, св.* Точное изложение православной веры. М.: Центр изучения религий, 1992. 164 с.

6. *Григорий Чудотворец, свт.* Благодарственная речь Оригену // Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия епископа и мученика. М.: Паломник, 1996. С. 18–52.

7. *Варсануфий Великий и Иоанн, преп.* Руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошания учеников. М.: Правило веры, 1998. 496 с.

8. *Минин П.* Главные направления древнецерковной мистики // Мистическое богословие. Киев: Путь к Истине, 1991. С. 337–391.

9. *Столяров А.А.* Патрология и патристика. М.: Канон+, 2001. 120 с.

10. *Дионисий (Шленов).* Варсонофий Великий // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 684–696.

11. *Саврей В.Я.* Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с.

12. *Ориген.* О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с.

13. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека // Восточные отцы и учители Церкви IV века. Антология: в 3 т. М.: Издательство МФТИ, 1999. Т. 2. С. 81–149.

14. *Макарий (Оксиюк), митр.* Эсхатология св. Григория Нисского. М.: Паломник, 1999. 674 с.

15. *Иоанн Дамаскин, преп.* Против манихеев // Иоанн Дамаскин, преп. Творения. Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М.: Мартис, 1997. С. 30–74.

Sergej S. Loginovsky. South Ural State University (Chelabinsk, Russian Federation)
E-mail: 246abcd@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/18

BARSANUPHIUS OF PALESTINE ABOUT CRITERION OF THE TRUTH AND THE GNOSEOLOGICAL STATUS CREATIONS OF FATHERS OF CHURCH

Key words: religious philosophy, gnoseology, truth, Christianity, revelation, fathers of Church, Barsanuphius of Palestine (Barsanuphius of Gaza)

For fathers of Church truth it not only gnoseological, but also ontologic category. The truth for them is God. Fathers of Church consider that the Truth (God) opens Itself by means of the Saint people who assimilated to It. Many of them left behind texts which are important help in knowledge of God. However Holy Fathers though Saints, but nevertheless people. Communicating good luck, they do not turn into the weak-willed unreasonable "receivers" which are mechanically broadcasting the Divine Revelation. In this regard there is also a question, main for this article: whether the person, let and the Saint, in the Divine Revelation received by him introduces something from himself, something that disguises the Truth? Otherwise: whether it is admissible to consider everything that was told and written by Holy Fathers, occurring from God? If is not present, then how to distinguish in their creations the Truth from human opinions or, we will tell more sharply: from delusions? The answer to this essentially important question was given Barsanuphius of Palestine (the 6th century). His reasonings on this subject are of great importance for patristical gnoseology and help to understand better its specifics as gnoseology religious. According to Barsanuphius of Palestine, the gnoseological status of creations of Holy Fathers is very high: they contain knowledge gained by Saints from God. At the same time, it is impossible to tell that everything that contains in creations of Holy Fathers, is Divine knowledge: except it Saints can state and the opinions of these or those people which are not corresponding to the truth acquired in the course of training. Criterion of distinction of the Divine truth and human opinions (it is frequent – false) are the instructions of Holy Fathers on the gnoseological status of the doctrine stated by them: in case of its Divine origin the Saint points to it. At the same time, as the person, direct communicating with the Truth, the Saint cannot neither be mistaken, nor deceive. Only concerning knowledge gained from people, the Saint can, without having asked God about their gnoseological status as the person to be mistaken. But also it is not an absolute obstacle for patristical gnoseology as what remains unchecked at one Saint, is surely checked by other Saints whose set of opinions on this or that question containing direct sendings to a source of knowledge is a reliable way of finding of the Truth.

References

1. Descartes, R. (1989) *Sochineniya: v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'. pp. 73–417.
2. Locke, J. (1985) *Sochineniya: v 3 t.* [Works in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'.
3. St. Grigory Palamas. (1993) *Besedy (Omilii): v 3 ch.* [Conversations (Omilia). In 3 parts]. Part 2. Translated from Greek. Moscow: Palomnik. pp. 207–248.
4. Loginovskiy, S.S. (2010) *Spetsifika svyatootecheskoy gnoseologii* [Specificity of patristic gnoseology]. Chelyabinsk: Entsiklopediya.
5. St. John of Damascus. (1992) *Tochnoe izlozhenie pravoslavnoy very* [Exact Statement of the Orthodox Faith]. Moscow: Tsentr izucheniya religiy.
6. St. Gregory the Wonderworker. (1996) *Tvoreniya sv. Grigoriya Chudotvortsa i sv. Mefodiya episkopa i muchenika* [Creations of St. Gregory the Wonderworker and St. Methodius, Bishop and Martyr]. Moscow: Palomnik. pp. 18–52.
7. Barsanuph the Great and John the Reverend. (1998) *Rukovodstvo k dukhovnoy zhizni, v otvetakh na voproshaniya uchenikov* [A guide to the spiritual life, in the answers to the inquiries of the disciples]. Moscow: Pravilo very.
8. Minin, P. (1991) Glavnye napravleniya drevnetserkovnoy mistiki [The main directions of ancient mysticism]. In: Losskiy, V.N. et al. *Misticheskoe bogoslovie* [Mystical theology]. Kiev: Put' k Istine. pp. 337–391.
9. Stolyarov, A.A. (2001) *Patrologiya i patristika* [Patrology and Patristics]. Moscow: Kanon+.

10. Dionysius (Shlenov). (2003) Varsonofiy Velikiy [Barsanuph the Great]. In: Patriarch of Moscow and All Russia. (ed.) *Pravoslavnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Vol.6. Moscow: Pravoslavnaya Entsiklopediya. pp. 684–696.

11. Savrey, V.Ya. (2006) *Aleksandriyskaya shkola v istorii filosofsko–bogoslovskoy mysli* [The Alexandrian school in the history of philosophical and theological thought]. Moscow: KomKniga.

12. Origen Adamantius. (2008) *O nachalakh. Protiv Tsel'sa* [About the beginnings. Against Celsus]. St. Petersburg: Bibliopolis.

13. St. Gregory of Nyssa. (1999) Ob ustroenii cheloveka [On the organisation of man]. In: Alfeev, I. (ed.) *Vostochnye ottsy i uchiteli Tserkvi IV veka* [Eastern fathers and teachers of the Church of the 4th century]. Vol.2. Moscow: MFTI. pp. 81–149.

14. Makariy (Oksiyuk). (1999) *Eskhatologiya sv. Grigoriya Nisskogo* [Eschatology of St. Gregory of Nyssa]. Moscow: Palomnik.

15. John of Damascus. (1997) *Tvoreniya. Khristologicheskie i polemicheskie traktaty. Slova na Bogorodichnye prazdniki* [. Creations. Christological and polemical treatises. Words on the Theotokos feasts]. Moscow: Martis. pp. 30–74.

УДК 1(091)
DOI: 10.17223/1998863X/40/19

К.А. Родин

УСТРОЙСТВО ФИЛОСОФСКОЙ ГОЛОВОЛОМКИ ПО ВИТГЕНШТЕЙНУ (кембриджские лекции по основаниям математики)[1]

Разбирается устройство философской головоломки по Витгенштейну. Головоломка – это смешение разных способов употребления некоторого выражения, или попытка навязать некоторому выражению в определенной языковой игре правила другой языковой игры. Приводятся примеры подобных головоломок. Основное внимание уделено «проблемам» (т.е. головоломкам) из области философии математики – как они рассматриваются Витгенштейном в кембриджских лекциях по основаниям математики (1939).
Ключевые слова: *Витгенштейн, головоломка, математическая пропозиция.*

По Витгенштейну, проблема в философии – это своего рода тупик, ловушка (мухоловка), замешательство или головоломка. Возьмем следующий пример:

…выражение «неосознанная зубная боль» может или привести вас к ошибочной мысли, что сделано важнейшее открытие, открытие, которое в некотором смысле совершенно сбивает с толку, или же вы можете оказаться в замешательстве (be puzzled)… (философское замешательство (puzzlement))… {«Голубая и коричневая книги» в переводе с английского В.А. Суровцева и В.В. Иткина, с моими изменениями [1. 53] [2. 23]. Далее при упоминании данного источника в фигурных скобках указывается только страница из русского перевода и страница английского текста в соответствующем порядке}

Замешательство или головоломка возникают из уподобления двух разных способов употребления слова «неосознанная». В повседневном языке выражение «неосознанная боль» («Я испытываю неосознанную зубную боль») не употребляется (не имеет смысла). Поэтому такое выражение способно вводить в заблуждение или приводить к преувеличению: здесь якобы сделано важное открытие. На самом деле можно предположить: сообщается эмпирический факт: бывают неосознанные боли – в таком случае слово «неосознанный» используется в определенном смысле. И различение способов употребления слова «неосознанный» устраняет недоразумение: вопрос «как кто-нибудь может неосознанно испытывать боль» не ставит в тупик и не приводит в замешательство.

Разрешение любой философской головоломки возможно через указание на различие в использовании слов и выражений. Соответственно, головоломка строится на незаметном смешении (уподоблении или даже объединении) разных способов употребления некоторого слова/выражения. Витгенштейн

[1] Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации (МК-5659.2016.6).

говорит: не всегда слова в обычном языке используются как в некотором строгом исчислении. Мы в философии постоянно сравниваем обычное словоупотребление и употребление слов по правилам некоторого исчисления. Такая установка на точность в рамках обычного языка и создает головоломки, и приводит в замешательство {55 и 25}.

Уже можно указать два формирующих головоломку смешения: обычного языка со строгим языком (строго фиксирующим употребление слов) и просто – смешение разных способов употребления слов или выражений в обычном языке.

Витгенштейн берет в пример вопрос Аврелия Августина о природе времени. Известное замешательство (невозможно измерить время: прошедшее прошло, будущее не настало, настоящее нельзя удержать) отсылает нас к внутренней грамматике. В грамматике усматривается очевидное противоречие или, можно сказать, неверная аналогия между двумя разными значениями слова «измерить»: измерение времени уподобляется измерению длины. Как будто мы видим лишь маленький отрезок движущейся измеряемой ленты. По Витгенштейну, мы подпадаем под очарование, когда проводим аналогию между двумя разными структурами языка. Например, невозможность удержать настоящее – не то же самое, что невозможность измерить несуществующую **протяженность**. Данная головоломка разрешается через принятие правила (правило в употреблении слова «измерение» запрещало бы уподоблять измерение времени измерению длины) и через признание различия по видимости схожих языковых игр (можно было бы добавить: слово «сейчас» используется иначе в сравнении с выражениями «в пять часов вечера» или «после завтрака» {ср.: стр. 108 английского текста}). Другой пример – вопрос Сократа о природе знания. Простое допущение разных способов употребления слова «знание» разрешает задачу (устраняет головоломку) сведения разных способов употребления слова к общему определению и делает бессмысленным разговор о возможности/невозможности подобного общего определения {56-7 и 26} {см. на тему Витгенштейн об общих определениях по Сократу: [3]}.

Такая же ситуация с определением числа.

Философия, по Витгенштейну, – это борьба против очарования и прелести разных форм выражения.

Изменение «внутренней» грамматики слова «измерение» при изменении контекста измерения чего-то протяженного на контекст измерения времени (нужно помнить, что языковая игра «шире» контекста: контекст обычно дан непосредственно) происходит в обычной языковой игре автоматически. Вопрос Августина о природе времени напоминает неоправданный (не с целью обозрения/установления правил) выход за пределы известной языковой игры и попытку навязать правила одной языковой игры другой языковой игре. Соответственно, холостой ход работы языка, по Витгенштейну, означает говорение вне обсуждения правил языковой игры или говорение без прямого участия в языковой игре.

Обратимся к «Философской грамматике» [4. С. 290–291]. В определенном отношении возможно провести параллели между игрой в шахматы и вычислением (в таком сравнении нет ничего строго обязательного). Игра

в шахматы ничего не сообщает о «природе» деревянных фигур (о кусках дерева) на шахматной доске – и математика ничего не говорит о записанных на листе бумаги знаках. Разговор о «смысле» математических пропозиций предполагает неверные образы или картинки. «…Выглядит будто несущественные и условные знаки содержат существенный общий компонент – смысл». Если математика – это вычисление, то нет никакой метаматематики. Далее Витгенштейн сравнивает шахматную задачу и игру с арифметической задачей (игрой). Представим: записано наугад четырехзначное число, скажем 7368. Наша задача – через перемножение в любом порядке чисел 7, 3, 6, 8 получить наиболее близкий к записанному числу результат. Игроки производят вычисления с помощью листа бумаги и карандаша. Победа – это наиболее близкий к числу 7386 результат за наименьшее число шагов. По Витгенштейну, многие математические задачи можно представить в таком вот виде. Представим арифметику целиком в виде такой игры. Любое арифметическое действие производится в рамках игры. Между таким и обычным использованием арифметики разницы нет (ответы совпадают). Однако арифметика как игра не оставляет возможности для вопроса о математической истине: в игре никто не пытается выяснить **истину** – не пытается узнать истинный результат некоторого арифметического действия. «Дефляционизм» Витгенштейна направлен здесь на устранение возможных в связи с «природой» математических пропозиций головоломок. И когда арифметика представлена в виде игры, метаматематика с соответствующими «проблемами» не имеет места. Но и «математическая» головоломка (пример подобной головоломки: можно ли считать истинным утверждение: в бесконечном десятичном разложении числа π встречается (или не встречается, или встречается или не встречается) последовательность чисел 777) должна содержать смешение различных выражений.

По Витгенштейну, в случае с «математическими» головоломками («проблемами» в области философии математики) происходит смешение собственно математических пропозиций с пропозициями опыта. «Все математические вычисления были изобретены, чтобы соответствовать опыту, и потом сделались независимыми от опыта» {«Лекции Витгенштейна по основаниям математики» [5. 43]. Далее при упоминании данного источника в фигурных скобках указывается только страница английского текста. Перевод мой. – *К.Р.*}. Несмотря на независимость математических вычислений от опыта, математическая пропозиция часто кажется экспериментальной пропозицией и напоминает пропозицию из физики. Рассмотрим серию примеров. Витгенштейн предлагает представить племя. Люди племени учатся математическим вычислениям единственно с целью украшения стен, поэтому они производят вычисления крайне медленно и аккуратно. Можно было бы заранее предугадать выписываемый на стене образ. Аналогичный пример – представим: некоторые люди научились умножению только ради предсказания массы. «Они помещают измерительные стержни напротив сторон параллелепипеда, считывают длину и умножают – и говорят, что полученное число граммов уравновесит на весах некоторый объект» {40}. Они неспособны выполнять другие арифметические действия. Они получили «25 × 25 = 625» – пропозиция есть результат вычисления. И, однако, вычисление используется только для

предсказания: если по взвешивании обнаружится другой результат, пропозиция будет признана ложной. Поэтому люди здесь никогда не произносят математическую пропозицию. Однако разве результат вычисления – это не математическая пропозиция (перед нами головоломка)… Предварительный ответ следующий: природа пропозиции (математическая или физическая пропозиция) определяется **использованием** пропозиции.

Можно было бы сказать: математика состоит не из пропозиций – из вычислений. Эмпирическая пропозиция обязательно истинна или ложна. **Математическая** пропозиция «25 × 25 = 625» верна в случае, если вычисление **по определенным правилам** дает соответствующий результат.

Витгенштейн рассматривает следующий пример. Две пропозиции: «Смит построил пятиугольник» и «Смит построил семиугольник» {45–6}. В первом случае пропозиция – эмпирическая (она может быть истинной или ложной). Во втором случае пропозиция с необходимостью ложная. Переформулируем: «возможно при помощи циркуля и линейки построить пятиугольник. Смит построил пятиугольник» и «невозможно при помощи циркуля и линейки построить семиугольник. Смит построил семиугольник». Похожие на первый взгляд пропозиции – различаются: во втором случае (поскольку именно **невозможно** построить семиугольник) речь идет будто бы о «невозможности» не в эмпирическом значении слова. Далее Витгенштейн разбирает замешательство относительно «невозможности» построения семиугольника.

Мог бы возникнуть вопрос о некоторой «природе» подобной невозможности. В действительности доказательство невозможности при помощи циркуля и линейки построить правильный семиугольник служит аргументом в пользу исключения выражения «построение семиугольника» из нашей системы обозначений (и не более). Математическая пропозиция, по Витгенштейну, соотносится со своим применением примерно так же, как правило высказывания соотносится с фактическим высказыванием {47}. Отсюда: невозможность построить правильный семиугольник (математически доказанная) соотносится с правилом: правило исключает из осмысленных выражений выражение «построение семиугольника». Можно сказать: изначально выражение исключено по эмпирическим причинам (никакие попытки построить семиугольник не увенчались успехом). Однако утверждение о невозможности построения правильного семиугольника при помощи циркуля и линейки – уже не эмпирическое утверждение.

Рассмотрим утверждение о возможности построения пятиугольника {48 и далее}. В случае с эмпирической возможностью сделать что-либо имеет место различие между средствами и целью. В случае с пятиугольником можно было бы сказать: пятиугольник – цель, а построение – средство достижения цели. Цель можно задать через рисунок или через описание правильного пятиугольника как фигуры с равными при измерении сторонами и углами. Тогда пропозиция «мы можем построить пятиугольник» будет эмпирической (придется через измерение проверять равенство). В действительности результат доказательства возможности построения пятиугольника – это **построение** пятиугольника (не пятиугольник). Соответственно, математическое суждение о возможности построения пятиугольника «не различает» между пятиугольником и правилом построения пятиугольника (правило построения и резуль-

тат находятся во внутреннем отношении друг к другу). Здесь «возможность» не связана с фактической реализацией (хотя любой при помощи правила построения может построить конкретный пятиугольник).

«Как только я оказываюсь внутри математики – средства и цель становятся одним» {53}. Поэтому: если слово «возможность» всегда подразумевает возможность чего-то – а подобную цель в построении отдельно от самого построения выделить нельзя – слово «возможность» вызывает сомнения. Представим нарисованный прямоугольник. Прямоугольник произвольно разделен на четыре разные части. Доказывает ли рисунок разделенного на четыре части прямоугольника, что прямоугольник (конкретный или вообще прямоугольник) **может** быть разделен таким образом на четыре части... Построение пятиугольника – это модель и образец действия (как и рисунок с разделенным на части прямоугольником). «Возможно построить пятиугольник» – и далее дается модель (правило) построения. Видно, что слово «возможность» рассматривается Витгенштейном через различие математической пропозиции и пропозиции опыта.

В конечном счете есть техника использования определенных слов. Пример: слово «через» (в смысле: провести прямую через некоторые точки) {57–8} подразумевает определенную технику (геометрию Евклида): обычно человек понимает значение «провести прямую через любые две точки» или «провести прямую через расположенные определенным образом три точки». Техника, внутри которой мы научены действовать по аналогии, исключает возможность провести прямую через любые три точки. Но, по Витгенштейну, пропозиция «через любые три точки нельзя провести прямую» **сама по себе** не имеет смысла: неужели кто-то мог бы попытаться: такое действие исключается техникой. Просто не существует построения для любых трех точек, аналогичного построению для трех точек (лежащих) на одной прямой {61}. Любая техника подразумевает последовательность построений: так и в серии правильных многоугольников, полученных при помощи циркуля и линейки, нет правильного семиугольника. Не-эмпирическая пропозиция «мы не можем построить семиугольник» вводит в заблуждение из-за гипотетически возможного «ошибочного» различия между средствами (в данном случае – техникой) и целью (правильным семиугольником). В рамках рассматриваемой техники не существует правильного семиугольника.

В кембриджских лекциях по основаниям математики Витгенштейн разбирает и тему «эксперимента» в математике. Тема тоже связана с определенными головоломками. Однако здесь тоже справедливо считать решающей разницу между математической и эмпирической пропозицией.

Литература

1. *Wittgenstein L.* The Blue and Brown Books. 1958.

2. *Витгенштейн Л.* Голубая и коричневая книги / пер. В.А. Суровцева и В.В. Иткина. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008.

3. *Родин К.А.* Витгенштейн и Платон: вопрос о диалоге (2017) / SCHOLE. Vol. 11. 1.

4. *Wittgenstein L.* Philosophical Grammar. 1974.

5. *Wittgenstein L.* Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics (from the Notes of R.G. Bosanquet, Norman Malcolm, Rush Rhees and Yorick Smythies) / ed. by Cora Diamond. 1976.

Kirill A. Rodin. Siberian University of Telecommunications and Information Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: rodin.kir@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/40/19

THE STRUCTURE OF THE PHILOSOPHICAL PUZZLE (Wittgenstein's lectures on the foundations of mathematics)

Key words: Wittgenstein, puzzle, mathematical proposition

The article deals with the structure of a philosophical puzzle (as it was described in Wittgenstein's works). A puzzle arises because of a mixture of different ways of using some certain expressions. Or because of an attempt to impose rules of one language game on some expression within another language game. The article gives examples of such puzzles. The main attention is paid to puzzles from the field of philosophy of mathematics as they are considered by Wittgenstein in his Cambridge lectures on the foundations of mathematics.

References

1. Wittgenstein, L. (1958) The Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell.

2. Wittgenstein, L. (2008) *Golubaya i korichnevaya knigi* [The Blue and Brown Books]. Translated from English by V.A. Surovtsev, V.V. Itkin. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo.

3. Rodin, K.A. (2017) Vitgenshteyn i Platon: vopros o dialoge [Wittgenstein and Plato: the question of dialogue]. *SCHOLE*. 11(1).

4. Wittgenstein, L. (1974) Philosophical Grammar. University of California Press.

5. Wittgenstein, L. (1976) *Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics (from the Notes of R.G. Bosanquet, Norman Malcolm, Rush Rhees and Yorick Smythies)*. University Of Chicago Press.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 352.075.2; 321.728; 321.014
DOI: 10.17223/1998863X/40/20

A. Bordovskikh., R. Boussier

AN EFFICIENT AND EFFECTIVE DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL: NEW ALTERNATIVES TO POLICY NETWORKS[1]

Policy networks are believed to be one of the most suitable modern solutions to revitalize democracy, especially at the local level. Though, some scholars warn against their lack of democratic legitimacy and accountability. We share this position and question the networks commonly believed efficiency. We support our thesis with an analysis of several recent local infrastructure projects involving networks. The paper also explores some alternatives to policy networks. New forms of direct democracy, drawing inspiration from game theory and behavioral economy seem the most promising.
Key words: *democracy effectiveness, democratic input and output, policy networks, participatory democracy, local democracy, decision-making process, preferential voting, infrastructure governance.*

Introduction

The "troubled relationship" between democratic legitimacy and government efficiency lies at the heart of the crisis of democracy [1]. The potential conflict between these equally important terms [2; 3] is a major challenge threatening the very existence of democracy.

In this respect, local democracy faces a dangerous paradox. On one hand, strengthening local democracy - through decentralization, devolution or subsidiarity – is viewed as one of the potential solutions to revive ailing democracies and to reconcile disenchanted citizens with *res publica* (the public thing). A recent poll, for example, in France showed that nearly 2/3 of respondents think democracy is in crisis and 69 % consider that giving more power to local bodies will improve the situation [4]. But on the other hand, local democracy seems to be acutely affected by a simultaneous loss of democratic effectiveness and efficiency. First is namely confirmed by an abysmal voter turnout at local elections in nearly all countries. As to efficiency reflected in government's ability to deliver public services, it also comes into question, considering the general difficulty to deliver key projects and services corresponding to citizens' preferences at a reasonable cost. The fear when it comes to local democracy is that the relationship between effectiveness and effi-

[1] The paper was first presented at the 2015 Annual Conference of the Comparative European Politics Specialist Group of the Political Studies Association "Toward a Broader Discipline: Russia, Europe and new Possibilities for the Study of Comparative European Politics", Lomonosov Moscow State University, November 19–20, 2015.

ciency takes the form of a vicious cycle in which both terms would not so much oppose as reinforce themselves in a downward spiral.

One solution put forward by many scholars is to involve policy networks. Commonly defined as "sets of formal institutional and informal linkages between governmental and other actors structured around shared if endlessly negotiated beliefs and interests in public policy" [5. P. 426], networks are supposed to enhance the decision-making process contributing to both effectiveness and efficiency of democracy. Networks' involvement through formal and informal procedures has been particularly sustained at the local level especially when it comes to investment and infrastructure projects. However, after 20 years of their involvement we still doubt either better representation or performance of public action. On the contrary, we might wonder whether networks development was not detrimental to both effectiveness and efficiency of local democracy.

Accordingly, in this paper set several interconnected purposes:

1/ to clearly distinguish efficiency and effectiveness and to show that the relationship between the two terms in not necessarily of opposition;

2/ to expose the dangerous nature of political networks at the local level; and finally

3/ to highlight potential alternatives to political networks that may be considered both effective and efficient.

In the first part of this paper we thus define the terms *democratic effectiveness* and *democratic efficiency* and offer a rapid overview of the relevant literature. We set simple criteria allowing us to evaluate the local democracy in terms of both characteristics. We then bring our attention to the concept of *policy networks* which is considered by an important group of scholars as the best instrument of conciliation between democratic effectiveness and government effectiveness. By analyzing several examples of city infrastructure development projects, we question the networks legitimacy. Finally, the third part of the paper focuses on other tools which could potentially enhance both the effectiveness and the efficiency. Among them we will particularly focus on participative democracy concept and more precisely on voting systems enabling the expression of multiple preferences.

1. Efficiency and effectivity at the local level, from confrontation to a vicious circle?

1.1. Efficiency vs effectivity: a troubled relationship

Efficiency and democratic legitimacy are widely seen to be, if not mutually exclusive, at least entangled in a "troubled relationship" [6]. Dahl [3] highlighted this democratic dilemma, as a trade-off, between system effectiveness and citizen effectiveness: between "the ability of the citizens to exercise democratic control over the decisions" and "the capacity of the system to respond satisfactorily to the collective preferences of its citizens". Dahl believes that citizens are confronted with a choice between preserving their influence over their government or giving the political unit freedom to act more efficiently with the critical issues. Though, at the same time, Dahl considers efficiency an important condition for a democracy to be perceived as legitimate: "if a government is perceived as effective, its successes are likely to enhance the prestige of the authority patterns it embodies" [7. P. 149].

Likewise, Lipset [8] does not find any connection between legitimacy and efficiency of the system, but does argue that low productivity may affect government support even if it was established according to the highest democratic standard. Therefore, the relationship between efficiency and democratic effectivity, or legitimacy, is more complex and cannot be reduced to Dahl's trade-off.

Scharpf's input/output model is a perfect means to analyze the inter-relation between efficiency and effectiveness [9]. He breaks down the democratic legitimacy in a two-dimensional concept of input and output legitimacy. The input relates to participation of the citizens in the decision-making process in order to reflect the will of the people. As Scharpf states himself, the input concept corresponds to Lincoln's notion of the government *by* the people[1]: "political choices are legitimate if and because they reflect the will of the people – that is, if they can be derived from the authentic preferences of the community members" [9. P. 6]. In turn, output legitimacy refers to the actual government's achievement of the goals set by the people. Accordingly, choices are legitimate if and because they effectively promote the common welfare of the constituency in question [9. P. 6]. It corresponds to Lincoln's "government *for* the people".

Balancing between output and input is more complex than a mere opposition and may produce four different outcomes: a democratic deficit, a deliberative surplus, a pro forma situation or the most desirable a synergy [10]. The democratic deficit occurs when a higher emphasis is put on performance than on democratic participation. An opposite outcome, the deliberative surplus, happens when a high emphasis on participation hampers the performance. Pro forma describes a system in which both performance and participation are low. Finally, synergy describes a situation in which both the input and the output are balanced [10. P. 29].

Table 1. **Relationships between performance and democratic control**

Emphasis on performance	Emphasis on democratic control	
	High	Low
High	Synergy	Democratic deficit
Low	Deliberative surplus	Pro Forma

Source: Andersen, J. Balancing Efficiency, Effectiveness and Democracy in organizing Inter-Municipal Partnerships: Conflicting Aims? Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA) Vol 15, no 2 (2011), p. 29.

A third dimension, *throughput* [11], allows to explain how relationships between input and output produce the above-mentioned outcomes. Throughput constitutes an intermediary dimension and represents the policymaking processes through which decisions go from input to output. As Schmidt puts it: "throughput includes not only the workings of the decision-making processes as a whole – that they work efficiently and appropriately in accountable and transparent manner – but also the intermediation processes through which citizens qua interests as opposed to qua voters have an influence" [11. P. 20].

In this perspective, we will equate the effectiveness of the local institutions to the input-legitimacy and the efficiency to the output-legitimacy. Though efficiency cannot entirely be reduced to the output concept of Scharpf and needs the more

[1] See The Gettysburg Address speech

traditional economic approach. The output question cannot be limited to "the achievement of the common welfare" but should be the achievement of the common welfare at the lowest cost for the constituency. Ultimately, the capacity to optimize the resources determines the very achievement of the goals set especially at the local level where resources are more and more constrained.

1.2 The challenge of efficiency and effectivity at the Local level

While national politics are mostly focused on broad issues as employment, growth, health etc., the inputs at the local levels are less politicized and much more bread and butter. The citizen's preferences will revolve around everyday problems such as housing, traffic, infrastructure, waste management, schools, public order, etc. In return, these civic interests are extremely fragmented and thus quite difficult to synthesize and formalize. Alternatively, the output is more easily measurable at the local level than at the national level. The output of local democracy consists essentially in the delivery of services, goods, infrastructure to the citizens that form a local welfare. There is no expectation that local government resolves such issues as civil liberties, foreign policy, economic policy. And therefore, ideological cleavages, which determine policy with respect to these issues, play a minor role. We are not saying that politics and ideology are absent at the local level, they are very much at play on each issue, but they do not produce compact groups of organized preferences. A reflection of that can be found for instance in the number of local mayors without political affiliation in many countries[1].

Even though local problems are of a basic nature comparing general national concerns, they are extremely acute. People's expectation from the local governments are higher and much more concrete. Their efficiency can be easily measured as they mostly deal with well-defined and time-framed objectives. For this reason, local institutions are often deemed to be a potential solution to the general crisis of democracy. However, both their input and output legitimacy have been declining in the past decades. Local democracy is thus faced with a paradox: they are overwhelmed with citizens' requests and expectations while at the same time seeing their effectivity and effectiveness challenged.

Input legitimacy. The problem of democratic effectiveness is even more critical for local institutions than it is for national ones. Among the many symptoms of this phenomenon, none is more representative than the sharp drop in citizens' participation as measured by the voters' turnout to local elections experienced in the last decades. For instance, in the USA and Eastern European countries turnout rates are dismal and well below the 50% threshold. Even more striking than the absolute levels is the gap between general/national and local elections turnout. In nearly all surveyed countries, the gap is higher than 20 points (Table 2). Such data suggest a specific legitimacy problem of local democracy going far beyond the problems experienced at the national level. As a result, local institutions do not effectively represent citizens' preferences which also affects the output legitimacy.

[1] In France, the interior ministry estimated in 2008 that 24 000 mayors out of 36 000 were without political affiliation: http://www.europe1.fr/politique/municipales-le-sans-etiquette-la-nouvelle-la-mode-1708913

Table 2. Turnout at local and national elections for selected countries

	France	Italy	UK	Russia	USA
Local election	52,36 % (mayoral, 2014)	52,2 % (regionals, 2015)	31,3 % (mayoral, 2012)	21 % (mayoral, regional, 2014)	20,9 % (local, average, 2011)
National	80,35 % (presidential, 2012)	75,19 % (legislative, 2013)	66,1 % (general, 2015)	65,25 % (presidential, 2012)	36,4 % (mid-terms, 2014)
Gap	27,99 %	22,99 %	34,8 %	44,25 %	15,5 %

Output legitimacy. Alongside the drop-in input legitimacy local democracy is also facing several major challenges which have the potential to impair its efficiency. If the picture is less clear cut and homogeneous than for citizens' representation the threat is very real. First, local institutions around the globe face financial constraint associated with an increase in citizens' requests. Because of decentralization and subsidiarity principles the local level is tasked with more and more competencies while at the same time seeing its resources reduced due to the fiscal crisis gripping many countries. Secondly, the efficiency defined as the effective use of these resources is also a matter of contention in many countries such as Spain, France, Italy…Finally, the capacity of local institutions to push forward their agenda, namely in infrastructure projects also seems to be declining. Cities and regions face more and more sharp opposition when it comes to infrastructure projects which are at best delayed or even often cancelled with substantial financial losses (*not in my backyard* syndrome). This last aspect is directly linked to the drop-in input legitimacy: since local democracy is less effective, it is easier for groups of citizens to contest specific measure or projects on the ground precisely that they do not reflect their preferences.

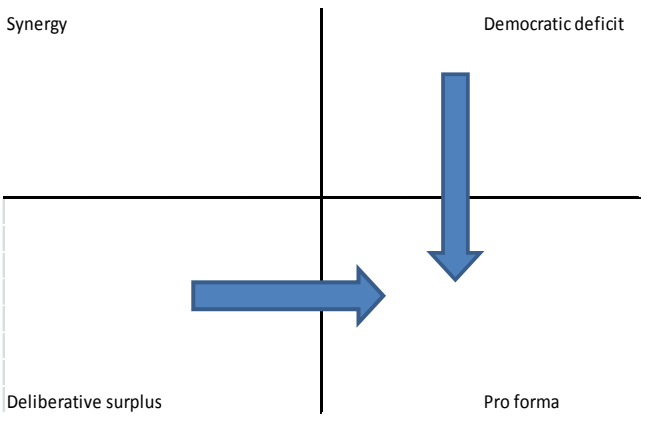

Figure 1. Relationship between efficiency and effectiveness

The relationship between efficiency and effectiveness ceases to be one of confrontation in form of democratic deficit or deliberative surplus (see Table 1). Ultimately input and output not only oppose but also determine each other. Each term is at the same time a potential obstacle but also a precondition of the other: the

drop-in input legitimacy determines a similar drop in output legitimacy ultimately reinforcing citizens' disenchantment. Local democracy runs the risk of sliding into a pro forma situation is which neither efficiency nor effectiveness are satisfactory.

2. Policy networks – a way to reconcile efficiency and effectivity at the local level?

2.1. Theoretical perspectives for policy networks influence at the local level

The concept of policy networking represents an attempt to find a way to balance the tension between effectiveness and efficiency, between input legitimacy and output legitimacy. It is believed that networks, being understood as the assembly of various groups of interests, may provide consensus and therefore contribute to render the democracy more effective [12]. Other scholars claim they help to gather information, get access to needed resources and boost the implementation process [13;9]. All that should normally result in an increased output.

Policy networks can operate at all levels, local, national, global, but according to their supporters they are particularly suited to enhance local democracy and especially municipal democracy. Local networks are so popular that several terms, corresponding to new fields of research, have been coined. Among them *network municipality* [14; 15], or *urban governance* [16; 17], both referring to a web of various types of institutions – local authorities, big private companies, interest groups' representatives, public and semi-public agencies, association, all working together to elaborate and implement various urban policies.

For Kenis and Raab [18], networks, first, could help the output issue as they represent the only possible form of government capable of embracing the complexity of contemporary society. Almost in unison Jordan and Schubert claim that networks are "the almost inevitable response to several developing characteristics of the contemporary public process" [19. P. 11]. They are often represented as the best way for the government to get access to dispersed resources thus enabling a more efficient goal-oriented public action and offering the possibility to decrease costs, to pool resources together and to create synergies [20. P. 259; 21. P. 37; 22].

According to the authors, which Klijn and Skelcher call the group of complementary conjectures, the networks also "oil the wheels of representative democracy" [23 P. 11] and make it more effective in both, input and output ways. On one hand, they help to reconcile the strategies and aims of different actors, which is improving the democratic input. On the other hand, they allow a well-balanced and co-coordinated process of policy making, which corresponds to governance output.

Even though networks have been attracting a sustained scientific and practical interest, there is neither clear definition of what constitutes a network nor clear descriptions of how they act in the real politics. In the wide sense, policy networks represent a knot of relations between government, business and civil society actors, which influence the policy making and implementation process [24; 25; 26. P. 39]. De Vries, on the other hand, sees four types of government-network interaction. First two depending on the nature of their interrelation: antagonism or congruence, and two others according to authority distribution: whether the government acts as a hierarchy or as a partner to policy networks [27. P. 96–97].

Table 3. **Four Types of Interaction between Government and Societal Groups**

		Disparity of power and authority	
		Hierarchical	*Horizontal*
Perceived interests	*Antagonism*	**A** Social groups as target groups *Government steers hierarchically*	**B** Social groups as interest groups *Government mediates conflicts of interest*
	Congruence	**C** Social groups as customers *Government provides services*	**D** Social groups as partners *Public governance: networks and partnership*

Source: *de Vries, M. S. Public Participation in Policy Processes: Towards a Research Agenda. Administratie si Management Public, Bucharest, Romania. 2007, no 8. P. 150 (14–153)*

Notwithstanding, most scholars limit their field of research to networks participating in the public policymaking process as government's partners (group D). More precisely in this perspective the government itself becomes one of the network's members along with other public, semi-public and private actors. The other types, however, are of a more conflict nature which obviously limits their efficiency in terms of political output. Even accepting that among the 4 groups the D is the most efficient, even scholars in favor of policy networks generally admit the concept has some shortcomings in terms of accountability and legitimacy [28. P. 8].

It is undeniable that policy networks, being free of any legal or administrative requirements and allowing different actors to flexibly pull resources together, are indeed very efficient in attaining their goals and satisfying their interests. While governments have very rigid structures, networks benefit from their flexibility: they easily change the number and the type of their members, split in several structures or, on the contrary, merge with other networks. Nonetheless, from the point of view of input legitimacy the interests and goals pursued by networks must always coincide with citizen's preferences. However, such interests and goals may not even be shared by all of networks' members.

In other words, the shared interest represents the principal condition of networks' positive contribution to the public governance. Borzel stresses that members of the networks "share a common interest with regard to a policy and … exchange resources to pursue these shared interests" [20. P. 254]. At the same time, there is little theoretical knowledge about how the members attain this shared point of view in respect of any policy field. Anttiroiko points out that while networks must be based on solidarity, loyalty and reciprocity, collaboration of actors within the networks is also about bargaining and negotiation [29. P. 6]. Thus, the shared interest is not so much the initial aspiration of each member, but rather a compromise between them, the result of a negotiation in which the powerful actors naturally profit from their resources and influence. Sometimes this compromise is accepted by all members and, thus, represents a shared interest. But there also may be situations when this compromise is imposed by the more powerful members and only tolerated by the rest of them. Even more problematic is the fact that the network's shared interest does not necessarily coincide with the interest of all citizens concerned (their majority). The obvious problem of the democratic deficit in this situation becomes only greater when the networks are closed and citizens do not

have possibility to participate in them or influence them [29. P. 15]. Even though almost all networks claim their open character, only few of them provide a truly open membership.

As demonstrated by below case-studies, the conflict between network's interests and public interest is a real problem. Many scholars suggest that opening the networks to citizen participation would be a viable solution. Though, the non-limitation of the number and type of policy networks' members would make decision making process even more complicated and chaotic and would have a negative impact on the major advantages networks are supposed to bring: low transaction cost, balanced use of resources, strong consensus between the members, etc. In other words, reinforcing the democratic control over the networks by raising their representation ratio will most likely decrease their efficiency.

Indeed, policy networks seem not only problematic from the point of view of input legitimacy, but also in terms of output legitimacy. Their supporters suggest that co-operation of different political, social and economic actors constitutes a more effective governance than traditional vertical policy making [30]. But in practice, networks inclusion into public policy making often results in increased length and cost, while an organized, aim-oriented and prompt decision-making is the primary criteria of democratic government efficiency. However, in liberal democracies, where networks are most present, it is excessively slow and too formalistic. Formalism results in almost indefinite periods of decision making process on the national as well as on the local level. A slight deviation from prescribed rules and regulations is a pretext for its subsequent review, which can take even years. [31. P. 47].

2.2. Policy networks and local decision-making process: case studies

As case-studies we chose two examples of European local infrastructure/construction projects, both characterized by a high involvement of policy networks.

The triangle tower in Paris, France. The triangle tower, also known as pyramid tower, is a development project in Paris, consisting in creation of a skyscraper in the exhibition site of Park des Exposition. The project was presented by the Paris city hall in 2008. The tower is 180 m height and would be the third highest building in Paris after Eiffel and Montparnasse towers. It is a well-known fact that Paris population is strongly against the high-rise construction – more than 60% of Parisians support the city urbanism plan, which limits the constructions' height by 37 m. Thus, to make the project possible there was a need for the city council to vote the modification of the plan, the approval of the plot's transfer from public property and the conditions of the easement. The gain for the city is not negligible. In exchange for the 80 years rent contract it would receive 2 million euros' annual fee. Since its announcement in 2008 the project has met serious opposition from citizens and several political parties. With time the disagreement among the members of the city council has become so evident, the administration of the city hall had to appeal council's decisions. Nevertheless, the city-hall staff was decisive to carry the project through all the barriers and make it finally happen. The question is: why is the mayor so keen to make this project a reality?

The major who represents the population - 60% of which are against this kind of projects, whose citizens are posting protests via internet and in a state having already introduced the regulation limiting the high-rise construction in Paris,

The decision-making process in respect of the Triangle Tower involved two types of networks: those against the construction, and those, apparently much more powerful, – in favor of it. Our goal is to understand whether they have contributed to a more effective and efficient way of how local government has dealt with the project. The open network, mostly represented by the citizens' association "Against the triangle tower" (http://www.contrelatourtriangle.com/), was sharing, indeed, the public interest (high input legitimacy), but was not capable of stopping the project (low output legitimacy). On the contrary, the shadow network, consisting of city officials, business representatives, the developer of the project Unibail-Rodamco, architects etc., all of them operating behind the city administration, was much more successful in achieving its goal. However, at any condition it can be regarded as the promoter of democracy effectiveness. First, it is of the most closed nature, second, its interest is in contradiction with the general interest of the population. Although, with the help of the administration, it was effective in achieving its personal goals.

The triangle tower case makes it evident, that networks do not always contribute to democratic effectiveness (political input) and even less to governance efficiency, or political output. Not only did the project not reflect citizens' preferences but it has mobilized the city's resources for nearly seven years. Seven years of confrontation of the various interests, of appeals to the votes, changes in the urbanism plan, and the construction still has not begun.

Europoint Brno, Czech Republic. The construction of the new railways station in Brno, also known as Europoint Brno, has become one of the most controversial projects of the Czech Republic. Brno, the second largest city of the country, is the crossing point of the two major railways corridors. One goes from the Baltic Sea to Italy, the other connects the Northern sea countries to the Mediterranean. Brno station thus may become the crucial railway junction between the two roads. The infrastructure of the existing station, however, is outdated and cannot accommodate the project of such scale. Moreover, it is already on the borderline of its capacity to serve present needs.

Even though the modernization of the existing facilities is possible financially as the European Union has allocated relevant funds for this purpose, it still has not started. This project is of great significance for the city and for the South Moravia region, yet, since its announcement back in 2002 it stagnates due to an unprecedented opposition from the civil networks. Five government institutions are working today on the project trying to find some agreement between them and the activists (mostly represented by Brno active citizen's association "Žít Brno"). For more than ten years the city-hall has been trying to persuade all parties to agree on the project, which most of the population approve and awaits, but no consensus has been reached so far. The discussion about it is literally monopolized by the networks, which block the modernization by contesting some minor details, such as the new station position (the argument is about some 500-m difference), its nearness to the river bank or the need for modification of the existing tram's itinerary. To overcome this populist discourse, the city hall has decided to mobilize all citi-

zens concerned (via the specially dedicated europointbrno.cz) and conduct the referendum. There are today three possible solutions for the project: the first two represents the alternatives of station's placement, the third one is called Zero-alternative, meaning no new station for Brno city.

The projects of Triangle Tower and Europoint Brno are sad examples of how the networks can reduce both democratic input and output by highjacking the political agenda. They claim to strengthen the democratic control, but very often, as in case of Europoint Brno, they just prevent the local institutions from serving the interests of the majority. The networks' populism becomes a substantial problem for both democracy efficiency and effectiveness. Rather than enforcing citizens' preferences, local governments often waste public resources and time negotiating with networks as in the Europoint Brno case; or, even worse, use these resources in favor of the networks' interests as was the case of the Triangle tower project.

3. Alternatives to network governance for effective local democracy

3.1 Contemporary direct democracy instruments

Among the many scholars criticizing the governance networks [32; 33] some suggest that direct participatory democracy can be a way to overcome the system's shortcomings and reconcile efficiency and effectiveness at the local level [34; 35]. As more and more citizens are under the impression that laws do not reflect their preferences but those of pressure groups, direct participatory instruments appear to be a proper solution to overcome the networks' opposition and improve the citizens' involvement in the policy making process. We will study several of these mechanisms and analyze their impact on both input and output legitimacy.

Popular referendums (Switzerland). Referendums, according to the Swiss example, are viewed by many as one of the main answer to the crisis of local and national democracy [36]. In Switzerland the referendums can be: a) *mandatory*, when it concerns infrastructure financing; b) *optional*, which means every citizen can gather 50.000 signatures in order to hold a referendum on any particular law; c) *constructive* (in Bern and Zurich cantons), which means there is no option to outright oppose a law but to offer an alternative on some disputed aspects) and d) the most famous *popular initiative referendums* which allow citizens to propose new legislation at the national and local level.

According to popular referendums' supporters, they increase both the input legitimacy (the citizens decide directly) as well as the output (the risk of contestation is reduced as the result corresponds to citizens' preferences). Though, the issue is more complex than it seems. Many questions remain open in terms of their input, or democratic effectiveness. First, referendums may become just another instrument in hands of pressure groups. Quite often the initiatives come from networks and not from individual citizens. Second, the law projects are prepared by professional lawyers and specialists in the field of a given legislation, and their expensive work is mostly financed by powerful opinion groups. Third, to bring the project to the referendum vote, an important campaign should be organized requiring an organization if not financial means. But the main limitation, especially for the use of referendums at the local level, is that the answers are binary (yes/no) and based on the simple majority principle. At the end, the answer might not even reflect the

preferences of the real majority but only of a sizeable and motivated minority. And the binary answers do not allow to capture the nuances and multiplicity of these preferences. That explains why over time different answers have been given to similar questions (for example, Denmark on the Maastricht Treaty, Ireland on the Nice Treaty and the Lisbon Treaty).

Output, or democratic efficiency of the referendums fail to convince precisely because of the shortcomings mentioned above. The inconsistency of vote results may bring a great deal of inefficiency into the system. The referendum on Zurich metro is a good example. Twice, in 1960 and 1973, voters rejected the idea of an underground metro delaying the construction of a much-needed transportation network. Only 20 years after the first vote an alternative solution of a surface network was approved by the referendum of 1981. It does not seem that referendums in this case greatly helped a more rapid discovery of citizens' preferences and an enhanced output. It took years and many costly studies to finally come up with a solution to a pressing problem, that might have been found earlier.

Conseils de quartiers (France). Citizens' councils were introduced in in 2002 France to allow people's participation in the elaboration and implementation of various projects promoted by the city. The main objective of their establishment was to encourage participatory democracy mechanisms in the urban governance. However, this attempt to foster direct democracy in French municipalities does not really convince. Tomas Kirszbaum sees the major problem in the abandonment of the initial idea of the citizens' council, which consisted in co-decision making between the city council and the citizens [37]. However, the councils, as they exist today, do not intervene at the stage of decision making. Their implementation can be mostly observed at the phase of decision implementation. Consequently, they do not impact the democratic input stage and, thus, do not contribute to the democracy effectiveness. Nor do they help local democracy to become more efficient, as their late involvement in the political process only worsens the bureaucratic lengthiness of the urban management.

Opinion polls. Conventional opinion polls are used more and more to test citizens' preferences on a project or local orientations. Though, resorting to conventional polling at the local level pose many problems. First, large opinion polls entail no real deliberation [38] – the responses given by the respondents are intrinsically *non-attitudes* [39] or at the least *minimal attitude* [40]. As Fishkinh and Lushkin put it "the opinions it tallies are not informed by any thorough airing or consideration of alternative views" [34: 287]. Then the use of polls at the local level may be even more problematic in small or non-homogeneous constituency. In many cases the sampling might not be truly representative. Thus, opinion polls might have some value to determine citizens' preferences only if they use a large sample, being possible in sufficiently big cities and regions.

Citizen surveys. Citizen surveys aim to overcome the problem of the representation sample. In this case, the survey is open to all or at least most citizens in each local constituency. According to Nayyar-Stone and Hatry [35. P.1] "surveys of citizens (and of the customers of public services) are often the only technique available to obtain accurate data for certain outcomes (results) of services". The goal stated here is clearly to enhance the output legitimacy. Citizens' surveys are widely used in many countries. However, they are not without flaws either as their

performance heavily depends on the data quality (how the survey is conducted) and the interpretation of results (how the data is converted into useable information). Citizens surveys suit mostly small constituencies while opinion polls are more appropriate, as has been said already, in exploring expectations in communities with large populations, Otherwise, they share a lot of common insufficiencies: lack of deliberation, question quality, binary answers and the problem of thin majority at the local level.

Deliberative polls. As an alternative to conventional polling, Fishkin [38] defends the idea of deliberative polling. Within the frame of this approach, the randomly selected sample of citizens should not just answer a question or a set of questions but engage in a deliberation to enable a process of *informed opinion change* [34: 289]. Deliberative polls have been used in several countries recently as for instance in Denmark before the 2000 referendum on euro adoption, in Australia, UK or the USA.

Deliberative polls by their very nature focus more on the input legitimacy. The idea, however interesting, again finds its limitation in the binary character of the answers given and the problem of majority. Besides that, the sample can always be subject to criticism in terms of representation and, thus, its democratic legitimacy can always be questioned by citizens left out of the poll.

3.2 Digital democracy and multiple citizens' preferences

The combination of new technologies and of recent development of multiple preference models can produce an interesting instrument to overcome the shortcomings of classical direct democracy mechanisms, however, preserving the idea that a greater citizen's participation is beneficial to local government both in terms of its effectiveness and efficiency.

Technological revolution and internet proliferation were a popular topic of political science research at the start of the millennium. Many scholars believed the use of these technologies could help bridge the gap between citizens and governments. Internet was meant to foster citizens' participation and ultimately democracy [41]. Though, today one is forced to acknowledge that most of these expectations have been deluded. To quote Matthew Hindman [42], digital democracy has been so far nothing but a myth.

Though, the combination of IT and rethinking of the voting process based on multiple preferences expressions might prove an interesting lead. Expression by citizens' multiple preferences helps to overcome many of the problems participative democracy is facing nowadays and offers a possibility to go beyond the binary and simplistic character of the instruments discussed above. To take an example, citizen A is against some project, while citizen B in is favor, but there are also citizens' C and D who are in favor, but C is opposed to its proposed location and D is opposing its architectural presentation. So far, no instruments can factor these nuances and the complexity of citizens' preferences at the local level. In our opinion, this failure is the main explanation of the drop local democracy's effectiveness and efficiency. The expression of multiple preferences during polls and referendums could allow factoring this complexity into an optimum decision, while the new technology can be the means of making such "multipolar" vote possible. This field of research, based

on the results of behavioral and game theory is still at its early stage, but there are already some serious attempts to bring this study into practice. One of them was developed by Carl Janacek in the Czech Republic and successfully tested for the local administration of infrastructure projects.

Carl Janáček Democracie 2.1. model (http://news.d21.me/cs/) is at the center of contemporary debate and offers an effective way to resolve the conflict between democratic values and decision-making efficiency. The model is based on the simple assumption that the political decisions, taken on the base of a single voting preference are more likely to fail the citizens' expectations than a decision which considers their multiple preferences. To illustrate the operation of his model, Janáček offers a survey of eight firegners trying to choose restaurant for their dinner (Figure 3). Traditional electoral system gives each of us the right to choose just one of the alternatives. In some configurations, the result of such vote may in fact satisfy only a minority of the voters. In Janacek's example only 2 out of 8 dinner companion are satisfied with the choice in one "pro" vote configuration (Figure 3.a). At the same time, Janáček's simulation shows that if you give each voter two votes "pro," i.e. the opportunity to choose two acceptable options, the number of satisfied persons will grow (Figure 3.b). But truly revolutionary approach will consist in giving each of us the possibility to vote "pro" for two acceptable options and one "contra" for one unacceptable option. According to the simulation, it will allow to transform voting dissatisfaction into neutrality (Figure 3.c).

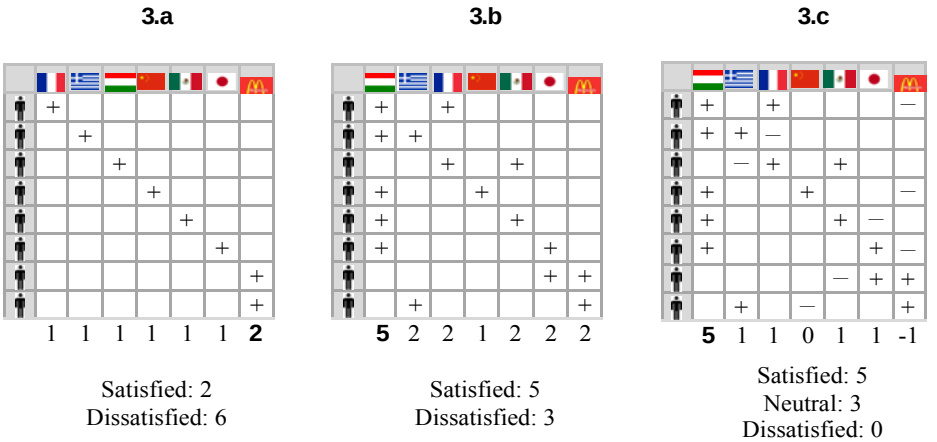

Figure 3. Demonstration of the action of Janáček's model

Janáček offers us an updated version of participative democracy, which today becomes possible by the method of decision-making through the development of technological support – it is enough to have the desired application on your computer or phone. This model seems particularly suitable for the local level and has been successfully tested in the Czech town of Ričany to enable citizens to decide on local investments and in New-York, in cooperation with Stanford University to decide on public lighting and sidewalks.

Conclusions

On one hand, local democracies are largely viewed by citizens as one of the answers to the broader crisis of democracy. The Citizens are more likely to trust local institutions and most them wishes the powers of these institutions to be increased. But, on the other hand, local democracy is particularly affected by the legitimacy crisis, as the dismal voter turnout rates exemplify. This drop in the effectiveness or input legitimacy has, in turn, a sizeable impact on efficiency at the local level. This shows how crucial the relationship between efficiency and effectiveness is for local democracy. The risk is a vicious cycle in which efficiency and effectiveness, in their interdependency, are reinforcing each other in a downward spiral.

For many authors a viable solution to this problem is represented by policy networks, which have become in recent years a very popular concept in political analysis literature. Networks are not only sees as a form of government able to embrace the complexity of contemporary policymaking also as the best suited method of administration at the local level. Nevertheless, this article proves the contrary showing that networks at the local level do not have any decisive impact on either term of the equation. On the contrary, in some cases they are detrimental and reinforce the loss of both efficiency and effectiveness.

Alternatives can be found in participatory democracy instruments such as referendums, surveys or polls. Although they all bring some advantages to the political process, they fail to solve the issue of reconciling input and output legitimacy. More sophisticated methods are needed. Some of them might be found in new technologies enabling citizens to express multiple preferences and even negative preferences. The combination of modern IT-instruments and these models might finally constitute a breakthrough in order the enhance citizens' participation and decision making efficiency at the local level. In the end of this paper we develop one of such models, Democracie 2.1, and show that their implementation at the local level may have a superior contribution to democratic input and output comparing to other instruments of participative democracy. Even though Democracie 2.1 is just one case, the experience of its implementation in several municipalities must be seriously taken into consideration by researchers so that someday it may be translated into a full-scale theory and, thus, become a general approach to public administration at the local level.

References

1. *Crozier M.J., HuntingtonS.P. and Watanuki J.* (1975). The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York, NY: New York University Press.

2. *Raschke J.* (1993) *Die Grunen. Vie sie wurden, was sie sind.* Koln: Bund.

3. *Dahl R.* (1994) A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation. *Political Science Quarterly*, vol. 109, no. 1, Spring, pp. 23–34.

4. *Courtois G.* Comment les Français veulent réparer la démocratie. Le monde 21 Avril 2015, URL : http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/04/21/les-francais-reclament-davantage-de-proximite-avec-leurs-elus_4404638_823448.html (accessed: 18.10.2016)

5. *Rhodes R.A.W.* (2008) Policy Network Analysis. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Edited by Goodin R., Moran M., Rein M. Oxford: Oxford University Press, pp. 425–447.

6. *Blatter J.* (2009). Efficiency and Democracy. Reconstructing the Foundations and Transformations of a Troubled Relationship. *In Search of Legitimacy. Policy Making in Europe and the Challenge*

of Societal Complexity. Edited by Blühdorn, I. and U. Jun. Oplanden/Farmington Hills, MI: Budrich Publishers, pp. 51–71.

7. *Dahl R.* (1971) *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

8. *Lipset, S.M.* (1959) Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science Review*, vol. 53, no. 1, pp. 69–105

9. *Scharpf F.W. (*1999) *Governing in Europe: Effective and Democratic?* Oxford: Oxford University Press.

10. *Andersen J.* (2011) Balancing Efficiency, Effectiveness and Democracy in organizing Inter-Municipal Partnerships: Conflicting Aims? *Scandinavian Journal of Public Administration* (SJPA) Vol 15, no 2, p. 25–46.

11. *Schmidt V.A.* (2010) Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and 'Throughput". KFG Paper Series, no. 21, November, Kolleg-Forschergruppe (KFG) "The Transformative Power of Europe" Freie Universität Berlin. URL: http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_21.pdf (accessed 18.10.2016)

12. *Marin B. and R. Mayntz, eds.* (1991) *Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations*. Boulder, Colo.: Westview.

13. *Kooiman J., ed*. (1993) *Modern Governance. New Government – Society Interactions*. London: Sage.

14. *Airaksinen J. and Haveri A.* (2003.) Networks and Hierarchies in Inter-municipal Cooperation – Are Networks Really Light and Flexible and Hierarchies Sticky and Rigid? Paper presented at the conference of European Group of Public Administration, Lisbon, September.

15. *Toikka A.* (2011) *Governance Theory as as Framework for Empirical Research - a Case Study on Local Environmental Policy-Making in Helsinki, Finland*. PhD Diss., Faculty of Social Sciences of the University of Helsinki.

16. *Le Gales P.* (1995) Du gouvernement des villes a la gouvernance urbaine. *Revue française de science politique*, 45e année, no. 1, pp. 57–95.

17. *Pinson G.* (1999) *Projets urbains, acteurs économiques et construction des territoires politiques : deux scenario*. Communication au Colloque « European Cities in Transformation », Paris, European Urban Reseurch Association, 22–23 octobre.

18. *Kenis P. and Raab J.* (2003) What Do Policy Networks Do? Paper presented at the Conference on Democratic Network Governance. 22–23 May, Copenhagen, Denmark.

19. *Jordan G. and K. Schubert.* (1992) A Preliminary Ordering of Policy Network Labels. *European Journal of Political Research*, 21(1–2), pp. 7–27.

20. *Börzel T.A.* (1998). Organizing Babylon - On the Different Conceptions of Policy Networks. *Public Administration*, 76(2), pp. 253–273.

21. *Rhodes Rod A.W.* (1997) *Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckinngham Philadelphia: Open University Press.

22. *Thompson G.F.* (2003). *Between Hierarchies and Markets. The Logic and Limits of Network Forms of Organization*. Oxford: Oxford University Press.

23. *Klijn E.-H., Skelcher, C.* (2008) Democracy and Governance. Networks: Compatible or not? Four Conjectures and their Implications for Theory and Practice. *Public Administration*, vol. 85, no. 3, pp. 587–608.

24. *Knoke, D.* (1990) *Political Networks. The structures perspective*. Cambrige: Cambrige University Press.

25. *Kickert, W.J. M.,ed.* (1997) *Public Management and Administrative Reform in Western Europe*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

26. *Le Gales P. and M. Thatcher.* (1995) *Les réseaux de politique publique: débat autour des policy network*. Paris: L'Harmattan.

27. *de Vries M. S.* (2007) Public Participation in Policy Processes: Towards a Research Agenda / *Administratie si Management Publi*, no. 8. Pp. 144–153.

28. *Besussi E.* (2006) Policy Networks: Conceptual Developments and their European Applications. UCL Working Paper Series. Paper no 102. Centre for Advanced Spatial Analysis. University College London, URL: https://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa/pdf/paper102.pdf (accessed 18.10.2016)

29. *Anttiroiko A.-V.* (2006). Towards Network Democracy? Paper presented at the seminar "Politics on the Internet: New Forms and Media for Political Action", November 24–25, University of Tampere, Finland. URL: http://www.edemocracy.uta.fi/eng/haefile.php?f=116 (accessed 18.10.2016)

30. *Simon, H.* (1973) The Structure of Ill-Structured problems. *Artificial Intelligence*, no. 4, pp. 181–201.

31. *Bordovskikh A. and R. Boussier.* (2015) Decision-Making Process in Contemporary Democracies. In *Democracies XXI: A Paradigm Shift*. Moscow: ISERP Foundation, pp. 38–65.

32. *Lowndes V.* (2001) Rescuing Aunt Sally: Taking institutional theory seriously in urban politics. *Urban Studies*, no. 38 (11), pp. 1953–1971.

33. *Davies J.* (2002) The Governance of Urban Regeneration: a Critique of the 'governing without government' Thesis. *Public Administration*, no. 80, pp. 301–322.

34. *Fishkin, J.S. and R.C. Luskin*. (2005) Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion. *Acta Politica*, no. 40, pp. 284–298.

35. *Nayyar-Stone, R. and H.P. Hatry.* (2010) Using Survey Information to Provide Evaluative Citizen Feedback for Public Service Decisions. IDG Working Paper no. 2010-03, Arlington, URL: http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/412215-Using-Survey-Information-To-Provide-Evaluative-Citizen-Feedback-For-Public-Service-Decisions.PDF (accessed 18.10.2016)

36. *Blot Y.* (2012) *La démocratie directe. Une chance pour la France.* Paris: Economica.

37. *Kirszbaum T.* "Les conseils citoyens sont une offre institutionnelle de participation", Liberation, Paris. 22 octobre 2014, URL: http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/10/22/les-conseils-citoyens-sont-une-offre-institutionnelle-de-participation_1127229 (accessed 18.10.2016)

38. *Fishkin, J.S.* (1991) *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform*. New Haven: Yale University Press.

39. *Converse P.E.* (1964) The Nature of Belief Systems in Mass Publics. In *Ideology and Discontent*. Edited by D.E. Apter. New York: Free Press.

40. *Luskin R.C.* (1987) Measuring Political Sophistication. *American Journal of Political Science*, 31, pp. 856–899.

41. *Rheingold H.* (2000) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, 2nd Ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

42. *Hindman, M.* (2008). The Myth of Digital Democracy. Princeton: Princeton University Press.

Anastasia N. Bordovskikh. Moscow University Lomonossov (Moscow, Russian Federation)
E-mail: bordovskikh@spa.msu.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/20
Raphael François Fréderic Boussier. School of Public Administration, Moscow University Lomonossov (Moscow, Russian Federation)
DOI: 10.17223/1998863X/40/20

AN EFFICIENT AND EFFECTIVE DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL: NEW ALTERNATIVES TO POLICY NETWORKS

Key words: democracy effectiveness and efficiency, democratic input and output, policy networks, participatory democracy, local democracy, decision-making process, preferential voting, infrastructure governance.

The tension between ideological fundaments of democracy and its effectiveness as political regime is an old dilemma dating back to the emergence of the concept itself and reiterating through the history. Today, the tension between democracy, legitimacy, and efficiency is back on the forefront as most western democracies are mired in manifold crisis resulting in an eroded support for the concept at home and abroad. Both the effectiveness of interest representation and democratic government effectiveness as public administration are questioned. Among the many attempts to resolve this tension, policy networks are believed by many scholars to be one of the most suitable solutions to revitalize democracy, especially at the local/municipal levels. Though, while almost everyone agrees on their relative efficiency in dealing with the challenges of the new century, a considerable number of scholars warn against their lack of democratic legitimacy, of civil control and of accountability. In this paper, we do not only share this position, but also question the networks' commonly believed efficiency focusing on the micro/local level. In the first part of the article we give a clear definition of democratic effectiveness and efficiency and explain their interdependence. The analysis of local democracy effectiveness is based on the "input – output" model, which partially refers to Andersson's (Andersson, J.) and Sharpf's (Sharpf, F.) theories. Based on this model the second part of the paper considers several recent case studies of local infrastructure projects, involving networks of some sorts, in several European countries. This empirical study tends to support our view that networks are far from enhancing efficiency and can also undermine the legitimacy of the local decision making process. In recent years, public administration on the local level mostly intend to satisfy the network needs instead of satisfying those of the civil population majority. In other words, by violating a normal interest representation

scheme, policy networks bring considerable negative impact on both democratic effectiveness and efficiency. In our article, we pay attention to the problem of the fundamental legitimacy of policy networks' participation in political process. The absence of any legal base for their activity brings the question of networks' legitimacy even when their interests formally coincide with those of the majority. As an alternative, we explore new ways how to involve citizens in the decision-making process restoring their faith in local institutions while in fine increasing the overall efficiency of the local politics. Among them, municipal councils, opinion polls, civil initiatives referendums, electronic democracy. Their general aim is to bring back the civil faith in local institutions and improve their effectiveness in resolving vital challenges of the population. New sophisticated forms of direct democracy, drawing inspiration from game theory and behavioral economy and enabling the citizens to simply rank and express preferences seem the most promising.

УДК 32.019.51
DOI: 10.17223/1998863X/40/21

Р.З. Близняк, И.А. Герасимов

БЛОГГИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭВРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Даны определения блоггинга как вида деятельности, инструмента и технологии. Различия между ними обусловлены целями и задачами участников блогосферы, а также применяемыми ими методами и/или техниками. В результате исследования выделены универсальные характеристики блоггинга как социально-коммуникативной технологии, а также выявлена тенденция выраженной сегментации аудитории политических блогов.
Ключевые слова: *блоггинг, социально-коммуникативная технология, политическая коммуникация, СМИ, аудитория.*

Блоггинг оказывает существенное влияние на характер коммуникаций в современном обществе. Спектр областей его применения, набор используемых методов и их результативность варьируются в весьма широком диапазоне. В то же время целенаправленное применение блоггинга как социально-коммуникативной технологии позволяет существенно увеличить продуктивность информационного продвижения в сфере маркетинга, повысить эффективность политических и PR-кампаний.

Блог – это регулярно обновляемый персональный веб-сайт, на котором сообщения (посты) размещаются в обратном хронологическом порядке [1]. В свою очередь, блогосфера определяется как «совокупность всех блогов, представляющая собой сообщество или социальные сети участников блогов» [2. С. 15].

Под блоггингом исследователи чаще всего понимают работу автора над своим блогом [3. С. 3; 4. С. 16–20; 5], деятельность по наполнению его содержанием [6. С. 220; 7. С. 3; 8. P. 7], публикацию текстов в сети Интернет с включением ее в новостные ленты [9. P. 90], активность блоггеров в целом [10. С. 32]. В этом смысле можно выделить узкую трактовку блоггинга – в значении ведения блога – и широкие, в которые включены такие виды деятельности, как расширение читательской аудитории, комментирование контента пользователей, работа с новостными лентами и рейтингами.

Исходя из такого понимания, блоггинг можно определить как *совокупность действий субъекта в рамках ведения им электронного дневника (блога), совершаемых с той или иной периодичностью и предпринимаемых для выражения собственного мнения по поводу тех или иных тем, событий и субъектов, а также привлечения к нему (этому мнению) внимания других участников блогосферы*.

Иного мнениях придерживаются авторы, рассматривающие блоггинг как инструмент. Такая трактовка весьма распространена, например, в педагогике [11–13]), маркетинге и связях с общественностью [14–16]. Тем не менее, на наш взгляд, она требует определенного теоретического переосмысления.

Блоггинг как инструмент позволяет субъекту решать задачи коммуникационного присутствия в пространстве блогосферы. В таком понимании он используется, например, в педагогической практике, где выступает дополнительным инструментом, выполняет вторичные функции информирования и площадки для обмена мнениями. В случае с маркетингом, рекламой и связями с общественностью ситуация принципиально иная. Здесь блоггинг позволяет достичь первоочередных задач субъекта коммуникации – воздействия на формирование общественного мнения, ценностные ориентации и установки индивидов – представителей аудитории блогов.

Для решения данной задачи применяется целый комплекс техник и процедур. Поэтому в таких сферах, как маркетинг, связи с общественностью, политические кампании, корректнее трактовать блоггинг как технологию. Отметим, что в ряде эмпирических исследований ученые акцентируют внимание на технологических аспектах блоггинга: его понимают как технологию блогов [17], PR-технологию [18. С. 270], блог-маркетинг [19. С. 86] и т.д. Впрочем, теоретическое обоснование блоггинга как социальной технологии в таких работах отсутствует.

Согласно определению Д.П. Гавры, ставшему классическим, «социальная технология – это опирающаяся на определенный план (программу действий) целенаправленная системно организованная деятельность социального субъекта, направленная на решение какой-либо социально значимой задачи и представляющая собой систему процедур и операций использования социальных ресурсов, обеспечивающую решение этой задачи» [20. С. 30]. В данном контексте *блоггинг как технологию можно определить как систему целенаправленно и планомерно совершаемых субъектом действий, направленных на достижение им информационного присутствия в пространстве блогосферы, имиджевого позиционирования, а также коммуникационного взаимодействия с аудиторией и выраженных в форме ведения электронного дневника (блога)*.

По мнению М.Ю. Павлютенковой, термин «блоггинг» возник как отражение нового качества коммуникационной среды, при этом он может использоваться технология как прямого, так и непрямого (скрытого) продвижения объекта [17]. В этом смысле он вполне соответствует определению социально-коммуникативной технологии – системно организованной, опирающейся на программу (план) совокупности операций, структур и процедур, обеспечивающих достижение цели социального субъекта посредством управляемой социальной коммуникации [20. С. 33].

Известно, что новые способы передачи информации гораздо более доступны по сравнению с традиционными: они позволяют передавать ее оперативнее, детальнее сегментировать аудиторию и т.д. Логичным следствием такой специфики блоггинга стало его активное применение в различных областях общественной жизни. Так, понятие «блог-маркетинг» характеризует использование блогов для продвижения бренда, компании, продукта, сервиса,

события или иной инициативы [21. P. 149]. Маркетинг может извлечь выгоду из блогов как эффективной технологии взаимодействия с целевой аудиторией, получения ценной обратной связи, продвижения и повышения продаж [22]. Важным преимуществом блога как инструмента маркетинговых коммуникаций является низкая стоимость публикации.

Дж. Кирби и П. Марсден выделили три основных подхода в рамках блог-маркетинга: поддержание эффективных отношений с влиятельными блоггерами – лидерами мнений, специализирующимися в определенной тематике; ведение бизнес-блогов (корпоративных либо посвященных какому-либо бренду); ведение ложных блогов (авторы выступают от лица обычных потребителей) [21. P. 150–153]. Применение последнего подхода сопряжено со значительными рисками и репутационными потерями. Позднее Дж. Рид выдвинул более актуальную на данный момент классификацию маркетинговых стратегий в блоггинге: ведение собственного блога; комментирование других блогов; проведение блог-туров; взаимодействие с влиятельными блоггерами [23. P. 73].

Важной особенностью блоггинга является осуществление WOM-коммуникации («word of mouth») – передачи сообщения в процессе личного общения. В рамках такой коммуникации блоггеры выполняют три важные функции: во-первых, передают маркетинговое сообщение; во-вторых, обеспечивают его значимость посредством собственной репутации и отношений доверия внутри группы; в-третьих, преобразуют его, чтобы оно соответствовало нормам и ожиданиям читателей [24. P. 83]. Преобразованная информация получила название UGC («user generated content») и представляет собой конгломерат личной и публичной информации [25]. Характерно, например, что в русскоязычной блогосфере даже наиболее популярные блоггеры редко обозначают размещаемый контент как рекламный, поскольку это может нанести урон их репутации [26].

Блоггинг как социально-коммуникативная технология также активно применяется в связях с общественностью. Отметим, что данный феномен получил название BMPR (blog-mediated public relations). Его ключевая особенность – относительная простота инициирования и поддержания отношений с общественностью. Важными факторами эффективности BMPR являются: четкая структура сообщений, их диалогичный характер, доверие, интерактивность [27. P. 341].

Двухсторонний симметричный характер коммуникации в блогосфере является ключевым условием поддержания отношений с целевой аудиторией [28]. При этом блоггеры могут выступать своеобразной фокус-группой, давая возможность оффлайн-коммуникациям быть более релевантными [29]. Диалог способствует расширению аудитории, поддержанию ее представителями ощущения значимости, позволяет лучше понимать мотивацию заинтересованных лиц. Таким образом, применение блоггинга как социально-коммуникативной технологии в связях с общественностью носит двоякий характер [30. P. 252]: первой, наиболее очевидной его задачей является распространение информации, второй – мониторинг ситуации и снижение репутационных рисков для организации.

По мнению М. Кента, блоггинг в рамках целей PR-коммуникации обладает как определенными преимуществами, так и некоторыми ограничениями [31. P. 32]. К первым он относит его практическую полезность при проведении исследований, создании сообщений, а также заложенный в нем механизм убеждения. Ко вторым – репутационные риски, возникающие при ведении блога, а также, в целом, преувеличение роли блоггинга как инструмента PR (так, определенные ограничения накладывает специфика аудитории блогов). В данном контексте М. Кент проводит аналогию между блогами и кабельным телевидением: они предоставляют PR-специалистам доступ к весьма однородным сообществам. В результате, блоги привлекают аудиторию, которая либо уже разделяет взгляды организации, либо оппонирует им.

Характеристики блоггинга как социально-коммуникативной технологии, проявляющиеся в маркетинге и связях с общественностью, во многом носят универсальный характер – вне зависимости от тематики и/или размеров сообщества блоггеров. Те же эффекты обнаруживаются и в политической блогосфере.

Отметим, что в рамках изучения воздействия блоггинга на политическую коммуникацию, причин и последствий преобразований медиатизированной публичной сферы исследователи, как правило, фокусируются на трех фундаментальных компонентах такого изменения: технологиях (феномен медиаконвергенции), новых формах коммуникации (такие как блог) и особенностях их аудитории [32. P. 253]. В данной работе мы остановимся на первом из них.

В отличие от традиционных СМИ, блоги предоставляют лицам, обладающим минимальными ресурсами присутствия в информационном пространстве, относительно простой способ изложить свою позицию. Одной из ключевых особенностей политических блогов, определяющих их популярность, является минимизация внешнего по отношению к автору контроля над контентом. В этом смысле особенности блоггинга как социально-коммуникативной технологии в маркетинге и сфере политики совпадают – и там, и там наиболее эффективным становится непрямое продвижение информационного продукта. Как результат, контент политических блогов обнаруживает схожие черты с UGC в маркетинге.

М. Копытовска утверждает, что блоггинг в политической сфере выполняет две функции – средства самопрезентации и инструмента полемики, когда блоггер вовлекает аудиторию в дискуссию по политической проблеме; при этом границы между обеими функциями весьма размыты [33. P. 401].

Схожие выводы сделал и К. Уоллстен, выявивший по результатам эмпирического исследования, что политические блоги используются преимущественно для высказывания собственного мнения по политическим вопросам, а также для предоставления читателям новых источников информации [34. P. 22–23]. Другими словами, основные задачи блоггеров, пишущих на политические темы, состоят в том, чтобы сообщить аудитории новую информацию и убедить ее в правильности собственной точки зрения. Реже их деятельность нацелена на мобилизацию политического участия аудитории, при этом она преимущественно направлена против доминирующих медиа и политических лидеров [34. P. 33]. Сами СМИ ведут непрерывный мониторинг

блогосферы, поскольку ретрансляция наиболее востребованного контента позволяет им привлечь внимание аудитории.

Активное развитие новых технологий коммуникации вынуждает представителей политической элиты широко применять их в борьбе за власть, для воздействия на общественное мнение [35. P. 96]. Последнее часто достигается путем создания информационных поводов, использующихся в кулуарной борьбе между конкурирующими группами внутри элиты. Кроме того, блоги используются в качестве механизмов обратной связи: они позволяют оперативно выяснить реакцию аудитории на те или иные инициативы власти, текущие события. Они, как правило, резко активизируются в период важных политических событий, например выборов.

Блоггинг в сфере политики подразумевает относительно независимый (самостоятельный) выбор информации, ее анализ и интерпретацию, причем как из рассматриваемых, так и игнорируемых традиционными СМИ тем. Важно, что различные сегменты аудитории политических блогов предпочитают именно тот контент, который соответствует их взглядам: они чаще всего ищут аргументы, с которыми заранее будут согласны. В результате формируются гомогенные сообщества (в данном случае уместно вспомнить аналогию М. Кента с кабельным телевидением), поляризованные по идеологическому признаку. Наконец, эмпирические исследования блогосферы подтверждают, что политический дискурс здесь отличается высокой степенью предвзятости: многие сообщения содержат более резкие мнения, чем можно было бы ожидать при непосредственном общении, а контент носит уничижительный по отношению к оппонентам характер [36].

В данном контексте отметим противоречивое влияние блоггинга на сферу политических коммуникаций. С одной стороны, он способствует расширению числа ее активных участников и предоставляет доступ к различным интерпретациям политических событий и явлений. С другой – «распределение ссылок и трафика в блогосфере сильно смещается за счет небольшого числа блоггеров, которые овладевают всеобщим вниманием» [37. С. 153], а возможностями для изучения конкурирующих доводов пользуется весьма малая доля аудитории блогосферы [38. P. 152].

Таким образом, блоггинг можно рассматривать как вид деятельности, инструмент и социально-коммуникативную технологию. Различия между ними обусловлены не только набором методов и/или техник, применяемых участниками блогосферы, но и, в первую очередь, их целями и задачами. Он может использоваться для: выражения мнения по поводу тех или иных тем, событий и субъектов, привлечения к нему (этому мнению) внимания других участников блогосферы, информационного присутствия в пространстве блогосферы, имиджевого позиционирования, а также коммуникационного взаимодействия с аудиторией.

Блоггинг как социально-коммуникативная технология обладает целым рядом универсальных характеристик. Среди его преимуществ можно выделить: доступность; быстроту передачи информации, создания информационных поводов; широкие возможности по детальному сегментированию аудитории; эффективность как механизма обратной связи. К недостаткам следует отнести низкий потенциал прямого продвижения информации, а также ограниченное влияние на изменение предпочтений аудитории в силу высокой сегментированности блогосферы.

Литература

1. *Wallsten K.* Political Blogs and the Bloggers Who Blog Them: Is the Political Blogosphere and Echo Chamber? URL: http://www.journalism.wisc.edu/~dshah/blog-club/site/Wallsten.pdf (дата обращения: 06.04.2017).

2. *Лазуткина Е.В.* Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной информации в блогосфере Рунета: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2010. 23 с.

3. *Абрамова Н.В., Крячков А.Ф., Уральцев А.С.* Beauty-блоггинг и рынок парфюмерно-косметической продукции // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвуз. сб. науч. тр. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. С. 3–7.

4. *Багандов И.Т., Рощак Д.А.* Особенности маркетинговой деятельности компании малого бизнеса: привлечение и удержание клиентов // Современные технологии управления. 2013. № 4 (28). С. 16–20. URL: http://sovman.ru/article/2804 (дата обращения: 08.04.2017).

5. *Волков С.Ю., Никитенко В.А.* Блоггинг как форма политической коммуникации // Огарев-online. 2015. № 17. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/blogging-kak-forma-politicheskoj-kommunikacii (дата обращения: 03.04.2017).

6. *Зуйкина К.* Специфика контента политического блоггинга США // Мультимедийная журналистика Евразии–2014: интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях интеллектуализации общества Востока и Запада. Евразия молодая – 2014: сб. науч. ст. и матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. С. 219–223.

7. *Красноставская Н.В.* Конкурсные инструменты блоггинга в продвижении брендов продукции хендмейд-индустрии // Науковедение. 2015. Т. 7, № 4. С. 1–10. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/67EVN415.pdf (дата обращения: 22.05.2017).

8. *Chi M.* Social Media Commercialization and Blog Marketing. Stockholm: KTH Computer Sciences and Communication, 2010. P. 1–43. URL: https://www.nada.kth.se/ utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2010/rapporter10/chi_mingli_10109.pdf (дата обращения: 17.04.2017).

9. *Baltatzis P.* Is Blogging Innovating Journalism? // Innovation Journalism. 2006. Vol. 3, № 4. The Third Conference on Innovation Journalism. P. 85–95.

10. *Колезев Д.Е.* Журналистика и блоггинг: взаимодействие и взаимовлияние // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 1 (71). С. 31–40.

11. *Белов С.А., Лазарева Д.Г.* Обучение студентов вуза с использованием блогов как средства управления их учебно-познавательной деятельностью // Известия Алтайского государственного университета. 2011. Т. 2, № 2. С. 13–16.

12. *Chu S.K.W., Kwan A.C.M., Warning P.* Blogging for Information Management, Learning, and Social Support During Internship // Educational Technology & Society. 2012. № 15 (2). P. 168–178.

13. *Rahmany R., Sadeghi B., Faramarzi S.* The Effect of Blogging on Vocabulary Enhancement and Structural Accuracy in an EFL Context // Theory and Practice in Language Studies. 2013. Vol. 3, № 7. P. 1288–1298.

14. *Санин М.К., Барков Е.И.* Эффективность блоггинга как маркетингового инструмента // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2016. № 2. С. 107–112.

15. *Kashyap M., Satija K.* Blogging – a Powerful Public Relation Marketing Tool, a Study of Public Awareness with Reference to Nagpur City. URL: https://www.sibm.edu/assets/ pdf/samvad8/powerfulpublicrelation.pdf (дата обращения: 17.04.2017).

16. *Fursdon R., James M.* Why Are PR Agencies Blogging? An Exploratory Study of the Blogging Practices of Public Relations Agencies. URL: http://nova.newcastle.edu.au: 8080/vital/access/%20/services/Download/uon:11627/attachment01 (дата обращения: 17.04.2017).

17. *Павлютенкова М.Ю.* Блоггинг как форма связей с общественностью в политике. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=659124 (дата обращения: 02.04.2017).

18. *Попов А.А.* Корпоративный блогинг как PR-технология // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Вып. 9, № 6 (101). С. 270–277.

19. *Мамонова Д.Г.* Маркетинговые аспекты инновационной деятельности предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. Вып. 6 (46). С. 83–87.

20. *Гаврa Д.П.* Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции // Петербургская школа PR: от теории к практике: сб. ст. СПб.: Роза мира, 2003. Вып. 1. С. 28–46.

21. Connected Marketing: The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution / ed. by J. Kirby, P. Marsden. London: Elsevier's Science and Technology Rights Department, 2006. 282 p.

22. *Dimitrova S.* Using Blogs as a Marketing Tool. URL: http://www.theseus.fi/xmlui/ bitstream/handle/10024/69620/Stanislava%20DimitrovaThesis%20Final.pdf?sequence=1 (дата обращения: 11.05.2017).

23. *Reed J.* Get Up to Speed with Online Marketing: How to Use Websites, Blogs, Social Networking and Much More. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2011. 272 p.

24. *Kozinets R.V., de Valck K., Wojnicki A.C., Wilner S.J.S.* Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities // Journal of Marketing. 2010. Vol. 74, №. 2. P. 71–89.

25. *Oh C., Sheng O.* Investigating Predictive Power of Stock Micro Blog Sentiment in Forecasting Future Stock Price Directional Movement. URL: http://misrc.umn.edu/workshops/2011/fall/ OliviaSheng_Paper.pdf (дата обращения: 13.05.2017).

26. *Либерман М.* Блоги в руки // Коммерсантъ-Деньги. 2016. № 46. С. 20–25.

27. *Yang S.-U., Lim S.* The Effects of Blog-Mediated Public Relations (BMPR) on Relational Trust // Journal of Public Relations Research. 2009. № 21 (3). P. 341–359.

28. *Lewis S.* Consumer Engagement Relationships in Social Media Campaigns. URL: https://www.american.edu/soc/communication/upload/Shani-Lewis-capstone.pdf (дата обращения: 13.05.2017).

29. *Wright D.K., Hinson M.D.* How Blogs and Social Media Are Changing Public Relations and the Way It Is Practiced // Public Relations Journal. 2008. Vol. 2, № 2. P. 1–21. URL: https:// www.slideshare.net/webconomia/how-blogs-and-social-media-are-changing-public-relations-and-the-way-it-is-practiced-3387279 (дата обращения: 13.05.2017).

30. *Porter L., Sweetser K., Chung D.* The Blogosphere and Public Relations: Investigating Practitioners' Roles and Blog Use // Journal of Communication Management. 2009. Vol. 13, № 3. P. 250–267.

31. *Kent M.L.* Critical Analysis of Blogging in Public Relations // Public Relations Review. 2008. № 34 (1). P. 32–40.

32. *Sandvoss C.* Toward an Understanding of Political Enthusiasm as Media Fandom: Blogging, Fan Productivity and Affect in American Politics // Participations: Journal of Audience & Reception Studies. 2013. № 10 (1). P. 252–296.

33. *Kopytowska M.* Blogging as the Mediatization of Politics and a New Form of Social Interaction: A Case Study of "Proximization Dynamics" in Polish and British Political Blogs // Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice / ed. by P. Cap, U. Okulska. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013. P. 379–421.

34. *Wallsten K.* Political Blogs: Transmission Belts, Soapboxes, Mobilizers, or Conversation Starters? // Journal of Information Technology & Politics. 2008. Vol. 4, № 3. P. 19–40.

35. *Akopov G.L., Akopova A.L., Pankova G.K., Puiy A.S., Redkina T.Y.* The Role of Internet Community in Political Elite's Sociopolitical Discourse // International Review of Management and Marketing. 2015. № 5. P. 92–96.

36. *Conover M.D., Ratkiewicz J., Francisco M., Goncalves B., Flammini A., Menczer F.* Political Polarization on Twitter // Fifth International Association for the Advancement of Artificial Intelligence Conference on Weblogs and Social Media. P. 89–96. URL: https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM11/paper/viewFile/2847/3275 (дата обращения: 18.06.2017).

37. *Шатин И.М.* Социальные среды современной политики: блогосфера // Вестник РГГУ. Серия «Политология. Социально-коммуникативные науки». 2011. № 1. С. 149–157.

38. *Lawrence E., Sides J., Farrell H.* Self-Segregation or Deliberation? Blog Readership, Participation, and Polarization in American Politics // Perspectives on Politics. 2010. Vol. 8, Is. 1. P. 141–157.

Roman Z. Bliznyak. Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation)
E-mail: rbliznyak@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/21
Igor A. Gerasimov. Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation)
E-mail: lykurgus89@mail.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/21

BLOGGING AS A TECHNOLOGY OF SOCIAL AND POLITICAL COMMUNICATION: SPECIFICATION OF CONCEPT AND CHARACTERISTIC OF HEURISTIC OPPORTUNITIES

Key words: blogging, social and communicative technology, political communication, mass media, audience

Blogging can be considered as a type of activity, an instrument or a social and communicative technology. In the first case it can be defined as a set of the subject's activities within the frame of his electronic diary (blog) guiding, made with this or that frequency and undertaken for the expression of proper judgment, concerning these or those themes, events and subjects, also the attraction of other blogosphere participants' attention to the judgment. As an instrument, blogging allows the subject to solve tasks of communicative presence at blogosphere space. In its turn, blogging as a technology can be defined as a system of activities directed to the subject's information presence achievement at the blogosphere space, his image positioning and also his communication interaction with audience and expressed in the form of the electronic diary (blog) guiding, purposefully and systematically effected by the subject. As a social and communicative technology, blogging possesses a number of universal characteristics. Among its advantages it is possible to select: accessibility; rapidity of information transfer, creation of information occasions; ample opportunities on detail segmentation of audience; efficiency as feedback mechanism. It is necessary to note the low potential of direct information promotion and also limited influence on audience preference changes because of high blogosphere segmentation as shortcomings. One of the political blogs key features defining their popularity is a minimization of external control over the author's content. At the same time, bloggers' activities are most often directed against the dominating media and political leaders. Moreover, the increase of this technology importance in the political process makes representatives of the ruling political elite apply it more actively in their race for power. On the one hand, blogging promotes the extension of the number of political communication active participants, and, on the other hand, the number of significant leaders of a public opinion on the Network is restricted, the political discourse here differs in a high level of bias.

References

1. Wallsten, K. (n.d.) *Political Blogs and the Bloggers Who Blog Them: Is the Political Blogosphere and Echo Chamber?* [Online] Available from: http://www.journalism.wisc.edu/~dshah/blogclub/site/Wallsten.pdf. (Accessed: 6th April 2017).

2. Lazutkina, E.V. (2010) *Problemno-ob"ektnyy kompleks regulirovaniya novostnoy informatsii v blogosfere Runeta* [Problem-object complex of regulation of news information in the blogosphere Runet]. Philology Cand. Diss. Krasnodar.

3. Abramova, N.V., Kryachkov, A.F. & Uraltsev, A.S. (2012) Beauty-blogging i rynok parfyumerno-kosmeticheskoy produktsii [Beauty-blogging and the market of perfumery and cosmetic products]. *Problemy sovershenstvovaniya organizatsii proizvodstva i upravleniya promyshlennymi predpriyatiyami*. 1. pp. 3–7.

4. Bagandov, I.T. & Roshchak, D.A. (2013) Singularities of marketing activities of small businesses: attracting and retaining customers. *Sovremennye tekhnologii upravleniya – Modern Management Technology*. 4(28). pp. 16–20. [Online] Available from: http://sovman.ru/article/2804. (Accessed: 8th April 2017).

5. Volkov, S.Yu. & Nikitenko, V.A. (2015) Blogging kak forma politicheskoy kommunikatsii [Blogging as a form of political communication]. *Ogarev-online*. 17. [Online] Available from: http://journal.mrsu.ru/arts/blogging-kak-forma-politicheskoj-kommunikacii. (Accessed: 3rd April 2017).

6. Zuykina, K. (2014) Spetsifika kontenta politicheskogo blogginga SShA [Specificity of the content of US political blogging]. *Mul'timediynaya zhurnalistika Evrazii–2014: integrativnye mediaproekty, mediynaya kommunikatsiya i informatsionalizm v usloviyakh intellektualizatsii obshchestva Vostoka i Zapada. Evraziya molodaya – 2014* [Multimedia Journalism in Eurasia-2014: Integrative media projects, media communication and informationism in the context of intellectualization of the East and West societies. The Young Eurasia – 2014]. Proc. of the Eighth International Conference. Kazan: Kazan State University. pp. 219–223. (In Russian).

7. Krasnostavskaya, N.V. (2015) Konkursnye instrumenty blogginga v prodvizhenii brendov produktsii khendmeyd-industrii [Competitive tools of blogging in promotion of handmade industry

brands]. *Naukovedenie*. 7(4). pp. 1–10. [Online] Available from: http://naukovedenie.ru/PDF/67EVN415.pdf. (Accessed: 22nd May 2017).

8. Chi, M. (2010) *Social Media Commercialization and Blog Marketing*. Stockholm: KTH Computer Sciences and Communication. pp. 1–43. [Online] Available from: https://www.nada.kth.se/ utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2010/rapporter10/chi_mingli_10109.pdf. (Accessed: 17th April 2017).

9. Baltatzis, P. (2006) Is Blogging Innovating Journalism? *Innovation Journalism*. 3(4). pp. 85–95.

10. Kolezev, D.E. (2010) Zhurnalistika i blogging: vzaimodeystvie i vzaimovliyanie [Journalism and Blogging: Interaction and Mutual Influence]. *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1. Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury – Ural Federal University Journal. Series 1. Issues in Education, Science and Culture*. 1(71). pp. 31–40.

11. Belov, S.A. & Lazareva, D.G. (2011) Obuchenie studentov vuza s ispol'zovaniem blogov kak sredstva upravleniya ikh uchebno-poznavatel'noy deyatel'nost'yu [Teaching university students how to use blogs as a means of managing their educational and cognitive activity]. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta – Altai State University Journal*. 2(2). pp. 13–16.

12. Chu, S.K.W., Kwan, A.C.M. & Warning, P. (2012) Blogging for Information Management, Learning, and Social Support During Internship. *Educational Technology & Society*. 15(2). pp. 168–178.

13. Rahmany, R., Sadeghi, B. & Faramarzi, S. (2013) The Effect of Blogging on Vocabulary Enhancement and Structural Accuracy in an EFL Context. *Theory and Practice in Language Studies*. 3(7). pp. 1288–1298.

14. Sanin, M.K. & Barkov, E.I. (2016) Efficiency of blogging as a marketing tool. *Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment – Scientific Journal of NRU ITMO. Economics and Environmental Management*. 2. pp. 107–112. (In Russian). DOI: 10.17586/2310-1172-2016-9-2-107-112

15. Kashyap, M. & Satija, K. (n.d.) *Blogging – a Powerful Public Relation Marketing Tool, a Study of Public Awareness with Reference to Nagpur City*. [Online] Available from: https://www.sibm.edu/assets/ pdf/samvad8/powerfulpublicrelation.pdf. (Accessed: 17th April 2017).

16. Fursdon, R. & James, M. (n.d.) *Why Are PR Agencies Blogging? An Exploratory Study of the Blogging Practices of Public Relations Agencies*. [Online] Available from: http://nova. newcastle.edu.au: 8080/vital/access/%20/services/Download/uon:11627/attachment01. (Accessed: 17th April 2017).

17. Pavlyutenkova, M.Yu. (2013) *Blogging kak forma svyazey s obshchestvennost'yu v politike* [Blogging as a form of public relations in politics]. [Online] Available from: http://viperson.ru/wind.php?ID=659124. (Accessed: 2nd April 2017).

18. Popov, A.A. (2011) Korporativnyy bloging kak PR-tekhnologiya [Corporate blogging as a PR-technology]. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. 9(6) pp. 270–277.

19. Mamonova, D.G. (2015) Marketingovye aspekty innovatsionnoy deyatel'nosti predpriyatiya [Marketing aspects of innovative activity of the enterprise]. *Problemy ekonomiki i menedzhmenta*. 6(46). pp. 83–87.

20. Gavra, D.P. (2003) Sotsial'no-kommunikativnye tekhnologii: sushchnost', struktura, funktsii [Socio-communicative technologies: essence, structure, functions]. In: Krivonosov, A.D. et al. (ed.) *Peterburgskaya shkola PR: ot teorii k praktike* [Petersburg school of PR: From theory to practice]. St. Petersburg: Roza mira. pp. 28–46.

21. Kirby, J. & Marsden, P. (2006) *Connected Marketing: The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution*. London: Elsevier's Science and Technology Rights Department.

22. Dimitrova, S. (n.d.) *Using Blogs as a Marketing Tool*. [Online] Available from: http://www.theseus.fi/xmlui/ bitstream/handle/10024/69620/Stanislava%20DimitrovaThesis%20Final.pdf?sequence=1. (Accessed: 11th May 2017).

23. Reed, J. (2011) *Get Up to Speed with Online Marketing: How to Use Websites, Blogs, Social Networking and Much More*. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

24. Kozinets, R.V., de Valck, K., Wojnicki, A.C. & Wilner, S.J.S. (2010) Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. *Journal of Marketing*. 74(2). pp. 71–89. DOI: 10.1509/jmkg.74.2.71

25. Oh, C. & Sheng, O. (2011) *Investigating Predictive Power of Stock Micro Blog Sentiment in Forecasting Future Stock Price Directional Movement*. [Online] Available from: http://misrc.umn.edu/workshops/2011/fall/ OliviaSheng_Paper.pdf. (Accessed: 13th May 2017).

26. Liberman, M. (2016) Blogi v ruki [Blogs in hand]. *Kommersant"-Den'gi*. 46. pp. 20–25.

27. Yang, S.-U. & Lim, S. (2009) The Effects of Blog-Mediated Public Relations (BMPR) on Relational Trust. *Journal of Public Relations Research*. 21(3). pp. 341–359. DOI: 10.1080/10627260802640773

28. Lewis, S. (n.d.) *Consumer Engagement Relationships in Social Media Campaigns*. [Online] Available from: https://www.american.edu/soc/communication/upload/Shani-Lewis-capstone.pdf. (Accessed: 13th May 2017).

29. Wright, D.K. & Hinson, M.D. (2008) How Blogs and Social Media Are Changing Public Relations and the Way It Is Practiced. *Public Relations Journal*. 2(2). pp. 1–21. [Online] Available from: https:// www.slideshare.net/webconomia/how-blogs-and-social-media-are-changing-public-relations-and-the-way-it-is-practiced-3387279. (Accessed: 13th May 2017).

30. Porter, L., Sweetser, K. & Chung, D. (2009) The Blogosphere and Public Relations: Investigating Practitioners' Roles and Blog Use. *Journal of Communication Management*. 13(3). pp. 250–267. DOI: 10.1108/13632540910976699

31. Kent, M.L. (2008) Critical Analysis of Blogging in Public Relations. *Public Relations Review*. 34(1). pp. 32–40. DOI: 10.1016/j.pubrev.2007.12.001

32. Sandvoss, C. (2013) Toward an Understanding of Political Enthusiasm as Media Fandom: Blogging, Fan Productivity and Affect in American Politics. *Participations: Journal of Audience & Reception Studies*. 10(1). pp. 252–296.

33. Kopytowska, M. (2013) Blogging as the Mediatization of Politics and a New Form of Social Interaction: A Case Study of "Proximization Dynamics" in Polish and British Political Blogs. In: Cap, P. & Okulska, U. (eds) *Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. pp. 379–421.

34. Wallsten, K. (2008) Political Blogs: Transmission Belts, Soapboxes, Mobilizers, or Conversation Starters? *Journal of Information Technology & Politics*. 4(3). pp. 19–40. DOI: 10.1080/19331680801915033

35. Akopov, G.L., Akopova, A.L., Pankova, G.K., Puiy, A.S. & Redkina, T.Y. (2015) The Role of Internet Community in Political Elite's Sociopolitical Discourse. *International Review of Management and Marketing*. 5. pp. 92–96.

36. Conover, M.D., Ratkiewicz, J., Francisco, M., Goncalves, B., Flammini, A. & Menczer, F. (n.d.) Political Polarization on Twitter. *Fifth International Association for the Advancement of Artificial Intelligence Conference on Weblogs and Social Media*. pp. 89–96. [Online] Available from: https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM11/paper/viewFile/2847/3275. (Accessed: 18th June 2017).

37. Shatin, I.M. (2011) Sotsial'nye sredy sovremennoy politiki: blogosfera [Social environments of modern politics: the blogosphere]. *Vestnik RGGU. Seriya "Politologiya. Sotsial'no-kommunikativnye nauki"*. 1. pp. 149–157.

38. Lawrence, E., Sides, J. & Farrell, H. (2010) Self-Segregation or Deliberation? Blog Readership, Participation, and Polarization in American Politics. *Perspectives on Politics*. 8(1). pp. 141–157. DOI: 10.2139/ssrn.1151490

УДК 316.334:61
DOI: 10.17223/1998863X/40/22

Н.А. Вялых

МОДАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ[1]

Предлагается новый методологический конструкт социологического исследования альтернативных и гибридных моделей социального поведения, базирующийся на принципе конструктивного реализма. В рамках этого конструкта модальная модель социального поведения – это когнитивный аналог практик социального поведения как ответной реакции потребителя медицинской помощи на социальную ситуацию в виде определенных социальных действий, обусловленных рефлексивными структурами ментальной программы.

Ключевые слова: *потребители медицинской помощи, ментальные программы, доступность медицинской помощи, социальное поведение потребителей медицинской помощи, модальные модели поведения, консервативная модель социального поведения, либеральная модель социального поведения.*

Введение

Социальные проблемы здравоохранения являются одним из основных стратегических направлений в развитии современной социологии. Актуальность этого направления обусловлена тем, что в современном российском обществе сложились избыточные социальные неравенства прежде всего в этой сфере. Изучение социального поведения потребителей медицинской помощи позволяет определить степень ее доступности в нашей стране и в конечном счете понять сложившуюся ситуацию в сфере здравоохранения в условиях нарастающих кризисных явлений [1–3].

В таких условиях усиливается значение социологии как публичной науки для общества, связанной с изучением наиболее актуальных вопросов социального развития. Публичность социологии проявляется в доступности социологических данных и возможности их использования на всех уровнях организации и жизнедеятельности общества [4]. Однако социальная диагностика проблем, существующих в системе менеджмента, показывает, что лишь незначительная часть предложений и рекомендаций со стороны ученых и экспертов внедряется лицами, принимающими непосредственные управленческие решения в российском здравоохранении. Вместе с тем невозможность практической апробации рекомендаций ученых «здесь и сейчас» ещё не означает, что социологические исследования в области здравоохранения бесперспективны. По крайней мере, руководители системы здравоохранения располагают вариантами решения различных проблем и понимают, как эксперты оценивают эти варианты.

[1] Статья написана в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 16-18-10387 «Ментальные программы и модели социального поведения в российском обществе».

Методологические основы социологического исследования модальных моделей социального поведения потребителей медицинской помощи

Специалисты в области социологии медицины и здравоохранения отмечают, что при изучении поведения потребителей медицинской помощи в настоящее время доминирует локальный, личностный подход. В рамках этого подхода в первую очередь стремятся выяснить, что происходит с потенциальным пациентом, о чем он думает и что чувствует, как поступает в определенных социальных ситуациях [5]. Это происходит потому, что более ранние микросоциологические теории, к примеру концепция стигматизации И. Гофмана [6], объясняли только факт социальной реакции на отклонение (болезнь), но глубинных причин поведения, обусловленных социально-демографическими характеристиками больного и социальной структурой общества, не вскрывали. Поэтому некоторые исследователи считают, что мотивационные факторы, а не условия системы здравоохранения играют решающую роль в формировании модели социального поведения [7].

В современной научной литературе немалое внимание уделяется также рассмотрению критериев качества и доступности медицинской помощи [8–11], а также анализу социально-экономических, культурных и организационных барьеров ее потребления [12]. Не вызывает сомнений значимость разработки комплексного подхода к оценке использования медицинской помощи, принимая в расчет как индивидуальные потребности, так и материальные, и социальные условия жизни различных групп в обществе [13]. Однако проблематика, связанная с изучением социального поведения потребителей медицинской помощи в российском обществе и конструированием его модальных моделей еще не стала предметом специальных социологических исследований как на уровне эмпирических научно-исследовательских практик, так и на уровне теоретической рефлексии.

В настоящее время в изучении социального поведения наметилась тенденция преодоления познавательной односторонности личностного и ситуационного, диспозиционного и культурного подходов [14–20]. В русле этой тенденции социальное поведение человека в сфере здравоохранения рассматривается не просто как результат давления социальной ситуации или проявления индивидуальных черт его характера, социальных ценностей, установок или культурной предрасположенности, а как ответная реакция человека на ситуацию заболевания (недомогания) в виде репертуара определенных социальных действий, которые могут носить осознанный (модальный) либо неосознанный (нормативный) характер [21]. При этом социальное поведение потенциального пациента зависит от субъективной интерпретации им своего состояния и «приписывания» своему состоянию соответствующих значений и смыслов, которые определяются, в свою очередь, культурными особенностями окружающей человека социальной среды (на микро- и макроуровне) и его жизненным опытом.

В современной науке модели социального поведения иногда рассматриваются как короткие поведенческие сценарии или образцы социальных действий [22]. В этом плане модель социального поведения – это когнитивный

(познавательный) аналог практик социального поведения как ответной реакции человека на социальную ситуацию в виде определенных социальных действий, обусловленных нерефлексивными и рефлексивными структурами ментальной программы. Поясним, что ментальная программа – это совокупность рефлексивных (осознанных) и нерефлексивных (неосознанных) представлений, ценностей и установок, комбинация которых определяет тот или иной тип (модель) поведения человека [23].

Социальное поведение как совокупность неосознанных действий можно отнести к традиционному или нормативному (зависящему от общепринятых ценностей и норм) типу, а социальное поведение как совокупность осознанных действий – к целерациональному или ценностно-рациональному типам (согласно теории социального действия М. Вебера). Благодаря ментальным программам люди, попадая в одну и ту же социальную ситуацию, продуцируют различные поведенческие практики. При этом нерефлексивные структуры ментальной программы определяют нормативную модель социального поведения, а рефлексивные структуры – модальные модели социального поведения, статистически наиболее распространенные в обществе [23. С. 32–52].

Модальная модель социального поведения – это модель осознанного, «отрефлексированного» индивидом социального поведения, характеризующаяся гибкостью и подвижностью, изменчивостью и гибридным (смешанным) характером. В силу этого модальные модели проще поддаются социологическому измерению количественными методами. Однако модели социального поведения – это идеально-типические конструкции (по М. Веберу), существующие не в реальной жизни, а только «на бумаге» и в сознании ученых. Теоретическое моделирование поведения людей в сфере здравоохранения позволяет свести конгломерат реальных индивидуальных практик к типическим паттернам медицинской активности для лучшего понимания стратегий адаптации россиян к динамично меняющимся социально-экономическим условиям.

В рамках неоклассической модели социологического исследования, базирующейся на принципе конструктивного реализма [24], парадигмальными основаниями изучения социального поведения потребителей медицинской помощи выступают теория габитуса П. Бурдье [25] и теория структурации Э. Гидденса [26]. Теория габитуса П. Бурдье, направленная на преодоление дихотомии нормативного и деятельностного, позволяет объяснить воспроизводство практик потребления медицинской помощи агентами, располагающими сходными позициями в социальном пространстве. Теория структурации Э. Гидденса, направленная на преодоление дихотомии объективного и субъективного, показывает, что социальная структура не просто налагает ограничения на потребительское поведение, оказывая внешнее принудительное воздействие, но и сама является результатом воспроизводимых в пространственно-временном континууме ситуативных практик потребления медицинской помощи.

Таким образом, модальные (рефлексируемые) модели поведения потребителей медицинской помощи можно рассматривать в качестве паттернов удовлетворения потребности в сохранении и упрочении здоровья как индивидуальной для каждого человека психофизиологической «нормы» и базовой

жизненной ценности, формирующихся в результате интернализации институционально заданных формальных и неформальных норм, базовых элементов культуры российского общества в контексте трансформации института здравоохранения [27].

Выделение различных моделей социального поведения потребителей медицинской помощи возможно на основе концептуальной интерпретации вторичной эмпирической информации, полученной в результате репрезентативных социологических исследований, реализованных ведущими социологическими центрами России. Во-первых, это социологический опрос российских граждан РФ «Новая услуга: платная скорая помощь», проведенный Фондом «Общественное мнение» 30 июня 2013 г. в 43 субъектах Российской Федерации, 100 населенных пунктах (N = 1500 респондентов, метод сбора данных – интервью по местожительству, статистическая погрешность не превышает 3,6 %) [28]. Во-вторых, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения «Доходы и сбережения: на что копят россияне?», проведенный 12–13 апреля 2014 г. в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. (N = 1600 чел., статистическая погрешность не превышает 3,4 %) [29]. В-третьих, российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН (Способ отбора респондентов – вероятностная стратифицированная многоступенчатая территориальная выборка (N = 8 440 домохозяйств) [30].

Консервативные и либеральные модели социального поведения потребителей медицинской помощи в современном российском обществе

Л.С. Шилова отмечает, что за годы доступной бесплатной медицины у нескольких поколений советских людей атрофировалась индивидуальная ответственность за свое здоровье и укрепились представления о том, что забота о здоровье населения лежит на Министерстве здравоохранения [31]. Этим, по мнению социолога, обусловлен разрыв между декларируемой ценностью здоровья и реальным поведением личности в отношении здоровья (например, эксплуатация своего здоровья ради большого заработка). В 2014 г. только 22,9 % населения областных и республиканских столиц России посетили медицинское учреждение для профилактического осмотра, а не из-за недомогания [30]. С одной стороны, профилактическую неактивность населения можно объяснить привычкой думать о здоровье только в случае манифестации заболевания, с другой стороны, внешними (организационными и экономическими) факторами, ограничивающими доступность профилактической медицинской помощи.

В российском обществе по критерию направленности социальных ожиданий потребителей и степени их готовности нести бремя персональной ответственности за свое здоровье можно выделить консервативную, либеральную и гибридные модели социального поведения, в ментальных программах

которых присутствуют когнитивные, аксиологические и конативные структуры как либерального, так и консервативного характера [32]. Для наглядности представим в виде таблицы сравнительный анализ ментальных программ консервативной и либеральной моделей социального поведения в сфере здравоохранения по нескольким позициям (таблица).

Таблица. **Ментальные программы консервативной и либеральной моделей социального поведения в сфере здравоохранения**

	Ментальная программа консервативной модели поведения	Ментальная программа либеральной модели поведения
Представления	Медицинская помощь – общественное благо; ответственность государства за здоровье человека и доступность медицинской помощи	Рынок медицинских услуг – главный регулятор отношений в сфере здравоохранения
Ценности	Справедливость, равенство, порядок в сфере оказания медицинской помощи	Свобода как возможность индивидуального выбора стратегии поведения в ситуации заболевания; право выбора медицинской организации, страховой медицинской организации и врача
Установки	Потребление медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий; ориентация на авторитет врача; конформизм	Мобилизация всех видов капитала и их конвертация в доступ к медицинской помощи; готовность в установленном законом порядке отстаивать свои интересы как пациента; нонконформизм

Сторонники консервативной модели поведения ориентированы на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий, считая, что государство должно заботиться о здоровье своих подданных – налогоплательщиках. Подобная модель, как правило, характеризуется инерционной линией поведения и предполагает конформистский стиль социальной адаптации к условиям внешней среды и полное принятие формальных правил игры. Отличительным признаком консервативной модели поведения потребителей медицинской помощи является экстернальный локус-контроль в восприятии агентов, несущих ответственность за здоровье человека и доступность медицинской помощи, патерналистские ожидания, а также вера в безоговорочный авторитет медицинского персонала. Эффекты консервативной модели поведения многообразны по диапазону. В одном случае при возникновении симптомов заболевания, потребитель по привычке идет к врачу, потому что «так надо», «так положено», «лучше довериться специалистам». В другом случае наблюдается привычное терпение физического или психического дискомфорта с последующим обращением за профессиональной помощью в результате острой манифестации симптомов за-

болевания. Кроме того, консервативная модель может предполагать «автоматический отказ» от профессиональной медицинской помощи, например, обращение за советом к «более опытному и осведомленному окружению», не имеющему медицинского образования, самолечение и иные суррогатные формы околомедицинского вмешательства.

Сложно сказать определенно, какова доля российских потребителей медицинской помощи, понимающих рыночно-страховые инновации в системе российского здравоохранения и организационные принципы этой системы. Однако доля россиян, готовых нести прямые расходы на медицинскую помощь, весьма существенна. Показательными в этом плане являются результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» на тему: «Новая услуга: платная скорая помощь». В 2013 г. в некоторых городах России наряду с бесплатными появились платные государственные бригады скорой помощи с машинами повышенного комфорта и врачами, готовыми оказывать дополнительные услуги, которые не оказывают стандартные бригады. Только 12 % опрошенных знали об этом проекте, 26 % – что-то слышали, 60 % – узнали впервые от социологов, 1 % – затруднились ответить [28]. Вместе с тем нельзя не принимать во внимание социальные группы, имеющие или желающие иметь достаточно средств для оплаты медицинской помощи, готовые единолично нести ответственность за свое здоровье и благополучие. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за получение медицинской помощи более высокого качества в той или иной степени готовы доплатить, в том числе не исключают для себя такой возможности, примерно половина опрошенных (52 %). «В среднем речь идет о сумме в 1400 руб. в месяц на одного человека. Максимальная планка такой доплаты – 5 тыс. руб. в месяц на человека», – говорят аналитики [33].

Либеральная модель поведения потребителей медицинской помощи предполагает принятие личностью рыночных правил игры в сфере здравоохранения. Но в действительности модели социального поведения в сфере здравоохранения носят гибридный (смешанный) характер, поскольку в ментальной программе этих моделей присутствуют элементы как консервативных (государственнических), так и либеральных представлений, ценностей и установок. В зависимости от доминирующих в той или иной ментальной программе представлений, ценностей и установок, консервативные и либеральные модальные модели социального поведения в сфере здравоохранения могут трансформироваться в государственническо-либеральную (неоконсервативную) и либерально-государственническую (неолиберальную) модели соответственно.

Для современного российского общества в контексте трансформации здравоохранения более характерна неоконсервативная модель поведения [34]. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, по приоритетности целей сбережений лечение стоит на четвертом месте из пятнадцати позиций (21 %) после накоплений на «черный день» (27 %), на покупку квартиры или дома (26 %) и просто «про запас» (24 %). Затем с некоторым отрывом располагаются иные статьи накоплений: отдых, развлечения, путешествия (16 %), образование (12 %), покупка автомобиля (10 %). Отсюда следует, что население страны, особенно люди старше 60 лет

(из них 35 % сберегают деньги на лечение), осознают необходимость создания «подушки безопасности» на случай заболевания, так как не уверены, что государство о них позаботится [29].

По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), 93,8 % россиян не имеют полиса добровольного медицинского страхования [30]. Действительно, если у человека нет средств, то он не будет приобретать полис добровольного медицинского страхования, но если человек платежеспособен, то зачем ему делать вклад в «банк здравоохранения» до востребования, когда можно просто оплатить медицинскую помощь при необходимости. Согласно данным этого мониторинга, большинство россиян (89 %) обращалось за амбулаторной нестоматологической помощью только в учреждения, предоставляющие медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования, т.е. в городские, районные или ведомственные сельские поликлиники, амбулаторные отделения городских, районных или ведомственных сельских больниц, а также в фельдшерские пункты. Исключительно платными медицинскими услугами пользовались всего 5 % россиян [35. С. 136].

По результатам опроса «Доступность и качество российского здравоохранения: оценки пациентов», проведенного ВЦИОМ 15–16 июля 2015 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России (N = 1600 чел.), в случае заболевания большинство россиян (60 %) прежде всего идут в государственные поликлиники, 25 % – лечатся самостоятельно, 8 % – обращаются в платную поликлинику, больницу, 4 % – ничего не делают, все пускают «на самотек» и только 1 % опрошенных обращается к народным целителям и нетрадиционной медицине [36]. При этом, по оценкам специалистов ФОМ, в 2015 г. (N = 1500 чел. в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах) 53 % опрошенных россиян приходилось в течение года в той или иной форме платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях [37].

Резюме

Моделирование социального поведения потребителей медицинской помощи необходимо для типизации множества поведенческих практик, поскольку социология как наука изучает не уникальные события и процессы, а повседневность общества в различных ее проявлениях. Следовательно, любая модель – это когнитивный (познавательный) аналог социальной реальности, т.е. идеальный тип, существующий в сознании исследователей. Целесообразно различать модальные и нормативные модели социального поведения. Модальные модели являются результатом актуализации осознанных структур ментальной программы общества, а нормативные – неосознанных. Поскольку поведение людей в сфере потребления медицинской помощи, как правило, рефлексируется акторами, имеет определенную логику и последовательность, является по своей природе гибким и ситуативным, то имеет смысл социологически исследовать именно модальные модели социального поведения в сфере здравоохранения.

Интерпретация вторичной эмпирической информации, полученной в результате репрезентативных социологических исследований, позволяет выделить две альтернативные (консервативную и либеральную) и две гибридные (консервативно-либеральную и либерально-консервативную) модели социального поведения потребителей медицинской помощи в современном российском обществе. Наличие этих моделей объясняется, прежде всего, сложностями перехода в России от бюджетной системы здравоохранения к бюджетно-страховой, которые обусловлены не только дефицитом финансовых ресурсов в фондах обязательного медицинского страхования и медицинских организациях, бюрократизацией системы управления здравоохранением в России, но и спецификой ментальных программ потребителей медицинской помощи, не особенно восприимчивых к рыночным инновациям в этой сфере.

В современном российском обществе существенна и гетерогенна по составу численность сторонников именно гибридной модели, представители которой признают неизбежность интервенции рыночных регуляторов в сферу здравоохранения, однако полагают, что должен существовать пакет гарантированной бесплатной помощи и что государство должно также нести бремя финансовых расходов и ответственности за качество и доступность медицинской помощи. В зависимости от того, в какую сторону качнется маятник социальных ожиданий и запросов потребителей медицинской помощи, гибридная модель социального поведения может проявляться как неоконсервативная (консервативно-либеральная) или как неолиберальная (либерально-консервативная), соединяя элементы альтернативных консервативной и либеральной моделей. При этом важно исследовать модели социального поведения потребителей медицинской помощи в контексте трансформации социального, экономического, политического и правового уклада российского общества, поскольку негативные тенденции в сфере здравоохранения возникают не локально, а являются следствием более фундаментальных преобразований в социальной структуре общества.

Литература

1. *Еремченко О.А.*, *Алиев В.О.* Сравнительный анализ исследовательских стратегий социальных наук России и мира // Экономика науки. 2015. № 1(1). С. 48–61.

2. *Горшков М.К.* Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики): в 2 т. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016. Т. 2.

3. *Русинова Н.Л.*, *Сафронов В.В.* Состояние здоровья в Европе и России: общественный контекст и социальные неравенства // Социологический журнал. 2014. № 4. С. 19–43.

4. *Лубский А.В.* Общественная роль социологии и социологический диагноз общества (О книге М.К. Горшкова «Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики») // Социологические исследования. 2017. № 3. С. 157–162.

5. *Young J.T.* Illness behaviour: A selective review and synthesis // Sociology of Health & Illness. 2004. Vol. 26, No. 1. P. 1–31.

6. *Goffman I.* Stigma: notes on the management of spoiled identity, N.Y.: Simon and Shuster, 1963.

7. *Rose U.*, *Zimmermann L.*, *Pfeifer R.*, *Unterbrink T.*, *Bauer J.* Intention as an indicator for subjective need: A new pathway in need assessment // Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2010. No. 5:20 [Электронный ресурс]. URL: http://www.occup–med.com/content/5/1/20.

8. *Русинова Н.Л.*, *Панова Л.В.* Доступ к услугам здравоохранения: методологические подходы и методы измерения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. № 4. С. 147–163.

9. *Gulliford M*. Modernizing concepts of access and equity // Health Economics, Policy and Law. Cambridge University Press, 2009. Vol. 4 (02). P. 223–230.

10. *Решетников А.В.* Экономика здравоохранения. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.

11. *Andersen R*., *Davidson P*. Improving Access to Care in America : Individual and Contextual indicators // Changing the U.S. Health Care System : Key Issues in Health Services Policy and Management / Ronald Anderson, Thomas Rice, Gerald Kominski. San Francisco : Jossey–Bass, 2007. P. 3–31.

12. *Graves A*. A model for assessment of potential geographical accessibility : A Case For GIS // Online Journal of Rural Nursing and Health Care. 2009. Vol. 9, № 1. P. 46–55.

13. *Dixon-Woods M*., *Cavers D*., *Agarwal S*. Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups // BMC Medical Research Methodology. 2006. № 6 (35). [Электронный ресурс]. URL: http://www.biomedcentral.com/1471–2288/6/35.

14. *Ross L*., *Nisbett R.E*. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw–Hill, 1991.

15. *Grishina N.V*. Problems of the perception of situations // Journal of Russian and East European Psychology. 2010. Vol. 48 (3). P. 7–16.

16. *Ядов В.А*. О социологической составляющей диспозиций // Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е изд. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2013.

17. *Chaiclin H*. Attitudes, Behavior, and Social Practice // The Journal of Sociology & Social Welfare. 2011. Vol. 38, Is. 1. P. 31–54.

18. *Trafimow D*., *Sheeran P*., *Lombardo B*., *Finlay K.A*., *Brown J.*, *Armitage C.J*. Affective and cognitive control of persons and behaviors // British Journal of Social Psychology. 2004. Vol. 43. P. 207–224.

19. *Armitage C.J*., *Christian J*. From attitudes to behaviour: Basic and applied research on the theory of planned behaviour // Current Psychology. 2003. Vol. 22. P. 187–195.

20. *Triandis H.C*. Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill, 1994.

21. *Lubsky A.V*., *Kolesnykova E.Y*., *Lubsky R.A*. Mental Programs and Social Behavior Patterns in Russian Society // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11, No. 16. P. 9549–9559.

22. *Павленко О.Б.* Взаимосвязь ценностей культуры и моделей социального поведения // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2010. № 10 (41). С. 116–124.

23. Ментальные программы и модели социального поведения в российском обществе / отв. ред. А.В. Лубский. Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2016.

24. *Лубский А.В*. Неоклассическая модель социологического исследования // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 7. С. 112–120.

25. *Bourdieu P*. Structures, habitus, practices // The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press, 1990. P. 52–65.

26. *Giddens A*. The constitution of society: outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press. 1986.

27. *Вялых Н.А*. Факторы воспроизводства социального неравенства в сфере потребления медицинских услуг // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 126–132.

28. *Новая* услуга: платная скорая помощь: «ФОМнибус» // Официальный сайт Фонда «Общественное мнение», 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/obshchestvo.

29. *Доходы* и сбережения: на что копят россияне?: Пресс-выпуск № 2586 // Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114832.

30. *Российский* мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН // RLMS–HSE. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms), 2014.

31. *Шилова Л.С.* Российские пациенты в условиях модернизации здравоохранения. Стратегии поведения. Saarbruken: LAMBERT Academic Publishing, 2012.

32. *Lubsky A.V*., *Lubsky R.A*., *Chernobrovkina N.I*. Mental Programs and Models of Economic Behavior in the Russian Society // Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Vol. XI, Iss. 7(45). P. 1405–1412.

33. *Башкатова А*. Отечественная медицина огорчает большинство россиян // Независимая газета. 11.12.2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/economics/2013–12–11/4_medicine.html.

34. *Вялых Н.А*. Модели социального поведения в российском обществе в сфере здравоохранения // Социально-гуманитарные знания. 2016. № 7. С. 83–91.

35. *Краснова Л.С*. Состояние здоровья как фактор спроса на платные медицинские услуги // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE). М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2015. Вып. 5.

36. *Доступность* и качество российского здравоохранения: оценки пациентов // Всероссийский центр изучения общественного мнения. Пресс-выпуск № 2919 от 02.09.2015. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115370.

37. *Доминанты*. Поле мнений. Социологический бюллетень. Здравоохранение // «ФОМ-нибус», 2015. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d28zd15.pdf.

Nikita A. Vyalykh Institute of Sociology and Regional Studies at Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

E-mail: wolfarch@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/22

MODAL SOCIAL BEHAVIOR PATTERNS OF THE MEDICAL CARE CONSUMERS IN RUSSIAN SOCIETY

Key words: consumers of medical care, mental programs, medical care accessibility, social behavior of the medical care consumers, modal behavior model, conservative model of social behavior, liberal model of social behavior.

The objective of the article is to reconstruct the mental programs, their cognitive, axiological and connotative structures, and construction on this basis of various modal patterns of social behavior in Russian health care. Methodology of the article is based on an constructive realism making it possible to conceptually disclose the contents of reflexive structures of mental programs that determine modal patterns of social behavior. On the basis of the cognitive construction the author identifies the distinctive features of the two alternative modal patterns of social behavior: liberal pattern and conservative pattern in the sphere of medical care consumption in modern Russian society. However, in real life, as shown by empirical data, these patterns are mostly hybrid: conservative-liberal, as they include elements of the liberal behavior pattern. These patterns were formed in the context of both the transformation of Russian health care system and the regeneration of state-centric matrix of its development. Their formation has also been greatly influenced by changes in the mass health consciousness of Russians, many of whom, having experienced in the early 1990s an euphoria from liberal modernization projects, now complain not only about the results of health reforms in Russia, but about their well-being. Scientific modeling of medical care consumption reveals its features typical for different social groups, as well as makes it possible to better understand the self-preservation practices in contemporary Russian health care. The study of the regulators of social behavior in the sphere of medical care consumption is dominated by two approaches: personality and situational. Currently, there is tendency of overcoming the cognitive one-sidedness of personality and situational approach. In line with this trend, the social behavior of a patient is not regarded as the result of influence of the social situation or his individual traits, social values, attitudes and cultural predispositions. The social behavior of medical care consumers is seen primarily as a result of their interpretation of the social situation of health problems and «attributing» to it the values and meanings in a socio-cultural context of health care system.

References

1. Yeremhenko, O.A. & Aliev, V.O. (2015) Comparative analysis of research strategies and social sciences in Russia and in the world**.** *Ekonomika nauki – The Economics of Science.* 1(1). pp. 48–61.

2. Gorshkov, M.K. (2016) *Rossiyskoe obshchestvo kak ono est': (opyt sotsiologicheskoy diagnostiki): v 2 t.* [Russian society as it is: (experience of sociological diagnostics): in 2 volumes]. 2nd ed. Vol. 2. Moscow: Novyy khronograf.

3. Rusinova, N.L. & Safronov, V.V. (2014) Sostoyanie zdorov'ya v Evrope i Rossii: obshchestvennyy kontekst i sotsial'nye neravenstva [The state of health in Europe and Russia: The social context and social inequalities]. *Sotsiologicheskiy zhurnal – Sociological Journal*. 4. pp. 19–43.

4. Lubskiy, A.V. (2017) Social role of sociology and sociological diagnostics of the society (On M.K. Gorshkov's book "Russian society as it is: a study of sociological diagnostics"). *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 3. pp. 157–162. (In Russian).

5. Young, J.T. (2004) Illness behaviour: A selective review and synthesis. *Sociology of Health & Illness*. 26(1). pp. 1–31. DOI: 10.1111/j.1467-9566.2004.00376.x

6. Goffman, I. (1963) *Stigma: notes on the management of spoiled identity*. New York: Simon and Shuster.

7. Rose, U., Zimmermann, L., Pfeifer, R., Unterbrink, T. & Bauer, J. (2010) Intention as an indicator for subjective need: A new pathway in need assessment. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*. 5(20). [Online] Available from: http://www.occup–med.com/content/5/1/20. DOI: 10.1186/1745-6673-5-20

8. Rusinova, N.L. & Panova, L.V. (2002) Dostup k uslugam zdravookhraneniya: metodologicheskie podkhody i metody izmereniya [Access to health care services: methodological approaches and measurement methods]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 4. pp. 147–163.

9. Gulliford, M. (2009) Modernizing concepts of access and equity. *Health Economics, Policy and Law*. 4(02). pp. 223–230. DOI: 10.1017/S1744133109004940

10. Reshetnikov, A.V. (2007) *Ekonomika zdravookhraneniya* [Health Economics]. Moscow: GEOTAR-Media.

11. Andersen, R. & Davidson, P. (2007) Improving Access to Care in America : Individual and Contextual indicators. In: Anderson, R., Rice, T. & Kominski, G. *Changing the U.S. Health Care System: Key Issues in Health Services Policy and Management.* San Francisco: Jossey–Bass. pp. 3–31.

12. Graves, A. (2009) A model for assessment of potential geographical accessibility: A Case For GIS. *Online Journal of Rural Nursing and Health Care*. 9(1). pp. 46–55. DOI: 10.1080/02693799508902025

13. Dixon-Woods, M., Cavers, D. & Agarwal, S. (2006) Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups. *BMC Medical Research Methodology*. 6(35). [Online] Available from: http://www.biomedcentral.com/1471–2288/6/35. DOI: 10.1186/1471-2288-6-35

14. Ross, L. & Nisbett, R.E. (1991) *The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology*. New York: McGraw–Hill.

15. Grishina, N.V. (2010) Problems of the perception of situations. *Journal of Russian and East European Psychology*. 48(3). pp. 7–16. DOI: 10.2753/RPO1061-0405480301

16. Yadov, V.A. (2013) O sotsiologicheskoy sostavlyayushchey dispozitsiy [On the sociological component of dispositions]. In: Yadov, V.A. et al. *Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial'nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya* [Self-regulation and prediction of social behaviour of the individual: Dispositional concept]. 2nd ed. Moscow: Tsentr sotsial'nogo prognozirovaniya i marketinga.

17. Chaiclin, H. (2011) Attitudes, Behavior, and Social Practice. *The Journal of Sociology & Social Welfare*. 38(1). pp. 31–54.

18. Trafimow, D., Sheeran, P., Lombardo, B., Finlay, K.A., Brown, J. & Armitage, C.J. (2004) Affective and cognitive control of persons and behaviours. *British Journal of Social Psychology*. 43. pp. 207–224. DOI: 10.1348/0144666041501642

19. Armitage, C.J. & Christian, J. (2003) From attitudes to behaviour: Basic and applied research on the theory of planned behaviour. *Current Psychology*. 22. pp. 187–195. DOI: 10.1007/s12144-003-1015-5

20. Triandis, H.C. (1994) *Culture and Social Behavior*. New York: McGraw-Hill.

21. Lubsky, A.V., Kolesnykova, E.Y. & Lubsky, R.A. (2016) Mental Programs and Social Behavior Patterns in Russian Society. *International Journal of Environmental and Science Education*. 11(16). pp. 9549–9559.

22. Pavlenko, O.B. (2010) Vzaimosvyaz' tsennostey kul'tury i modeley sotsial'nogo povedeniya [Interrelation of cultural values and models of social behavior]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 10(41). pp. 116–124.

23. Lubsky, A.V. (ed.) (2016) *Mental'nye programmy i modeli sotsial'nogo povedeniya v rossiyskom obshchestve* [Mental programs and models of social behaviour in Russian society]. Rostov on Don: Fond nauki i obrazovaniya.

24. Lubsky, A.V. (2012) Neoclassical model of sociological research. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*. 7. pp. 112–120. (In Russian).

25. Bourdieu, P. (1990) *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press. pp. 52–65.

26. Giddens, A. (1986) *The constitution of society: outline of the theory of structuration*. Berkeley: University of California Press.

27. Vyalykh, N.A. (2015) Factors of social inequality reproduction in the sphere of medical services consumption. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Socviological Studies*. 11. pp. 126–132. (In Russian).

28. Public Opinion Foundation. (n.d.) *Novaya usluga: platnaya skoraya pomoshch'* [A new service: paid ambulance]. [Online] Available from: http://fom.ru/obshchestvo.

29. All-Russian Centre for the Study of Public Opinion. (2014) *Dokhody i sberezheniya: na chto kopyat rossiyane?* [Income and savings: what do Russians save?]. [Online] Available from: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114832.

30. RLMS–HSE. (2014) *Rossiyskiy monitoring ekonomicheskogo polozheniya i zdorov'ya naseleniya NIU VShE (RLMS–HSE), provodimyy Natsional'nym issledovatel'skim universitetom "Vysshaya shkola ekonomiki" i ZAO "Demoskop" pri uchastii Tsentra narodonaseleniya Universiteta Severnoy Karoliny v Chapel Khille i Instituta sotsiologii RAN* [Russian Monitoring of the Economic Situation and Health of the NRU HSE (RLMS-HSE), conducted by the National Research University "Higher School of Economics" and ZAO "Demoscope" with the participation of the Population Center of the University of North Carolina in Chapel Hill and the Institute of Sociology RAS]. [Online] Available from: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms i http://www.hse.ru/rlms).

31. Shilova, L.S. (2012) *Rossiyskie patsienty v usloviyakh modernizatsii zdravookhraneniya. Strategii povedeniya* [Russian patients in the context of healthcare modernization. Strategies of behavior]. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing.

32. Lubsky, A.V., Lubsky, R.A. & Chernobrovkina, N.I. (2016) Mental Programs and Models of Economic Behaviour in the Russian Society. *Journal of Applied Economic Sciences*. 7(45). pp. 1405–1412. DOI: 10.14505//jarle.v8.4(26).16

33. Bashkatova, A. (2013) Otechestvennaya meditsina ogorchaet bol'shinstvo rossiyan [Domestic medicine afflicts most Russians]. *Nezavisimaya gazeta*. 11th December. [Online] Available from: http://www.ng.ru/economics/2013–12–11/4_medicine.html.

34. Vyalykh, N.A. (2016) Modeli sotsial'nogo povedeniya v rossiyskom obshchestve v sfere zdravookhraneniya [Models of social behavior in the Russian society in the sphere of public health]. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*. 7. pp. 83–91.

35. Krasnova, L.S. (2015) Sostoyanie zdorov'ya kak faktor sprosa na platnye meditsinskie uslugi [The state of health as a factor of demand for paid medical services]. *Vestnik Rossiyskogo monitoringa ekonomicheskogo polozheniya i zdorov'ya naseleniya NIU VShE (RLMS HSE)*. 5.

36. All-Russian Centre for the Study of Public Opinion. (2015) *Dostupnost' i kachestvo rossiyskogo zdravookhraneniya: otsenki patsientov* [Availability and quality of Russian public health: assessments of patients]. [Online] Available from: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115370.

37. FOMnibus. (2015) *Dominanty. Pole mneniy. Sotsiologicheskiy byulleten'. Zdravookhranenie* [Dominants. Field of opinions. Sociological Bulletin. Healthcare]. [Online] Available from: http://bd.fom.ru/pdf/d28zd15.pdf.

УДК: 911.373.2:316.334.55
DOI: 10.17223/1998863X/40/23

А.А. Позаненко

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ: К РАЗВИТИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ

Рассматриваются пространственно изолированные локальные сельские сообщества. Указаны основные подходы к анализу их специфики. В целях развития подходов на основе полевого исследования заключается, что устойчивость сообществ с ростом пространственной изоляции падает, а затем начинает расти. Это обусловлено тем, что трудности, вызванные изоляцией, проявляются сразу, а преимущества – лишь при значительном её уровне.
Ключевые слова: *пространственная изоляция; транспортная доступность; присваивающая экономика; устойчивость сельских сообществ; местное самоуправление.*

В 1990-е годы в провинциальной России произошло значительное «съёживание» системы общественного транспорта. В первую очередь это относится к водному транспорту и малой авиации. В большинстве регионов Европейской России (Сибири и Дальнего Востока это коснулось в меньшей степени) они исчезли почти или полностью, в остальных количество обслуживаемых маршрутов уменьшилось многократно [1], а стоимость проезда – многократно же увеличилась. В результате многие российские сёла, не связанные с «большой землёй» всесезонными дорогами, оказались в пространственной изоляции (здесь и далее под изолированными будут пониматься те населённые пункты, из которых трудно добраться даже до районного центра). В некоторых районах севера с низкой плотностью населения и слабой развитостью дорожной сети таких сёл большинство, а их население составляет существенную долю от общего числа жителей района.

Пространственная изоляция существует и там, где для этого нет объективных природно-ландшафтных предпосылок. Это может являться результатом исторических, системных, административных, экономических процессов. Особенно такая изоляция характерна для территорий, прилегающих к региональным и даже муниципальным границам. Например, не столь далёкие от Москвы Костромская и Вологодская область соединены между собой всего одной всесезонной автомобильной дорогой, несмотря на наличие населённых пунктов с обеих сторон их границы, протяжённость которой составляет примерно 600 километров. Такая же картина наблюдается и на двух других костромских границах – с Кировской и Нижегородской областями. Таким образом, многие приграничные деревни оказываются в изоляции – граница непроницаема, сами они находятся вдали от транспортных магистралей и своих районных центров, а добраться до них можно только по не всегда и не для всех проезжим просёлочным дорогам, по которым не ходит общественный транспорт.

Среди исследователей российского пространства доминирует точка зрения, что депрессивность и депопуляция сельской местности нарастают по мере удаления от региональных центров и крупных городов, а «центр – периферия», соответственно, является основной осью, по которой можно прослеживать различия в жизни территорий. Т.Г. Нефёдова описывает эту тенденцию, поделив пространства регионов на несколько поясов: пригороды, полупригороды, полупериферию и периферию [2. С. 363–367].

В.Л. Каганский убеждён, что из четырёх основных типов культурного ландшафта (центр, провинция, периферия, граница) территориально превалирующим в России является периферия, причём бывает она не только дальней (например, Эвенкия), но и внутренней, занимающей значительную и непрестанно растущую часть староосвоенных и даже наиболее развитых регионов [3]. Её существование обусловлено моноцентричностью организации российского пространства как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов и районов. Сёла, как правило, хорошо связаны с районным центром, районы – с центром региональным, а региональные центры – с Москвой. Горизонтальные связи развиты крайне слабо, а часто и вовсе отсутствуют, соседи никак не взаимодействуют и ничего друг о друге не знают [4, 5]. Таким образом, в классическом регионе всё, кроме зоны вокруг местной столицы и неширокой полосы вдоль ведущей в Москву магистрали, оказывается внутренней периферией, зоной ренатурализации ландшафта, социальной катастрофы и повального алкоголизма [3]. В местах, потерявших связь с «большой землёй», по логике государства, населения быть не должно, а должны сохраняться/возникать «закрытые зоны» [6. С. 15], т.е. места, куда никто и никогда не проникает.

Б.Б. Родоман [4] и В.Л. Каганский [3] считают, что пространства вдоль региональных границ как селитебные и хозяйственные зоны обречены. Б.Б. Родоман предлагает создать эконет, непрерывную сеть из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и даже заповедников (на стыках трёх регионов, где сосредоточена самая глушь), нитями которой будут именно внутренние границы. В.Л. Каганский, соглашаясь с этим, и вовсе выступает за создание ООПТ на большей части внутренней периферии. Он утверждает, что остающиеся местные жители заняты в том числе браконьерством, считает это одним из признаков социальной катастрофы [3. С. 27], однако ничего не говорит об их перспективах в случае создания ООПТ, которое, очевидно, приведёт к ломке их образа жизни. Б.Б. Родоман, напротив, выступает за консервацию и институционализацию натуральной жизни, которую ведут немногочисленные местные жители, и считает, что их нужно наделить правами аборигенов [4]. Действительно, жителям слабозаселённых местностей, не относящихся к числу коренных малочисленных народов, запрещено свободно ловить рыбу или заготавливать древесину для собственных нужд, этот вопрос на законодательном уровне и не поднимается, хотя, например, обсуждается даже разрешение вольного приноса золота [7].

Основываясь на вышесказанном, логично предположить, что устойчивость сельских сообществ должна ослабевать с ростом пространственной изоляции. Однако, основываясь на иных работах, можно прийти к противоположному выводу.

Общности (в некоторых переводах – общины), определённые и описанные Ф. Тённисом и имеющие прототипом первобытные кровнородственные общины, характеризуются сплочённостью, развитой взаимопомощью, привязанностью людей к своей земле (соответственно, малой миграционной мобильностью населения), единодушием, отсутствием письменного права и денежных отношений. Они наиболее вероятны в условиях родства и/или многопоколенного соседства и минимальной вовлечённости в жизнь глобализирующегося мира [8], что как раз характерно для многих изолированных сообществ. К. Поланьи также указывал на то, что в сообществах, скреплённых родством или соседством, наиболее вероятно возникновение реципрокных, безденежных отношений [9]. А реципрокность, как отмечает С.Ю. Барсукова, положительно влияет на жизнестойкость сообщества, оказываясь своего рода страховой системой; уклоняющиеся от неё рискуют утратой доверия и попаданием в социальную изоляцию [10]. Более того, по К. Поланьи, для первобытных или близких к ним обществ характерен коллективизм и общинная поддержка слабых, вследствие которой никому не грозит индивидуальный голод [11].

П.А. Кропоткин [12] утверждал, что естественным является состояние взаимной помощи и поддержки, а вовсе не Гоббсова война всех против всех, как было принято считать в то время. Он был убеждён, что общины, общинное землевладение и сельское самоуправление в Центральной и Западной Европе отмирали вовсе не по объективным экономическим законам, а в результате многовековой методической разрушительной государственной политики. Ликвидация общин и «поглощение всех общественных отправлений государством» [12. С. 190] привели к росту разобщённости и несамостоятельности в сельской среде и бюрократизации жизни крестьян. Близкие мысли содержатся в работе С.Ю. Барсуковой: она считает, что межсемейная кооперация развивается в условиях враждебного государства и практически сходит на нет при государстве социальном [10]. Напрашивается вывод, что чем дальше институты публичной власти и чем менее они ощутимы, тем выше должны быть уровни взаимопомощи и самоорганизации в сельском сообществе. Похожая логика прослеживается и в одном из тезисов В.Л. Каганского. По его мнению, депрессивная внутренняя периферия является неотъемлемой частью российского культурного ландшафта, имеющего природно-имперский характер, т.е. формирующегося и унифицирующегося государством по единому образцу, без оглядки на его естественность для тех или иных мест. И в нём иная, самобытная, «осмысленная» жизнь сохраняется лишь «в щелях и зазорах, неизбежных при заполнении пространства стандартными формами-проектами» [13. С. 7], а в таких «щелях и зазорах» в том числе находятся и оторванные от государства пространственно изолированные населённые пункты.

Ю.М. Плюснин полагает, что пространственно изолированные общины часто демонстрируют не только развитость реального местного самоуправления, но и устойчивость к внешним воздействиям, таким как, например, экономический кризис в стране. Также он утверждает, что только достаточное (с достаточным количеством ресурсов) и присвоенное (контролируемое) про-

странство может стать общинной, самодостаточной и самоуправляемой территорией [14], т.е. в плотно заселённой местности таковой не найти.

Соответственно, предположение о прямой (а не обратной) связи между уровнем пространственной изоляции и устойчивостью сообщества также вполне закономерно.

В ходе экспедиций, посвящённых выявлению влияния пространственной изоляции на социальную структуру сельских сообществ[1], автором было замечено, что одни сообщества выглядят «живее» своих неизолированных соседей, другие – наоборот. Также сообщества с аналогичным уровнем изоляции в разных регионах могли характеризоваться различным уровнем «живости» или устойчивости[2]. Последовавшие более детальные наблюдения привели к выводу, что во внимание стоит принимать не только сам факт пространственной изоляции, но и её уровень.

С учётом сказанного вначале объектом исследования были деревни, сёла и посёлки, из которых проблематично добираться даже до районного центра. Поэтому в него не включались, к примеру, города Нарьян-Мар или Петропавловск-Камчатский, несмотря на то, что попасть в них из других регионов России можно только по воде или воздуху. Изолированными не считались места, куда круглогодично, ежедневно и без проблем можно добраться как личным, так и общественным транспортом, а также военные городки, вахтовые посёлки при месторождениях, кордоны в заповедниках и прочие ведомственные объекты, не являющиеся полноценными населёнными пунктами, и чьё существование полностью зависит от политики организаций, в структуру которых они входят. Обследовано 15 пространственно изолированных локальных сообществ в Карелии, Коми, Архангельской, Костромской и Мурманской областях. Исследование проводилось по месту проживания информантов методами глубинного интервью и наблюдения, в том числе с элементами включённого наблюдения. Взято 63 интервью у 85 местных жителей, а также проведено около 75 бесед, не учитывавшихся как отдельные интервью. Вне исследуемых сообществ, но в тех же муниципальных районах взято 4 интервью у сотрудников администраций сельских поселений (как муниципальных образований), на территории которых есть пространственно изолированные деревни, и ещё 1 – у местного жителя, хорошо знакомого с предметом исследования.

Обследованные сообщества схожи в этноконфессиональном отношении (в некоторых сёлах, помимо русских, живут коми, ненцы и саамы, но степень их «обрусения» позволяет пренебречь этим фактом). Как выяснилось в ходе экспедиций, сравнивать и вовсе можно лишь аналогичные сообщества, основным различием которых является именно уровень пространственной изоляции, поскольку в противном случае вмешивается слишком много посторонних факторов. Сравниваемые населённые пункты должны находиться не только в одной этноконфессиональной и культурной среде, но и по соседству

[1] В рамках проекта «Социальная структура локальных сообществ, пространственно изолированных от институтов публичной власти» (при финансовой поддержке Фонда «Хамовники», 2012–2014).

[2] Под «устойчивостью» понимается не устойчивое развитие (sustainable development), а именно сама устойчивость, определяемая динамикой численности постоянного населения (реальной, а не официальной), его возрастной структурой, качеством жизни, а также степенью сплочённости и самодостаточности сообщества.

(в одном районе или в соседних районах), а также иметь сопоставимые численность населения и структуру экономики на момент распада СССР.

В выборку попали локальные сообщества с самой разной степенью пространственной изоляции. Нужно отметить, что изоляция извне существеннее изоляции изнутри: местным жителям проще выбраться на «большую землю», чем сторонним людям попасть сюда, – у первых есть соответствующая условиям техника (вплоть до гусеничных вездеходов). Наименее изолированным оказался посёлок, расположенный всего в одном километре от районного центра, но отделённый от него рекой без моста и парома. Самым изолированным стало село, удалённое от ближайшей дороги на 120 километров по воздуху. Летом туда можно добраться только вертолётом, который летает из районного центра раз в неделю, но билет в одну сторону по состоянию на лето 2013 г. стоил примерно 2,5 тыс. руб., поэтому, в среднем, жители пользуются вертолётом раз в год. Зимой открывается поддерживаемый самими жителями тракторно-вездеходный и снегоходный путь по тундре, замёрзшим болотам и озёрам (на автомобиле, даже внедорожнике, туда нельзя доехать никогда). При этом в данное село, пусть и дорого и всего раз в неделю, но можно долететь круглый год, а есть в выборке населённые пункты, куда, как правило, добраться легче, но они могут быть полностью отрезаны по месяцу и более из-за ледохода, ледостава или половодья, залившего дорогу. Официального общественного транспорта в большинстве посещённых населённых пунктов нет совсем. Кое-где он частично компенсируется неофициальным, варьирующим от места к месту.

В связи с этим автором различается незначительная, значительная и средняя пространственная изоляция. К сёлам, находящимся в незначительной изоляции, отнесены те, в которых единовременно отсутствует 1) ежедневное сообщение общественным транспортом; 2) дорога с твёрдым покрытием; 3) всесезонная дорога при наличии пешей доступности туда-обратно за один день до места, не находящегося в пространственной изоляции; либо отсутствие пешей доступности при наличии всесезонной дороги. К сёлам, находящимся в значительной изоляции, отнесены сёла, характеризующиеся одновременным отсутствием 1) хотя бы еженедельного сообщения доступным (по цене) общественным транспортом; 2) всесезонной дороги; 3) пешей доступности. Промежуточные населённые пункты находятся в средней изоляции. Важно, что речь идёт о стартовых условиях, в которых локальные сообщества оказались в результате не зависевшего от них резкого снижения транспортной доступности, случавшегося либо из-за закрытия селообразующего предприятия (колхоза, совхоза, леспромхоза) и исчезновения соответствующего транспорта и техники, либо из-за ликвидации, урезания или многократного удорожания сообщения общественным транспортом. Действия, которые местные жители предпринимают для того, чтобы приспособиться к новым условиям, в градации не учитываются. Два населённых пункта из выборки находятся в незначительной изоляции, 10 – в средней, 3 – в значительной.

Проведённое исследование показывает, что оба упомянутых подхода к влиянию пространственной изоляции на устойчивость локальных сельских сообществ не могут претендовать на универсальность. Действительно, мас-

совое банкротство сельскохозяйственных предприятий и леспромхозов на нечерноземной периферии чаще всего приводит к вымыванию трудоспособного населения из села и возникновению отходничества – временной трудовой миграции [15]. Однако, как справедливо замечает О.П. Фадеева, альтернативой может стать освоение природных богатств, в случае слабого над ними контроля [16. С. 23]. А в пространственно изолированных сёлах как слабее всего контроль, так зачастую и невозможно отходничество.

Это подводит к тому выводу, что устойчивость локальных сельских сообществ с нарастанием пространственной изоляции сначала падает, а потом начинает расти (рис. 1). Сообщества, находящиеся в значительной пространственной изоляции, зачастую оказываются даже устойчивее аналогичных неизолированных сельских сообществ [17].

Информант 1 (Инф 1): Я вообще считаю, что здесь ещё неплохо.

Информант 2: Здесь жилое! Плачут: переправа, переправа! А что переправа? На той стороне…

Инф 1: И переправа не нужна, и асфальт есть, а деревни сдохли![1]

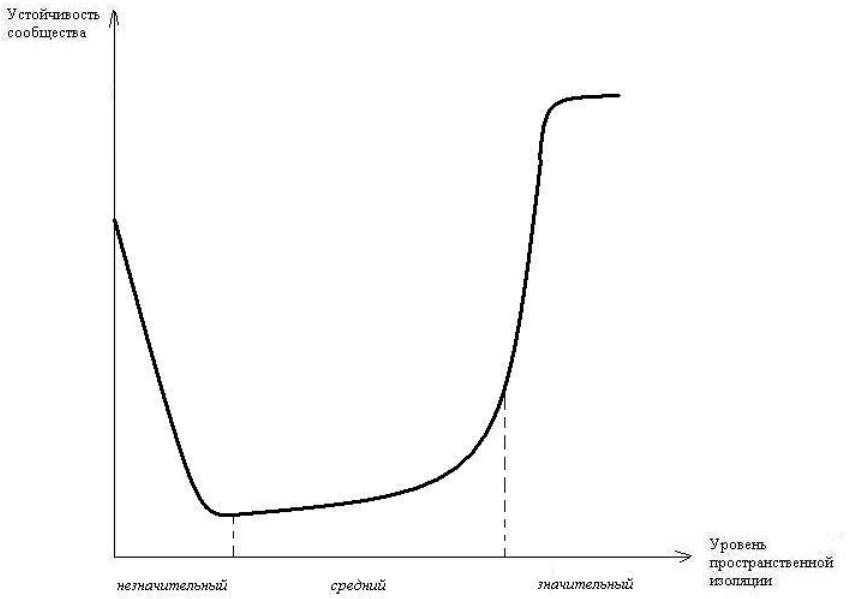

Рис. 1. Зависимость устойчивости локальных сельских сообществ от уровня пространственной изоляции

Объясняется это следующим образом. Трудности, связанные с пространственной изоляцией, проявляются сразу, но вскоре практически перестают расти с дальнейшим увеличением уровня изоляции. К ним относятся неудобства, связанные с плохими транспортной доступностью и снабжением, отсутствие сколь-либо развитого рынка труда (в том числе и для потенциальных отходников), низкая рентабельность бизнеса (особенно официального) и др.

[1] Чета предпринимателей, около 45 лет, Костромская область, ноябрь 2013 г.

Преимущества пространственной изоляции, напротив, проявляются лишь при достижении значительного её уровня (рис. 2)[1].

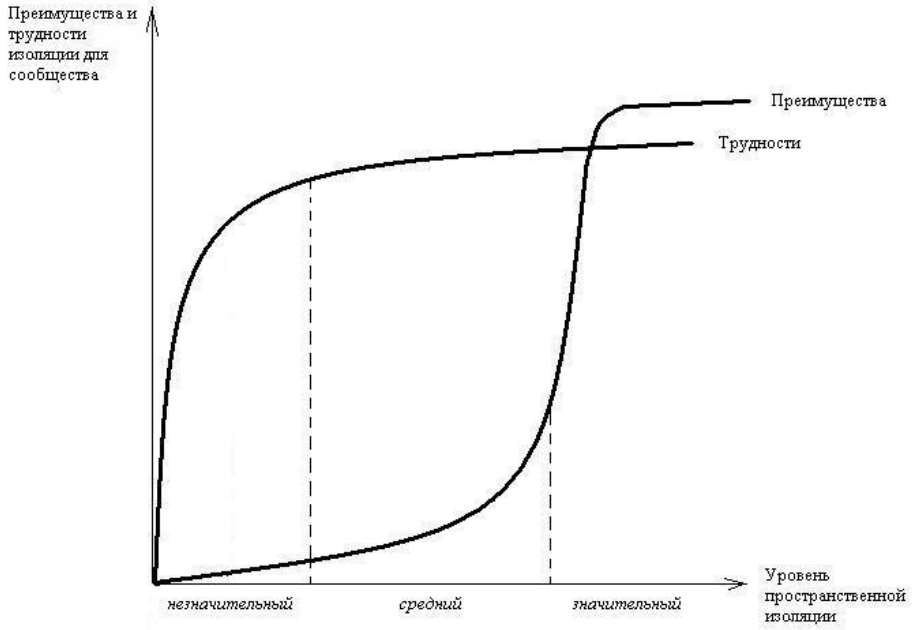

Рис. 2. Зависимость трудностей и преимуществ пространственной изоляции для сельского локального сообщества от её уровня

Основным из преимуществ является возможность безраздельно и по собственному усмотрению пользоваться природными ресурсами. В такие населённые пункты почти или вовсе не добираются ни контролирующие инстанции, ни заезжие охотники и рыболовы. Местные жители осознают это и в большинстве своём считают изоляцию и отсутствие дороги благом, обеспечивающим им чувство практически полной свободы и возможность вести нравящийся им образ жизни в спокойном, понятном, своём мире.

Будем надеяться, село наше не вымрет, а будет жить тихонечко. Надо, чтоб жило-то. Привыкли уже здесь, сами по себе. Отдельная типа республичка. Я лично против того, чтоб дорога тут была[2].

Дорога – палка о двух концах. С одной стороны, приток людей был бы. Одни приехали, другие уехали. Может быть, коммерция какая-то, торговля. Продуктовая коммерция, может, поживее бы была и подешевле. А с другой стороны,

[1] Вероятно, при достижении определённого уровня изоляции её преимущества, проявившись в полной мере, практически перестают нарастать. То есть, например, не должно быть принципиальной разницы между удалённостью от ближайшей дороги на 500 и на 1000 километров. Таким образом, кривая преимуществ весьма похожа на логистическую кривую (см. уравнение Ферхюльста), хотя первая выводилась автором не математически, а исключительно аналитически.

[2] Связист, около 45 лет, Мурманская область, июль 2013 г.

это уже будет не село самобытное. Это уже понаедут, это будет и воровство, и всякое такое хулиганство[1].

Интервьюер (Инт): Как Вам кажется, то, что село труднодоступно, это благо или вред?

Информант (Инф): В одном смысле это благо. А то иначе бы тут ё-моё.

Инт: Вы бы хотели, чтобы был мост через реку, асфальт сюда?

Инф: Нет, лучше пусть так, как есть[2].

Мурманскому селу, например, губернатор предлагала построить дорогу, но на общем сходе жители села отказались. За дорогу выступали преимущественно те, кто переехал туда относительно недавно.

Для сообществ, находящихся в значительной пространственной изоляции, характерны общинные отношения и следующий из них высокий уровень взаимопомощи и самоорганизации, которые позволяют эффективно решать общие проблемы. Люди дорожат такими отношениями и не хотят их лишиться.

Доступность природных ресурсов, удовлетворённость образом жизни и сплочённость жителей, накладываясь на трудности переезда и перевозки имущества, ведут к высокой устойчивости этих сообществ. На то, что безраздельный контроль над природными ресурсами зачастую делает труднодоступные деревни жизнеспособнее своих неизолированных аналогов, указывают также А.А. Кулясова и А.В. Овчинников [18. С. 108–109].

Современная российская деревня (по крайней мере, на уровне нарратива) живёт преимущественно прошлым, ностальгирует по нему и мало надеется на будущее (см., напр.: [19. С. 48]). Безусловно, эти настроения присутствуют и в пространственной изоляции, но плач о прошлом тише, жители настроены оптимистичнее и зачастую даже считают, что живут хорошо, и верят в то, что их деревни ждёт не вымирание, а полноценная жизнь.

Люди стали рожать. Кто-то второго, кто-то третьего. Женщины не боятся. <…> Ничего, живём. Уезжать не собираемся[3].

Целыми семьями из пространственно изолированных деревень уезжают редко. Взрослые и, тем более, пенсионеры привязаны к своему месту жительства и родному сельскому сообществу. Те немногие, кто был бы не прочь переехать, – почти исключительно женщины, поскольку мужчины совершенно не представляют жизни без своих леса и реки.

Я бы, может, и хотела уехать, но он, наверное, не уедет. Он же лесной[4].

Даже многие дети связывают своё будущее с малой родиной и собираются вернуться после получения профессионального образования, и некоторые, хотя и меньшинство, действительно возвращаются.

Одно событие может одномоментно вывести сообщество из устойчивости – закрытие школы. Без врачей, как показывает исследование, деревня вполне может прожить – «скорая» в большинство обследованных населённых

[1] Пенсионерка, 66 лет, Мурманская область, июль 2013 г.
[2] Лесничий, около 55 лет, Костромская область, ноябрь 2013 г.
[3] Женщина-метеоролог, 62 года, Мурманская область, июнь 2013 г.
[4] Женщина-почтальон, около 50 лет, Костромская область, февраль 2013 г.

пунктов не выезжает (часто она даже гипотетически не может проехать), а на месте, в лучшем случае, есть только ФАП. А без учителей в зоне досягаемости – нет. Благо, обычно школа закрывается только тогда, когда в деревне остаётся не более нескольких учеников, а иногда её и вовсе держат до упора. В противном случае местные жители не в состоянии обучать детей на дому (им это и не приходит в голову). Отправлять же детей к родственникам или в интернат решаются немногие, не говоря уже о том, что интернаты есть далеко не во всех районных центрах.

А потом, когда здесь полную школу закрывали… У меня старшая в 10-й класс шла. <…> И всё, и как? Куда-то в техникум не хотелось. <…> У нас стал вопрос переезжать[1].

С закрытием школы, семьи, в которых есть школьники, вынуждены переезжать, оставляя на месте только бабушек и дедушек.

Подытоживая, можно сказать, что сельские сообщества, живущие в значительной пространственной изоляции, по сути, уже находятся за пределами пространства, рассматриваемого Т.Г. Нефёдовой, где-то за периферией. Равно как и вне природно-имперского ландшафта В.Л. Каганского: у них нет не только горизонтальных транспортных связей с соседями, но и вертикальных – с центрами своих сельских муниципалитетов и районов. Государства здесь практически нет, оно ушло и теперь сюда не дотягивается.

Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на два устоявшихся подхода к пространственной изоляции, в которых ей приписывается либо деструктивное, либо конструктивное воздействие на сообщество. Наблюдения автора показывают, что недостатки изоляции, по большей части, возникают уже при незначительном её уровне, тогда как преимущества (основным из которых является возможность по своему усмотрению и бесконтрольно пользоваться окружающими природными ресурсами) появляются лишь в условиях значительной изоляции. Иными словами, при высоком уровне изоляции, по всей видимости, влияние её «минусов» на устойчивость сообществ компенсируется и иногда даже перевешивается влиянием её «плюсов».

Литература

1. *Ильин В.И.* Российская глубинка в социальной структуре России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 4. С. 25–47.

2. *Нефёдова Т.Г.* Сельская Россия на перепутье: Географические очерки. М.: Новое издательство, 2003.

3. *Каганский В.Л.* Внутренняя периферия – новая растущая зона культурного ландшафта России // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 6. С. 23–34.

4. *Родоман Б.Б.* Экологическая специализация России в глобализирующемся мире (проект нестандартного решения) // Общественные науки и современность. 2006. № 2. С. 78–89.

5. *Каганский В.Л.* Исследование российского культурного ландшафта как целого и некоторые его результаты // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 4 (5). С. 26–37.

6. *Каганский В.Л.* Ландшафт. Империя. Россия // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 2(11). С. 5–15.

7. *Журавская Т.Н.* Моральная экономика «хищников»: случай дальневосточных поселений // Terra Economicus. 2013. № 4. С. 44–53.

[1] Священник, около 40 лет, Костромская область, ноябрь 2013 г.

8. *Tönnies F.* Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Vierte und fünfte Auflage. Berlin: Verlag Karl Curtius, 1922.

9. *Поланьи К.* Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая социология. 2002. № 2. С. 62–73.

10. *Барсукова С.Ю.* Реципрокные взаимодействия. Сущность, функции, специфика // Социологические исследования. 2004. № 9. С. 20–29.

11. *Поланьи К.* О вере в экономический детерминизм // Неформальная экономика. Россия и мир / под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. с. 505–513.

12. *Кропоткин П.А.* Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.

13. *Каганский В.Л.* Как устроена Россия? Портрет культурного ландшафта. М.: Стрелка пресс, 2013.

14. *Плюснин Ю.М.* Факторы развития местного самоуправления. Оценка значения изоляции и изоляционизма // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. № 3. С. 38–50.

15. *Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., Жидкевич Н.Н., Позаненко А.А.* Отходники. М.: Новый хронограф, 2013.

16. *Фадеева О.П.* Трансформация хозяйственных укладов и потенциал самоорганизации сельских сообществ // Вторая Россия: дифференциация и самоорганизация: сборник научных статей / под ред. А.М. Никулина. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. С. 15–43.

17. *Позаненко А.А.* Социальная структура локальных сообществ, пространственно изолированных от институтов публичной власти // Социальная география, социобиология и социальные науки: моделирование и прогностика процессов развития регионов Ближнего Севера России: Материалы 5 Международной научной конференции / под ред. Н.Е. Покровского. М.: Грифон, 2014. С. 72–77.

18. *Кулясова А.А., Овчинников А.В.* Возможности, проблемы и опыт устойчивого сельского развития // Гуманитарные и естественнонаучные факторы решения экологических проблем и устойчивого развития. Новомосковск: Новомосковский филиал УРАО, 2014. Ч. 1. С. 104–110.

19. *Бредникова О.* Деревня умерла? Да здравствует деревня! (ещё раз к вопросу о различиях города и деревни) // Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е. Богдановой и О. Бредниковой. СПб.: Алетейя, 2013. С. 28–59.

Благодарности

Автор благодарен Н.Н. Жидкевич за ценные советы, касающиеся логики построения статьи.

Artemy A. Pozanenko. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

E-mail: apozanenko@hse.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/23

TERRITORIAL ISOLATION AND THE SUSTAINABILITY OF LOCAL COMMUNITIES: DEVELOPING THE EXISTING APPROACHES

Key words: territorial isolation; transport accessibility; subsistence economy; rural community sustainability; local self-government

In the 1990s, the public transportation system in provincial Russia shrank significantly. Most affected were the water transport and small aircraft aviation. As a result, many rural local communities, not connected with the "mainland" by all-season roads, found themselves in territorial isolation. The paper deals with the case of villages that have poor transport communication with the outer world, including their district (rayon) center, or none at all (in the conventional sense). It studies the influence of territorial isolation on their sustainability. One can find two opposing views of such influence in the academic literature. According to the first approach, after losing government support, peripheral and especially hard-to-reach villages become economically unviable, unattractive for living in them and doomed to extinction. According to the second approach, the noninterference of the state in the life of the local population enhances the solidarity, self-organization and self-sufficiency of the communities, which makes them sustainable to economic cataclysms. Based on the findings of his field research, which addressed the social structure of territorially isolated settlements, the author

attempts to contribute to the development of these approaches. He concludes that under otherwise equal starting conditions at the time when transport accessibility collapsed or deteriorated, those communities that became considerably isolated turn out to be sustainable (viable), and sometimes even more so than their non-isolated counterparts, whereas the resilience of communities that ended up in minor isolation sharply decreases. In other words, with the emergence and increase of territorial isolation, the sustainability curve of communities first declines, and then starts to rise. This is due to the following circumstances. Insignificant isolation manifests primarily its disadvantages – poor transport accessibility and supply, unavailability of any decent labor market, low profitability of business, etc. However, the more isolated a community is, the more such shortcomings are balanced and sometimes even outweighed by the increasing advantages, the principal one being the ability of the locals to use the surrounding natural resources at their discretion and free of any control.

References

1. Ilin, V.I. (2010) Rossiyskaya glubinka v sotsial'noy strukture Rossii [Russian province in the social structure of Russia]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 4. pp. 25–47.

2. Nefedova, T.G. (2003) *Sel'skaya Rossiya na pereput'e: Geograficheskie ocherki* [Rural Russia at the crossroads: Geographical sketches]. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

3. Kaganskiy, V.L. (2012) Vnutrennyaya periferiya – novaya rastushchaya zona kul'turnogo landshafta Rossii [Internal periphery is a new growing zone of Russia's cultural landscape]. Izvestiya *RAN. Seriya geograficheskaya*. 6. pp. 23–34.

4. Rodoman, B.B. (2006) Ekologicheskaya spetsializatsiya Rossii v globaliziruyushchemsya mire (proekt nestandartnogo resheniya) [Ecological specialisation of Russia in the globalising world (the project of non-standard solution)]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 2. pp. 78–89.

5. Kaganskiy, V.L. (2011) A Holistic Investigation of the Russian Cultural Landscape. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury – International Journal of Cultural Research*. 4(5). pp. 26–37. (In Russian).

6. Kaganskiy, V.L. (2013) The Russian Cultural Landscape as an Empire Landscape. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury – International Journal of Cultural Research*. 2(11). pp. 5–15. (In Russian).

7. Zhuravskaya, T.N. (2013) Moral'naya ekonomika “khishchnikov”: sluchay dal'nevostochnykh poseleniy [Moral economy of “predators”: the case of Far Eastern settlements]. *Terra Economicus*. 4. pp. 44–53.

8. Tönnies, F. (1922) *Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie* [Community and Society. Basic concepts of pure sociology]. Berlin: Verlag Karl Curtius.

9. Polani, K. (2002) Ekonomika kak institutsional'no oformlennyy protsess [Economics as an institutionalised process]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya – Economic Sociology*. 2. pp. 62–73.

10. Barsukova, S.Yu. (2004) Retsiproknye vzaimodeystviya. Sushchnost', funktsii, spetsifika [Reciprocal interactions. Essence, functions, specificity]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 9. pp. 20–29.

11. Polani, K. (1999) O vere v ekonomicheskiy determinizm [About belief in economic determinism]. In: Shanin, T. (ed.) *Neformal'naya ekonomika. Rossiya i mir* [Informal economy. Russia and the World]. Moscow: Logos. pp. 505–513.

12. Kropotkin, P.A. (2013) *Vzaimnaya pomoshch' sredi zhivotnykh i lyudey kak dvigatel' progressa* [Mutual assistance among animals and humans as an engine of progress]. Moscow: LIBROKOM.

13. Kaganskiy, V.L. (2013) *Kak ustroena Rossiya? Portret kul'turnogo landshafta* [How is Russia structured? Portrait of a cultural landscape]. Moscow: Strelka press.

14. Plyusnin, Yu.M. (2008) Local self-government development factors. Assessment of importance isolation and isolationism

. *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya – Public Administration Issues*. 3. pp. 38–50. (In Russian).

15. Plyusnin, Yu.M., Zausaeva, Ya.D., Zhidkevich, N.N. & Pozanenko, A.A. (2013) *Otkhodniki* [Seasonal workers]. Moscow: Novyy khronograf.

16. Fadeeva, O.P. (2012) Transformatsiya khozyaystvennykh ukladov i potentsial samoorganizatsii sel'skikh soobshchestv [Transformation of economic structures and the potential of self-

organization of rural communities]. In: Nikulin, A.M. (ed.) *Vtoraya Rossiya: differentsiatsiya i samoorganizatsiya* [Second Russia: differentiation and self-organization]. Moscow: Delo. pp. 15–43.

17. Pozanenko, A.A. (2014) [The social structure of local communities spatially isolated from the institutions of public power]. *Sotsial'naya geografiya, sotsiobiologiya i sotsial'nye nauki: modelirovanie i prognostika protsessov razvitiya regionov Blizhnego Severa Rossii* [Social geography, sociobiology and social sciences: modeling and prognostication of development processes in the regions of the Near North of Russia]. Proc. of the Fifth International Conference. Moscow. pp. 72–77. (In Russian).

18. Kulyasova, A.A. & Ovchinnikov, A.V. (2014) Vozmozhnosti, problemy i opyt ustoychivogo sel'skogo razvitiya [Opportunities, problems and experience of sustainable rural development]. In: Shulmin, S. et al. (eds) *Gumanitarnye i estestvennonauchnye faktory resheniya ekologicheskikh problem i ustoychivogo razvitiya* [Humanitarian and natural science factors in solving environmental problems and sustainable development]. Novomoskovsk: Novomoskovskiy filial URAO. pp. 104–110.

19. Brednikova, O. (2013 Derevnya umerla? Da zdravstvuet derevnya! (eshche raz k voprosu o razlichiyakh goroda i derevni) [Did the village die? Long live the village! (once again to the question of the differences between the city and the village)]. In: Bogdanova, E. & Brednikova, O. (eds) *Vdali ot gorodov. Zhizn' postsovetskoy derevni* [Far from the cities. The life of the post-Soviet village]. St. Petersburg: Aleteyya. pp. 28–59.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 323.22/.28
DOI: 10.17223/1998863X/40/24

В.Р. Камоликова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РЕГИОНЫ РФ (2003–2015 гг.)

Анализируются факторы, которыми могут руководствоваться федеральные власти для распределения бюджетных трансфертов на поддержание субъектов Российской Федерации. Проведенный корреляционный и регрессионный анализ показал, что регионы с более высоким уровнем безработицы и более низким среднедушевым доходом получают большую финансовую поддержку. Политическая лояльность, проявленная в поддержании действующей власти, также поощряется Центром.
Ключевые слова: *распределение бюджетных трансфертов, выборы, регрессионный анализ.*

Закономерности и тенденции в распределении бюджетных трансфертов в современной России – научная проблема, имеющая как теоретическое, так и эмпирическое измерение. На концептуальном уровне, в политической науке и политэкономии не прекращаются дискуссии о «базовой модели» распределения региональных трансфертов центральной властью. Несколько упрощая, можно выделить два лагеря, в которые входят как отечественные, так и зарубежные исследователи. Первый из них объединяет сторонников модели «поддержки ядерного электората»; в этой статье она будет обозначена как стратегия «поощрения друзей». Вторая модель – модель «поддержки колеблющегося электората» – отражает стратегию «умиротворения оппонентов» [1. С. 28]. В литературе нет однозначного ответа на вопрос, какую стратегию выбирают политики [2. P. 23].

А. Линдбек и Дж. Вайбул утверждают, что власть выбирает стратегию «умиротворения оппонентов», так как маловероятно, что ядерный электорат изменит свои предпочтения в случае получения меньшего объема трансфертов. Таким образом, они исключают ядерный электорат из дистрибутивной модели. Для того чтобы увеличить долю голосов, партия должна сконцентрироваться на колеблющихся избирателях, чья слабая партийная принадлежность делает их легкими для «подкупа» [3. P. 274].

Однако такая модель поведения предполагает ряд существенных допущений. Предполагается, что после получения определенного объема бюджетных средств стратегия поведения избирателей должна незамедлительно измениться, хотя сомнительно, что голосующие в действительности способны так быстро скорректировать свои предпочтения. Г. Кокс и М. МакКуб-

бинс, сторонники стратегии «поощрение друзей», считают, что риск может быть оправдан, если власть знает тех, кому направляет финансовую поддержку. В реальности же политики могут иметь неточные представления о предпочтениях колеблющихся избирателей, о распределении прибыли внутри групп, могут заключить сделку не с «теми людьми» [4. P. 371]. Э. Диксит и Дж. Лондреган так же, как Кокс и Маккубинс, рассматривают уровень затрат на колеблющихся избирателей с точки зрения их возможной неэффективности. То есть пытаются понять, в какой момент объем бюджетных вливаний в отношении колеблющихся избирателей перестает перевешивать пользу от поддержки ядерного электората [5. P. 1137]. В этом случае рассматривается только прибыль политиков от получения голосов, а что если добавить дополнительный интерес для политиков – получение ренты? Работы С. Ансолабехере и Дж. М. Снайдера [6], М. Вайшнава и Н. Сиркара [7] посвящены развитию этих моделей и поискам эмпирических подтверждений о рентоориентированности политиков.

Отечественные исследователи концентрируют внимание на роли экономического роста как фактора выбора модели распределения. А.В. Стародубцев провел исследование, в котором был осуществлен анализ распределения трансфертов с 1999 по 2007 г. В 1999–2000 гг. федеральный центр придерживался идеологической модели, исходя из которой, поддерживать нужно наименее развитые регионы. Однако позднее стали возникать признаки стратегии «поощрения друзей». В 2003 г. ситуация вновь изменилась: достаточный объем федеральных средств стали получать не только наиболее лояльные, но и самые оппозиционные регионы [8. С. 25]. Таким образом, в условиях улучшения экономической ситуации в стране в целом появляется стратегия двунаправленного финансирования. Возникает она в связи с грядущими парламентскими и президентскими выборами, что, в свою очередь, полностью подтверждает концепцию В. Нордхауса о «политическом бизнес-цикле» – после выборов объем трансфертов сокращается, а при приближении к следующим – увеличивается [9. P.187]. А.В. Стародубцев фиксирует снижение значимости результатов парламентских и президентских выборов перед следующим электоральным циклом 2007–2008 гг., причиной он указывает консолидацию режима в 2004 г.

Решением похожей задачи занимались И. Маркес, Е. Назруллаева и А. Яковлев. Авторы подчеркивают важность электоральных циклов, однако отмечают их незначимость с 2004 по 2006 г. Увеличение трансфертов в преддверии выборов фиксируется в 2007 и 2008 гг., что полностью противоречит выводам, полученным А.В. Стародубцевым. В другой своей работе авторы утверждают, что регионы, где преобладает «ядерный» электорат, получают трансферты, когда экономический рост замедлен, в то время как «колеблющиеся» регионы получают трансферты в случае ускоренного экономического роста. «Ядерные» регионы в случае низкого экономического роста получают трансферты, поскольку власть стремится избежать перемены электоральных предпочтений. «Колеблющиеся» регионы получают трансферты, так как власть может рассчитывать на поддержку «ядерных» и без дополнительного финансирования [10. P. 24].

Есть литература, посвященная влиянию системы перераспределения общественных ресурсов на экономическую эффективность, поддержку власти и социальное неравенство. А.С. Ахременко и А.П. Петровым была построена динамическая математическая модель, учитывающая налоговую нагрузку и объем инвестиций. В первом случае проводился вычислительный эксперимент со стратегией распределения межбюджетных трансфертов в пользу поддерживающих власть, во втором случае – в пользу недовольных. Авторы приходят к выводу, что голосование в поддержку власти зависит от индивидуального ресурсного роста, который в состоянии обеспечить лишь более продуктивные индивиды [11. С. 6178]. Таким образом, когда мы наблюдаем стратегию «поддержания друзей», возникают две области «хороших результатов»: сочетание низких налогов и высокой доли инвестиций и сочетание высоких налогов и низкой доли инвестиций. Те индивиды, которые не могут обеспечить электоральную поддержку власти, не обладают высокой продуктивностью, следовательно, их поощрение ведет к неэффективному расходованию средств и снижению продуктивности.

Эмпирическое измерение проблемы распределения трансфертов по регионам России связано с явной неравномерностью бюджетных потоков, наличием труднообъяснимых статистических фактов. Например, в 2015 г. объем трансфертов на душу населения в Республику Тыва оказался практически равным объему бюджетных средств в пользу Республики Саха (Якутия), хотя очевидно, что регионы имеют совершенно разную экономическую и территориальную специфику. Эти регионы получили наибольший объем поддержки со стороны федерального центра. Напротив, самые низкие трансферты получили Белгородская, Нижегородская и Тульская области. Такой разброс в финансировании заставляет нас обратить внимание на факторы, обусловливающие различия между регионами.

Мы анализируем данные за период с 2003 по 2015 г. Гипотеза данного исследования заключается в том, что федеральный центр из экономических и социальных соображений должен перераспределять межбюджетные трансферты в пользу менее продуктивных регионов. Что же касается политических факторов, центр будет руководствоваться стратегией двунаправленного финансирования: поддержки как лояльных, так и оппозиционных регионов.

Методология и описание данных

Подразумевается, что реализация политического курса может быть интерпретирована через объем финансовых средств [12], которые вкладываются в региональную экономику через механизмы региональной политики. Предполагается тестирование двух моделей определения объема финансовой помощи: 1) с ориентацией на социально-экономические факторы; 2) с ориентацией на политические факторы. В соответствии с первой моделью федеральный центр может руководствоваться одной из двух стратегий: 1) поддерживать слабые регионы; 2) инвестировать в более развитые. В соответствии со второй моделью политических факторов центр может выбирать умиротворение оппонентов или поощрение друзей. Выборка состоит из 55 ре-

гионов, список регионов приводится в Приложении А. Для оценки этих моделей будут использованы корреляционный и регрессионный анализ.

В качестве социально-экономических показателей были взяты следующие показатели:

- Среднедушевой доход в регионе;
- Изменение валового регионального продукта [13];
- Уровень безработицы по методологии МОТ.

Для оценки политических факторов были взяты два показателя:

- Результаты парламентских выборов в пользу «Единой России» как фактора, демонстрирующего лояльность федеральным властям (2003, 2007, 2011, 2016) [14];
- Результаты президентских выборов в пользу В.В. Путина, Д.А. Медведева как фактора, демонстрирующего лояльность федеральным властям (2004, 2008, 2012).

В качестве показателя бюджетных поступлений в субъекты РФ были взяты данные о трансфертах в регионы, скорректированные на душу населения. Также для построения регрессионной модели важна однородность данных, поэтому был взят логарифм от этого показателя, а также от среднедушевого дохода. Перед проведением регрессионного анализа были рассчитаны коэффициенты корреляция.

Результаты анализа данных

Ниже приведены таблицы и графики с результатами анализа данных, после каждой таблицы и графика дается интерпретация полученных результатов.

Таблица 1. **Коэффициенты корреляции Спирмана между трансфертами и социально-экономическими и политическими факторами**

	Среднедушевой доход	Изменение ВРП	Показатель лояльности на президентских выборах	Показатель лояльности на парламентских выборах	Безработица
1	2	3	4	5	6
Трансферты 2003	-,345**	-,053	,368*	,339*	,323*
Трансферты 2004	-,322*	,029	,367**	,345**	,413**
Трансферты 2005	-,319*	-,148	,333*	,322*	,538**
Трансферты 2006	-,402**	-,132	,388**	,403**	,526**
Трансферты 2007	-,474**	-,072	,407**	,410**	,536**
Трансферты 2008	-,457**	,006	,227	,372**	,562**
Трансферты 2009	-,392**	,321*	,218	,344*	,510**

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6
Трансферты 2010	-,345**	-,245	,230	,354**	,497**
Трансферты 2011	-,339*	-,072	,279*	,326*	,450**
Трансферты 2012	-,386**	,167	,331*	,345**	,463**
Трансферты 2013	-,393**	,238	,332*	,318*	,427**
Трансферты 2014	-,395**	-,021	,327*	,360**	,448**
Трансферты 2015	-,377**	-,171	,351*	,248	,495**

*Коэффициент значим на уровне 0,05, ** коэффициент значим на уровне 0,01.

Для более наглядной демонстрации уровня взаимосвязи ниже приводится график.

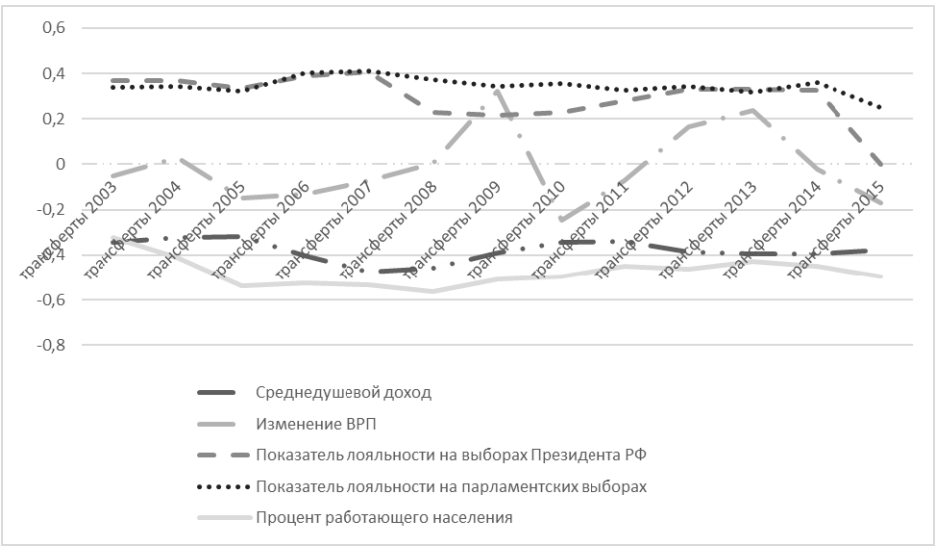

Рис.1. Коэффициенты корреляции Спирмана между трансфертами и социально-экономическими и политическими факторами в динамике

График показывает, что наиболее сильная положительная взаимосвязь наблюдается между трансфертами и политической лояльностью региона на парламентских выборах во все годы за исключением выборов 2016 г. Влияние выборов повышается при приближении к выборам, удерживается на время президентских и падает сразу после них. Тенденция сохранялась до последних парламентских выборов, в 2016 г. взаимосвязь теряет свою значимость.

Лояльность на президентских выборах также положительно связана с объемом межбюджетных трансфертов. Однако в период правления Д.А. Медведева данный показатель оказывается незначимым. Возможно, для

власти не имело большого значения, насколько регионы могут обеспечить поддержку преемнику. Более значимые результаты показывают выборы, в которых баллотируется В.В. Путин.

Что касается социально-экономических характеристик, здесь стратегия заключается в поддержке наименее развитых регионов, в которых низок среднедушевой доход и высок уровень безработицы. Только единожды, в 2009 г., показатель изменения ВРП становится положительно значимым. Экономический кризис вынудил центр направить поддержку в те регионы, которым удалось увеличить ВРП по сравнению с прошлым годом.

Чтобы оценить степень влияния каждого показателя, было принято решение простроить регрессионные модели. Отдельно рассматриваются среднедушевой доход и безработица, поскольку последний в регрессионной модели нивелирует значимость первого.

Таблица 2. **Влияние социально-экономических факторов на распределение межбюджетных трансфертов (две регрессионные модели)**

Год	Среднедушевой доход	Изменение ВРП	R-квадрат	Безработица	R-квадрат
2003	-0,631	-0,07	0,060	0,019*	0,127
2004	-0,619	0,003	0,050	0,025*	0,183
2005	-0,451	-0,031	0,066	0,017*	0,121
2006	-0,941*	-0,024	0,117	0,022*	0,176
2007	-1,370*	-0,012	0,130	0,031*	0,210
2008	-1,083*	0,03	0,07	0,026*	0,171
2009	-0,919	0,29*	0,144	0,029*	0,149
2010	-0,349	-0,018	0,029	0,027*	0,136
2011	-0,517	-0,028	0,044	0,027*	0,124
2012	-1,032	-0,017	0,048	0,029*	0,123
2013	-0,970	1,550	0,049	0,038*	0,114
2014	-1,107	0,012	0,041	0,058*	0,196
2015	-1,29	0,852	0,055	0,053*	0,219

С точки зрения объяснительной способности (R-квадрат) модель с безработицей выглядит убедительнее. То есть распределение межбюджетных трансфертов проводится в пользу регионов, где есть проблемы с занятостью работоспособного населения. Только в кризисный 2009 г. R-квадрат в модели со среднедушевым доходом и изменением ВРП приближается к модели с безработицей. С 2006 по 2008 г. значимым оказывается среднедушевой доход. Таким образом, можно сделать вывод о том, что как в таблице с коэффициентами корреляции Спирмана, так и в этой таблице очевидна стратегия поддержания наиболее слабых регионов.

Далее рассмотрим две регрессионные модели, которые отражают лояльность действующему режиму.

Таблица 3. **Влияние политических факторов на распределение межбюджетных трансфертов**

Год	Показатель лояльности на выборах президента РФ	R-квадрат	Показатель лояльности на парламентских выборах	R-квадрат
2003	0,017*	0,181	0,013*	0,137
2004	0,018*	0,183	0,013**	0,148
2005	0,016**	0,136	0,012**	0,105
2006	0,018**	0,172	0,014**	0,138
2007	0,020**	0,182	0,015**	0,145
2008	0,014*	0,079	0,015**	0,140
2009	0,016*	0,075	0,017**	0,153
2010	0,014*	0,073	0,016**	0,142
2011	0,014*	0,075	0,015**	0,144
2012	0,018*	0,117	0,010*	0,112
2013	0,022*	0,112	0,012*	0,099
2014	0,021**	0,133	0,012**	0,119
2015	0,020**	0,161	0,012**	0,162
2015			0,010*	0,093

* Коэффициент значим на уровне 0,05; ** коэффициент значим на уровне 0,01.

Во все годы показатели лояльности оказываются значимыми, однако разной остается степень их влияния на распределение бюджетных средств. До 2008 г. более влиятельными оказываются президентские выборы. Во время пребывания в должности президента РФ Д.А. Медведева значимость результатов президентских выборов падает, а парламентских возрастает. После избрания В.В. Путина тенденция снова меняется. Результаты последних выборов в Государственную думу показывают резкое снижение R-квадрата.

Заключение

Проведенный регрессионный анализ показал, что в распределении межбюджетных трансфертов центр основывается как на экономически обусловленных показателях, так и на политических. Экономически слабые регионы, поддерживающие действующий режим, получают большую финансовую поддержку со стороны центра. Экономически более устойчивые регионы получили поддержку только в 2009 г. Причиной может быть экономический кризис, который вынудил центр поддержать и эти регионы. Таким образом, гипотеза относительно связи трансфертов с социально-экономическими показателями подтвердилась. Что касается политических факторов, то стратегию двунаправленного финансирования в пользу как лояльных, так и оппозиционных регионов не удалось обнаружить. Поддержку получают более лояльные субъекты РФ. Снижается объяснительная способность у президентских выборов с 2008 по 2011 г., в то время как парламентские имеют R-квадрат на

том же уровне. Объяснением этого может служить меньшая значимость поддержки регионов Д.А. Медведева по сравнению с В.В. Путиным. Коэффициенты корреляции и результаты регрессионной модели с последними парламентскими выборами показывают снижение их значимости в политике распределения межбюджетных трансфертов. Любопытно, насколько результаты будущих президентских выборов будут отражать тенденцию, появившуюся в результате парламентских.

Приложение А

Список анализируемых регионов

Регионы				
Алтайский край	Кабардино-Балкарская Республика	Новгородская область	Республика Ингушетия	Саратовская область
Амурская область	Калининградская область	Новосибирская область	Республика Калмыкия	Смоленская область
Архангельская область	Карачаево-Черкесская Республика	Омская область	Республика Карелия	Ставропольский край
Белгородская область	Кировская область	Орловская область	Республика Марий Эл	Тамбовская область
Брянская область	Костромская область	Пензенская область	Республика Мордовия	Тверская область
Владимирская область	Краснодарский край	Приморский край	Республика Саха (Якутия)	Томская область
Волгоградская область	Курганская область	Псковская область	Республика Северная Осетия – Алания	Тульская область
Воронежская область	Курская область	Республика Адыгея (Адыгея)	Республика Тыва	Ульяновская область
Еврейская автономная область	Магаданская область	Республика Алтай	Республика Хакасия	Хабаровский край
Ивановская область	Мурманская область	Республика Бурятия	Ростовская область	Челябинская область
Иркутская область	Нижегородская область	Республика Дагестан	Рязанская область	Чувашская Республика – Чувашия

Литература

1. *Артоболевский С.С.* Региональная политика, направленная на снижение территориальных экономических и социальных диспропорций в Российской Федерации: проект концепции // Регион: экономика и социология. 2001. № 1. С. 4–34.

2. *Marques II I., Nazrullaeva E., Yakovlev A. A.* From Competition to Dominance: Political Determinations of Federal Transfers in Russian Federation // NRU Higher School of Economics. Series EC «Economics». 2011. No. 12. 49 p.

3. *Lindbeck A., Weibull J.W.* Balanced budget redistribution and the outcome of political competition // Public Choice. 1987. Vol. 52 (3). P. 273–297.

4. *Cox G., McCubbins M.* Electoral politics in a redistributive game // The Journal of Politics. 1986. Vol. 48, No. 2. P. 370–389.

5. *Dixit A., Londregan J.* The determinants of success of special interests in redistributive politics // The Journal of Politics. 1996. Vol. 58, No. 4. P. 1132–1155.

6. *Ansolabehere S., Snyder J.M.* Party control of state government and the distribution of public expenditures // Scandanavian Jounal of Economics. 2006. Vol. 108 (4). P. 547–569.

7. *Vaishnav M., Sircar N.* Core or swing? The role of electoral context in shaping pork barrel [Electronic resource] // Working Paper. 2012. Electronic data. URL: https://nsircar.files.wordpress.com/2013/02/vaishnav_sircar_03–12–12.pdf (access date: 03.02. 2016).

8. *Стародубцев А.В.* Политическая лояльность или экономическая эффективность? Политические и социально-экономические факторы распределения межбюджетных трансфертов в России: Препринт М-02/09. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. 28 с.

9. *Nordhaus W.* The Political Business Cycle // Review of Economic Studies. 1975. Vol. 42 (2). P. 169–190.

10. *Marques II I., Nazrullaeva E., Yakovlev A.A.* Substituting Distribution for Growth:The Political Logic of Intergovernmental Transfers in the Russian Federation // Economics and Politics. 2016. Vol. 28, No. 1. P. 23–54.

11. *Ахременко А.С., Петров А.П.* Влияние системы перераспределения общественных ресурсов на экономическую эффективность, поддержку власти и социальное неравенство: к динамической математической модели [Электронный ресурс] // XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ–2014. Москва, 16–19 июня 2014 г.: Труды. Электрон. дан. М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 6170–6182. 1 DVD–ROM.

12. *Регионы* России. Социально-экономические показатели – 2016 г. [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. Электрон. дан. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата обращения: 29.07.2017).

13. *Объем* валового регионального продукта на душу населения [Электронный ресурс] // Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Государственная статистика: гос. информ. ресурс. Электрон. дан. М., [б.г.]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/51645 (дата обращения: 29.07.2017).

14. *Выборы*, референдумы и иные формы волеизъявления [Электронный ресурс] / Центральная избирательная комиссия РФ. Электрон. дан. М., [б.г.]. URL: http://www. vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom (дата обращения: 30.07.2017).

Valeriia R. Kamolikova. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

E-mail: vkamolikova@hse.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/24

POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF TRANSFERS DISTRIBUTION TO RUSSIAN REGIONS (2002-2015)

Key words: regression analysis, redistribution of budget transfers, elections

In the introduction the author demonstrates the differences in budget transfers between regions in the Russian Federation that proves the topicality of this issue. The author discusses the different strategies which politician can choose. The basic ones are: the support of “core” voters (the strategy of friends’ support) and the support of “swing” voters (the strategy of pacifying opponents). The methodological part of the work is presented by correlations and regression analysis. We use the data of 55 Russian regions with several factors. As budget transfers we took the sum of budget additions into the regions corrected on the amount of people living in the region. As social and economic factors the average income, the change of gross regional product and the unemployment were taken. It is rather significant for regression model to have a homogeneity data, therefore, we took a logarithm from the transfers average income. Political factors are presented by the percent of votes for “United Russia” on parliamentary elections and for V.V. Putin on presidential elections. The results show us the positive and significant relation between the sum of transfers and political loyalty. The influence of the elections is increasing with their forthcoming, is holding during the presidential elections and decreases right after them. Although the last parliamentary elections showed the weakness of this relation. The linkage of socio-economic characteristics and budget transfers presents the support of less developed regions, with high unemployment rate and low average income. It is logically based decision to support someone who can’t maintain with the financial problems by himself. The results of regression

analysis revealed the more significant role of unemployment rate. This factor is the first one to decide in which region we should send money. Among parliamentary and presidential elections we fix the stronger influence of presidential voting before 2008. After this year we see the larger impact of parliamentary elections.

References

1. Artobolevskiy, S.S. (2001) Regional'naya politika, napravlennaya na snizhenie territorial'nykh ekonomicheskikh i sotsial'nykh disproportsiy v Rossiyskoy Federatsii: proekt kontseptsii [Regional policy aimed at reducing territorial economic and social imbalances in the Russian Federation: draft concept]. *Region: ekonomika i sotsiologiya – Region: Economics and Sociology*. 1. pp. 4–34.

2. Marques, I., Nazrullaeva, E. & Yakovlev, A.A. (2011) From Competition to Dominance: Political Determinations of Federal Transfers in Russian Federation. Moscow: HSE.

3. Lindbeck, A. & Weibull, J.W. (1987) Balanced budget redistribution and the outcome of political competition. *Public Choice*. 52(3). pp. 273–297. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00116710

4. Cox, G. & McCubbins, M. (1986) Electoral politics in a redistributive game. *The Journal of Politics*. 48(2). pp. 370–389. DOI: 10.2307/2131098

5. Dixit, A. & Londregan, J. (1996) The determinants of success of special interests in redistributive politics. *The Journal of Politics*. 58(4). pp. 1132–1155. DOI: 10.2307/2960152

6. Ansolabehere, S. & Snyder, J.M. (2006) Party control of state government and the distribution of public expenditures. *Scandanavian Jounal of Economics*. 108(4). pp. 547–569. DOI: 10.1111/j.1467-9442.2006.00470.x.

7. Vaishnav, M. & Sircar, N. (2013) *Core or swing? The role of electoral context in shaping pork barrel*. [Online] Available from: https://nsircar. files.wordpress.com/2013/02/vaishnav_sircar_03–12–12.pdf. (Accessed: 3rd February 2016).

8. Starodubtsev, A.V. (2009) *Politicheskaya loyal'nost' ili ekonomicheskaya effektivnost'? Politicheskie i sotsial'no-ekonomicheskie faktory raspredeleniya mezhbyudzhetnykh transfertov v Rossii* [Political loyalty or economic efficiency? Political and socio-economic factors of distribution of intergovernmental transfers in Russia]. Preprint M-02/09. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.

9. Nordhaus, W. (1975) The Political Business Cycle. *Review of Economic Studies*. 42(2). pp. 169–190.

10. Marques, I., Nazrullaeva, E. & Yakovlev, A.A. (2016) Substituting Distribution for Growth:The Political Logic of Intergovernmental Transfers in the Russian Federation. *Economics and Politics*. 28(1). pp. 23–54. DOI: 10.1111/ecpo.12070

11. Akhremenko, A.S. & Petrov, A.P. (2014) [Influence of the system of redistribution of public resources on economic efficiency, support of power and social inequality: to the dynamic mathematical model]. *XII Vserossiyskoe soveshchanie po problemam upravleniya. VSPU–2014* [The Twelvth All-Russian Conference on Problems of Management. VSPU-2014]. Moscow. June 16–19, 2014. Moscow: RAS. pp. 6170–6182. (In Russian).

12. Federal Service of State Statistics. (2016) *Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli – 2016 g.* [Regions of Russia. Socio-economic indicators – 2016]. [Online] Available from: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm. (Accessed: 29th July 2017).

13. EMISS. (n.d.) *Ob"em valovogo regional'nogo produkta na dushu naseleniya* [The volume of gross regional product per capita]. [Online] Available from: https://www. fedstat.ru/indicator/51645. (Accessed: 29th July 2017).

14. Central Election Commission of the Russian Federation. (n.d.) *Vybory, referendumy i inye formy voleiz"yavleniya* [Elections, referenda and other forms of expression of will]. [Online] Available from: http://www. vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom. (Accessed: 30th July 2017).

УДК 342.7, 330.4, 327
DOI: 10.17223/1998863X/40/25

А.Ю. Каратеев

ЧТО И КАК ИЗМЕРЯЕТ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ?

Показано, что индекс экономической свободы (ИЭС), ежегодно рассчитываемый для большинства стран мира, описывает также другие виды свободы и может использоваться для комплексной характеристики уровня свободы в стране. Поскольку субъектом экономической свободы выступает человек (а не государство), при сравнительном анализе ИЭС различных стран автор предлагает учитывать размер их населения.

Ключевые слова: *индекс экономической свободы, права и свободы человека, субъект свободы, численность населения, количественный анализ.*

Индекс экономической свободы и его компоненты

Начиная с 1995 г. эксперты «The Wall Street Journal» и исследовательского центра «The Heritage Foundation» ежегодно публикуют данные об уровне экономической свободы в различных странах мира. В настоящее время индекс экономической свободы (ИЭС) является одним из наиболее популярных инструментов анализа экономической политики государств.

ИЭС является аддитивным индексом, включающим 12 компонентов, и измеряется по шкале от 0 до 100; значение 100 соответствует полной экономической свободе.

Эксперты «The Heritage Foundation» определяют экономическую свободу как «основополагающее право каждого человека распоряжаться своим трудом и собственностью». В экономически свободной стране «индивиды обладают свободой работать, производить товары и услуги, потреблять их, производить инвестиции», а правительство «не препятствуют свободному обороту рабочей силы, капитала и товаров и воздерживаются от принуждения или ограничения свободы в тех случаях, когда это не требуется для, собственно, поддержания и защиты свободы» [1].

Используемые при расчете ИЭС 12 компонентов объединены в четыре группы, отражающие, по мнению авторов индекса, четыре базовые составляющие экономической свободы:

– верховенство закона (Rule of Law) – сюда входят такие показатели, как уровень обеспечения прав собственности (1), эффективность юридической системы (2), чистоплотность государственных органов (3);

– ограниченная государственная власть (Government Size) включает в себя размер налогового бремени (4), размер государственных затрат (5), финансовое благополучие (6);

– эффективность государственного регулирования (Regulatory efficiency) объединяет свободу бизнеса (7), свободу трудовых отношений (8), монетарную свободу (9);

– открытость рынка (Market openness) предполагает оценку свободы торговли (10), свободы инвестиций (11), финансовой свободы (12) [2. P. 20].

Право собственности (1) рассматривается как центральное условие для обеспечения возможности накопления капитала, без которого, как известно из истории, было бы невозможно развитие капиталистической системы. Возможность накопления капитала является важной как для тех, кто собирается вложить этот капитал в какой-то проект, так и для наемных работников, поскольку мотивирует их работать больше и эффективнее с целью накопить средства для покупки товаров и услуг.

Под эффективностью юридической системы (2) подразумевается наличие в стране налаженной системы, защищающей индивида от посягательств на его права со стороны других индивидов, организаций, государственных органов. Для развивающихся стран эффективность юридической системы рассматривается как один из важнейших факторов экономического роста.

Чистоплотность государственных органов (3) характеризуется отсутствием в них взяточничества, кумовства, неправомерного покровительства («крышевания»), использования должностного положения в корыстных целях и т.д. То есть речь идет о возможностях индивида (бизнесмена) решить свои дела без взяток, подарков, использования неформальных связей. Эксперты отмечают, что существует связь между тем, насколько государство пытается регулировать сферу экономических отношений, и распространением коррупции: чем больше государственные органы берут на себя функций по регулированию экономики, тем больше соблазна для чиновников «заработать» незаконным путем.

Налоговое бремя (4), по мнению авторов индекса, негативно сказывается на развитии экономики. Чем выше налоги, тем меньше индивид заинтересован в выполнении какой-либо работы (если только он не скрывает доходы). Рассуждение о том, что в будущем налоги могут вернуться к индивиду в виде социальных льгот, медицинских, образовательных услуг, улучшений инфраструктуры, как правило, не сильно повышают мотивацию.

Государственные затраты (5) включают в себя расходы на содержание самих властных органов (что зависит от их размеров), а также на реализуемые государством проекты. При этом часть государственных затрат направляется на создание инфраструктуры, научные исследования, повышение качества человеческого капитала. Безусловно, подобные инвестиции благотворно сказываются на развитии экономики, однако консервативно настроенные авторы ИЭС уверены, что государство реализует все эти мероприятия с меньшей эффективностью, чем частный сектор. Кроме того, существуют проекты, направленные, прежде всего, на решение чисто политических задач и на поддержание статуса государства на международной арене, которые не имеют значимого положительного эффекта для экономики страны.

Финансовое благополучие (6) оценивается на основе двух показателей: размера государственного долга и размера дефицита государственного бюджета. Чем выше дефицит и долг, тем хуже финансовое благополучие и тем вероятнее вмешательство государства в сферу экономики, налоговые изменения и прочие меры, направленные на сокращение государственного долга и дефицита.

Свобода бизнеса (7) характеризует возможность индивида самостоятельно, при минимальном взаимодействии с государством, открывать собственное дело и заниматься им. Необходимость получения различных регистрационных и разрешительных документов, сложность их получения, необходимость подачи отчетных документов, время, затрачиваемое на эти процедуры, – все это снижает свободу бизнеса. Также большую роль играет то, насколько часто изменяются установленные правила и процедуры.

Свобода трудовых отношений (8) подразумевает, во-первых, свободу индивида распоряжаться своим трудом, выбирать место работы, во-вторых, свободу предпринимателя брать на работу и увольнять, в-третьих, возможность нанимателя и нанимающегося свободно договариваться об условиях сотрудничества. Запутанное трудовое законодательство, обремененное массой требований к предпринимателю и наемному работнику, как правило, затрудняет деятельность бизнеса и негативно влияет на рынок труда.

Монетарная свобода (9) предполагает ситуацию, при которой инфляция является минимальной, а цены формируются на свободном рынке и при этом достаточно стабильны. Эти условия позволяют индивиду и предпринимателю уверенно строить долгосрочные планы, приступать к долгосрочным проектам, делать инвестиции и накопления.

Свобода торговли (10) оценивается на основе анализа существующих в стране барьеров на экспорт и импорт товаров и услуг.

Свобода инвестиций (11) подразумевает отсутствие ограничений при движении капитала и его использовании (инвестировании) как внутри страны, так и в случаях, когда капитал пересекает государственные границы.

Финансовая свобода (12) характеризует независимость банковской системы от государственных органов. Именно в этом случае, полагают авторы ИЭС, обеспечивается максимальная доступность (для населения и бизнеса) и эффективность финансовой системы, которая предоставляет услуги по сохранению сбережений, получению кредитов, совершению платежей и т.д. Отлаженная работа такой системы связана с прозрачностью экономики, правильно выстроенной системой аудита, совершенными методами оценки рисков.

Каждый из перечисленных компонентов имеет свой метод расчета и измеряется по шкале от 0 до 100. Как правило, компоненты рассчитываются на основе данных, актуальных на середину предыдущего года. Так, отчет по ИЭС 2017 г. использует данные, актуальные на 30 июня 2016 г. Для расчетов привлекаются статистические сведения, собираемые различными организациями, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, исследовательскую компанию «The Economist Intelligence Unit» (аналитическое подразделение британского журнала «The Economist»), «Трансперенси Интернешнл». (Подробно ознакомиться с методами расчета компонентов можно на сайте «The Heritage Foundation» в разделе методологии http://www.heritage.org/index/book/methodology#rule-of-law.)

Итоговый индекс экономической свободы страны является средним арифметическим 12 компонентов. Авторы ИЭС намеренно отказываются от «взвешивания» компонентов, поскольку выбор необходимых для этого весовых коэффициентов представляется довольно неоднозначным и требующим ответов на вопросы типа: «Во сколько раз свобода инвестиций является важ-

нее финансовой свободы?» (или наоборот). В итоге, выбранная методика предполагает, что все компоненты одинаково важны, что, конечно же, не совсем корректно.

Интерпретация понятия экономической свободы и другие виды свободы

Вполне естественно, что обсуждение методов определения ИЭС и их корректировка всякий раз поднимают вопрос о понимании самого изучаемого явления – экономической свободы. Так, рассуждая о сущности экономической свободы и последствиях ее ограничения, авторы отчета 2017 г. утверждают: «Цель экономической свободы – не просто в отсутствии правительственных принуждения или ограничений, но, в большей степени, в создании и поддержании взаимного чувства свободы для всех» [2. P. 19].

Соотнося приводимые экспертами определения с пониманием общей системы прав и свобод личности, можно прийти к выводу, что ИЭС охватывает более широкую область, чем просто сферу экономической свободы. Очевидно, что создание и поддержание в обществе «чувства свободы» не может быть ограничено лишь экономическими отношениями. Для возникновения такого чувства свобода должна существовать и в других сферах. Если взять классификацию прав и свобод личности на гражданские (личные), политические, экономические, социальные и культурные, то становится ясно, что та идеальная модель полной экономической свободы, от которой отталкиваются авторы ИЭС, предполагает реализацию, как минимум, гражданских и политических прав и свобод.

Так, эффективная юридическая система, свобода передвижения и выбора места жительства, необходимая для реализации свободы бизнеса и трудовых отношений, – относятся к гражданским правам. Политические права необходимы, чтобы граждане имели возможность воздействовать на государственные органы и их решения, связанные, например, с изменением налоговых ставок, увеличением или уменьшением государственных расходов и т.д. Таким образом, можно утверждать, что ИЭС может использоваться для комплексной характеристики уровня свободы в стране – прежде всего гражданской, политической и экономической.

В более сложных взаимосвязях индекс экономической свободы находится с социальными и культурными правами. Напрашивается даже вывод, что полноценная одновременная реализация экономической свободы (с одной стороны) и социальных и культурных прав (с другой стороны) – дело невозможное, поскольку предоставление социальных гарантий и обеспечение, например, права на получение образования связаны с дополнительной бюджетной нагрузкой, следовательно, с повышением налогов, увеличением государственного долга и т.д. Тем не менее взаимосвязи здесь более сложные; достаточно сказать, что реализация социальных и культурных прав, хотя и связана с повышением государственных затрат, в то же время приводит к увеличению качества человеческого капитала, что не может не сказаться на эффективности экономической системы.

Выводы о комплексном характере ИЭС (как характеристики различных видов свободы) подтверждаются исследованиями, демонстрирующими существование связи между уровнем экономической свободы страны и благосостоянием ее жителей. Если расположить все страны, по которым рассчитан ИЭС в 2017 г., в порядке возрастания индекса, а затем разбить на 4 равные группы и сравнить полученные по этим группам средние значения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то становится очевидным, что более богатые страны имеют более высокий ИЭС (табл. 1).

Таблица 1. **ВВП (ППС) на душу населения по различным группам стран**

Группа стран	ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (долл. США)
25% стран с наименьшими ИЭС	7 217
25% стран с ИЭС ниже медианного	8 384
25% стран с ИЭС выше медианного	20 255
25% стран с наибольшими ИЭС	43 342

В целом, по всем 180 странам, включенным в отчет 2017 г., прослеживается корреляция 0,61 между ИЭС и ВВП на душу населения (рис. 1). По отдельным регионам мира (например, по европейским странам) корреляция достигает 0,7. Таким образом, делается вывод, что рост экономической свободы приводит к росту богатства страны и ее жителей. (Оценки ВВП на душу населения приведены по данным Всемирного банка [3].)

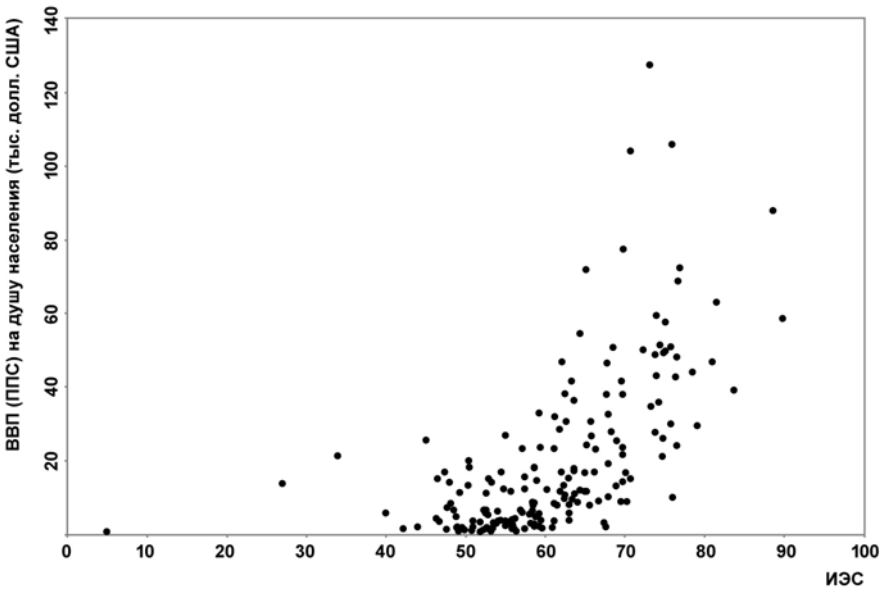

Рис. 1. ВВП (ППС) на душу населения и ИЭС (каждая страна представлена точкой)

Также есть свидетельства того, что чем быстрее происходит рост экономической свободы в стране, тем быстрее растет ее благосостояние [2. P. x]. При этом высокое благосостояние трактуется как рост возможностей населе-

ния, т.е. повышение свободы, как минимум, в таких моментах, как выбор места жительства, более высокое качество медицинского обслуживания, образования. В результате утверждается влияние экономической свободы на свободу социальную и культурную.

В ежегодных отчетах по ИЭС показано, кроме того, влияние уровня экономической свободы на экологию, человеческое развитие и прочие социальные и экономические характеристики.

Большое внимание исследователи уделяют связи между ИЭС и уровнем демократичности управления. Авторы ИЭС тесно увязывают экономическую свободу и политическую. Не случайно, обращаясь в предисловии к отчету 2017 г. к наиболее значимым событиям 2016 г., президент «The Heritage Foundation» Джим Деминт (Jim DeMint), известный своими консервативно-либертарианскими взглядами, выделяет вовсе не экономические, а политические события. «Брексит», победа Дональда Трампа и уход из жизни Фиделя Кастро рассматриваются им через призму свободы: в одном случае свободолюбивые британцы выступили против заорганизованного Евросоюза, в другом – американцы выступили против политиков, ограничивавших их экономические свободы, в третьем – уход авторитарного кубинского лидера дает многострадальному народу Кубы шанс стать действительно жителями острова свободы. Именно так представляет эти события Деминт.

Действительно, данные показывают наличие связи между индексом демократии (Democracy Index), ежегодно рассчитываемым исследовательской компанией «The Economist Intelligence Unit», и ИЭС. Поскольку отчет по индексу демократии 2016 г. не содержит сведений по некоторым странам, коэффициент корреляции определялся по 162 странам [4]. Что интересно, как и в случае с анализом связи между ИЭС и ВВП (ППС) на душу населения, он также составил 0,61 (рис. 2). Напрашивается вывод, что ИЭС в равной степени связан как с благосостоянием страны, так и со степенью демократичности ее управления.

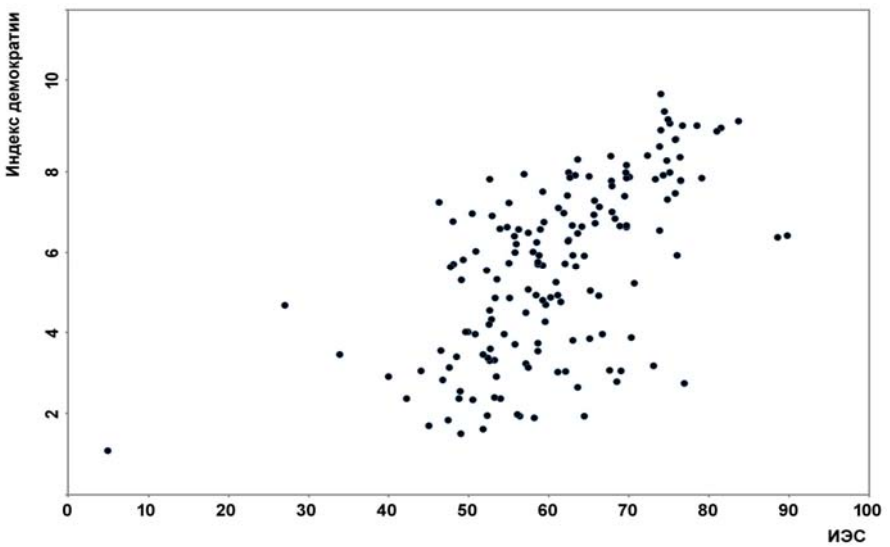

Рис. 2. Индекс демократии и ИЭС (каждая страна представлена точкой)

«Человеческий дух – вот настоящий источник экономического процветания. И этот дух приносит наибольшие плоды, когда он освобождается от сковывавших его цепей», – таким несколько высокопарным слогом формулирует вывод Деминт [2. P. vii-viii].

Критика ИЭС

Исследования экспертов «The Heritage Foundation» систематически подвергаются критике. В частности, Джеффри Сакс, арихитектор «шоковой терапии», в книге «Конец бедности» выражает сомнение в том, что бóльшая экономическая свобода ведет к большему экономическому росту. Анализируя данные 1995–2003 гг., он демонстрирует отсутствие подобной зависимости, в подтверждение приводя кейсы конкретных стран, например Китая, который имел в этот период низкий ИЭС, но показал уверенный экономический рост [5. P. 318–322].

Среди критиков индекса экономической свободы можно также назвать публициста и общественно-политического деятеля Роберта Каттнера, профессора экономики Джона Миллера (Wheaton College), экономиста и независимого эксперта Стефана Карлссона и других. В своих выступлениях и публикациях они отмечают как методологически слабые места расчета ИЭС, так и неоправданную абсолютизацию экономической свободы как универсального рецепта процветания общества.

Следует отметить, что отслеживание динамики ИЭС затруднено еще и тем, что:

– по мере накопления данных менялись методы расчета компонентов индекса, а сам набор компонентов увеличивался;

– постепенно расширялся перечень исследуемых государств (отчет 1995 г. содержал ИЭС только 101 страны, а отчет 2017 г. – 180; в частности, из 15 бывших республик СССР в 1995 г. ИЭС был посчитан только для 5), так что отслеживать динамику экономической свободы по регионам и в целом по миру оказывается довольно сложно из-за отсутствия части данных;

– часть стран каждый год остается без итоговой оценки ИЭС, поскольку отсутствуют данные по одному или нескольким компонентам. Так, в отчете 2017 г. нет данных по Ираку, Йемену, Ливии, Лихтенштейну, Сирии, Сомали.

В связи с указанными причинами утверждение авторов отчета 2017 г. о глобальном росте экономической свободы в мире оказывается довольно голословным. По их мнению, глобальный ИЭС вырос в период 1995–2017 гг. примерно с 57,7 до 60,9, т.е. более чем на 5 % [2. P. 9]. Однако, как уже было сказано выше, оценка уровня экономической свободы в 1995 г. не включала сведения по значительному числу стран.

Проблема определения субъекта экономической свободы

Однако главной, на наш взгляд, проблемой расчета глобального индекса экономической свободы, который должен характеризовать уровень экономической свободы в целом в мире, является не нехватка данных, а несовершенство метода расчета. Авторы отчета 2017 г. рассчитывают глобальный ИЭС как простое среднее арифметическое индексов всех стран. Простота этого

метода имеет существенный недостаток: получается, что, например, вклад Китая (57,4) и вклад Сингапура (88,6) в этот показатель одинаковы. Притом, что в Китае значение 57,4 характеризует жизнь 1385 млн человек, а в Сингапуре значение 88,6 – всего лишь 5 млн. Таким образом, субъектом экономической свободы оказывается не человек, а страна.

Неоднозначность такого подхода можно проиллюстрировать еще более простым примером: если в стране А с населением в 1 млн человек ИЭС равен 80, а в стране В с населением 2 млн ИЭС равен 60, то значит ли это, что в среднем население обеих стран будет характеризоваться свободой в 70? Скорее всего, нет. Нужно учитывать, что людей, живущих при ИЭС равном 60, в два раза больше, чем людей, живущих при ИЭС, равном 80, поэтому просто сложить 60 и 80 и разделить на 2 оказывается недостаточно. Необходимо учитывать, что страны имеют разное население. С учетом разницы в населении среднее ИЭС стран А и В будет составлять: (80*1 + 60*2) / (1+2) = 67.

Учет населения страны делает субъектом экономической свободы именно человека. На наш взгляд, это более правильный метод как с точки зрения логики и математики, так и с точки зрения консервативно-либертарианской, ставящей во главу угла именно отдельного человека и его интересы.

В результате учета населения стран при расчете глобального индекса его значение получается 58,4 (а не 60,9, как заявляют авторы отчета 2017 г.). Более того, учет населения стран существенным образом меняет глобальную картину расстановки сил. Согласно отчету 2017 г., сейчас только 5 стран можно охарактеризовать как экономически «свободные», 29 стран можно назвать «в основном свободными» и 58 стран «умеренно свободных», 65 стран попадают в категорию «в основном несвободных» и 23 страны – в категорию «деспотичных». Итого 92 страны в той или иной мере свободны и 88 – в той или иной мере несвободны.

Однако оптимистичное равновесие между свободными и несвободными странами (51 % свободных и 49 % несвободных) при ближайшем рассмотрении оказывается миражом. Учет населения, проживающего в этих странах, показывает, что в свободных странах проживает всего лишь чуть более 30 % населения Земли, тогда как в несвободных – почти 70 % (табл. 2 и рис. 3).

Таблица 2. **Группы стран по степени их экономической свободы**

Группа стран	Значение ИЭС	Количество стран в группе	Доля от общего числа стран	Население, проживающее в странах группы	Доля населения группы стран от населения Земли
«Свободные»	от 80 до 100	5	2,8 %	49,7	0,7 %
«В основном свободные»	от 70 до 79,9	29	16,1 %	723,2	10 %
«Умеренно свободные»	от 60 до 69,9	58	32,2 %	1436,1	19,9 %
«В основном несвободные»	от 50 до 59,9	65	36,1 %	4634,7	64,1 %
«Деспотичные»	от 0 до 49,9	23	12,8 %	380,7	5,3 %

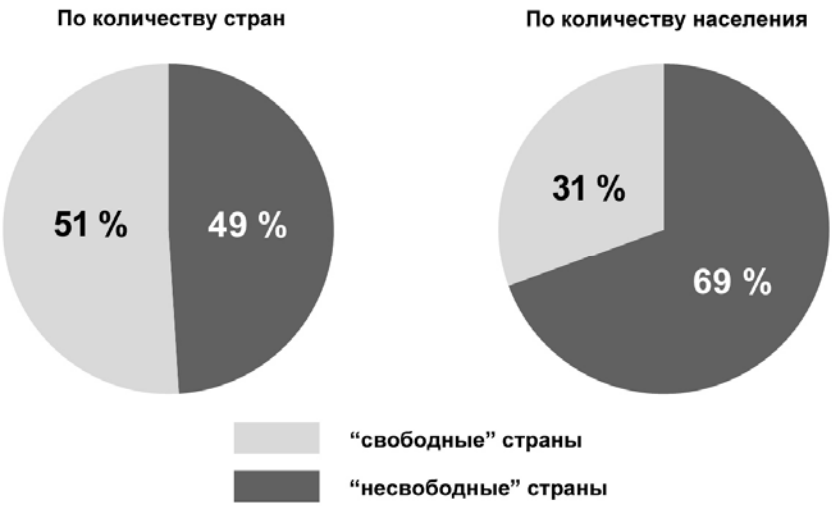

Рис. 3. Мировое соотношение экономически «свободных» и «несвободных» стран

Вместе с тем учет населения стран при расчете коэффициентов корреляции позволяет их заметно увеличить. Так, корреляция между ИЭС и ВВП (ППС) на душу населения возрастает с 0,61 до 0,74. В результате связь между ИЭС и благосостоянием страны можно интерпретировать как довольно сильную.

Заключение

Нельзя не признать, что трактовка данных, получаемых при расчете индекса экономической свободы, ведется экспертами «The Heritage Foundation», главным образом, с консервативно-либертарианских позиций. Эксперты стараются показать, что экономическая свобода – важнейшая составляющая человеческого благополучия и важнейшее условие существования свободного гражданского общества [2. P. IX]. Их идея состоит в том, что свободная экономика создает процветание, поскольку позволяет более полно пустить в оборот знания и способности всех членов общества (т.е. речь идет о свободе развития, самовыражения и т.д.). Тут очевидна идеализация свободного рынка – «организации без принуждения» (т.е. без принуждения со стороны правительственных органов), – который позволяет лучше определять потребности и более гибко и быстро на них реагировать.

Тем не менее эти идеи (в целом) подтверждаются анализом связей между ИЭС и другими индикаторами, который выявляет довольно сильную корреляцию между экономической свободой и благосостоянием страны, а также между экономической свободой и степенью демократичности управления.

Все это позволяет сделать вывод о том, что ИЭС может использоваться для комплексной характеристики уровня свободы в стране.

Учет численности населения стран при сравнительном анализе их ИЭС, а также при расчете глобального и региональных ИЭС (на том основании, что субъектом экономической свободы выступает человек, а не государство) позволяет продемонстрировать еще более тесную связь между экономической свободой и ВВП (ППС) на душу населения. Кроме того, этот подход позволяет более трезво оценить степень распространения экономической свободы в мире – более 2/3 населения планеты проживает в экономически «несвободных» странах.

Литература

1. *About* the Index. The Heritage Foundation, 2017. Mode of access: http://www.heritage.org/index/about (дата обращения: 15.09.2017).

2. *2017 Index* of Economic Freedom / T. Miller, A.B. Kim. Washington, DC: The Heritage Foundation, 2017. 478 p.

3. *GDP* per capita, PPP (current international $). The World Bank, 2017. Mode of access: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart (дата обращения: 22.09.2017).

4. *Democracy* Index 2016 The Economist Intelligence Unit, 2017. Mode of access: http://www.eiu.com/topic/democracy-index (дата обращения: 15.09.2107)

5. *Sachs J.* The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. N.Y.: Penguin Press, 2005. 398 p.

Artem Yu. Karateev. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
E-mail: artem.karateev@gmail.com
DOI: 10.17223/1998863X/40/25

WHAT AND HOW DOES THE INDEX OF ECONOMIC FREEDOM MEASURE?

Key words: Index of Economic Freedom, human rights, subject of freedom, population, quantity analysis

The paper is aimed to demonstrate that annual Index of Economic Freedom actually describes not only country's economic freedom level but also levels of other kinds of freedom. Analysis of Index components shows that most of them are dependent of civic and political freedom. And some components require social and cultural human rights to be treated well. Thus the Index may be used for comprehensive evaluation of freedom level in a country. The correlation between Index of Economic Freedom and other social, economic and political indexes is proved by Index's authors and by the author of the paper. The greater economic freedom is correlated to higher per capita incomes and overall well-being, including such factors as health, education, innovation and democratic governance. Nevertheless there is some fuzziness in the index conception. Economists, journalists and other experts pointed out that above said correlations are not valid and that Index's authors had overestimated benefits of free market and idealized libertarian ideas. Sure enough that it is hard to confirm the statement of Index's authors that the global economic freedom has been rising since 1995. Methodology and the set of examined countries have been changing all the time. Understanding economic freedom as an attribute of a human being (not of a state) leads to taking population size into account. So it is proved in the paper that comparative analysis of Indexes between the nations should be based on population data. This approach shows that economic freedom is not so widely spread as the authors of 2017 Report claim. Although 51% of the world countries may be called "economically free", there are only 31% of world population living in these countries. More than 2/3 of the people live in "economically unfree" countries. At the same time taking population size into account rises correlation coefficient between Index of Economic Freedom and GDP (PPP) per capita from 0,61 to 0,74 demonstrating strong correlation between human income and economic freedom.

References

1. The Heritage Foundation. (2017) *About the Index. The Heritage Foundation*. [Online] Available from: http://www.heritage.org/index/about. (Accessed: 15th September 2017).

2. Miller, T. & Kim, A.B. (2017) *Index of Economic Freedom*. Washington, DC: The Heritage Foundation.

3. The World Bank. (2017) *GDP per capita, PPP (current international $)*. [Online] Available from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart. (Accessed: 22nd September 2017).

4. The Economist Intelligence Unit. (2017) *Democracy Index 2016*. [Online] Available from: http://www.eiu.com/topic/democracy-index. (Accessed: 15th September 2017)

5. Sachs, J. (2005) *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.

УДК 327.8
DOI: 10.17223/1998863X/40/26

В.А. Сдельников

ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ ИМИДЖУ РОССИИ

Настоящее исследование посвящено основным вызовам международного имиджа России. Анализ западных и отечественных академических работ, а также западных медиатекстов показал наличие четырех основных внутренних вызовов, а именно: закрытость политических элит, конфликт национальных и международных медиамесседжей, несогласованность имиджевой политики и негативные стереотипы /крайне критическое отношение к России. Результаты исследования показали, что внутренние вызовы могут нанести международному имиджу России столь же серьезный урон, как внешние информационные шоки и целенаправленная дискредитация со стороны западных СМИ. В связи с этим важной целью для России в ближайшем будущем должна стать ликвидация внутренних вызовов и выработка долгосрочной имиджевой стратегии.
Ключевые слова: *имидж России, В.В. Путин, информационная политика, СМИ, западная пресса.*

В настоящее время отечественное академическое сообщество широко обсуждает тему противостояния России и Запада в информационной сфере, в частности, внешние вызовы, стоящие перед международным имиджем России, снижающие его эффективность. Не принижая важность внешних вызовов, в данном исследовании мы сосредоточимся на внутринациональных вызовах, являющихся следствием внутренних недоработок и упущений современной российской власти в области международной информационной политики. В качестве материалов для исследования использовались академические работы отечественных исследователей и западных русистов и кремленологов, доклады зарубежных исследовательских центров, результаты социологических исследований, а также медиатексты западных качественных изданий «The Economist» и «The New York Times» за 2011–2016 гг.

В процессе анализа мы выявили ряд вызовов и проблем, которые способствуют сохранению негативного имиджа, а также минимизируют позитивный эффект имиджевых проектов. В первую очередь, мы говорим о четырех вызовах:

- закрытость российских политических элит;
- конфликт национальных и международных медиамесседжей;
- несогласованность имиджевой политики и отсутствие четкой структуры вовлеченных акторов;
- негативные стереотипы и крайне критическое отношение к России (последний пусть и не является полностью внутренним вызовом, однако должен быть взят во внимание, так как формирует основу восприятия имиджа).

Как указывает И.А. Василенко, «в целенаправленном формировании имиджа государства участвуют не только политтехнологи, но и прежде всего

элита страны. При этом ключевая роль при продвижении позитивного имиджа государства отводится публичной дипломатии, осуществляющейся с помощью неофициальной внешнеполитической деятельности не зависимых непосредственно от правительства политических акторов – неправительственных организаций, движений и институтов…» [1. С. 69–70]. Таким образом, главной чертой политической элиты должна быть открытость и умение общаться со СМИ. Вместе с тем в процессе анализа медиатекстов и западных академических работ мы обнаружили, что российская политическая элита описывается в первую очередь как закрытая. В подобных условиях стороннему наблюдателю (как исследователю, так и журналисту) очень сложно разглядеть, что происходит внутри политической системы, и предугадать возможные действия. Вкупе с превалированием, по мнению исследователей и журналистов, неформальных связей над формальными требованиями и процедурами такое положение вещей отводит значительное место для спекулятивных рассуждений. Это опять же может трактоваться как непредсказуемость и превалирование неформальных связей, ведь когда борьба переносится за кулисы, это повышает непредсказуемость политического процесса, что, в свою очередь, понижает и доверие к игрокам.

На Западе для политиков жизненно важным является умение общаться со СМИ как с национальными, так и с зарубежными, особенно в периоды острых кризисов и шоков. Более того, на Западе внимание СМИ рассматривается в качестве стратегического ресурса, за который идет постоянная борьба. Однако в России до сих пор присутствует своеобразная реактивность во взаимодействии со СМИ, слабой является и культура данного взаимодействия. Проблема информационной закрытости является результатом ряда причин, среди которых историческая память (СССР), менталитет, нехватка ресурсов или непонимание важности проведения политики открытости, которая требует дополнительных вложений как материальных, так и временных [2. С. 100]. Однако в современном информационном сообществе становится все сложнее обходиться только ограничением утечек негативной информации в СМИ. Власти приходится реагировать на внешние шоки, что приводит к реактивной открытости, краткосрочным проектам ad hoc, нацеленным на минимизацию уже произошедших внешних негативных шоков. Подобные «кавалерийские наскоки» [3. С. 28] не способствуют созданию живого и цельного имиджа элиты и страны, более того, подрывают его преемственность.

Впрочем, западные ученые, помимо закрытости политической элиты для СМИ, также указывают на ее закрытость для исследователей [4. С. 257; 5. С. 194–200]. Паул Гуди в своей работе проанализировал научные методы, используемые западными политологами и русистами в своих исследованиях, посвященных российской политической системе, и пришел к заключению, что западные исследователи начиная с 1999 г. все чаще предпочитают контент-анализ полевым методам (интервью или опросы) [6. С. 1060–1065]. Во многом по причине банального нежелания западных исследователей ехать в Россию и недоверия к отечественным специалистам, проводящим исследования на местах, а также закрытости политических элит, с которыми сложно провести интервью со свободным пулом вопросов. Ведь, как отмечает Ричардсон, для западного исследователя очень сложно «достучаться» до высо-

копоставленных чиновников и, более того, уговорить их участвовать в интервью или исследовании без разрешения на это свыше или без рекомендации [7. С. 180–190]. Более того, указывается, что порой полевые исследования и интервьюирование на местах может быть опасно для исследователей и привести к аннулированию визы, отказу в ее продлении или повторной выдаче и другим сложностям [8, 9]. Вместе с тем продуманная политика по допуску или нейтралитету к зарубежным исследователям позволила бы западным академическим кругам более трезво смотреть на проводимую политику и мотивы, движущие политической элитой, или, как минимум, создать большее разнообразие мнений, которое может быть использовано для выявления положительных элементов режима и формирования позитивного имиджа.

Подобная закрытость приводит к тому, что президент, опять же, является единственным публичным указателем положения дел и направления предполагаемой внутренней и внешней политики страны. В.В. Путин является ключевым игроком на национальной и международной арене почти 17 лет. За столь долгий срок за президентом в западных СМИ закрепились определенные фреймы и характеристики, которые почти не меняются из года в год. Большая часть из них имеет ярко негативный тон. При этом ему уделяется значительное время и в национальных СМИ, дополнительное внимание к нему и игнорирование имиджа политических элит лишь подчеркивает в глазах западных исследователей и журналистов тезис о культе личности президента и его авторитарной природе.

Таким образом, возникает крайне острая проблема, связанная с тем, что политические элиты не способны или не хотят в полной мере участвовать в создании и поддержании позитивного имиджа России как в академической, так и в медийной плоскости. Тем самым данный стратегический ресурс не приносит выгод, более того, исходя из своей закрытости, заставляет СМИ и исследователей уделять больше внимания личности президента, что лишний раз дает повод говорить о политическом режиме современной России как о гибридном или авторитарном.

Следующий вызов напрямую связан с противоречиями между информационными месседжами для национальной и международной общественности. Схожую проблему ранее уже поднимала Валентина Феклюнина в своем исследовании, указывая, что «попытка играть сразу на двух досках» (национальном и международном информационном поле) может привести к серьезным имиджевым потерям для власти как внутри страны, так и за рубежом [10. С. 182]. Подобное противоречие особенно заметно в столь чувствительной для российского общества и власти теме, как внешняя политика.

Например, анализируя последние опросы и исследования ВЦИОМ [11], ФОМ [12] и Левада-центра [13] в отношении президента В.В.Путина и его команды и поддержки их политики, мы можем заметить важную закономерность. Одним из главных элементов его имиджа является успех во внешней политике, а также возвращение России на мировую арену в качестве сильного игрока. Как отмечает Алексей Левинсон, «…главное для них (российского общества.– *Авт*.) – то, что при Путине вернулось, как считается, уважение к России в мире. Россия снова есть великая держава, какой был Союз. За что же ее уважают, в чем видится это уважение, как с этим вяжется хор осужде-

ний – это все вопросы, менее важные для людей» [14]. Для современного российского общества успехи во внешней политике, а также мнения зарубежных стран являются важным элементом мироощущения. Внешняя политика играет ведущую роль в процессе легитимации политической власти в России. При этом в отношении Запада используется крайне критический метанарратив, объясняющий его поведение недовольством успехами России, а также всяческим желанием ослабить ее или политически и экономически, или культурно и ценностно. Подчеркивается, что Запад стремился к этому в прошлом и будет стремиться в будущем. Трансляция подобных идей приводит к негативному отношению к Западу в российском обществе, фреймированию его как соперника или врага и использованию этого образа в качестве легитимации проводимой политики. Важно оговориться, что схожий подход «мы – они» практикуют и западные страны, в особенности США, однако это тема отдельного исследования. Подобная острая антизападная риторика используется западными исследователями и журналистами в качестве доказательства того, что идеология «путинизма» и сам «путинский режим» по своему характеру являются антизападными. Отдельные западные исследователи, исследовательское управление конгресса США [15, 16] и парламента Великобритании [17], а также Европарламент [18] указывают, что президент и государственные СМИ систематически транслируют антизападные месседжи, порой демонизируя Запад, формируя в сознании россиян представление о стране как «осажденной крепости», на основании чего исследователи подчеркивают антизападность и агрессивность существующего режима. В первую очередь, это касается тем, связанных с обвинением Запада в большем количестве национальных и международных неудач и общих конспирологических медиатекстов. Стоит отметить, что проблема фрейма «жертвы» или «жертвенности» России в официальных заявлениях и медиатекстах также была отмечена в ряде отечественных и зарубежных исследований и отчетов [19, 20].

Мы можем предположить, что данные эмоциональные и критические русскоязычные медиатексты о Западе созданы для использования внутри государства с целью легитимации проводимой политики. Однако в эпоху Интернета подобный медиаконтент для внутреннего пользования может легко оказаться за рубежом, а значит, западные партнеры получат полную информацию об их образе, создаваемом в России. Подобные антизападные медиатексты влияют и на восприятие современного российского политического режима Западом, и на его имидж, приписывая ему антиамериканизм, антизападность, авторитаризм и национализм. Помимо этого, присутствуют и другие противоречия, на более низком уровне, например, отдельные черты имиджа В.В. Путина, такие как сила, рассматриваются позитивно внутри страны, однако за рубежом трактуются как излишняя маскулинность, мачизм, а прагматичность – как цинизм и т.д.

Вместе с тем Россия стремится выстроить свой внешнеполитический имидж как страны, открытой для сотрудничества и конструктивного диалога с любой страной, в том числе и с западными партнерами. Однако противоречие между тем, что говорит власть внутри страны, и тем, что транслируется вовне, бесспорно, не способствует созданию ясного и достойного доверия

внешнеполитического имиджа, давая как экспертам, так и журналистам широкие возможности для спекуляций. Подобный «гордиев узел» крайне затруднительно просто «разрубить» без внешне- или внутриполитических репутационных издержек: эрозия имиджа лидера внутри страны или дальнейшее ухудшение международного имиджа. Более того, это особенно актуально в период серьезных экономических и политических шоков, когда российская власть нуждается в легитимации и поддержке общества в проведении внутри- и внешнеполитических проектов. Как указывает в своей работе К.Б. Пиковская, «процесс формирования внешнеполитического образа России является противоречивым, что обусловлено отсутствием у России четкой стратегии формирования имиджа, попытками российских политиков создать образ России как сильного государства и жертвованием внешнеполитическим имиджем в пользу укрепления позиций лидера внутри страны» [21. С. 62].

Более того, вышеприведенная дилемма связана с реактивностью и в некоторой мере с непоследовательностью и несогласованностью имиджевой политики российской власти. Так, в создании внешнеполитического имиджа России принимают участие следующие акторы: Администрация Президента РФ, Министерство иностранных дел, Министерство культуры Российской Федерации, ФГУП МИА «Россия сегодня», Русская православная церковь, а также фонд «Русский мир» и «Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова». Это наиболее активные и влиятельные акторы, мы не стали приводить более мелкие структуры и отдельные проекты, такие как: Russia Beyond Headlines или PR-агентство Ketchum и др. Проблема исходит в первую очередь из модели подчинения и ответственности, а также разделения обязанностей между акторами. Министерство культуры подчиняется премьер-министру, а Министерство иностранных дел отчитывается напрямую перед президентом. Помимо этого, «Русский мир» и ФГУП МИА «Россия сегодня» формально подчиняются соответствующим федеральным министерствам, но их руководители назначаются непосредственно президентом. Однако стоит отметить, что ликвидация «РИА Новости» и «Голоса России» в 2013 г. и создание на их базе ФГУП МИА «Россия сегодня» усилили централизованность информационной политики. Отдельно стоит остановиться на Администрации Президента РФ, которая выступает самостоятельным актором, порой кардинально меняющим информационную повестку дня и тесно связанным лично с президентом. Ряд отечественных исследователей указывают на решающую роль МИД в формировании и поддержании позитивного имиджа. Однако из-за ограниченности ресурсов самого министерства и неидеальной модели подчинения и координации между вышеуказанными организациями оно не способно выполнять эту роль в полной мере.

Западные исследователи также подчеркивают слабую координацию между вышеуказанными институтами. Так, в докладе исследовательского центра НАТО отмечается, что в имиджевые проекты и проекты, связанные с наращиванием «мягкой силы» России в Прибалтике и ЕС, вовлечено сразу несколько российских государственных и негосударственных акторов. Однако эти организации порой выполняют одни и те же мероприятия, что снижает их эффективность и порождает конфликты сфер компетенций. На данный момент очень сложно заметить четкое разделение обязанностей между Россот-

рудничеством и «Русским миром», а также Россотруничеством и Министерством иностранных дел [22]. Вместе с тем автор, работая в международном отделе Томского государственного университета, сам столкнулся с недостаточной координацией между Министерством образования, МИД РФ и Россотрудничеством в таких вопросах, как создание позитивного имиджа российских университетов для иностранных студентов и способов их рекрутинга.

Подобная несогласованность и отсутствие единого центра по координации информационной политики приводят к снижению эффективности создания и поддержания позитивного имиджа и, более того, могут быть использованы для формирования негативного имиджа. Помимо этого, не стоит забывать, что появление новых технологий в области телекоммуникаций не изменило общих принципов, на основе которых народы судят друг о друге. «Национальный (государственный, страновой) имидж по-прежнему базируется на устойчивых представлениях, т.е. на стереотипах, которые уходят корнями в глубины национального сознания и зачастую ложно отождествляются с «исторической памятью». «Они могут быть позитивными или негативными, но в любом случае выполняют функцию информационного фильтра» [23. С. 19]. Более того, работы О.В. Рябова и А. де Лазари [24], Л. Вульфа [25], Э.Я. Баталова [26] показали высокую жизнеспособность негативных стереотипов о России и их использование в политике.

Данное исследование показывает, что помимо внешних вызовов, влияющих на эффективность международного имиджа, присутствуют и внутренние, не менее важные. Эти внутренние вызовы являются следствием недоработок и упущений в имиджевой политике. В современных условиях информационного противостояния с Западом Россия должна минимизировать негативное влияние этих внутренних вызовов, в противном случае они и в дальнейшем будут нивелировать все попытки по улучшению международного имиджа России.

Литература

1. *Василенко И.А.* Имидж России: концепция национального брендинга // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2012. № 4(24). С. 66–78.

2. *Ачкасова В.А., Минтусов И.Е., Филатова О.Г.* GR и лоббизм: теория и технологии. М.: Юрайт, 2015. 315 с.

3. *Василенко И.А.* Имиджевая стратегия России в контексте мирового опыта // Власть. 2013. № 7. С. 24–29.

4. *Татаринова Ю.Н.* Современная российская политическая элита: имидж в электоральных предпочтениях: дис.... канд. полит. наук. М., 2013. 257 с.

5. *Черкесов Р.А.* Модернизационный потенциал российской политической элиты // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011. № 4. С. 194–201.

6. *Goode P.J.* Redefining Russia: Hybrid Regimes, Fieldwork, and Russian Politics // Perspectives on Politics. 2010. № 8 (4). P. 1055–1075.

7. *Richardson P.B.* Engaging the Russian Elite: Approaches [Electronic resource] // Methods and Ethics. Politics. 2014. № 34. P. 180–190. The electronic version of the printing publication. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9256.12036/pdf (access date: 01.05.2017).

8. *Schrek C.* Western Scholars Alarmed By Russian Deportations, Fines. [Electronic resource] // Radio Free Europe/Radio Liberty. Electronic data. 2017. URL: http://www.rferl.org/content/russia-western-scholars-alarmed-deportations/26929921.html (access date: 01.05.2017).

9. *Goode P.J.* Eyes Wide Shut: Democratic Reversals, Scientific Closure, and the Study of Politics in Eurasia [Electronic resource] // Social Science Quarterly. 2016. № 97(4). The electronic version of the printing publication. URL: https://www.academia.edu/29220250/Eyes_Wi-de_Shut_De-

mocratic_Reversals_Scientific_Closure_and_the_Study_of_Politics_in_Eurasia (access date: 01.05.2017).

10. *Feklyunina V.* National Images in International Relations: Putin's Russia and the West [Electronic resource] // University of Glasgow. 2009. 250 p. The electronic version of the printing publication. URL: http://theses.gla.ac.uk/1391/2/2009feklyuninaphd.pdf (access date: 01.05.2017).

11. *Пресс-выпуск* № 3262. Послание президента Федеральному Собранию-2016. [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115991 (дата обращения: 01.05.2017).

12. *О внешней* политике России. Внимание к проблемам внешней политики и ее оценки [Электронный ресурс] // ФОМ : сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: http://fom.ru/Politika/12505 (дата обращения: 01.05.2017).

13. *Владимир* Путин: восприятие и доверие [Электронный ресурс] // Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады: сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: http://www.levada.ru/2016/08/08/vladimir-putin-vospriyatie-i-doverie/ (дата обращения: 01.05.2017).

14. *Левинсон А.Г.* Президент величия [Электронный ресурс] // Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады: сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: http://www.levada.ru/2016/12/21/prezident-velichiya/ (дата обращения: 01.05.2017).

15. *Russia:* Background and U.S. Interests [Electronic resource] / Congressional Research Service. Electronic data. 01.03.2017. 56 p. URL: https://www.documentcloud.org/documents/3517207-Russia-Background-and-U-S-Interests- (access date: 01.05.2017).

16. *Nichol J.* Russia's March 2012 Presidential Election: Outcome and Implications [Electronic resource] / Congressional Research Service. Electronic data. 14.03.2012. 12 p. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R42407.pdf (access date: 01.05.2017).

17. *The EU* and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine [Electronic resource] // UK Parliament : official website. London, 2015. 123 p. The electronic version of the printing publication. URL: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf (access date: 01.05.2017).

18. *EU* Strategic Communications with View to Counteracting Propaganda [Electronic resource] // Europian Parliament : official website. Electronic data. 2017. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/5ghb78008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf (access date: 01.05.2017).

19. *Analysis* of Russia's Information Campaign Against Ukraine [Electronic resource] // NATO Strategic Communications Centre of excellence : official website. Riga, 2015. 40 p. The electronic version of the printing publication. URL: http://stratcomcoe.org/analysis-russias-information-campaign-against-ukraine-1 (access date: 01.05.2017).

20. *Aro J.* The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools [Electronic resource] // European View. 2016. № 15 (121). P. 121–132. The electronic version of the printing publication. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s12290-016-0395-5 (access date: 01.05.2017).

21. *Пиковская К.Б.* Формирование образа России в США (1991–2008 гг.): проблемы позиционирования и восприятия // Социальные явления – журнал международных исследований. 2012. № 1. С. 56–62.

22. *Winnerstig M.* Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic State [Electronic resource] // NATO Strategic Communications Centre of excellence : official website. 2014. 146 p. The electronic version of the printing publication. URL: http://stratcomcoe.org/mike-winnerstig-ed-tools-destabilization-russian-soft-power-and-non-military-influence-baltic-states (access date: 01.05.2017).

23. *Соловьев Э.Г., Смирнов А.Н.* Международный имидж современной России: дефицит привлекательности или дефицит идей // Полис. Политические исследования. 2008. № 5. С. 19–33.

24. *«Русский медведь»*: История, семиотика, политика / под ред. О.В. Рябова и А. де Лазари. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 368 с.

25. *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.

26. *Баталов Э.Я., Журавлева В.Ю., Хозинская К.В.* «Рычащий медведь» на «Диком Востоке». М.: РОССПЭН, 2009. 385 с.

Vitalij A. Sdelnikov. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)
E-mail: dr.saladinn@yandex.ru
DOI: 10.17223/1998863X/40/26

INTERNAL CHALLENGES TO RUSSIA'S INTERNATIONAL IMAGE

Key words: Russian image, mass media, western press, V.V. Putin, information policy

It is widely known that the modern Russian international image is currently under considerable pressure of the western mass media, political actors, and academic community. It is the reason why the problem of the international image should be closely considered for revealing criticism patterns, unviable elements of the image policy, and for adjusting informational policy. Russian researchers pay great attention to external factors (western politicians, massmedia and academic community), affecting the image. However the internal ones are considered not so widely. This academic paper is dedicated to research of the internal challenges, influencing effectiveness of Russia's international image in general and its information campanies in particular. We assume that these internal challenges have no less considerable affect on Russian international image than external ones. We assume that the basis of these internal challenges is fails of the current Russian government in the number of crucial issues, related to mass media communication and long-term image development strategy. In the process of research we used academic works of Russian researchers and western experts in Russian studies, reports of a number of western think tanks and research centers, results of sociological research, and mediatexts of quality pressmedia the Economist and the New York Times for 2011-2016 years. The analysis of the mentioned materials revealed a number of the internal factors, affecting the international image, such as: closed nature and informational reactivity of the modern Russian political elites, the conflict of national and international media messages, the lack of coordination between key actors in international image activities, and negative stereotypes / extremely critical attitude towards Russia (the latter one may not be a completely an internal factor but it should be taken into account as it forms a basis for the image perception). It is important to say that all these factors are tightly interconnected and negative effect of one can not be minimized without dealing with the rest. As a result we believe that the present internal image challenges are as important as external ones. Secondly, Russia should considers elimination of the internal challenges as one of the most important missions in the foreseen future, otherwise it can face with further degradation of the international image and lost of this essential instrument.

References

1. Vasilenko, I.A. (2012) Imidzh Rossii: kontseptsiya natsional'nogo brendinga [The image of Russia: the concept of national branding]. *Kontury global'nykh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo*. 4(24). pp. 66–78.

2. Achkasova, V.A., Mintusov, I.E. & Filatova, O.G. (2015) *GR i lobbizm: teoriya i tekhnologii* [GR and lobbyism: theory and technology]. Moscow: Yurayt.

3. Vasilenko, I.A. (2013) Imidzhevaya strategiya Rossii v kontekste mirovogo opyta [Image Strategy of Russia in the Context of World Experience]. *Vlast'*. 7. pp. 24–29.

4. Tatarinova, Yu.N. (2013) *Sovremennaya rossiyskaya politicheskaya elita: imidzh v elektoral'nykh predpochteniyakh* [The modern Russian political elite: image in electoral preferences]. Political Sciences Cand. Diss. Moscow.

5. Cherkesov, R.A. (2011) Modernizatsionnyy potentsial rossiyskoy politicheskoy elity [Modernisation potential of the Russian political elite]. *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS*. 4. pp. 194–201.

6. Goode, P.J. (2010) Redefining Russia: Hybrid Regimes, Fieldwork, and Russian Politics. *Perspectives on Politics*. 8(4). pp. 1055–1075. DOI: 10.1017/S153759271000318X

7. Richardson, P.B. (2014) Engaging the Russian Elite: Approaches. *Methods and Ethics*. *Politics*. 34. pp. 180–190. [Online] Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9256.12036/pdf. (Accessed: 1st May 2017). DOI: 10.1111/1467-9256.12036

8. Schrek, C. (2017) *Western Scholars Alarmed By Russian Deportations, Fines*. [Online] Available from: http://www.rferl.org/content/russia-western-scholars-alarmed-deportations/26929921.html. (Accessed: 1st May 2017).

9. Goode, P.J. (2016) Eyes Wide Shut: Democratic Reversals, Scientific Closure, and the Study of Politics in Eurasia. *Social Science Quarterly*. 97(4). [Online] Available from: https://www.academia.edu/29220250/Eyes_Wi-de_Shut_Democratic_Reversals_Scientific_Closure_and_the_Study_of_Politics_in_Eurasia. (Accessed: 1st May 2017).

10. Feklyunina, V. (2009) *National Images in International Relations: Putin's Russia and the West*. [Online] Available from: http://theses.gla.ac.uk/1391/2/2009feklyuninaphd.pdf. (Accessed: 1st May 2017).

11. VTsIOM. (2016) *Press-vypusk № 3262. Poslanie prezidenta Federal'nomu Sobraniyu-2016* [Press release No. 3262. President's Address to the Federal Assembly–2016]. [Online] Available from: https://wciom. ru/index.php?id=236&uid=115991. (Accessed: 1st May 2017).

12. FOM. (2016) *O vneshney politike Rossii. Vnimanie k problemam vneshney politiki i ee otsenki* [On the Russian foreign policy. Attention to problems of foreign policy and its evaluation]. [Online] Available from: http://fom.ru/Politika/12505. (Accessed: 1st May 2017).

13. Levada-Tsentr. (2016) *Vladimir Putin: vospriyatie i doverie* [Vladimir Putin: perception and trust]. [Online] Available from: http://www. levada.ru/2016/08/08/vladimir-putin-vospriyatie-i-doverie/. (Accessed: 1st May 2017).

14. Levinson, A.G. (2016) *Prezident velichiya* [President of Greatness]. [Online] Available from: http://www.levada. ru/2016/12/21/prezident-velichiya/. (Accessed: 1st May 2017).

15. Congressional Research Service. (2017) *Russia: Background and U.S. Interests*. [Online] Available from: https://www.documentcloud.org/documents/3517207-Russia-Background-and-U-S-Interests-. (Accessed: 1st May 2017).

16. Nichol, J. (2012) *Russia's March 2012 Presidential Election: Outcome and Implications*. [Online] Available from: https://fas.org/sgp/crs/row/R42407.pdf. (Accessed: 1st May 2017).

17. UK Parliament. (2015) *The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukraine*. [Online] Available from: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf. (Accessed: 1st May 2017).

18. Europian Parliament. (2017) *EU Strategic Communications with View to Counteracting Propaganda*. [Online] Available from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/5ghb78008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf. (Accessed: 1st May 2017).

19. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (2015) *Analysis of Russia's Information Campaign Against Ukraine*. [Online] Available from: http://stratcomcoe.org/analysis-russias-information-campaign-against-ukraine-1. (Accessed: 1st May 2017).

20. Aro, J. (2016) The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools. *European View*. 15(121). pp. 121–132. [Online] Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s12290-016-0395-5. (Accessed: 1st May 2017).

21. Pikovskaya, K.B. (2012) Formirovanie obraza Rossii v SShA (1991–2008 gg.): problemy pozitsionirovaniya i vospriyatiya [Formation of the image of Russia in the United States (1991–2008): problems of positioning and perception]. *Sotsial'nye yavleniya – zhurnal mezhdunarodnykh issledovaniy – The International Research Journal – Social Phenomena*. 1. pp. 56–62.

22. Winnerstig, M. (2014) *Tools of Destabilisation. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic State*. [Online] Available from: http://stratcomcoe.org/mike-winnerstig-ed-tools-destabilization-russian-soft-power-and-non-military-influence-baltic-states. (Accessed: 1st May 2017).

23. Soloviev, E.G. & Smirnov, A.N. (2008) Mezhdunarodnyy imidzh sovremennoy Rossii: defitsit privlekatel'nosti ili defitsit idey [International image of modern Russia: lack of attractiveness or lack of ideas]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 5. pp. 19–33.

24. Ryabov, O.V. & Lazari, A. de (eds) (2012) *"Russkiy medved'": Istoriya, semiotika, politika* ["The Russian Bear": History, Semiotics, Politics]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

25. Wolfe, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment]. Translated from English by I. Fedyukin. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

26. Batalov, E.Ya., Zhuravleva, V.Yu. & Khozinskaya, K.V. (2009) *"Rychashchiy medved'" na "Dikom Vostoke"* ["Growling bear" in the "Wild East"]. Moscow: ROSSPEN.

АРХИВ

УДК 168.522+340.113.1
DOI: 10.17223/1998863X/40/27

В.В. Оглезнев, В.А. Суровцев

ПИТЕР ГИЧ ОБ АСКРИПТИВИЗМЕ[1]

Рассматриваются критические аргументы Питера Гича относительно теорий недескриптивных перформативов, а именно, против аскриптивизма, представленного в работе Герберта Харта. Показано, что критика аскриптивизма Гича основана на идее Фреге о различении простой констатации мысли и признании выраженной предложением мысли в качестве истинной. В приложении в переводе на русский язык помещена работа П. Гича «Аскриптивизм».
Ключевые слова: аскриптивизм, дескриптивизм, каузальность, утверждение, П. Гич, Г. Харт.

Питер Гич в статье под названием «Ascriptivism» [1], перевод на русский язык которой приведен ниже, сформулировал аргументы против так называемых теорий недескриптивных перформативов, а именно, против того, что он назвал «аскриптивизмом». Подобного рода теории основаны, по мнению Гича, на отрицании такого важного тезиса, что высказывание о том, что действие *x* было добровольным или намеренным, считается каузальным высказыванием, согласно которому *x* было вызвано неким действием агента *A*, принявшего решение совершить *x*. Попытку отвергнуть эту «естественную точку зрения» предприняли «некоторые философы из Оксфорда», которых он называет «аскриптивистами». В ответ Гич разрабатывает критическую концепцию, разъясняющую и опровергающую аскриптивизм, основные положения которой основательно изложены в статье «Assertion» [2], где им уже ставится под сомнение любая нонкогнитивистская этическая теория при помощи своего основного утверждения, что «мысль имеет одно и то же содержание в независимости от того, принимаем ли мы ее истинность или же нет; суждение может встречаться в дискурсе как в качестве утверждения, так и в другом качестве, но при этом оставаться тем же самым суждением» [2. С. 449]. Это изречение Гича впоследствии стало классической формулировкой так называемой проблемы Фреге – Гича[2], которая из частной логико-лингвистической

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект № МД-4664.2016.6) и Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.

[2] В научной литературе можно обнаружить самые разнообразные формулировки этой проблемы. Но наиболее удачным, пожалуй, является подход М. Шредера: «Проблема Фреге – Гича есть, по сути, проблема о том, как моральные и дескриптивные термины могут обладать одними и теми же семантическими свойствами в сложных предложениях, даже тогда, когда они имеют разные значения» [4. С. 704–705]. Иными словами, если моральные (или любые недескриптивные) суждения используются при осуществлении логического вывода, то они, непременно, должны быть истинными или ложными, но моральные суждения не являются ни истинными, ни ложными, следовательно, они не могут использоваться при осуществлении вывода, не нарушая законов логики.

проблемы превратилась в фундаментальную теоретико-методологическую установку современной аналитической философии [3. С. 40].

Несмотря на то, что основные критические замечания Гича к теории недескриптивных перформативов в более развернутом виде представлены в статье «Assertion», нас все же интересует статья «Ascriptivism», поскольку именно здесь Гич излагает свои аргументы против прескриптивизма (заменяя его термином «аскриптивизм»). Основным объектом его критики, по-видимому, стали положения статьи Герберта Харта «Приписывание ответственности и прав» [5. С. 27–52]. Хотя в работах Гича нет отсылок к Харту, сам Харт признал, что речь идет именно о нем[1]. Стоит отметить, что критика Гича была воспринята Хартом достаточно серьезно, вот что писал он по этому поводу: «В статье [“Приписывание ответственности и прав”. – *Прим. пер.*] были некоторые весьма интересные и верные мысли, но, думаю, были и определенные ошибки. Я утверждал, что суждение, что человек совершил действие, не является дескрипцией, но аскрипцией, скажем, в смысле способа утверждения его ответственности. Теперь же я так не считаю» [8. С. 276]. На основании этих кратких комментариев достаточно сложно сделать вывод, от каких именно положений аскриптивизма Харт оказался, и отказался ли он от них вообще. Как верно отмечает С.Н. Касаткин, «отречение автора [Харта] имеет весьма лапидарную форму. Оно выражается буквально в паре предложений <…> без упоминания конкретных тезисов, полагаемых им некорректными, разбора критических замечаний, объяснения собственных мотивов и т.п. Все это оставляет открытым целый ряд вопросов (об основаниях, содержании отказа и пр.), а также некоторые сомнения в его “подлинности”» [9. С. 279]. Действительно, что стало истинной причиной отречения от неразработанной до конца концепции, к сожалению, неизвестно. Возможно, это – яростная критика, которая обрушилась на Харта со стороны, прежде всего, философского сообщества и которая вынудила его ретироваться, оставив оппонентов без основательных комментариев о причинах и сути «отказа» [10. С. 8]. Весьма интересной, хотя и не бесспорный, является точка зрения С.Н. Касаткина о том, что «вполне оправданной будет ограничительная трактовка “самоотречения” Харта, т.е. гипотеза о сохранении им верности тем или иным, в том числе базовым, положениям концепции 1949 года» [9. С. 281]. Как бы то ни было, мы оставим в стороне этот экзегетический вопрос. На наш взгляд, дело как раз не в том, от чего именно отказался (и отказался ли вообще) Харт, а в том, что вынудило его это сделать; какие критические аргументы оппонентов он посчитал «оправданными и обоснованными». Наша версия причин «самоотречения» как реакции на критику, а также анализ конкретных критических аргументов «основных» оппонентов Харта представлены в других наших работах [11. С. 67–88], где утверждается, что позиции критиков основаны на неправильном понимании аскриптивной концепции Харта или отдельных ее положений. Здесь же мы хотим рассмотреть суть аргументов Гича, т.е. представить их не через призму «неправильного

[1] Во введении к сборнику эссе «Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law» Харт отмечает, что основные положения этой статьи теперь не кажутся ему столь верными и очевидными и что большая часть критических замечаний, сделанных по ее поводу, оправдана и обоснована [6. С. 6]. В качестве своих основных оппонентов Харт называет Питера Гича [1] и Джорджа Питчера [7].

понимания» идей Харта, но как независимую, автономную систему тезисов против аскриптивизма как такового. Более того, теория Гича, в отличие, например, от подхода Дж. Питчера [7], интересна еще и тем, что она атакует не отдельные положения аскриптивизма, но подрывает его эпистемологические и онтологические основания.

Этот подрыв основан на одном очень важном положении Г. Фреге, которое Гич использовал в своей аргументации (отсюда, собственно, и возникло название «проблема Фреге – Гича»). Суть этого положения в следующем: в рамках своей функциональной системы логики Фреге провел важное различие, которое в традиционной логике обычно игнорировалось. Под формой простого повествовательного предложения могут скрываться две совершенно разные вещи. Во-первых, это простая констатация мысли, которая выражена повествовательным предложением. Во-вторых, это признание выраженной предложением мысли в качестве истинной. Сама по себе констатация мысли не делает ее истинной, мысль в этом случае может вполне оказаться ложной. При констатации мысль просто соотносится с истинностными значениями, в качестве которых выступают истина и ложь, но ничего не говорится о том, какое именно из этих двух значений приписывается мысли. Совсем иное дело, когда мы высказываем суждение, т.е. переходим к утверждению истинности мысли, связывая ее с одним определенным значением. Просто констатировать мысль и признать ее за истинную – это два совершенно различных предприятия. Для отличия простой констатация от утверждения истинности мысли Фреге даже вводит в свою формальную систему особый знак суждения «⊢», который может рассматриваться как предикат, общий всем высказанным с утвердительной силой предложениям, по типу префиксного выражения «истинно, что…» [12. С. 112–116].

Введение знака суждения основано не только на соображениях, связанных с формой выражения мысли. Важную роль знак суждения играет в структуре вывода. В качестве элементов вывода, как считает Фреге, могут использоваться только такие предложения, которые высказаны с утвердительной силой (т.е. соответствующая им мысль должна быть признана истинной), поскольку вывод заключается в вынесении суждений, осуществляемом на основе уже вынесенных суждений, согласно логическим законам. Каждая из посылок есть определенная мысль, признанная истинной; точно так же признается истинной определенная мысль в суждении, которое является заключением вывода. Последнее можно прояснить специальным случаем с правилом вывода *modus ponens*, которое Фреге в своей системе рассматривает в качестве основного способа получения следствий и которое иллюстрирует еще один аргумент в пользу введения в структуру вывода особой утвердительной силы, связанной с формой утверждения повествовательного предложения в естественном языке и знаком «⊢» в символическом языке. С точки зрения Фреге, выделение особой утвердительной силы, выраженной в знаке суждения, позволяет предотвратить *petitio principi*, скрытое в форме условно-категорического умозаключения. Просто записав «Если *A,* то *B; A.* Следовательно*, B*», мы получаем *petitio principi*, поскольку заключение «*B*» уже явно присутствует в условной посылке «Если *A*, то *B*». Однако если в это умозаключение явно ввести знак «⊢», то *petitio principi* не возникает. Действитель-

но, в умозаключении «⊢ Если *A,* то *B;* ⊢ *A*. Следовательно, ⊢ *B*» заключение в условной посылке не содержится, поскольку «⊢ *B*» не совпадает с «*B*». Это различие очень важно и для самих условных высказываний, поскольку для того, чтобы утверждать истинность всей условной посылки, не обязательно признавать за истинные ее антецедент или консеквент, достаточно их констатации. Антецедент вполне может оказаться ложным, и тогда, на основании свойств условной связи, вся посылка может быть признана истинной. Таким образом, условная связь простых констатаций отличается от признания за истинную самой условной связи.

На этой простой идее Фреге и основывает свою аргументацию Гич против аскриптивизма. Но что Гич подразумевает под аскриптивизмом? Почему он его смешивает с прескриптивизмом? И почему именно статья Харта оказалась объектом его критики? Действительно, в статье «Ascriptivism» нет упоминаний ни о Харте, ни о других сторонниках теории недескриптивных перформативов. Аскриптивисты, по мнению Гича, считают, что сказать, что действие *x* было добровольным со стороны агента *A*, значит не *о*писать действие *x* как причинно обусловленное, но *при*писать его *A*, считать, что *A* ответствен за него. Более того, заявляют аскриптивисты, приписывание действия агенту не может противоречить объяснению того, как это действие совершено, поскольку научное объяснение *де*скриптивно по своему характеру, а *де*скриптивный язык находится в совершенно иной логической области, чем *а*скриптивный язык.

В основании аскриптивизма, по мнению Гича, лежат теории, которые и «обеспечивают его процветание», вроде тех, что сказать «То, что сказал судья, истинно» – значит не описать или охарактеризовать то, что сказал судья, но поддержать или подтвердить это. Гича не устраивает эта аргументация, поскольку здесь обнаруживается один «фундаментальный изъян», а именно, то, что в подобного рода теориях игнорируется различие между называнием чего-то *P* и предицированием *P* чему-то. Например, сказать «Если мучить кошку плохо, то и заставлять младшего брата мучить кошку тоже плохо» – означает утверждение, что и мучить кошку, и заставлять это делать младшего брата – «плохо». Обозначим предикат «плохо» как *P*. В этом высказывании *P* употребляется не как дескрипция, но как особого рода перформатив. Однако различие между тем, что мы *утверждаем* (или *называем*, по словам Гича) посредством *P*, и тем, что мы с помощью *P предицируем*, часто упускается из вида. Теории недескриптивных перформативов, как правило, принимают во внимание лишь одно из возможных употреблений *P*, а именно, утверждение *P*. Это различие заключается в том, что с помощью *P* можно предицировать что-то чему-то, но при этом не утверждать это посредством *P*.

В самом деле, если мы делаем упор на утверждении, то придется отказаться от *modus ponens*, поскольку он тогда будет содержать логическую ошибку. Например, в рассуждении:

Если делать определенную вещь плохо, то заставлять младшего брата делать ее плохо (в этой посылке «делать определенную вещь плохо» не утверждение).

Мучить кошку плохо (в этой посылке «мучить кошку плохо» – утверждение).

Ergo, заставлять младшего брата мучить кошку плохо.

Содержится двусмысленность утверждения, или логическая ошибка. Но *modus ponens* верен. Поэтому, по мнению Гича, следует обратиться не к утверждению, но к предикации, поскольку предикация имеет место даже там, где утверждения нет. Чтобы употребление предложения, в котором посредством *P* что-то предицируется, могло считаться актом утверждения *P*, оно должно употребляться утвердительно. Это весьма отличается от предикации, поскольку с помощью *P* можно предицировать что-то даже тогда, когда придаточное предложение, в котором это происходит, употребляется неутвердительно. Следовательно, *P*-утверждение должно быть объяснено только в терминах *P*-предикации, но не наоборот.

Основная суть его рассуждения состоит в том, «что термин “плохо” должен значить точно то же самое во всех четырех вхождениях… Но в бо́льшей посылке, говорящий (допустим, отец), конечно же, не высказывает никакого акта осуждения: с трудом можно понять его как просто осуждающего определенное действие» [2. С. 463–464]. Этим аргументом Гич иллюстрирует теоретическую несостоятельность определения значения недескриптивных терминов (на примере слова «плохо») через определенные акты высказывания или утверждения, так как в его представлении смысл лингвистического выражения не конституируется его высказыванием или утверждением, потому что существуют контексты, в которых термины входят на неутверждаемых позициях (к ним относятся вопросы, отрицания, выражения надежды или удивления, дизъюнктивные и конъюнктивные конструкции и т.д.). Подобного рода анализ, по мнению Гича, применим к любому типу недескриптивного дискурса. И результатом этого анализа становится утверждение, что если любые недескриптивные суждения используются при осуществлении логического вывода, то они, непременно, должны быть истинными или ложными, но недескриптивные суждения не являются ни истинными, ни ложными, следовательно, они не могут использоваться при осуществлении вывода, не нарушая законов логики. Более того, отмечает Гич, вхождение недескриптивного термина в условную и утвердительную посылки *modus ponens* должно иметь одинаковый смысл и подчиняться стандартным логическим правилам.

Это вынуждает его отвергнуть аскриптивизм и перейти к утверждению, что предложения формы «Это сделал он» (пример, часто используемый Хартом [5. С. 45, 47, 49–51]) – это не *аскрипция* или обвинение, но описание причины действия. Гич придерживается «естественной точки зрения», что приписывать человеку совершение действия – это каузальная дескрипция действия, представляющая собой наиболее распространенный пример каузальных утверждений. Этим самым он хочет показать, что приписывание действий необходимо *осуществлять* через производящую их причину. То есть каузальная связь между описанием и приписыванием выражается в установке, что для совершения действия необходимо соответствующее состояние сознания. Игнорирование этой связи (или интенциональной установки) значительно затрудняет наше объяснение и понимание таких терминов, как «намеренно», «нарочно», «умышленно» и проч.

Напротив, Харт обращает внимание на то, всегда ли ответственность связана с приписыванием действий (таких, как умышленное убийство), а не к тому, может ли ответственность быть связана с непреднамеренными актами.

Он как раз и предлагает примеры, показывающие, как непреднамеренность отменяет приписывание ответственности, но он не рассматривает непреднамеренность в качестве универсального средства, исключающего ответственность. Харт пишет: «Наше понятие действия <…> является социальным понятием и логически зависит от принятых правил поведения. По характеру оно существенным образом не дескриптивно, а аскриптивно; оно представляет собой отменяемое понятие, определяемое посредством исключений, а не посредством множества необходимых и достаточных условий, физических или же психологических [5. С. 47]. <…> Современная формула, согласно которой сказать, что действие добровольно, – значит сказать, что агент мог бы избежать его, если бы поступил как-то иначе, игнорирует разнородный характер наших критериев, уточняющих “Это сделал он”, когда мы употребляем слова вроде “случайно”, “по ошибке”, “по принуждению” и т.д., или просто избегает этого, оставляя значение протазиса “если бы он поступил иначе” совершенно смутным» [5. С. 49–50].

Также следует отметить, что Гич заблуждался, что аскриптивизм имеет много общего с прескриптивизмом и опровергает значение истинности суждений о правах и ответственности. Очевидно, что Харт был бы неправ, если бы он утверждал, что суждения формы «Это – мое» или «Это сделал он» не могли бы быть непосредственно истинными или ложными. Но поскольку основная задача таких суждений заключается в том, чтобы требовать или приписать право или ответственность, то это совершенно не препятствует тому, чтобы отдельные специфические случаи требования или приписывания могли бы быть верифицированы в качестве истинных или ложных. Мое утверждение, что «Этот автомобиль мой», было бы ложно, если фактически он принадлежал бы кому-то другому, а мое высказывание, что «Это сделал он», могло быть надлежащим исполнением обязанности говорить в суде только правду (в смысле ответственности за дачу ложных показаний). Харт этого не отрицает. Напротив, он допускает, что требования или обвинения могут быть опровергнуты фактами, на которых они основываются, и что они могут иметь непосредственное дескриптивное употребление [5. С. 49], но обращает наше внимание на более интересные случаи их употребления, где ситуация не столь определенна, где возможно зафиксировать перформативный характер употребления аскриптивных правовых терминов и обнаружить противоречие между дескриптивными высказываниями, основная функция которых заключается в описании фактов совершения действия, и разъяснении права аскриптивными высказываниями.

Питер Гич

АСКРИПТИВИЗМ[1]

Высказывание, что со стороны агента *A* действие *x* было добровольным, преднамеренным или совершенным намеренно и т.п., часто рассматривалось

[1] Перевод с английского выполнен В.В. Оглезневым и В.А. Суровцевым по изданию: *Geach P.T.* Ascriptivism // The Philosophical Review. 1960. Vol. 69, No. 2. P. 221–225.

как каузальное высказывание о том, что *x* было вызвано неким действием сознания *A*, что было действие чистой воли – волевой акт, или акт, посредством которого *A* настраивал себя или намеревался совершить *x*, и т.п. Недавно против такого типа анализа появились возражения. Утверждалось (по моему мнению, вполне справедливо), что попытки отождествить и охарактеризовать эти предполагаемые акты чистой воли всегда сталкиваются с непреодолимыми затруднениями. Чтобы избежать таких затруднений, некоторые философы из Оксфорда, которых я буду называть аскриптивистами, прибегли к отрицанию того, что назвать действие добровольным, намеренным и т.д. – значит утверждать какую-то разновидность каузального высказывания, а, на самом деле, любого высказывания вообще. В этой заметке я попытаюсь разъяснить и опровергнуть аскриптивизм.

Аскриптивисты считают, что сказать, что действие *x* было добровольным со стороны агента *A*, – значит не *о*писать действие *x* как причинно обусловленное, но *при*писать его *A*, считать, что *A* ответствен за него. Считать человека ответственным – это моральная или квазиморальная установка; а поэтому, утверждают аскриптивисты, здесь, как и в случае моральных суждений, нет вопроса об истинности или ложности. Если *B* соглашается или не соглашается с тем, как *C* приписывает действие *A*, *B* сам занимает квазиморальную позицию по отношению к *A*. Факты могут подтверждать такую квазиморальную позицию или идти с ней вразрез, но никогда не могут *вынудить* нас ее принять. Кроме того, аскриптивисты сказали бы, здесь нет риска противоречия, поскольку приписывание действия какому-либо агенту никогда не может прийти в конфликт с научным объяснением того, как это действие возникло; ибо научный подход является *де*скриптивным, а *де*скриптивный язык – это совершенно иная логическая область, нежели *а*скриптивный язык. И хотя различение *де*скриптивного и *пре*скриптивного языка не приобрело всемирной известности, аскриптивистская теория довольно модна, что вполне естественно для современных умонастроений.

В отношении сотен наших добровольных или намеренных действий на самом деле было бы нелепо с торжественностью, если не с мелодраматизмом, говорить об обвинении, оправдании, об освобождении от ответственности или о чем-то вроде похвалы или награды. Приписывание действия агенту *вообще-то* как раз и не подразумевает принятия квазиправовой или квазиморальной установки, и только плохая подборка примеров может заставить думать иначе. (Как говорил Витгенштейн, философия, посаженная на несбалансированную диету примеров, страдает от авитаминоза.)

И даже когда обвинение и порицание ставятся под сомнение, их все еще можно отличить от суждения, что то-то и то-то было добровольным действием. Есть дикие племена, где даже непреднамеренное убийство карается смертной казнью. В одном таком племени, как говорят, один туземец упал с кокосовой пальмы на другого туземца и сломал ему шею; брат покойного потребовал кровь за кровь. Вождь племени с соломоновой мудростью приказал виновнику встать под деревом, а требующему мести сказал: «Теперь ты залезай на дерево и упади на виновника так, чтобы сломать ему шею!». Это предложение не получило одобрения, и виновника освободили. И хотя брат покойного все еще мог думать, что виновника следует наказать, его реакция

на предложенный способ возмездия показывает, что он так же хорошо, как и мы, знает разницу между *добровольным* или *намеренным* падением с дерева так, чтобы сломать кому-то шею, и тем, что это случится с тобой. Несомненно, с точки зрения его морали эта разница не имеет значения (виновником смерти его брата все еще остается упавший на него человек), но это не показывает, что он не имеет представления об умысле или даже отличное от нашего понятие.

Я сказал, что аскриптивизм естественным образом процветает в нынешних умонастроениях; фактически, он сконструирован по образцу, общему с рядом современных философских теорий. Так, существует теория, утверждающая, что сказать «То, что сказал полицейский, верно» – значит не описывать или характеризовать то, что сказал полицейский, но поддержать его; и теория, утверждающая, что сказать «Напиваться плохо» – значит не описывать или характеризовать пьянство, но порицать его. На самом деле совсем несложно придумывать теории по этому образцу; вот еще одна, которая пришла мне в голову. Назвать человека счастливым – не значит охарактеризовать или описать его состояние; назвать блаженствующим (*macarizing*) человека (т.е. назвать его счастливым, а слова «блаженствовать» (*macarize*) и «блаженство» (*macarism*) есть в Оксфордском словаре английского языка) – это особое недескриптивное использование языка. Если мы рассмотрим такие типичные примеры блаженства, как Заповеди блаженства (*the Beatitudes*), или же поговорки вроде «счастливый, как невеста в солнечный день; счастливы, как смерть в дождливую погоду», мы, конечно, можем видеть, что эти предложения не выражают суждений. Каким неуместным и нелепым был ответ «Да, это верно», который получил один из моих друзей, когда произнес «Счастливы, как смерть в дождливую погоду» на похоронах в дождливый день! Огромной ошибкой утилитаристов было предполагать, что «наибольшее счастье для наибольшего числа людей» является дескриптивной характеристикой такого положения дел, к которому можно было бы стремиться. На самом деле «счастье» не является дескриптивным термином; говорить о счастье людей – значит называть их блаженствующими (*macarize*), а не описывать их состояние. Разумеется, «счастливый» имеет вторичную дескриптивную силу. В обществе, где блаженством в основном считается богатство, «счастливый» будет ассоциироваться с богатством, и тогда тот, чьи собственные стандарты блаженства отличаются от стандартов других, мог бы использовать «счастливый», так сказать, в кавычках, подразумевая: «То, что большинство считает счастьем, – это богатство». Держите, дарю эту идею тому, кому она понравится.

В этом общем образце философствования есть фундаментальный изъян. В каждом из случаев предпринимается попытка рассмотреть употребление относящегося к делу термина «Р» как предприятие какой-то иной природы, нежели описание. Но то, что постоянно игнорируется, так это различие между называнием «Р» и предицированием «Р». Термин «Р» может предицироваться в *условном* предложении (после *если* или после *то*) или в элементах дизъюнктивного суждения, без использования при этом «Р» в качестве называния. Сказать «Если утверждение полицейского истинно, то водитель достиг скорости 60 миль в час» не значит *назвать* утверждение полицейского ис-

тинным; сказать «Если играть в азартные игры плохо, то и приглашать людей играть в азартные игры плохо» не значит *назвать* азартные игры или приглашение в них играть «плохими». Теории же, опирающиеся на недескриптивное объяснение, как правило, принимают во внимание только такое употребление термина «Р», при котором нечто *называют* «Р». Например, корреспондентская теория истины рассматривает только такое употребление термина «истинный», при котором высказывание *называют* истинным, а теория порицаний, связанная с термином «плохой», рассматривает только такое его употребление, при котором нечто *называют* плохим; предикативные употребления терминов «истинный» и «плохой» в *условном* или в дизъюнктивном предложении просто игнорируются. Нельзя списывать со счетов, что такие употребления этих терминов требуют иного объяснения, нежели их употребление для того, чтобы *называть* истинным или плохим; ибо это подразумевало бы, что аргументы вида «если *x* истинно (если *w* плохо), то *p*; но *x* истинно (*w* плохо); *ergo p*» содержат ошибку двусмысленности, тогда как на самом деле ясно, что они логически обоснованы.

В целом эта тема затемнялась стародавней путаницей относительно предикации, олицетворенной в фразах вроде «предикат *утверждается относительно* субъекта». Фреге показал необходимость в проведении абсолютного различения между предикацией и утверждением; здесь, как и везде, люди не усвоили из его работ то, что следовало бы усвоить. Для того чтобы употребление предложения, в котором «Р» предицируется, могло рассматриваться как акт называния «Р», предложение должно использоваться утвердительно; а это – нечто, совершенно отличное от предикации, поскольку, как мы отмечали, «Р» может все еще предицироваться даже в предложении, используемом неутвердительно в качестве придаточного, в рамках другого предложения. Следовательно, называние «Р» должно быть объяснено с точки зрения предикации «Р», а не другим кружным способом. Например, порицание чего-либо называнием этого «плохим» нужно объяснять через более общее понятие предикации «плохо», и такая предикация может быть осуществлена без какого-либо порицания. Например, даже если я со всей серьезностью высказываю предложение «Если играть в азартные игры плохо, то и приглашать людей играть в азартные игры тоже плохо», я тем самым не осуждаю ни азартные игры, ни приглашение в них поиграть, хотя и предицирую «плохо» подобным действиям. Поэтому безнадежно пытаться объяснить употребление термина «плохой» с точки зрения недескриптивных актов порицания; и, я настаиваю, по равным причинам, что безнадежно пытаться объяснить употребление терминов «совершенно с определенной целью», «намеренно» и т.п. с точки зрения недескриптивных актов приписывания или вменения.

На этом основано мое отвержение аскриптивизма. Вместо этого я придерживаюсь естественной точки зрения, согласно которой приписывание действия агенту есть каузальное описание действия. На самом деле такие утверждения являются типичными случаями каузальных высказываний; обратите внимание на связь таких греческих слов, как *α□τία* («причина») и *α□τιος* («несущий ответственность»). Давайте вспомним предложенное Юмом определение воли: «Внутреннее впечатление, которое мы переживаем и сознаем, когда сознательно даем начало какому-нибудь новому движению нашего тела

или новой перцепции нашего духа»[1]. Предложив это определение воли, Юм сосредоточивается на предполагаемом «внутреннем впечатлении» и имеет дело с каузальным отношением между этим и «новым движением» или «новой перцепцией» в том же стиле, как и с другими каузальными отношениями между последовательными событиями. Подобно кудеснику, Юм отвлекает наше внимание; он заставляет нас забыть слова «сознательно даем начало», которые являются необходимыми, если его определение должно быть, по меньшей мере, правдоподобно. Если бы Юм начал с высказывания: «Есть особое, характерное внутреннее впечатление, о котором мы иногда вспоминаем, *возникающее в нас* перед новой перцепцией или новым движением тела; мы называем это актом воли или волей», то его подход с самого начала выглядел бы сомнительно. Сказать, что мы *сознательно даем начало* движению духа или тела, – значит уже ввести понятие добровольности; «внутреннее впечатление» не нужно принимать в расчет, так или иначе оно является, по моему убеждению, мифом. Но без «внутреннего впечатления» подход Юма к причинности нельзя приспособить к добровольной причинности; без него у нас больше не будет *двух* видов событий, входящих в последовательность, но только в каждом случае *одно* событие, которому «мы сознательно даем начало» – слова, выражающие неюмианский вид причинности.

Для надлежащего объяснения добровольной причинности нам необходим надлежащий подход к причинности в целом; я далек от мысли, что могу такой предоставить. Чтобы развить такой подход надлежащим образом, потребовался бы сводный обзор методов и результатов строгих научных дисциплин, а это Гераклов труд, который превосходит мои силы; и его должен взять на себя человек, который лучше, чем я, видит сквозь туман, который напустил Юм. Здесь я только попытался придать смысл и исследовать неюмианские идеи причинности, анализируя добровольность, вместо того, чтобы бездумно отрицать, как поступают аскриптивисты, что добровольность является каузальным понятием.

Литература

1. *Geach P.* Ascriptivism // Philosophical Review. 1960. Vol. 69, No. 2. P. 221–225.

2. *Geach P.* Assertion // Philosophical Review. 1965. Vol. 74, No. 4. P. 449–465.

3. *Оглезнев В.В.* Проблема Фреге – Гича и аскриптивные высказывания // Философия науки. 2014. № 1(60). С. 39–52.

4. *Schroeder M.* What is the Frege-Geach Problem? // Philosophy Compass. 2008. Vol. 3/4. P. 703–720.

5. *Харт Г.Л.А.* Философия и язык права / пер. с англ.; под ред. В.В. Оглезнева и В.А. Суровцева, М.: Канон+, 2017.

6. *Hart H.L.A.* Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law. Oxford Clarendon Press, 1968.

7. *Pitcher G.* Hart on Action and Responsibility // Philosophical Review. 1960. Vol. 69, No. 2. P. 226–235.

8. *Sugarman D.* Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman // Journal of Law and Society. 2005. Vol. 32, No. 2. P. 267–293.

9. *Касаткин С.Н.* Как определять социальные понятия? Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. Самара: Самар. гуманит. акад., 2014.

[1] Цит. по: *Юм Д.* Трактат о человеческой природе. М.: Мысль, 1996. – *Прим. пер.*

10. *Оглезнев В.В.* Г.Л.А. Харт и формирование аналитической философии права. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.

11. *Оглезнев В.В., Суровцев В.А.* Аналитическая философия, юридический язык и философия права. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016.

12. *Суровцев В.А.* Примечания переводчика // Фреге Г. Логико-философские труды. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. С. 102–124.

Vitaly V. Ogleznev. Tomsk State University; Russian State University of Justice West-Siberian Branch (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: ogleznev82@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/27

Valeriy A. Surovtsev. Tomsk State University; Tomsk Scientific Center of Siberian Branch of Russian Academy of Science (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: surovtsev1964@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/27

PETER GEACH ON ASCRIPTIVISM

Key words: ascriptivism, descriptivism, causality, assertion, P. Geach, H. Hart

This article is concerned with critical arguments of Peter Geach against some theories of non-descriptive performances as they stated in his article “Ascriptivism”. Geach’s article launch a wholesale attack on these theories advanced by “some Oxford philosophers” whom he accuses of ignoring “the distinction between calling a thing ‘P’ and predicating ‘P’ of the thing”. In it, Geach provides a fairly detailed description of Frege’s arguments in relation to prescriptivism (replacing it with the term “ascriptivism”), set forth, in his opinion, in an article by Herbert Hart, “The Ascription of Responsibility and Rights”. Geach specifically targets Hart’s claim that sentences of the form “He did it” are not primarily descriptive but ascriptive of responsibility for actions. The translation into Russian P. Geach “Ascriptivism” is presented in appendix.

References

1. Geach, P. (1960) Ascriptivism. *Philosophical Review*. 69(2). pp. 221–225.

2. Geach, P. (1965) Assertion. *Philosophical Review*. 74(4). pp. 449–465.

3. Ogleznev, V.V. (2014) Problema Frege–Gicha i askriptivnye vyskazyvaniya [The problem of Frege-Geach and ascetic utterances]. *Filosofiya nauki*. 1(60). pp. 39–52.

4. Schroeder, M. (2008) What is the Frege-Geach Problem? *Philosophy Compass*. 3/4. pp. 703–720. DOI: 10.1111/j.1747-9991.2008.00155.x

5. Hart, H.L.A. (2017) *Filosofiya i yazyk prava* [Philosophy and Language of Law]. Translated from English by V.V. Ogleznev, V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+.

6. Hart, H.L.A. (1968) *Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

7. Pitcher, G. (1960) Hart on Action and Responsibility. *Philosophical Review*. 69(2). pp. 226–235.

8. Sugarman, D. (2005) Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman. *Journal of Law and Society*. 32(2). pp. 267–293. DOI: 10.1111/j.1467-6478.2005.00324.x

9. Kasatkin, S.N. (2014) *Kak opredelyat' sotsial'nye ponyatiya? Kontseptsiya askriptivizma i otmenyaemosti yuridicheskogo yazyka Gerberta Kharta* [How to define social concepts? The concept of asceticism and the cancellation of the legal language of Herbert Hart]. Samara: Samara Academy for Humanities.

10. Ogleznev, V.V. (2012) *G.L.A. Khart i formirovanie analiticheskoy filosofii prava* [H.L.A. Hart and the formation of analytical philosophy of law]. Tomsk: Tomsk State University.

11. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2016) *Analiticheskaya filosofiya, yuridicheskiy yazyk i filosofiya prava* [Analytical philosophy, legal language and the philosophy of law]. Tomsk: Tomsk State University.

12. Surovtsev, V.A. (2008) Primechaniya perevodchika [Translator's Notes]. In: Frege, G. *Logiko-filosofskie trudy* [Logical-philosophical works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo. pp. 102–124.

УДК 165
DOI: 10.17223/1998863X/40/28

Г. Шнедельбах (H. Schnädelbach)

О РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИИ[1]

Публикация представляет собой перевод на русский язык статьи известного немецкого философа Г. Шнедельбаха, в которой он критикует попытки экспликации рациональности через обоснование. Автор указывает ограниченность такого подхода, который создает пространство для иррационалистических интерпретаций, кроме того, вскрывает ошибку кругового обоснования, которую традиционно совершают при таком объяснении. В заключение рациональность раскрывается как «открытый» концепт, смысл которого не может быть определен a priori для всех контекстов.
Ключевые слова: *рациональность, обоснование, рефлексия.*

Общим местом в философии является утверждение о тесной связи рациональности и обоснования (Begründung). Когда сократовское «*logon didonai*» было переведено как «*rationem reddere*», эта связь была закреплена также терминологически, поскольку в чем же ином должна состоять рациональность *animal rationale*, если не в способности приводить основания (*rationes*) для своей речи и действия. Слово «*rationatio*» в языке философов всегда обозначало вместе и «разумное размышление» (vernünftige Überlegung) и «умозаключение» (Schlussfolgerung). Еще Канта оно подтолкнуло отыскивать разумное разума (das Vernünftige der Vernunft) по учебнику силлогистических фигур обоснования. Даже для Гегеля все разумное есть вывод (Schluß), и он следует Канту в оппозиции против интеллектуального созерцания (intellektuelle Anschauung), т. е. представления, что интеллект может познавать иначе, нежели дискурсивным, аргументативным или обосновывающим образом. Знаменитое гегелевское различение между сведениями (Kenntnis) и познаниями (Erkenntnis) лишь передает старое аристотелевское определение опыта как области «что» и науки как области «почему» для вещей и событий. Научное знание считалось с тех пор обоснованным знанием и тем самым одним из «высших даров» человека как разумного существа. В современности единство рациональности и обоснованности особенно подчеркивалось в конструктивизме эрлангенской школы. Юрген Хабермас в «Теории коммуникативного действия» определяет «рациональность как диспозицию субъекта, способного к речи и действию…Она выражается в способах поведения, для которых каждый раз существуют хорошие основания» [1.

[1] Herbert Schnädelbach, Zur Rehabilitierung des ‚animal rationale'. Vorträge und Abhandlungen 2. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1992. All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin. Источник: Herbert Schnädelbach. Über Rationalität und Begründung // Zur Rehabilitierung des, animal rationale'. Vorträge und Abhandlungen 2. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1992. S. 61–78. Герберт Шнедельбах (р. 1936), доктор (1993), почетный профессор теоретической философии ун-та Гумбольдта, Берлин (2002). Перевод: Денис Маслов, м.н.с., Институт философии и права СО РАН; ассистент, кафедра философии и гуманитарных наук, НГУЭУ.

S. 44]. Даже критический рационализм в своей критике классической модели рациональности остается зависим от традиционных образцов мышления в той мере, в которой он рассматривает именно критикуемое (Kritisierte) как модель обоснования, которой должна быть противопоставлена идея критики. Старая платоновская метафора «око разума», конечно, развернула собственную историю влияния, которая длится до сих пор, и вытекающий из нее интуиционизм разума до сих пор представляет контрастирующую программу для обосновывающего рационализма, хотя сам интуиционизм кажется иррационализмом. Когда я в последующем критикую экспликацию «рациональности» через «обоснование» и пытаюсь наметить альтернативу, которая не употребляет понятие «обоснование», то не хочу останавливаться на простом противопоставлении «рационализм – иррационализм». Скорее я хочу показать, что названный способ экспликации «рациональности» сам оказывает услугу иррационализму, потому что предоставляет ему слишком много места. Он вызывает этот призрак также в областях, где его можно устранить более широким концептом рациональности. Кратко: эксплицированное через «обоснование» понятие рациональности слишком узко, что будет показано в первом разделе (I). Затем я хочу показать, что экспликация «рациональности» через «обоснование» необходимо движется по кругу (II). В конце будет обозначено, что «рациональность» есть открытый концепт, который не может быть полностью эксплицирован для любого контекста (III).

I

Понятие «рациональность», поскольку оно эксплицируется через «обоснование», охватывает собой лишь малую часть того, на что мы способны как разумные существа. Для Аристотеля рациональность была бы всем тем, на что способна разумная часть души *zoon logon echon*, о чем сказано в учении о дианоэтической способности. Лишь *episteme* (наука) и *techne* (искусство) могут быть определены через обоснование в смысле наличия «почему» – причин и оснований; в то же время это не действительно (gilt) для *phronesis* (рассудительности) и *nous* (ума). У Канта, если речь заходила о рациональности, говорилось бы о рассудке, способности суждения и разуме, при этом стало бы ясно, что только разум, как способность к умозаключениям или обладанию принципами, имеет дело с обоснованием. Это не распространяется на рассудок, понимаемый как способность формулировать понятия или правила, и совсем не действует (gilt) для способности суждения, чье подведение особенного под всеобщее принципиально избегает всяких всеобщих правил. Впрочем, до сих пор речь шла лишь о теоретическом разуме; в поле практического разума обоснование есть то же самое, что и нормативное оправдание (Rechtfertugung), но, согласно Канту, практическое бытие разума изначально состоит совсем не в оправдании, но в непосредственном, обязательном предписании определенных максим поведения. Можно было бы возразить, что все рациональные способности, которые обсуждались у Аристотеля и Канта, являются языковыми по меньшей мере в том смысле, что их осуществление может быть изображено в языке. С этим следует согласиться, однако неверно, что все эти изображения в языке имели бы форму обоснования. Можно при-

знать также то, что все их принципиально можно защищать от вопросов со стороны (с аргументативной опорой на способ их языкового представления). Но тем самым не говорится, что то, на что опирается аргументация, само должно обнаруживать форму аргументации, чтобы считаться рациональным. Аргументативная, или дискурсивная, рациональность (Хабермас) есть лишь частная область. Фиксация на модели обоснования рациональности склоняет к тому, чтобы все считалось иррациональным до тех пор, пока оно не полностью аргументативно или дискурсивно разрешено. Тем самым область иррационального расширилась бы до гигантских пределов. Рациональны также способность проверки реальности (Фрейд), учеба на ошибках и заблуждениях (Поппер), решение проблем в контекстах действия с обратной связью (Гелен), целеориентированный выбор средств (Вебер) – можно привести множество других известных примеров. Указанные примеры просто не попадают в схему «обоснования» или «дискурсивного удовлетворения претензий на значимость» (Einlösung von Geltungsansprüchen) (Хабермас). Наш повседневный опыт также показывает, что мы всегда находим разумные решения наших проблем, без возможности их полностью описать как рациональные и аргументированно защищать. Иногда мы просто замечаем, что было вполне разумным поступать так, а не иначе, но что не значит, что мы могли бы говорить об этом.

Более того, слишком тесное связывание рациональности и обоснования дает эпистемическо-технической модели разума монопольное положение, т.е. редуцирует рациональность вообще только к научно-технической, чем способствует сциентизму. Поэтому Фейерабенд и другие радикальные критики разума легко могут представлять рациональность как одну из многих традиций и, таким образом, указывают ей одно из многих мест. Что может быть оправданным для научного разума, не может, однако, ни в коем случае иметь значения (gelten) для разума вообще. Также практической философии угрожает подобное ограничение, когда практическую способность разума ограничивают оправданием действий и максим поведения. Но рациональность как раз множеством способов сопряжена с действительным поведением (wirkliches Handeln).

Пример научно понятого разума показывает, что специфическому представлению о рациональности следуют уже тогда, когда полагают возможным подобающим образом объяснить «рациональность» через «обоснование». Это можно конкретизировать, если точнее исследовать концепты обоснования, каждый раз применяемые как экспликанс; при этом обнаружится, что они всегда уже отсылают к определенному предпониманию (Vorverständnis) рациональности. Термин «обоснование» может означать очень разные вещи. Если понимать обоснование в общем как ответ на вопрос «почему?», то такое обоснование может относиться к *объективным* и *субъективным* основаниям (Gründe) как в *теоретическом*, так и в *практическом* контекстах. Если в теоретических контекстах представляют знание объективных причин вещей или событий, то, как правило, дают *каузальное*, *телеологическое* или *функциональное* обоснование («обоснование» и «объяснение» я употребляю равнозначно). В практических контекстах ссылаются на объективные основания, если указывают, как следует поступать, чтобы достичь чего-то определенно-

го, или чего следует ожидать, если поступать определенным образом. Можно установить связь между действиями и объективными условиями или последствиями действий, и тем самым получить техническое (в смысле *techne*) обоснование. При теоретическом обосновании, которое ссылается не на объективные, а на субъективные основания, речь идет о вопросе «почему?» в смысле мнения (Meinen), веры (Glauben), знания (Wissen) и убежденности (Überzeugtsein), что вещи или события существуют или случились, или будут существовать и наступят. Их можно называть *эпистемическими* (Гемпель) обоснованиями. Напротив, в практических обоснованиях, поскольку они движутся в поле субъективных оснований, мы приходим к субъективным основаниям действий: намерениям, мотивам, интересам etc. «*Интенциональное* обоснование» есть подходящее для них родовое понятие (Oberbegriff). С исторической точки зрения интересно, что различие между обоснованиями в теоретическом и практическом контекстах всегда было в ходу в философии. Аристотелевское различение между *episteme* и *techne* точно передает его. Для противоположности между объективными и субъективными основаниями это, напротив, не имеет значения. Впервые это стало заметным терминологически в Новое время у Вольфа и Лейбница – как различие между *causa* и *ratio* [2. S. 642 и далее]. Вообще, «обоснование» – очень «юное» понятие, чья история начинается лишь в XIX столетии и еще не написана.

Эти четыре типа обоснования, в свою очередь, могут быть отнесены к определенным концепциям рациональности. В зависимости от того, какой из этих типов принимается за наиболее подходящий для экспликации «рациональности», в игру входит предпонимание того, что должно быть эксплицировано, которое может быть реконструировано из соответствующих представлений об обосновании. Тот, кто, как Платон и Аристотель, сущностно понимает обоснование как ответ на теоретические (каузальные, телеологические и функциональные) вопросы «почему», в которых осведомляются об объективных основаниях и причинах, и усматривает в этом *proprium* разума, следует когнитивистскому концепту обоснования в своей версии экспликации «рациональности» через «обоснование». Разум является здесь как способность *aletheuein*, т.е. «постижения истинного» (Treffen des Wahren) в области объективного; таким образом, рациональность с этой точки зрения есть, в сущности, способность познания при посредстве теоретической установки к чему-либо объективно данному. Если, напротив, как Френсис Бэкон и определенные версии прагматизма, принимать модель технического обоснования за руководство в экспликации рациональности, то с самого начала ориентируются на интуицию, согласно которой разум есть в первую очередь способность технического и экспериментального контроля (Verfügung) над предметными процессами с целью их практического использования. Тем самым аристотелевское *techne* ставится выше, чем *episteme*. Таким образом, приходят к *инструменталистскому* концепту рациональности, в котором сущностное разума усматривается в том, что он позволяет деятельно распоряжаться (das handelnde Verfügen) предметными каузальными, телеологическими и функциональными процессами благодаря сведениям (Kentnisse) об их внутренних связях и тем самым успешно контролировать деятельность. В своем образе разума Декарт следовал эпистемическому типу обоснования.

Он сущностно связывал рациональность с определенным видом или качеством знания, причем от этого знания требовалась обоснованность согласно критерию *clara et distincta perceptio*. Той же фигуре обоснования следовал и Поппер, даже когда он «обоснование» заменял «критической проверкой» и «испытанием». Уже не достоверность, но возможность корректируемости (Korrigierbarkeit) научного знания поднимается до уровня критериального признака. У Декарта, как и у Поппера, эпистемическое понимание рациональности является ведущим, достоверность и фаллибилизм есть лишь его варианты: разум – познавательная способность, не как в старой метафизике изначально характеризующаяся через вид предметов познания, но через способы познавать и знать. Интенциональные обоснования, в которых мы говорим о том, почему мы сделали или сказали нечто определенное, привлекаются преимущественно при экспликации «рациональности» тогда, когда способность обосновывать действия и речевые акты кажется безусловно разумной. В таком случае следуют практически-коммуникативному концепту разума, в котором коммуникативное действие как координирование (или контролируемое разъединение) действий и контекстов действий с коммуникативными (т.е. прежде всего аргументативными) средствами, кажется тем, чем измеряется рациональность. (Также здесь мыслим достоверный или фаллибилистический вариант, Хабермас говорит всегда в этом отношении о защите *и* критике).

Эти четыре концепции рациональности, к которым герменевтически сводимы обоснования благодаря экспликациям рациональности под руководством тех четырех типов, сами суть лишь типы и не могут быть однозначно приписаны ни одной исторической теории рациональности. Само собой разумеется, у Платона и Аристотеля находятся также элементы технического, эпистемического и практическо-коммуникативного пониманий разума. Важно лишь, что у них господствует когнитивистское понимание разума. Бэкон хотел основать свой инструментализм на познании объективных сущностных связей, что значит, что он не представляет чистый инструментализм. Учение Декарта о врожденных идеях можно рассматривать как субъективированный образ когнитивистского понимания разума, потому что у него познание относится к объективности *in fono interno*; лишь с трудом это можно связать с инструменталистскими высказываниями о человеке как «господине и владетеле природы» [3. С. 286]. Канта классифицировать еще сложнее. Его оперативное понятие разума затрудняет однозначное решение вопроса, является ли разум в конечном итоге теоретической или практической способностью, и этот узел разрубил лишь Фихте. Напротив, критический разум как способность трансцендентальной рефлексии и дедукции априорных условий возможности, пожалуй, следует понимать эпистемически, в то время как практический разум отсылает к практически-коммуникативной области. У Юргена Хабермаса когнитивные элементы имеются там, где он связывает рациональность с надежностью в высказываниях «воплощенного знания» (Ср. [1. С. 25 и далее]). Напротив, коммуникативную рациональность следует изначально понимать как практически-коммуникативную, в то время как дискурсивная рациональность, которая должна оправдать себя в контексте аргументации, прежде всего несет эпистемические черты. Инструментальная рациональность появляет-

ся у Хабермаса в зависимости от перспективы либо как большой противоположный тип коммуникативной, или как ее недостаточный (defizient) модус. Общепризнано, что указанные типы рациональности не могут быть непосредственно продемонстрированы с помощью теорий рациональности. Речь может идти лишь о том, какой тип доминирует в определенной теории.

Итак, понятие «рациональность» шире, чем понятие «обоснование», не потому, что разум способен также на многое другое, нежели только отвечать на вопросы «почему», но потому что концепции обоснования, которые при экспликации каждый раз предлагаются как экспликанс, отсылают, в свою очередь, к некоторому предпониманию рациональности, которое намного сложнее, чтобы быть полностью исчерпанным только через концепт обоснования.

II

Прежде сказанное об отношении предпонимания и экспликации рациональности можно резюмировать следующим образом: всегда направляющее такие экспликации предпонимание рациональности являет себя среди прочего в том, какой тип обоснования рассматривается как особенно подходящий для этого. Исходя из этого его возможно реконструировать. Это кажется не более чем герменевтической самоочевидностью, но понятия «рациональность» и «обоснование» стоят в более точном круговом отношении, чем в герменевтическом круге, потому что обоснование должно быть само квалифицировано *как* рациональное, чтобы вообще иметь возможность быть примером (exemplifizieren) рациональности. Это станет ясным, если мы вспомним, что мы не признаем без раздумий чистое «владение основаниями для…» (Gründe-Haben für) как «обоснование для…» (Begründung für). Часто мы говорим «Но это еще не обоснование!» и требуем «хороших оснований» (gute Gründe). При квалификации оснований как «хороших», которая позволяет нам сказать: «да, это обоснование», встают под вопрос формальные и материальные критерии. Основания могут быть истинными (wahr), правильными (zutreffend), уважительными (triftig), надежными (zuverlässig), убедительными (plausibel), понятными (verständlich) и т.д. Такие характеристики суть материально-хорошие основания. При формальных качествах оснований речь идет лишь об их связи с тем, что требуется обосновать, и с их собственными обоснованиями; здесь можно назвать корректность, правильность вывода, строгость и т.д. Можно лишь показать, что совокупные *материальные* качества оснований и обоснований не подходят для того, чтобы широко охарактеризовать рациональность. Ложное не иррационально, потому что только рациональное может быть ложным; в ином случае это просто бессмысленно. Тот, кто ошибается, не станет из-за этого иррациональным, и только *рациональные* существа могут ошибаться. Принимающий рискованные или небезопасные решения, потому что у него нет лучших оснований, и даже тот, кто следует тому, что мы считает неубедительным и непонятным, не может рассматриваться как неразумный (unvernünftig), потому что он, возможно, имеет хорошие основания, хотя мы их и не разделяем. Мы не можем указать материальные основания, конституирующие рациональность *a priori*, потому

что то, что может (или также не может) вскрыть такие качества, уже само должно быть рациональным в широком смысле слова. Иначе оно не могло бы даже претендовать на обладание таким качеством [4. С. 79 и далее].

Таким образом, остаются только *формальные* характеристики оснований и обоснований как хороших оснований и обоснований. Отсюда понятна тесная связь между концептом разума и формальной логикой, которая подвигла Канта сделать логику ведущей для его экспликации рациональности. Мы можем указать только структуры и процедуры при вопрошании о разумном в разуме. Эти структуры и процедуры касаются лишь связи между основаниями и обоснованиями в модусе гипотетического утверждения «если…, то…», т.е. совершенно нельзя вести речь о материальных качествах отдельных частей такой связи, если речь идет о рациональности. Если на этом нужно было бы остановиться подробнее, то, например, истина не смогла бы стать предметом рациональной дискуссии ни в когнитивистской, ни в эпистемической модели рациональности, потому что истина была бы в таком случае всегда необходимо предположена (vorausgesetzt) вместе с рациональностью. Что касается материальных качеств, гипотетический характер рационального очень точно передан словами Хабермаса о претензиях на значимость (Geltungsansprüchen); поскольку в рациональном поле лишь выдвигаются претензии на значимость (Geltung), и такое притязание может потерпеть крах, и разум будет ошибаться (fehlbar). Остаются лишь правила и процедуры, позволяющие решить, какие притязания на значимость (Geltungsansprüchen) могут быть удовлетворены, а какие отвергнуты, что, однако, не означает, что те правила и методы не могли бы, в свою очередь, стать предметом рациональной дискуссии согласно правилам и процедурам. Мы должны довольствоваться *процедурной* экспликацией концепта рациональности, которая к тому же сама принципиально погрешима (fallibel). Вопрос о том, имеются ли тут границы фаллибилизма, остается спорным.

Если ограничиваться лишь выделением оснований и обоснований в качестве рациональных и формальных, т.е. с помощью правил и процедур определенных качествах связи, то возникает проблема, как можно положительно отличить сами эти качества иначе, нежели через то, что их, в свою очередь, связывают с рациональностью; правила и процедуры (которые делают основания и обоснования рациональными, если они соответствуют им) подтвердить как правильные и уместные правила и процедуры нельзя никак иначе, чем через их подтверждение как рациональных. Так, все формальные качества оснований и обоснований, которые дают им возможность быть примерами рациональности (exemplifizieren), отсылают, в свою очередь, обратно к рациональности. Поэтому объяснения «рациональности» через «обоснование» не только в слабом герменевтическом смысле, но и в точном являются круговыми.

К одному варианту этого аргумента приходят, когда вспоминают, что случается, когда некто пытается дать обоснование и говорит: «я имею здесь свои основания». Далее он пытается показать, почему это разумно, думать, говорить или действовать таким образом, а не иным. Любое обоснование можно привести в форму «Это разумно….[поступить так-то и так-то. – *Д.М.*], потому что…», причем после «потому что» может стоять и полностью гипотетическое, поскольку дело касается только лишь формальных ка-

честв связи того, что притязает на разумность. Поэтому объяснения «рациональности» через «обоснование» суть, таким образом, необходимо круговые, поскольку обоснования сами должны всегда уже выдвигать притязание на рациональность, чтобы иметь возможность быть идентифицированными как обоснование.

Это можно проиллюстрировать с помощью концепта дискурсивной рациональности у Юргена Хабермаса. В основании его модели рациональности лежит фигура «интерсубъективного признания критикуемых притязаний на значимость (Geltungsansprüche)» [1. С. 37]. Поэтому она отмечена как модель коммуникативной рациональности. Эта рациональность «являет себя в том, что коммуникативно достигнутое согласие в конечном итоге должно держаться на основаниях. И рациональность тех, кто участвует в этой коммуникативной практике, измеряется тем, могут ли они обосновывать свои высказывания в подходящих условиях. Присущая коммуникативной повседневной практике рациональность отсылает, таким образом, к практике аргументации как к апелляционной инстанции (Berufungsinstanz), которая делает возможным продолжение коммуникативного действия иными средствами, если разногласие в повседневной рутине не может более сдерживаться и все же не должно быть решено с помощью внезапного или стратегического применения насилия» [1. С. 37 и далее]. Система универсальных притязаний на значимость (Geltungsansprüche), развитая аргументативно-теоретическими средствами, служит более подробному объяснению модели «коммуникативной рациональности». Здесь важно, что Хабермас уточняет эту модель с помощью его концепта дискурса. Согласно ему, высказывания и действия могут считаться (gelten) рациональными лишь тогда, если для них могут быть приведены основания, которые можно защищать от критики в условиях дискурса. Это ведет к его двухступенчатой редукционной модели рациональности: «привычная» рациональность речевых актов и действий сводится к коммуникативной рациональности, в которой «показывает» себя эта рациональность, и коммуникативная рациональность будет отнесена, в свою очередь, к рациональности дискурсивной ситуации, т.е. к дискурсивной рациональности, по которой в конечном счете «измеряется» рациональность вообще. Если принимать это непроблематично – что создает определенные трудности, потому что тогда все без исключения *prima-facie* рациональности нужно было бы понимать как всегда уже выведенные из коммуникативной рациональности – то встает вопрос, что в этом контексте означают слова «дискурс» и «дискурсивный». Чтобы можно было это сказать, нужно, по моему мнению, снова вернуться к общим условиям рациональности, которые должны выполнять дискуссии и аргументации, чтобы, в свою очередь, иметь возможность являть пример (exemplifizieren) рациональности; ведь иначе было бы совсем неизвестно, ведется ли вообще дискурс или нет. Иные признаки дискурса, даваемые Хабермасом (такие как облегчение действия и решения (Handlungs- und Entscheidungsentlastung), условия симметрии и равенство шансов среди участников дискурса, свобода от репрессий и т. д.), вместе взятые не дают позитивную характеристику рациональности, но самое большее – негативную, исключающую все противоречащее нашему позитивному предпониманию рациональности. Это предпонимание Хабермас кратко суммирует в словах о

«лучшем аргументе» как единственном критерии дискурса. Ничто иное не должно иметь значение (gelten). Но качество аргументов измеряется, в свою очередь, как показано, всегда уже предположенными формальными критериями рациональности, так что даже объяснение «рациональности» через «дискурс» необходимо оказывается круговым.

Так можно прийти к сомнению, может ли «рациональность» вообще быть эксплицирована. По меньшей мере, любое основание предпочтения объяснения «рациональности» через «обоснование» перед другими объяснениями, кажется ускользнувшим, поскольку оно также не располагает независимым от экспликандума экспликансом. Существование возможности экспликации лишь как развертывание или реконструкция такого вышеупомянутого предпонимания можно увидеть уже из того факта, что необходимо приписать себе и считать себя способным к рациональности, чтобы быть в состоянии объяснить «рациональность» или любое другое понятие. Это не так для всех иных понятий. Не понимание *бытия*, но понимание *рациональности* первоначально. Рациональность в определенной интерпретации есть содержание необходимой пресуппозиции, без которой были бы невозможны рациональное мышление, познание и действие – равно как и экспликация самой «рациональности» (см. к этому также [5. С. 47 и далее]). Все связанное с претензиями на рациональность находится в этой пресуппозиции. Она имеет форму утверждения первого лица в единственном или множественном числе: «я (есть) разумный / мы (суть) разумные», а не то, что я есть и имею понимание бытия, или что я мыслю, но что я способен как мыслящий, говорящий и действующий быть примером (exemplifizieren) рациональности, или что мы вместе можем это. Это предпосылка всего того (далее которой нельзя пройти), что мы впоследствии готовы предлагать в качестве критерия рациональности, и это имеет место потому, что мы сами как рациональные существа уже должны использовать такие критерии. Особая трудность этой пресуппозиции состоит в том, что она не устанавливает, *как что* (als was) должны быть предположены (präsupponiert) разум или рациональность, она устанавливает лишь «*что…*» (das Dass). Напротив, Что (Das Was) подчинено историческому и культурному изменению, и это есть также основание для того, что разум предстает нам исторически и культурно во многих образах. Изменчивое преобладание некоторых признаков различных типов рациональности в истории философии является лишь одним из доказательств среди многих других. Не рациональность вообще, но рациональность в некоторой в конечном счете контингентной интерпретации есть априори, на которое мы наталкиваемся в перспективе от первого лица как на высший или глубочайший пункт нашего философского самоудостоверения (Selbstvergewisserung). Вводит в заблуждение, что то, чья экспликация необходимо является круговой, само содержит случайные элементы. Именно в этом покоится сбивающая с толку смена ролей (Wechselspiel) абсолютизма и релятивизма разума, к которой можно приравнять историю философии лишь с незначительным преувеличением. Так, трансценденталисты и герменевты всегда правы по отношению друг к другу, в то время как все дело состояло бы в том, чтобы сформулировать трансцендентальную герменевтику, которая будет действительно справедливой в отношении между соотношением «что…» (Dass) и «Что»

(Was) рациональной пресуппозиции. «Я (есть) разумный / мы (суть) разумные» – единственная форма, в которой кантовское «я мыслю» можно защищать против культурного релятивизма разума. Сравнение различных концепций рациональности, напротив, дает нам сведения об угрожающей пустоте той пресуппозиции и способно уберечь нашу собственную экспликацию рациональности от тривиальности. Как они могут сочетаться, должно быть показано в будущей теории рациональности.

III

Можно сделать, по крайней мере, один вывод из изменчивости «Что» (Was) разума, который удостоверяет себя самого: рациональность – открытый концепт, который не позволяет эксплицировать себя раз и навсегда для всех контекстов. При реконструкции наших собственных пресуппозиций рациональности мы должны ограничиться признаками того, что мы принимаем за нашу рациональность. И тогда реконструкты в интерпретации того, что мы связываем с нашей рациональностью, должны оправдать себя, хотя это предприятие может и потерпеть неудачу. Теория рациональности не может вступить в права наследства систематической и априорной философии разума. Скептик видит лишь контингентное и проглядывает неконтингентное, которое он должен предположить (präsupponieren), чтобы вообще быть в состоянии видеть контингентное. Абсолютист видит лишь *априори* необходимое и тем самым иногда пристально всматривается в пустоту. Не взгляд на «сущность», но взгляд на признаки и необходимые условия рациональности способен освободить нас от чар простой альтернативы.

Первым и фундаментальным признаком рациональности может считаться (gelten) то, что в языке философской традиции можно было бы назвать как «рефлексивное владение» мышлением, речью и действием вместе с результатами благодаря самому мыслящему, говорящему и действующему. Здесь можно говорить также о «способности сознания». После лингвистического поворота (*linguistic turn*) ему соответствовала бы тогда языковая тематизируемость в широчайшем смысле, специальным случаем чего является способность к дискурсу, т.е. возможность оценки (Beurteilbarkeit) в свете оценочных или нормативных точек зрения. Важно отчетливо различать *недиспозициональный* и *диспозициональный* смыслы предиката «рациональный». Используемый недиспозиционально мы относим к действиям, речевым актам, аргументам, нормам, институциональным правилам и т.д., т.е. к вещам, событиям и происшествиям в мире. В то же время, используя его в диспозициональном смысле, мы относим его к персонам, системам или иным инстанциям, которым мы приписываем способность к созданию рациональных порождений (Hervorbringung) (в недиспозициональном смысле «рационального»). Кроме этого, нужно проводить различие еще и между *узким* и *широким* смыслом «рационального». Рациональными в узком смысле будут вещи, события и происшествия, которые в дискурсивном рассмотрении успешно выдержали столкновение с нормативными и оценочными критериями и стандартами рациональности, и это суть действия, речевые акты и т.д. Соответственно, персоны, системы и прочие инстанции могут считаться (gelten) рацио-

нальными, если их порождения (Hervorbringung) (действия, речевые акты и т.д.), как правило, соответствуют критериям и стандартам. И, напротив, рациональными в широком смысле являются вещи, события и происшествия тогда, когда они вообще (как действия, речевые акты и т. д.) принимаются в расчет как кандидаты для дискурсивной тематизации (невольные движения тела или чисто физические и психические процессы, поскольку они не являются умышленными, не попадают сюда). В том же смысле как рациональные могут рассматриваться персоны, системы и т.д., если они могут повлиять на что-то или нечто создать, что, в свою очередь, может приниматься в расчет как кандидат для дискурсивной тематизации. Предикат «рациональный» в широком смысле принадлежит, точнее говоря, к дефиниции действий, речевых актов и т.д. как кандидатов для дискурсивной тематизации. Что не является рациональным в этом смысле – вообще не является действием или речевым актом.

Поэтому рациональность здесь то же самое, что и *понятность*. Лишь понятное может быть впоследствии оценено как рациональное в узком смысле, т.е. как соответствующее нашим или иным критериям или стандартам рациональности. Но о том, равняется ли рациональное понятному, мы можем вести дискуссии, и они затрагивают не только решение по поводу дискурсивно выполнимых претензий на значимость (Geltugsansprüche). Об этих претензиях на значимость мы можем дискутировать лишь тогда, когда ясно, что то, о чем мы дискутируем, вообще может быть рассмотрено как нечто, с чем могут быть связаны такие претензии, иначе говоря с тем, что возможно понять. Называть саму понятность дискурсивно выполнимой претензией на значимость неверно, потому что такая претензия может быть связана лишь с чем-то понятным[1]. Поскольку тем самым связка рациональность = понятность будет необходимым предварительным условием того, что мы впервые можем вступить в дискурс, то только рациональность в узком смысле слова будет воплощением (Inbegriff) дискурсивно выполнимых притязаний на значимость. Рациональность же в широком смысле понятности, напротив, не будет. Поэтому область тематизируемого в языке – причем речь идет о понятности или непонятности – будет шире, чем область способного к дискурсу.

Если верно, что рациональность (недиспозиционально) в широком смысле является признаком определения вещей, событий и происшествий как действий, речевых актов и т. д., то же самое действительно (gilt) и для диспозиционального варианта. Лишь существа или инстанции, которые обладают пониманием, можно рассматривать как рациональные существа или инстанции. При этом следует обратить внимание, что это действительно (gilt) лишь для перспективы от первого лица: лишь существа или инстанции, которые владеют понятным как им самим понятным – по Максу Веберу, – которые с их порождениями могут связать субъективный смысл, могут считаться

[1] У Юргена Хабермаса имеется несоответствие между введением в «Теорию коммуникативного действия», где он рассматривает понятность как притязание на значимость [1. S. 45] и в «Erste Zwischenbetrachtung», где он больше не возвращается к этому [1. S. 367 и далее]. Это я понимаю как непрямое подтверждение тезиса, что «понятность» не есть в первую очередь притязание на значимость, и совпадает с рациональностью в широком смысле, впервые делающем возможными притязания на значимость. (К этому и к примерам, в которых предикат «понятный» также является нормативным, т.е. употреблен в смысле притязания на действительность [см. 4. S. 93].

(gelten) рациональными. В перспективе от третьего лица это имеет значение (gilt) лишь в производном (abgeleitet) смысле. Именно это подразумевалось в менталистской традиции под концептом «рефлексия», т.е. что вторичное языковое или дискурсивное рассмотрение действий, речевых актов, компетенций и т.д. должно происходить *самореференциально*, чтобы иметь возможность выступить признаком рациональности. Фигура «рефлексивного владения» (reflexive Haben) как базовый признак рациональности вообще может быть, таким образом, уточнена с помощью самореференциального рассмотрения компетенций и действий (Performanz) в перспективе первого лица единственного или множественного числа. Лишь тот, кто способен сказать «я» или «мы» и тематизировать то, что он есть или что он делает и отнести это на свой счет, является рациональным.

К следующему признаку рациональности приходят, если вспоминают, что то рефлексивное или самореференциальное «владение» (Haben), которое конституирует рациональность вообще, нельзя заключить в *конечное* множество фигур рефлексии или самореференции. Интуитивно ясно, что действует рационально лишь тот, кто не просто следует правилам, но кто распоряжается самими этими правилами и распоряжением этими правилами (über Verfügen verfügt) и также распоряжается этим распоряжением и т.д. в бесконечность. Каждая граница владения владением правилами (Verfügen über das Regelverfügen) была бы границей рациональности. То же самое действует (gilt) и для высказываний и речевых актов. Можно говорить о них, и снова говорить об этом «говорении о…» и т.д. *ad infinitum*. Традиционные теории рефлексии называли это нескончаемым восхождением самоотнесенности в рефлексии (unabschließbare Aufstufbarkeit des Selbstbezugs in der Reflexion). Поскольку нельзя сказать, сколько уровней или итераций самореференции может существовать, рациональность является принципиально открытым концептом.

Эта открытость является также причиной для того, что не может быть дано экспликаций «рациональности» для всех контекстов, и мы должны довольствоваться минимальными характеристиками. Она являет собой также гарантию для *историчности* разума, которая доставляет неудобства традиционным рационалистам. Если бы рациональность была чем-то законченным, ей можно было бы «дать дефиницию», но именно поэтому она не могла бы меняться. Рационалист, верящий в априорную и определенную систематизируемость рациональности, должен отчаяться ввиду такой открытости, и, вероятно, он тогда будет собственно иррационалистом и пораженецем от разума, в то время как факт наличия истории рациональности дает ей шанс. Конечно, в этой истории должно быть нечто продолжительное, чтобы мы могли ее понимать как историю рациональности, но это может быть, пожалуй, сформулировано и в минимальных характеристиках данного типа. Далее, эта открытость есть основание для нашей *свободы* как рациональных существ. Способность нескончаемого рефлексивного «владения» (Haben) нашими мыслями, высказываниями и действиями делает человека «неопределенным (nichtfestgestellt) животным», но в то же время погрешимым существом с недостатками (fehlbares Mängelwesen). Возможность этого умения дистанцироваться в рефлексии, открывающая нам свободное пространство мышления и действия, означает в то же время постоянную угрозу благодаря ошибкам и

вхождением-в-заблуждение (In-die-Irre-Gehen). Также и здесь свобода и уверенность взаимно исключают друг друга. В конце концов открытость рациональности делает также понятным, почему рациональность попала под подозрение, что она является чистым средством *господства*. Рефлексивное «владение» тем, что мы есть и что делаем, которое обусловливает нашу свободу, есть способность нашего распоряжения (Verfügenkönnen) нами самими, и можно предположить, что на этом основана способность распоряжения предметами и событиями в области внешней и внутренней природы. (Если это верно, то это, пожалуй, относилось бы к антропологическим корням трансцендентальной философии). Оба способа возможности распоряжаться по меньшей мере равно изначальны. Но способность распоряжаться (Verfügenkönnen) означает способность господствовать. Кто не может рефлексировать, т. е. распоряжаться собой, не может и господствовать, и так может возникнуть видимость, что рациональность или рефлексия есть само господство и ничто иное, чем господство. Но ввиду открытости рациональности это не может быть последним словом о ней, поскольку именно она дозволяет быть способным обладать обладанием (Verfügenkönnen über das Verfügen), овладеть господством, что необходимо включает ее критику и сдерживание. Отсюда понятно, почему отношение свободы и господства является постоянной темой практической философии. Она, очевидно, задана самой «природой нашего разума».

При обзоре темы «Рациональность и обоснование» будет ясно, что *узкое* значение «рационального» может быть связано с обоснованиями. Обладание основаниями (Haben von Gründen) будет лишь тогда обоснованием, когда основания выдержат тест на основе критериев и стандартов рациональности. В широком смысле «рационального» уже простое владение основаниями будет указанием на рациональность, потому что оно иллюстрирует рефлексивное «владение» вообще. Здесь основания могут сильно отличаться – представления, мнения, суеверия, ошибки, «субъективный» смысл, интенции, цели, интересы и т.д., без того, чтобы они уже должны были быть обоснованиями или аргументами в узком смысле «рационального». Таким образом, исходный тезис может считаться подтвержденным, а именно: концепт «обоснования» не способен нести достаточно полную экспликацию «рациональности», и было бы малорационально, ожидать этого от него.

Литература

1. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns in 2 Bände. Bd. I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. 534 S.

2. *Röd W. Grund* // Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Hg. Von Krings, Baumgartner, Wild. München: Kösel Verlag, 1973. 1874 S.

3. *Декарт Р.* Рассуждение о методе // Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 250–296.

4. *Schnädelbach H.* Rationalität und Normativität // H. Schädelbach. Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. S. 79–103.

5. *Schnädelbach H.* Zur Dialektik der historischen Vernunft // H. Schädelbach. Vernunft und Geschichte. Vorträge und Abhandlungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 47–63.

H. Schnädelbach. Humboldt University (Berlin, Federal Republic of Germany)
Email: h.schnaedelbach@hamburg.de
DOI: 10.17223/1998863X/40/28
ON RATIONALITY AND JUSTIFICATION

Key words: rationality, justification, reflexion

Traditionally, until today, rationality is associated with justification based on logic. This model set a paradigm for understanding the science as knowledge of causes using reasons. However, this way of explicating rationality encourages irrationalism, giving it too much space. The author claims that discursive rationality is only, in fact, a particular area of rationality. If we took as irrational what has no justification, then the region of the irrational would expand to enormous proportions. The emphasis on such an understanding of rationality gives an unjustified advantage to the epistemic-technical model of reason to the detriment of other models and reduces rationality to scientific rationality. In turn, it is vulnerable to criticism (Feyerabend), which puts irrationality in a favorable light. The term "justification" can be in the theoretical and practical contexts, as well as subjective and objective ones. These types of justifications correlate with models of rationality (epistemic, instrumental, practical-communicative), each of which relies on some assumption of what rationality is. The author singles out the formal and material criteria of rationality, pointing out that the material bases of rationality cannot be given *a priori*. Therefore, the importance of formal (logical) justification rules becomes clear, which in principle are fallible, gives us hope for clarifying the concept of rationality. However, such attempts will nevertheless be circular in the strict sense, since formal criteria of justification refer, in turn, back to rationality. For the possibility of understanding rationality, we have first to assume our rationality as a capacity to act, to know and understand in general, and in particular the ability to clarify the concept of rationality. Rationality in general cannot be explicated, but only every time its concrete historical manifestation, which can be conditionally called a priori. The variability of the reason is an indication of the openness of the concept of rationality itself, which must be developed in the future theory of rationality. The fundamental sign of such rationality is the reflexivity of our thinking. The author distinguishes the dispositional (individuals, groups, institutions) and non-dispositional (arguments, norms, etc.) types of rationality. A broad sense of rationality is singled out, when an action or argument in general can be candidates for discursive scrutiny and a narrow sense, when an action or argument turn out to be the best. Rationality in a broad sense is the clarity of an action or speech act, and what cannot be understood is not rational.

References

1. Habermas, J. (1981) *Theorie des kommunikativen Handelns in 2 Bände* [Theory of communicative action in 2 volumes]. Vol. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

2. Röd, W. (1973) Grund [Concepts]. In: Krings, H, Baumgartner, H.M. & Wild, C. (eds) *Handbuch philosophischer Grundbegriffe* [Handbook of basic philosophical concepts]. München: Kösel Verlag.

3. Dekartes, R. (1989) *Sochineniya v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'. pp. 250–296.

4. Schnädelbach, H. (1992) *Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen* [Rehabilitation of the animal rational. Lectures and essays]. Frankfurt am Main: Suhrkamp. pp. 79–103.

5. Schnädelbach, H. (1987) *Vernunft und Geschichte. Vorträge und Abhandlungen* [Reason and History. Lectures and Essays]. Frankfurt am Main: Suhrkamp. pp. 47–63.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 164.07
DOI: 10.17223/1998863X/40/29

А.В. Бессонов

ТЕОРЕМЫ ГЁДЕЛЯ НЕ ДЕЗАВУИРУЮТ ПРОГРАММУ ГИЛЬБЕРТА

Рассматривается аргументация против реализуемости выдвинутой Д. Гильбертом программы финитного обоснования математики, основанная на теоремах К. Гёделя о неполноте арифметики. Показывается, что подобная аргументация, базирующаяся на второй теореме о неполноте, изначально некорректна, поскольку она приводит к абсурдным выводам. Обосновывается невозможность финитного доказательства первой теоремы о неполноте, из чего следует нелигитимность основанной на этой теореме аргументации против гильбертовской программы. В результате опровергается хрестоматийное положение, согласно которому теоремы Гёделя о неполноте служат решающими аргументами в доказательстве несостоятельности программы финитного обоснования математики.
Ключевые слова**:** *программа Гильберта, тезис фон Неймана, вторая теорема Гёделя о неполноте, первая теорема Гёделя о неполноте, финитное доказательство.*

Введение

Программа финитного обоснования математики, провозглашенная Д. Гильбертом в начале 1920-х гг., преследовала цель снять всякие сомнения в достоверности математического знания, зародившиеся благодаря парадоксам, открытым к тому времени в теории множеств. Принятые в математике утверждения и методы доказательства Гильберт разделяет на «реальные» (финитные) и «идеальные» (более сложные). При этом под финитными доказательствами он понимает те, в которых не используется апелляция к актуальной (завершенной) бесконечности.

Финитная часть математики полагается Гильбертом свободной от каких-либо сомнений. Однако для обеспечения применимости классической логики, в частности, закона исключенного третьего, «идеальные» доказательства также следует допустить. Необходимо только доказать, что такое допущение не приведет к выводу финитных утверждений, которые не могут быть доказаны финитными средствами, например, не приведет к выводу противоречия, если к нему не приводят финитные доказательства. При этом, что принципиально важно, искомое доказательство непротиворечивости само должно быть осуществлено финитными методами.

Хрестоматийной, азбучной истиной современной философии математики является убеждение в том, что знаменитые теоремы К. Гёделя о неполноте формальных систем бесспорно и однозначно засвидетельствовали невозможность реализации гильбертовской программы в ее изначальной постановке:

«Работы Гёделя повсеместно используются для демонстрации невыполнимости гильбертовской программы» [1. С. 1].

Ранее мы установили некорректность аргументации невыполнимости программы Гильберта, основанной на второй теореме Гёделя о неполноте [2, 3]. В настоящей работе мы усилим этот результат и покажем, что первая теорема о неполноте также не может служить легитимной основой аргументации против реализуемости гильбертовской программы финитного обоснования математики.

§ 1. Предварительные сведения

В этой статье мы рассматриваем вопрос о реализуемости программы Гильберта и о том, какую роль играют в этом вопросе теоремы Гёделя, применительно к наиболее популярной формализации математической теории – *формальной арифметике* Дедекинда – Пеано PA (определение см., напр., в [4]). Напомним, что теория называется *непротиворечивой*, если в ней имеется хотя бы одна недоказуемая формула, или, что эквивалентно, в ней ни для какой формулы A не могут одновременно быть доказаны формулы A и $\neg A$. Теория называется ω-*непротиворечивой*, если в ней ни для какой формулы $\Phi(x)$ с одной свободной переменной не могут одновременно быть доказаны формулы

$$\Phi(1), \Phi(2), \ldots, \neg\forall x \Phi(x).$$

Имеются различные изложения теорем Гёделя о неполноте, отличающиеся обозначениями, формулировками и способами доказательства. В несколько упрощенной формулировке теоремы о неполноте таковы:

Первая теорема Гёделя о неполноте арифметики [5. Theorem VI]. Если PA ω-непротиворечива, то она неполна, т. е. в PA имеется некоторая замкнутая формула G такая, что ни она, ни ее отрицание не доказуемы в PA.

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики [5. Theorem XI]. Если PA непротиворечива, то в ней не доказуема формула, выражающая непротиворечивость PA.

Для доказательства своих теорем Гёдель использует три основных приема:

1. *Арифметизация синтаксиса*. Она осуществляется путем числового кодирования языка формальной арифметики и её логики (Гёделева нумерация). При кодировании языковым выражениям PA ставятся в соответствие числа (гёделевы номера) так, чтобы разным выражениям сопоставлялись различные числа и по выбранному числу можно было бы эффективно восстановить выражение, номером которого данное число является.

2. *Введение понятия выразимости (определимости).*

Определение. Предикат $F(x_1, \ldots, x_k)$, заданный на множестве натуральных чисел, называется *выразимым* (*представимым*, *формализуемым* – использующиеся в литературе синонимы) по Гёделю, или G-*выразимым* в PA, если в PA найдётся формула $\Phi(x_1, \ldots, x_k)$, такая что для любого набора натуральных чисел $(n_1, \ldots, n_k)$ справедливы условия:

(1) если $F(n_1, \ldots, n_k)$ выполняется, то $\vdash \Phi(\boldsymbol{n}_1, \ldots, \boldsymbol{n}_k)$;

(2) если $F(n_1, \ldots, n_k)$ не выполняется, то $\vdash \neg\Phi(\boldsymbol{n}_1, \ldots, \boldsymbol{n}_k)$.

Здесь, как и во всей статье, знак $\vdash$ означает доказуемость (в PA). Нумерал, соответствующий числу n, принято обозначать через $\boldsymbol{n}$. Выражение $\ulcorner A \urcorner$ далее будет обозначать нумерал, соответствующий гёделеву номеру формулы A.

3. *Введение предиката доказуемости.* Гёдель вводит предикат доказуемости (здесь и далее с точностью до обозначений) $\mathrm{Pr}(x, y)$, который выполняется тогда и только тогда, когда x является гёделевым номером некоторой формулы, а y – гёделевым номером ее доказательства. Предикат $\mathrm{Pr}(x, y)$ G-выразим в PA с помощью некоторой арифметической формулы $\mathrm{Prov}(x, y)$, т.е. для любых натуральных чисел n, k верны условия:

(1) если $\mathrm{Pr}(n, k)$ выполняется, то $\vdash \mathrm{Prov}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{k})$;

(2) если $\mathrm{Pr}(n, k)$ не выполняется, то $\vdash \neg\mathrm{Prov}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{k})$.

С помощью формулы $\mathrm{Prov}(x, y)$ непротиворечивость формальной арифметики G-выражается арифметической формулой

$$\exists x \forall y \neg \mathrm{Prov}(x, y). \qquad \text{(Consis)}$$

Consis G-выражает факт существования в PA формулы, не являющейся заключительной ни в каком выводе, т. е. существование в PA недоказуемой формулы.

С использованием формулы Consis современная формулировка второй теоремы о неполноте применительно к PA выглядит следующим образом:

если PA непротиворечива, то формула Consis, в которой $\mathrm{Prov}(x, y)$ G-выражает предикат доказуемости, удовлетворяющий условиям Гильберта – Бернайса – Лёба (см., напр.: [6. С. 15]), не может быть доказана в PA.

§ 2. Вторая теорема в аргументации против осуществимости программы Гильберта

Убеждение в том, что вторая теорема Гёделя о неполноте дает решающий аргумент в доказательстве несостоятельности выдвинутой Гильбертом программы финитного обоснования математики, имеет широчайшее признание среди логиков и философов. Приведем самые недавние свидетельства. «Основанием для всех философских заключений служит простой факт: для любой адекватной формальной дедуктивной системы T, если T непротиворечива, тогда эта непротиворечивость выразима в T, но не доказуема в ней» [7. С. 390]. «Многие считают, что программа Гильберта была остановлена на своем пути второй теоремой Гёделя о неполноте» [8. P. 299].

Дж. фон Нейман был первым, кто связал вторую теорему Гёделя о неполноте с вопросом о реализуемости программы Гильберта (см. [9. P. 418]). Он полагал, что всякое финитное рассуждение, которое могло бы использоваться в доказательстве непротиворечивости PA, должно быть формализуемым в рамках PA. Поэтому если бы непротиворечивость PA была установлена финитными методами, такое доказательство было бы формализуемо в PA доказуемой формулой, что невозможно, согласно второй теореме о неполноте.

Нужно понимать, что всегда, когда Гёдель и его последователи говорят о формализации в языке арифметики метаязыковых понятий таких, как (не)доказуемость, ими подразумевается использование исключительно G-выразимого предиката доказуемости. И никакие другие способы формализации,

например, с использованием каких-либо иных G-выразимых предикатов, ни фон Нейманом, ни Гёделем, ни их последователями, ни современными авторами вообще не рассматриваются. Именно такого рода «формализацию» имеет в виду фон Нейман, когда аргументирует неосуществимость программы Гильберта, апеллируя ко второй теореме. Далее мы будем рассуждать, оставаясь именно в этих, до сих пор общепринятых рамках.

В «Стэнфордской энциклопедии философии» (см.: [1. § 4]) аргумент фон Неймана реконструируется следующим образом (с точностью до обозначений):

«Непротиворечивость системы PA должна финитно выражать то, что никакая выбранная последовательность символов не является выводом в PA формулы $\mathbf{0}=\mathbf{1}$. Формализацией этого требования является формула $\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner\mathbf{0}=\mathbf{1}\urcorner, y)$ с одной свободной переменной y. Если бы существовало финитное доказательство непротиворечивости PA, то формализация этого доказательства привела бы к доказательству в PA формулы $\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner\mathbf{0}=\mathbf{1}\urcorner, y)$, из которой просто по закону универсального обобщения по y в PA выводилась бы формула Consis. Однако вывод в PA формулы Consis запрещен второй теоремой о неполноте».

Мы покажем, что такого рода стандартная аргументация некорректна, поскольку она может приводить к абсурдным следствиям.

Ранее мы доказали простое следствие второй теоремы о неполноте:

Утверждение 1 (см. [10. С. 186–187])**.**

Если PA непротиворечива, то для любой формулы A формула, G-выражающая недоказуемость A, недоказуема в PA.

Если PA ω-непротиворечива, то для любой недоказуемой в PA формулы A формула, G-выражающая недоказуемость A, неразрешима в PA.

Основываясь на этом утверждении, докажем

Утверждение 2. Вторая теорема Гёделя о неполноте не может использоваться в доказательстве нереализуемости гильбертовской финитистской программы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если исходить из последовательной финитистской позиции, то доказательство непротиворечивости PA, полученное Г. Генценом с помощью трансфинитной индукции [11], не является вполне надежным. Поэтому твердо мы не знаем, непротиворечива PA или противоречива. Но из определения непротиворечивости мы точно знаем, что PA может быть либо противоречивой, либо непротиворечивой. Третьего не дано. Рассмотрим обе возможности.

Пусть PA противоречива. Тогда вторая теорема о неполноте вообще не может применяться, поскольку в ее формулировке в явном виде содержится условие непротиворечивости PA.

Предположим, что PA непротиворечива. При этом не важно, имеется ли у нас какое-либо доказательство ее непротиворечивости или нет. Рассмотрим формулу $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$ и повторим слово в слово стандартную аргументацию по отношению к этой формуле. Предположим, что найдется неформальное финитное доказательство невыводимости этой формулы в PA. Тогда формула

$\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})\urcorner, y)$, G-выражающая факт невыводимости формулы $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$, должна быть доказуемой в PA. Однако, согласно утверждению 1, эта формула не может быть доказана в PA. Отсюда ровно на тех же основаниях, по которым обычно делается вывод о невозможности финитного доказательства непротиворечивости PA, мы вправе сделать вывод о несуществовании неформального финитного доказательства невыводимости в PA формулы $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$ в предположении о непротиворечивости PA.

Однако если PA непротиворечива, такое неформальное доказательство существует! Вот оно: предположим, что формула $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$ доказуема. Тогда, учитывая, что в PA доказуема также формула $(\mathbf{0}=\mathbf{0})$, в PA оказалась бы доказуемой формула $(\mathbf{0}=\mathbf{0})\&\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$, т. е. PA была бы противоречивой, что противоречит нашему предположению. Поэтому в предположении о непротиворечивости PA формула $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$ в ней недоказуема.

Очевидно, что данное тривиальное доказательство финитно. В нём никак не используются ни аксиома индукции, ни, тем более, трансфинитная индукция. Таким образом, мы пришли к противоречию: если PA непротиворечива, то из второй теоремы о неполноте по стандартной аргументации следует несуществование неформального финитного доказательства недоказуемости в PA формулы $\neg(\mathbf{0}=\mathbf{0})$. Но такое доказательство существует! Это означает, что основанная на второй теореме аргументация против осуществимости программы Гильберта некорректна. Поэтому вторая теорема Гёделя о неполноте не может использоваться в доказательстве нереализуемости гильбертовской программы. Следует заметить, что доказательство утверждения 2 в целом также финитно.

§ 3. Доказательство первой теоремы о неполноте не может быть финитным

Как мы уже отметили, именно вторая теорема о неполноте традиционно рассматривается как решающий контраргумент в вопросе о реализуемости программы Гильберта. В то же время в ряде современных работ доказывается, что уже из первой теоремы следует вывод о невыполнимости гильбертовской программы (см., напр., [6. С. 14]). Но для того чтобы быть убедительным опровержением финитистской программы, первая теорема, очевидно, сама должна быть доказана финитными методами. Как настаивает С. Клини: «…очень важно иметь строго финитное математическое доказательство теоремы Гёделя» [12. С. 185]. Сам Клини, по-видимому, считает оригинальное гёделево доказательство финитным:

«Если это метаматематическое доказательство рассмотреть во всех деталях, то оно окажется по своей природе обыкновенным математическим доказательством. … (Это) доказательство, хотя чрезвычайно длительное и утомительное в этих терминах, не подвержено никаким возражениям, которые в равной мере не относились бы к частям традиционной математики, почитаемым за наиболее достоверные»

([12. С. 185–186]). Тем не менее в литературе существуют и другие мнения по этому вопросу (см., напр., [13]). Мы не будем углубляться в анализ различных точек зрения по вопросу о финитности доказательства первой

теоремы, тем более, что в литературе имеется достаточно много различных ее доказательств, и разбирать их все у нас нет никакой возможности. Мы просто докажем общее

Утверждение 3. Не существует финитного доказательства первой теоремы о неполноте PA.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим неразрешимую гёделеву формулу G и по отношению к ней опять проведем стандартную аргументацию. Предположим, что первая теорема может быть доказана «строго финитно», т.е. найдется неформальное финитное доказательство невыводимости формулы G в PA. Тогда формула $\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner \mathrm{G} \urcorner, y)$, G-выражающая факт невыводимости формулы G, должна быть доказуемой в PA. Однако, согласно утверждению 1, эта формула не может быть доказана в PA. Эти же рассуждения относятся и к формуле $\neg\mathrm{G}$: формула $\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner \neg\mathrm{G} \urcorner, y)$ не может быть доказана в PA по утверждению 1, поэтому не существует неформального финитного доказательства невыводимости формулы $\neg\mathrm{G}$ в PA. Таким образом, для формул G и $\neg\mathrm{G}$ не существуют неформальные финитные доказательства их невыводимости в PA. Но это и означает несуществование финитного доказательства первой теоремы о неполноте арифметики.

На основании доказанного утверждения мы вправе заключить, что использование первой теоремы о неполноте в аргументации против реализуемости гильбертовской программы в ее оригинальной постановке нелигитимно. Поскольку эта теорема в принципе не может быть доказана финитным образом, с позиции последовательного финитизма все ее имеющиеся доказательства сомнительны.

Этот вывод позволяет усилить заключение § 2. Поскольку вторая теорема о неполноте обычно доказывается как следствие первой, вывод о сомнительности с точки зрения последовательного финитизма в полной мере относится и к доказательству второй теоремы.

В настоящей работе мы, конечно, не доказали, что провозглашенная Гильбертом программа финитного обоснования математики может быть полностью реализована. Мы показали лишь, что теоремы Гёделя о неполноте формальной арифметики, тотально оцениваемые как бесспорные свидетельства невозможности реализации гильбертовской программы, в действительности таковыми не являются.

Литература

1. *Zach R.* Hilbert's program // E.N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy // URL: http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/hilbert-program/. Accessed: 2017/01/09.

2. *Бессонов А.В.* О двух неверных догмах, связанных со второй теоремой Гёделя о неполноте. II // Философия науки. 2016. № 2(69). С. 42–61.

3. *Bessonov A.V.* Gödel's second incompleteness theorem cannot be used as an argument against Hilbert's program // Logic Colloquium 2017, Programme and abstracts (Stockholm, August 14–20, 2017). Stockholm, 2017. P. 86–87.

4. *Бессонов А.В.* О двух неверных догмах, связанных со второй теоремой Гёделя о неполноте. I // Философия науки. 2014. № 4(63). С. 12–31.

5. *Gödel K.* Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I // Monatshefte für Mathematik und Physik. 1931. Bd. 38. S. 173–198.

6. *Сморинский К.* Теоремы о неполноте // Справочная книга по математической логике. Т. IV: Теория доказательств и конструктивная математика. М.: Наука, 1983. С. 9–53.

7. *Ершов Ю.Л., Целищев В.В.* Алгоритмы и вычислимость в человеческом познании. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.

8. In Memoriam: Georg Kreisel // The Bulletin of Symbolic Logic. 2016. Vol. 22, No. 2. P. 298–299.

9. *Zach R.* Hilbert's Program Then and Now // D. Jacquette (ed.). Handbook of Philosophy of Science. Vol. 5: Philosophy of Logic. Amsterdam: Elsevier, 2006. P. 411–447.

10. *Бессонов А.В.* К интерпретации теорем Гёделя о неполноте арифметики // Вестник Томского ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. № 4. С. 177–189.

11. *Gentzen G.* Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie // Mathematische Annalen. 1936. Bd. 112. S. 493–565.

12. *Клини С.* Введение в метаматематику / пер. с англ. А.С. Есенин-Вольпин. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957.

13. *Detlefsen M.* Formalism // S. Shapiro (ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic. New York: Oxford University Press. 2005. P. 236–317.

Alexandr V. Bessonov. Institute of Philosophy and Low of Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation); Institute of Philosophy and Low, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: trt@academ.org

DOI: 10.17223/1998863X/40/29

GÖDEL'S INCOMPLETENESS THEOREMS DO NOT DISRUPT HILBERT'S PROGRAM

Key words: Hilbert's program, von Neumann's thesis, Gödel's second incompleteness theorem, Gödel's first incompleteness theorem, finitary proof

We look at argumentation against realizability of Hilbert's program based on Gödel's incompleteness theorems. It is shown that such argumentation based on the second incompleteness theorem is incorrect from the outset, since it necessarily leads to absurd conclusions. The impossibility of a finite proof of the first incompleteness theorem is proved, which implies the non-legitimacy of the argument against the Hilbert's program based on this theorem. As a result, the textbook proposition, according to which Gödel's incompleteness theorems serve as decisive arguments against feasibility of Hilbert's finitistic program is refuted.

References

1. Zach, R. (2017) Hilbert's program. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/hilbert-program/. (Accessed: 9th January 2017).

2. Bessonov, A.V. (2016) O dvukh nevernykh dogmakh, svyazannykh so vtoroy teoremoy Gedelya o nepolnote. II [About two incorrect dogmas connected with the second theorem of Gödel on incompleteness. II]. *Filosofiya nauki*. 2(69). pp. 42–61.

3. Bessonov, A.V. (2017) Gödel's second incompleteness theorem cannot be used as an argument against Hilbert's program. *Logic Colloquium 2017*. Stockholm. August 14–20, 2017. Stockholm. pp. 86–87.

4. Bessonov, A.V. (2014) O dvukh nevernykh dogmakh, svyazannykh so vtoroy teoremoy Gedelya o nepolnote. I [About two incorrect dogmas connected with the second theorem of Gödel on incompleteness. I]. *Filosofiya nauki*. 4(63). pp. 12–31.

5. Gödel, K. (1931) Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of the Principia Mathematica and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik*. 38. pp. 173–198.

6. Smorinskiy, K. (1983) Teoremy o nepolnote [Theoremes on incompleteness]. In: Barvays, J. (ed.) *Spravochnaya kniga po matematicheskoy logike* [A Reference Book on Mathematical Logic]. Vol. 4. Moscow: Nauka. pp. 9–53.

7. Ershov, Yu.L. & Tselishchev, V.V. (2012) *Algoritmy i vychislimost' v chelovecheskom poznanii* [Algorithms and computability in human cognition]. Novosibirsk: SB RAS.

8. Anon. (2016) In Memoriam: Georg Kreisel. *The Bulletin of Symbolic Logic*. 22(2). pp. 298–299.

9. Zach, R. (2006) Hilbert's Program Then and Now. In: Jacquette, D. (ed.). *Handbook of Philosophy of Science*. Vol. 5. Amsterdam: Elsevier. pp. 411–447.

10. Bessonov, A.V. (2011) Toward an interpretation of Godels incompleteness theorems. *Vestnik Tomskogo gos. universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4. pp. 177–189. (In Russian).

11. Gentzen, G. (1936) Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie [The consistency of pure number theory]. *Mathematische Annalen*. 112. pp. 493–565.

12. Klini, S. (1957) *Vvedenie v metamatematiku* [Introduction to metamathematics]. Translated from English by A.S. Esenin-Volpin. Moscow: Izd-vo inostrannoy literatury.

13. Detlefsen, M. (2005) Formalism. In: Shapiro, S. (ed.) *The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic*. New York: Oxford University Press. pp. 236–317.

УДК 32.001
DOI: 10.17223/1998863X/40/30

А.Г. Чернышов

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Проводится оценка различных мнений, которые в научной и экспертной среде отражают изменения в сфере глобальных сетевых и цифровых технологий. Ставится задача доказать однобокость проведения «технологизации» и «цифровизации» общества вне осмысления роли культурных факторов развития самого человека. Делается вывод, что при выборе стратегии дальнейшего движения важно определиться с методологией понимания всей глубины новой цифровой эпохи, принять адекватные складывающимся реалиям политические и управленческие решения.
Ключевые слова: *«цифровое» общество, глобальный гражданский экспертный форум, технократы, меритократия, искусственный интеллект, качественный контент.*

Информационное общество погружает в свои глубины: Big Data, боты, мэмы становятся популярными терминами дня. Многие уловить до конца не могут смысла, а уже слово употребляется в контексте повседневной жизни. Затем стремительно начинает выходить из обихода и моды, когда на смену появляются новые термины и определения. Интернет-вещизм [1] обваливает на человека множество информационного «мусора». Возникает насущная проблема разобраться в том, как обеспечить качественный контент.

Начнем с «цифрового» сознания. Ряд авторов выдвигают тезис, что современная эпоха получает поколение «цифровых детей» с рождения, и сопротивляться данному процессу бессмысленно. На мозг «цифровых от рождения» так рано обрушивается вся мощь цифровых технологий, что на наших глазах вырастает «мозговой разрыв», пропасть между мышлением отцов и детей. По мнению авторов, сегодня «этот разрыв приобретает новые масштабы, и можно уже говорить про возникновение двух разных культур» [2. С. 15, 17].

Но что такое «цифровое» общество с точки зрения действительного отражения характеристик новой формации, а где всего лишь метафора? Беда, если родители всучили ребенку гаджет в первые дни жизни. В этом смысле человеческое сообщество морально и интеллектуально деградирует, покорно обменивая собственные способности на возможности электронных устройств. Другая проблема заключается в том, что те же компьютерные игры не оставляют простора воображению. Все ходы, костюмы и диалоги персонажей заранее спланированы разработчиками, и надо лишь выбрать из 3–4 вариантов. Фактически транснациональные корпорации через глобальные лифты и коррумпированных чиновников разных стран навязывают «новую виртуальную реальность», пытаются понудить жить в глобальной «цифре».

Как следствие, появляется все больше детей с периферийным мышлением, лишенных сутевого восприятия действительности. А вот уже отсюда, развиваясь и приспосабливаясь к новым технологиям, мозг теряет базовые социальные навыки, происходит их угасание, социальное поведение ухудшается.

Управление с помощью информации (Ю. Хабермас) приобретает иной смысл: погружением и «растворением» человека в безбрежном информационном потоке и принуждением действовать в нем по заданному из какого-то штаба сценарию. У тех, кто держит вожжи управления социальными сетями и общественным сообществом, возникает соблазн построить глобальную цифровую диктатуру. Так удобнее и легче управлять большими массами людей по типу Big data. Человеку же, чтобы мало-мальски сохранить секрет, надо скрывать его от самого себя [3]. При этом зачастую введение ограничений в рамках национального сетевого сегмента диктуется тем, чтобы отгородиться от глобального диктата. Иная альтернатива – это налаживание реального диалога власти с обществом, поддержка и пестование настоящего местного самоуправления, делегирование полномочий домашним хозяйствам и выстраивание с ними равного и доверительного общения.

И в «доцифровых» обществах политическое управление было настроено на то, чтобы манипулировать сознанием и формировать его в тоталитарных рамках единообразия и усредненности [4]. «Цифровая» эпоха не может изменить генный код самого человеческого существа. Приоритеты родового человека остаются прежними: безопасность, питание, здоровье, самореализация. На подсознательном уровне в генетическом коде человека заложено творить: охотиться, преодолевать препятствия, достигать вершин. Как оценить результат своего труда при перемещении вороха бумаг в офисе или создании красивых презентаций? На что они повлияли? К какому осязаемому позитивному результату привели, кроме того, что каждый использованный бумажный лист привел к гибели очередного дерева или появилась еще одна корзина мусора? То же самое, если эти действия перевели в «цифру», в «виртуал».

Огромное количество жителей планеты живут на земле без всяких «цифровых» вещей, или минимальном пользовании ими, по потребности включиться в «продвинутый» мир. Но человек по большому счету настроен на получение конечного осязаемого результата (продукт человеческой деятельности). Это овеществленный труд: работа на земле, над реальным интеллектуальным продуктом. В него воплотились плоды труда, радость от достигнутого результата. Если этого нет, возникает подмена понятий, искажение и слом психики, мощнейшие мутации разума.

В итоге реальная действительность больше напоминает сюжеты из книги Джорджа Оруэлла из «1984», когда «Большой Брат» следит за вами везде и всегда. Получается, власти не только хотят все про всех знать, но и пытаются сохранить монополию на распространение информации (а сами стараются стереть свое негативное упоминание в сети путем законодательных норм, а электронные деньги, криптовалюту, использовать как новый виртуальный офшор, где под «электронным замком» прятать в транспарентном интернете свои накопления [5. С. 67].

Важнейший аспект в дискуссиях о сути и роли «цифрового» общества – это осмысление интернета и цифрового мира как социального явления, его

полезности и нужности для человека [6. С. 7]. В противном случае получаем технический прогресс, который начинает работать не для, а вопреки самому человеку. При такой постановке вопроса это будут лишь досужие обывательские рассуждения о «цифре»: о тотальном снижении себестоимости продукции, большей транспарентности мира, доступности и открытости технологий. Но не о том, куда пойдет безработный, когда ему на смену придут роботы [7]. Будет ли мир транспарентен для всех, когда уже сейчас создаются фактически закрытые криптовалюты и целые сегменты «теневого» интернета типа «Даркнет» [8. С. 116]. Киберденьги не будут принадлежать человеку физически. Это, вкупе с другими обстоятельствами, фактически означает крах так широко рекламируемой частной собственности и свободе личности как таковой. Да и вообще, не утратит ли в таком постиндустриальном мире человек свое прежнее значение и просто станет лишним [9. С. 23, 129], превратившись в некую биомассу с огромным «бесполезным классом» ненужных работников?

Технократические ловушки при выстраивании «цифрового» общества путем объявления самого технического прогресса ценностью мироздания уводят нас от столбовой дороги действительного культурного развития человеческого сообщества. Введение в оборот понятия «цифровой» экономики показывает, что цифровизация ведет к возрастанию роли нецифровых (аналоговых) услуг [10]. Искусственная технологизация мира – это окончательное закрепление его в рамках глобального ростовщическо-манипуляционного варианта развития. Раздаются аллилуйя «золотому» веку «цифры» [11], но отсутствует критический анализ самого глобального явления, охватывающего человеческий социум.

Важен акцент на фундаментальность образования, чтобы не упустить целостность и универсальность картины мира, который усложняется, «сохранить ориентацию на изучение глубинных закономерностей жизни (человека, природы и общества) и избежать зависимости от конъюнктурных знаний и умений» [12]. Социальные технологии должны получить неоспоримое первенство над всеми остальными. Пока же они остаются втуне. Преобладают «эффективные» менеджеры и технократы как циничные управленцы, лишенные всяких нравственных рефлексий. Некий набор установок типа Эджайл как попытка воспитать технократов в режиме закрытой секты, но при этом присвоить им право быть меритократами. То есть самыми мудрыми и достойными [13].

Самая востребованная специальность в мире – программист. За внешней понятностью такой тенденции стоят сложные процессы, доказывающие, что программисты зачастую пишут мир «под себя»: он просто «не думал о человеке, не пытался ставить себя на его место» [14. С. 35], так как понимает его по-своему, на ему только ведомом языке программирования. Каким окажется язык будущего при таком развитии событий, когда социальное пространство заполнит программно-цифровая «Матрица»? Технологии блокчейн[1] претен-

[1] Блокчейн (англ. Blockchain или block chain) – система передачи информации, выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков. Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять только те части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна.

дуют на роль универсального гаранта исполнения взятых на себя обязательств. Но это фактически отмена основной функции государства! Это может привести к формированию «понятийного рынка», который окажется под контролем узкой группы лиц и криминального мира» [15].

Технологический детерминизм в качестве основополагающей причины социальных изменений не применим, так как из него выпадает живой человек со своими эмоциями, иррациональным мышлением и духовной сферой. В программно-технологической части «цифрового» мира идет архитектурная эволюция Интернета, перманентная и бесконечная [16. С. 13]. Эксперты спорят, что Интернет Вещей – это не просто «умный дом», а принципиально иное антропологическое пространство [17. С. 5, 15]. Однако значительно важнее сейчас оценить гуманитарную емкость сети и цифры, ее ценностные и смысловые основания.

С точки зрения социально-политической практики важно использование общественно полезного позитивного потенциала гражданского общества, находящегося в сети, согласованного с деятельностью реформирующейся системы государственного управления [18. С. 76]. «Электронная демократия» возможна при условии четких и прозрачных правил для всех его пользователей, без купюр и изъятий [19]. Сервисы типа «Активный гражданин» могут стать инструментом в реализации конституционных прав граждан. При условии фактически узаконенного референдума в сети, когда при сборе определенного количества голосов, наступает обязательность для власти исполнения электронной воли граждан. Иначе – это лишь срез настроений в обществе, еще хуже – «демократическая» игрушка. При такой конструкции реальную свободу в «цифре» человеку не получить. Это будет лишь иллюзия раба нового мирового порядка, принесшего себя в жертву ради торжества глобального цифрового общества завтрашнего дня [20]. Стал большим Хайпом[1] в сети. То есть мысли людей не накапливают знания, а превращаются в «шум».

Стоит задача «восстановить ценностно-рациональный мир, соединить ценностно-рациональные и целерациональные сферы общественной жизни». Пока же именно «рациональность техники повсеместно проникла в управление социальными процессами и в управление массовым сознанием» [21. С. 425, 427, 509–511].

Еще только предстоит определить смысловое содержание сетевого будущего. Создать Образ будущего вместе, используя и формируя сетевое интегральное мироустройство [22. С. 126–128], оценивая, действительно ли «подключенный» мир означает лучший [23. С. 34].

Важно не просто принять за данность, что в современном обществе люди становятся более зависимыми от информации. Нужно в максимальной степени снизить «эпидемию» информационной аномии в сети – процесса, когда сообщение, имеющее определенный смысл, в момент передачи информации, искажает, замещает или теряет этот смысл, создается множественность вариантов понимания, что приводит к имитации реального смысла, иллюзии реальности [24. С. 5]. А если еще и заведомо рукотворно создают фейковую

[1] Хайп – неол., сленг – шумиха в средствах массовой информации.

среду, как человеку разобраться в потоке информации, сделать адекватные реальности выводы и принять решения к действию. Аномия как крах традиционных устоев, отклонение в системе социальных норм ведет к разрушению единства культуры.

Чтобы разобраться в нужном сетевом знании и не попасть в расставленные там же информационные ловушки, необходимо наличие высокого уровня критического мышления. Оно вырастает из фундаментального образования. Того, которое учит не техническим навыкам посредством образовательной услуги: «Если образование – это о том, как включить кофеварку, то это другое» [25]. Современное образование в режиме он-лайн, куда все больше перетекает знание, должно в своей первооснове содержать смыслы и стратегии духовного развития человека с учетом восстановления целостности личности. Более того, переходя на «цифровой» язык общения, важно не утерять носителей родословной языковой составляющей. Тут важна роль государства и различных гражданских институтов, которые должны добиваться соблюдения в интернет-коммуникациях норм речи [26. С. 134] и знать психологию сети [27. С. 4, 337].

Смайлово-лайковое пространство не дает оснований для развития человеческих способностей. А знания могут не только наращиваться, но и убывать. Особенно если теряется потребность в кристаллизации ценностно-смысловых начал. Если не принимать во внимание всякие нюансы и детали, не видеть полутона, то можно скатиться к стандартизации и примитивизации всей общественной жизни. Эта примитивизация «исторической политики» и современного взгляда на жизнь как статичная красивая виртуальная картинка. Тут и до варваризации недалеко с возвращением архаики и отсталости, а по сути дела – наступления времен мракобесия. Примеров «падения знания» в истории человечества множество. Одно из них – разрушение крупнейшего в Античном мире интеллектуального и образовательного центра – Александрийской библиотеки, существовавшей с III века до н.э до IV века н.э.

Новое поколение фальшивого контента стало возможным в том числе благодаря генеративным нейросетям, неподконтрольному развитию НЛП [28] и развивается в режиме глобальных кибервойн нового поколения [29]. Что может стать препятствием повторения такого варварства сегодня уже в глобальном масштабе? Это формирование понятийного мышления [30], способного встать на пути несистемному знанию, тем самым оградив человека от попадания в состояние когнитивного диссонанса[1]. Возможность сохранить книжно-бумажную культуру.

Крайне важно расширение качественного контента посредством формирования разных системных информационно-аналитических платформ. Причем с прогнозированием того, как будет развиваться сеть в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Выстраивая системные платформы более высокого интеллектуального уровня с учетом мнения и интересов граждан. Что сейчас? Социальная сеть «ВКонтакте» – нахождение на постоянной связи для обмена текущими новостями, «Фейсбук» (лицо в книге) – выставление собст-

[1] Когнитивный диссонанс – состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.

венного лица и события на фоне происходящих изменений, а также обмен информацией среди круга «друзей». «Твиттер» (болтать) – для публичного обмена короткими сообщениями и актуальными новостями. «Инстаграм» – обмен фотографиями (селфи) и видео. «Телеграмм» – обмен текстовыми сообщениями и медиафайлами разных форматов. Возникает потребность в создании архивов интеллектуальной памяти глобального масштаба, где каждый гражданин смог бы оставить важную информацию, поделиться своими мыслями, погрузиться в нужную ему структурированную информацию. Интеллектуальные поисковые возможности и аналитические сервисы реально могут привести к созданию на горизонтальном уровне Глобального экспертного гражданского форума – TEXTOGRAM, за которым, как представляется, будущее. Он фактически сможет стать и фиксатором авторства идей того или иного человека, когда одномоментно в Интернете будет отражаться та или иная новация или открытие. Такой фонд сможет стать информационным резервуаром по аккумулированию ведущих мировых экспертов и лучших практик, в том числе и социальных.

Пока же современное «цифровое» общество развивается хаотично и несистемно. Такая модель приводит к размыванию интеллектуальной и нравственной платформы общества. Уходят накопленные знания, так как умирает его носитель. Контент становится скудным: повторяемость «прописных истин» и понятий, которые в современных условиях перестают действовать. Людям приходится вылавливать и систематизировать нужные истинные знания по крупицам. И что будет анализировать искусственный интеллект [31. С. 428]? Каких опасностей мы сможем избежать, следя за развитием искусственного интеллекта в настоящем [32. С. 226]?

Смысловое наполнение информационных интернет-ресурсов способно приостановить наблюдающуюся атомизацию человека в сети. Сегодня Интернет лишил многих личного общения. Но парадокс состоит в том, что анонимность в сети скоро надоедает, и за ней возникает обратная волна – показать себя, высказать своё мнение о наболевшем. Сегодня мир переживает очередную революцию – революцию социальных данных. В самом широком смысле понятие «социальные данные» относится к той личной информации, которую выкладывают и которой делятся пользователи Интернета. С точки зрения накопления точек роста нового знания явно происходит что-то существенное, причем зачастую вне поля зрения конкретной власти, которая мыслит прежними клише при оценке развития общества [33].

При этом, перенося технологии «сарафанного радио» и обсуждения последних новостей на свой кухне в глобальную сеть, фактически возвращаемся к «деревенскому» укладу: каждый знает практически все про жителя деревни. Это ведет к тому, что любому чиновнику будет сложно удержать в секрете свой дворец. Но и обычному жителю с приватностью и сохранением своей личной жизни будет тяжелее. Значит, еще только предстоит научиться жить в «глобальной деревне». При этом не скатиться к «глобальной пещере» и первобытному варварству.

«Цифровое» общество нужно рассматривать как шаг к формированию нового типа взаимоотношений власти и общества, построенного на нравственных принципах управления, с точки зрения понятийно-ценностной плат-

формы и методологии общения с гражданами, без границ и излишних бюрократических надстроек, со стратегией сохранения уклада коренных народов, их идентичности. Без политики распыления людей по миру, лишающей родства, корней и гражданства. Как высшая форма объединения индивидуумов [34. С. 178–179] с устойчивыми цивилизационными кодами, интеллектуально-технологическим и культурным суверенитетом.

Непомерное восхищение «цифрой» приводит к некритическому отношению к возможным последствиям «цифровизации» всей общественной жизни для естественной локальной жизни самого человека, оторвавшегося от земли.

Литература

1. *Зараменских Е.П.* Интернет вещей. Исследования и область применения. М.: Инфра-М, 2017. 188 с.

2. *Смолл Г., Ворган Г.* Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета. М.: КоЛибри, 2011. 352 с.

3. *Ковачич Л.* «Большой брат» 2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру [Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги: сайт. Электрон. дан. 18.07.2017. URL: http://carnegie.ru/commentary/71546 (дата обращения: 06.07.2017).

4. *Щербинин А.И.* Тоталитарная индоктринация как управление сознанием: учеб. пособие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 274 с.

5. *Солдатов А., Бороган И.* Битва за Рунет. Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас. М.: Альпина Паблишер, 2017. 342 с.

6. *Мирошников Б.Н.* Сетевой фактор. Интернет и общество. М.: Кучково поле, 2015. 284 с.

7. *Гордеев А.* Лишние люди XXI века. Как роботы оставят без работы «синих» и «белых» воротничков. «РБК daily», [Электронный ресурс] // РБК : информационный портал. Электрон. дан. 19.01.2017. URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/20/58806fe19a794712678e210e (дата обращения: 16.06.2017).

8. *Бартлетт Дж.* Подпольный интернет. Темная сторона мировой паутины. М.: Эксмо, 2016. 352 с.

9. *Harari Y.* Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Harper, 2017. 528 p.

10. *Славин Б.* Спектакль о цифровизации России [Электронный ресурс] // Ведомости : сайт. Электрон. дан. 12.07.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii (дата обращения: 13.07.2017).

11. *Грамматчиков А., Гурова Т.* Золотой век "цифры". Наступает // Эксперт. 2017. № 30–33. 24 июля – 20 августа. С. 10–15.

12. *Галажинский Э.* Чему не учат в университетах [Электронный ресурс] // Ведомости :сайт. Электрон. дан. 2017, 3 августа URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/03/727760-ne-uchat-v-universitetah (дата обращения: 05.08.2017).

13. *Симонов К.* Продвижение технократов. Меритократия как замена идеологии [Электронный ресурс] // Ведомости: сайт. Электрон. дан. 25.07.2017. URL: https://www. vedomosti.ru/opinion/columns/2017/07/25/725687-prodvizhenie-tehnokratov (дата обращения: 01.08.2017).

14. *Моисеев В.* Время великого Нерда [Электронный ресурс] // Русский репортер. 2014. № 34. 04–11 сентября. Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.rusrep.ru/ article/2014/09/04/vremya-velikogo-nerda (дата обращения: 10.08.2017).

15. *Тихонов А.* Мир по цифровым понятиям [Электронный ресурс] // Наша Версия. 2017. № 29. 31.07. Электрон. версия печат. публ. URL: https://versia.ru/kurs-bitkoina-obrushivayut-specsluzhby (дата обращения: 10.08.2017).

16. *Робачевский А.* Интернет изнутри: экосистема глобальной сети. М.: Альпина Паблишер, 2017. 271 с.

17. *Чеклецов В.В.* Чувство планеты: Интернет Вещей и следующая технологическая революция. М.: Российский исслед. центр по Интернету Вещей, 2013. 130 с.

18. *Модели* диалога власти и общества в интернет-коммуникациях. М.: Проспект, 2016. 112 с.

19. *Акопов Г.Л.* Интернет и политика: модернизация политической системы на основе инновационных политических интернет-коммуникаций. М.: КноРус, 2017. 238 с.

20. *Дробницкий Д.* Исторический «кухонный спор» об образе будущего [Электронный ресурс] // Взгляд. Деловая газета : сайт. Электрон. дан. 24.07.2017. URL: https://vz.ru/columns/2017/7/24/879863.print.html (дата обращения: 11.08.2017).

21. *Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н.* Глобальный капитализм: три великие трансформации. М.: Культурная революция, 2008. 608 с.

22. *Цаголов Г.Н.* Новое интегральное общество – седьмая формация // Новое интегральное общество: общетеоретические аспекты и мировая практика. М.: Ленанд, 2016. 352 с.

23. *Грингард С.* Интернет вещей: будущее уже здесь. М.: Точка, 2017. 198 с.

24. *Карпова А.Ю.* Информационная аномия в политической коммуникации : автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2017. 46 с.

25. *Черниговская Т.* «Все человечество спятило» [Электронный ресурс] // Пси-фактор: сайт. Электрон. дан. 07.05.2017. URL: http://psifactor.info/ed/tatyana-chernigovskaya-vse-chelovechestvo-spyatilo.htm (дата обращения: 11.07.2017).

26. *Интернет-коммуникация* как новая речевая формация. М.: Флинта: Наука, 2016, 323 с.

27. *Носов Н.А.* Виртуальная психология. М.: Аграф, 2000. 432 с.

28. *Толкачев С.Ф.* Интернет будущего. Нейронное программирование диалоговых систем. М.: Корона. Век, 2017. 191 с.

29. *Коровин В.* Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014. 352 с.

30. *Ясюкова Л.А.* Меньше 20% людей обладают полноценным понятийным мышлением [Электронный ресурс] // Econet: портал. Электрон. дан. URL: https://econet.ru/articles/116494-lyudmila-yasyukova-menshe-20-lyudey-obladayut-polnotsennym-ponyatiynym-myshleniem (дата обращения: 11.07.2017).

31. *Рассел С.* Искусственный интеллект: современный подход. М.: Вильямс, 2017. 1407 с.

32. *Бостром Н.* Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2016. 491 с.

33. *Вейгенд А.* Революция XXI века [Электронный ресурс] // Известия. Iz.ru: портал. Электрон. дан. 09.11.2016. URL: http://izvestia.ru/news/643563#ixzz4RwIaMX2q (дата обращения: 11.05.2017).

34. *Хапров С.* Цифровой коммунизм. М.: МФПУ «Синергия», 2013. 184 с.

Alexey G. Chernyshov. Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

E-mail: ag555@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/30

THE DIGITALIZATION AND TECHNOLOGIZATION OF SOCIAL LIFE AS A SOCIO-POLITICAL PROBLEM: THE PRESERVATION OF THE IDENTITY AND ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL NETWORKS

Key words: digital society, global civil panel of experts, technocrats, meritocracy, artificial intelligence, quality content

The relevance of this topic is determined by the rapid processes of digitalization and technologization of modern society. However, there is an urgent problem to understand how to provide quality content. To make information technology really became the basis of social environment that would have grown out of cultural and conceptual factors of human development itself. The main problem is not how to as quickly as possible to be able to adapt to new realities. First, it is important to understand what global shifts in human society happen and why. What changes are man-made and therefore subjective and influenced by specific individuals and which objective. Can citizens, and to what extent, to influence these changes and where to direct its main movement and energy. For understanding contemporary reality required to reflect the most important moments of the events that are yet to give answers. So, what happens to the human community at mass, and in some ways even total, the use of digital technologies? Why you need a man these digital technologies, robotics, artificial intelligence, if the man withdraws in a virtual world, if they were being squeezed out of the social space of man himself, the Creator, make it more dependent on "machines" and the external manipulation of consciousness? The concept of "Information society" is not identical to the term "knowledge Society". Between them it is impossible to equate, as do many scientists and experts, Handle information flow much easier. Effective tools for preparation of information became available to almost everyone. But quality of content has not increased. The most important aspect in discussions about the nature and role of the digital society - is, above all, understanding of the Internet and the whole digital world from the point of view of social phenomena, from the point of view of utility and usefulness to humans. Otherwise we

get technical progress, which starts to work not so much for how much contrary to the person. Classic phrase, that progress cannot be stopped, gets an ominous sound, obessmyslivaet at all for a person need participate in some creative for him personally change.

References

1. Zaramenskikh, E.P. (2017) *Internet veshchey. Issledovaniya i oblast' primeneniya* [Internet of things. Research and field of application]. Moscow: Infra-M.

2. Small, G. & Worgan, G. (2011) *Mozg onlayn. Chelovek v epokhu internet* [iBrain: Surviving the Technological Alternation of the Modern Mind]. Translated from English by B. Kozlovsky. Moscow: KoLibri.

3. Kovachich, L. (n.d.) *"Bol'shoy brat" 2.0. Kak Kitay stroit tsifrovuyu diktaturu* ["Big Brother" 2.0. How China builds a digital dictatorship]. [Online] Available from: http://carnegie.ru/commentary/71546. (Accessed: 6th July 2017).

4. Shcherbinin, A.I. (2012) *Totalitarnaya indoktrinatsiya kak upravlenie soznaniem* [Totalitarian indoctrination as control of consciousness]. Tomsk: Tomsk State University.

5. Soldatov, A. & Borogan, I. (2017) *Bitva za Runet. Kak vlast' manipuliruet informatsiey i sledit za kazhdym iz nas* [The Battle for the Runet. How power manipulates information and monitors each of us]. Moscow: Al'pina Pablisher.

6. Miroshnikov, B.N. (2015) *Setevoy faktor. Internet i obshchestvo* [The network factor. Internet and society]. Moscow: Kuchkovo pole.

7. Gordeev, A. (2017) *Lishnie lyudi XXI veka. Kak roboty ostavyat bez raboty "sinikh" i "belykh" vorotnichkov* [Superfluous people of the 21st century. As robots leave the "blue" and "white" collars without work]. [Online] Available from: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/20/58806fe19a794712678e210e. (Accessed: 16th June 2017).

8. Bartlett, J. (2016) *Podpol'nyy internet. Temnaya storona mirovoy pautiny* [The Dark Net: Inside the Digital Underworld]. Translated from English by M. Raitman. Moscow: Eksmo.

9. Harari, Y. (2017) *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harper.

10. Slavin, B. (2017) *Spektakl' o tsifrovizatsii Rossii* [Performance on the digitalisation of Russia]. [Online] Available from: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii. (Accessed: 13th July 2017).

11. Grammatchikov, A. & Gurova, T. (2017) Zolotoy vek "tsifry". Nastupaet [The Golden Age of Digitalisation. Coming]. *Ekspert*. 30-33. pp. 10–15.

12. Galazhinskiy, E. (2017) *Chemu ne uchat v universitetakh* [What is not taught in universities]. [Online] Available from: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/03/727760-ne-uchat-v-universitetah. (Accessed: 5th August 2017).

13. Simonov, K. (2017) *Prodvizhenie tekhnokratov. Meritokratiya kak zamena ideologii* [Promotion of technocrats. Meritocracy as a substitute for ideology]. [Online] Available from: https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/07/25/725687-prodvizhenie-tehnokratov. (Accessed: 1st August 2017).

14. Moiseev, V. (2014) Vremya velikogo Nerda [The time of the great Nerd]. *Russkiy reporter*. 34. [Online] Available from: http://www.rusrep.ru/article/2014/09/04/vremya-velikogo-nerda. (Accessed: 10th August 2017).

15. Tikhonov, A. (2017) Mir po tsifrovym ponyatiyam [The World of Digital Concepts]. *Nasha Versiya*. 29. [Online] Available from: https://versia.ru/kurs-bitkoina-obrushivayut-specsluzhby. (Accessed: 10th August 2017).

16. Robachevskiy, A. (2017) *Internet iznutri: ekosistema global'noy seti* [The Internet from the inside: the ecosystem of the global network]. Moscow: Al'pina Pablisher.

17. Chekletsov, V.V. (2013) *Chuvstvo planety: Internet Veshchey i sleduyushchaya tekhnologicheskaya revolyutsiya* [The feeling of the planet: Internet of things and the next technological revolution]. Moscow: Rossiyskiy issled. tsentr po Internetu Veshchey.

18. Vasilenko, L., Kazantseva, O., Vasilenko, N. & Tarasova, E. (2016) *Modeli dialoga vlasti i obshchestva v internet-kommunikatsiyakh* [Models of dialogue between government and society in Internet communications]. Moscow: Prospekt.

19. Akopov, G.L. (2017) *Internet i politika: modernizatsiya politicheskoy sistemy na osnove innovatsionnykh politicheskikh internet-kommunikatsiy* [Internet and politics: modernisation of the political system on the basis of innovative political Internet communications]. Moscow: KnoRus.

20. Drobnitskiy, D. (2017) *Istoricheskiy "kukhonnyy spor" ob obraze budushchego* [Historical "kitchen dispute" about the image of the future]. [Online] Available from: https://vz.ru/columns/2017/7/24/879863.print.html. (Accessed: 11th August 2017).

21. Fedotova, V.G., Kolpakov, V.A. & Fedotova, N.N. (2008) *Global'nyy kapitalizm: tri velikie transformatsii* [Global capitalism: three great transformations]. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.

22. Tsagolov, G.N. (2016) Novoe integral'noe obshchestvo – sed'maya formatsiya [The new integral society of the seventh formation]. In: Bogomolov, O. et al. *Novoe integral'noe obshchestvo: obshcheteoreticheskie aspekty i mirovaya praktika* [New Integral Society: General Theoretical Aspects and World Practice]. Moscow: Lenand.

23. Gringard, S. (2017) *Internet veshchey: budushchee uzhe zdes'* [Internet of things: the future is already here]. Moscow: Tochka.

24. Karpova, A.Yu. (2017) *Informatsionnaya anomiya v politicheskoy kommunikatsii* [Information anomie in political communication]. Abstract of Sociology Cand. Diss. Moscow.

25. Chernigovskaya, T. (n.d.) *"Vse chelovechestvo spyatilo"* [All of humanity is crazy]. [Online] Available from: http://psifactor.info/ed/tatyana-chernigovskaya-vse-chelovechestvo-spyatilo.htm. (Accessed: 11th July 2017).

26. Kolokoltsev, T.N. & Lutovinov, O.V. (eds) (2016) *Internet-kommunikatsiya kak novaya rechevaya formatsiya* [Internet communication as a new speech formation]. Moscow: Flinta: Nauka.

27. Nosov, N.A. (2000) *Virtual'naya psikhologiya* [Virtual psychology]. Moscow: Agraf.

28. Tolkachev, S.F. (2017) *Internet budushchego. Neyronnoe programmirovanie dialogovykh system* [Internet of the future. Neural programming of interactive systems]. Moscow: Korona. Vek.

29. Korovin, V. (2014) *Tret'ya mirovaya setevaya voyna* [The Third World Web War]. St. Petersburg: Piter.

30. Yasyukova, L.A. (n.d.) *Men'she 20% lyudey obladayut polnotsennym ponyatiynym myshleniem* [Less than 20% of people have full-fledged conceptual thinking]. [Online] Available from: https://econet.ru/articles/116494-lyudmila-yasyukova-menshe-20-lyudey-obladayut-polnotsennym-ponyatiynym-myshleniem. (Accessed: 11th July 2017).

31. Russell, S. (2017) *Iskusstvennyy intellekt: sovremennyy podkhod* [Artifical Intelligence: A Modern Approach]. Translated from English by K. Ptitsyn. Moscow: Vil'yams.

32. Bostrom, N. (2016) *Iskusstvennyy intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii* [Artificial Intelligence. Stages. Threats. Strategies]. Moscow: Mann, Ivanov, Ferber.

33. Weigend, A. (2016) *Revolyutsiya XXI veka* [Revolution of the 21st century]. [Online] Available from: http://izvestia.ru/news/643563#ixzz4RwIaMX2q. (Accessed: 11th May 2017).

34. Khaprov, S. (2013) *Tsifrovoy kommunizm* [Digital Communism]. Moscow: Sinergiya.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БАЖАНОВ Валентин Александрович – заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, действительный член Academie Internationale de Philosophie des Sciences (www.les-academies.net), зав. кафедрой философии, социологии и политологии ФГОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск).

E-mail: vbazhanov@yandex.ru, http://staff.ulsu.ru/bazhanov/

БЕССОНОВ Александр Владимирович – доктор философских наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры философии Института философии и права Новосибирского государственного университета; ведущий научный сотрудник отдела философии Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: trt@academ.org

БЛИЗНЯК Роман Зиновьевич – кандидат политических наук, доцент, начальник научного отдела Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар).

E-mail: rbliznyak@mail.ru

БОЙКО Владимир Анатольевич – кандидат культурологии, доцент, доцент Института философии и права СО РАН, доцент кафедры истории философии Национального исследовательского Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск).

E-mail: vboyko100@gmail.com

БОРДОВСКИХ Анастасия Николаевна – кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры политического анализа Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: bordovskikh@spa.msu.ru

БОРОВИНСКАЯ Дарья Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета (г. Сургут).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

БУССЬЕ Рафаэль Франсуа – соискатель ученой степени кандидата политических наук на кафедре политического анализа Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: raphael.boussier@hotmail.com

ВОЛЬФ Марина Николаевна – доктор философских наук, доцент; директор ФГБУ «Институт философии и права» Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: wolfarch@yandex.ru

ВЯЛЫХ Никита Андреевич – кандидат социологических наук, докторант, старший преподаватель кафедры теоретической социологии и методологии региональных исследований Института социологии и регионоведения, ФГОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону).

E-mail: sociology4.1@yandex.ru

ГЕРАСИМОВ Игорь Алексеевич – кандидат политических наук, специалист по проектно-инновационной деятельности научного отдела Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар).

E-mail: lykurgus89@mail.ru

ГУЩИН Илья Андреевич – аспирант 2-го года обучения кафедры онтологии и теории познания (секция онтологии и теории познания) Департамента философии Уральского гуманитарного института, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: cfuffy@mail.ru

ЗОЛОТКОВ Григорий Алексеевич – аспирант школы философии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: zolotkov_grigory@mail.ru

КАМОЛИКОВА Валерия Романовна – аспирант, стажер-исследователь Лаборатории качественных и количественных методов анализа политических режимов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: vkamolikova@hse.ru

КАРАТЕЕВ Артем Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: artem.karateev@gmail.com

КАРПОВА Анна Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных коммуникаций института социально-гуманитарных технологий Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск). E-mail: belts@tpu.ru

КЛЕМЕНТЬЕВА Татьяна Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Новосибирского государственного медицинского университета (г. Новосибирск).

E-mail: tklementyeva@mail.ru

КОЗЫРЕВА Ольга Александровна – аспирантка 2-го года обучения кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры (секция истории философии и философии образования), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: olgakozyreva@mail.ru

КОЗЬЯКОВА Татьяна Сергеевна – программист отдела разработки и сопровождения корпоративных информационных систем, Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: t.kozyakova@yandex.ru

КОСАРЕВ Андрей Викторович – аспирант ФГБУН «Институт философии и права» Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: andrkw@rambler.ru

КРАЕВА Александра Геннадьевна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и политологии ФГОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск).

E-mail: kraevalex@mail.ru

ЛАМБЕРОВ Лев Дмитриевич – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания института социальных и политических наук Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

ЛИХОМАНОВ Игорь Валентинович – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего военного командного училища (г. Новосибирск).
E-mail: graingar@yandex.ru

ЛОГИНОВСКИЙ Сергей Сергеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск).
E-mail: 246abcd@mail.ru

МИЛЛЕР Вероника Ивановна – преподаватель кафедры социально-экономического образовании и философии Сургутского государственного педагогического университета (г. Сургут).
E-mail: econom_law@surgpu.ru

МИРОНОВ Василий Анатольевич – ассистент кафедры геофизики инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета (г. Томск).
E-mail: mironovv@mail2000.ru

МОИСЕЕВА Анна Юрьевна – младший научный сотрудник отделения философии Института философии и права Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).
E-mail: abyssian03@gmail.com

НАЙМАН Евгений Артурович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета, Томский научный центр СО РАН (г. Томск).
E-mail: enyman17@rambler.ru

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного универ-

ситета, профессор Российского государственного университета правосудия Западно-Сибирского филиала (г. Томск).
E-mail: ogleznev82@mail.ru

ОЛЕЙНИК Полина Ивановна – аспирант кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).
E-mail: polina-grigorenko@mail.ru

ПОЗАНЕНКО Артемий Алексеевич – аналитик проектно-учебной лаборатории муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
E-mail: apozanenko@hse.ru

РАЗУМОВ Владимир Ильич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, (г. Омск).
E-mail: razumovvi@omsu.ru

РОДИН Кирилл Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории гуманитарного факультета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск).
E-mail: rodin.kir@gmail.com

СДЕЛЬНИКОВ Виталий Андреевич – аспирант кафедры политологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).
E-mail: dr.saladinn@yandex.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета.
E-mail: surovtsev1964@mail.ru

ЦЕЛИЩЕВ Виталий Валентинович – доктор философских наук, главный научный сотрудник отдела философии Иститута философии и права СО РАН (г. Новосибирск).
E-mail: leitval@gmail.com

ЧЕРНЫШОВ Алексей Геннадиевич – доктор политических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва).

E-mail: ag555@mail.ru

ШНЕДЕЛЬБАХ Герберт – почетный профессор теоретической философии университета Гумбольдта (г. Берлин).

Email: h.schnaedelbach@hamburg.de

ЯКОВЛЕВА Александра Федоровна – кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории и теории политики, факультет политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: afyakovleva@gmail.com

Научный журнал

**ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE**

2017. № 40

Редактор *В.С. Сумарокова*
Оригинал-макет *Т.В. Дьяковой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 20.12.2017. Дата выхода в свет 26.12.2017.
Формат 70x100 $^{1}/_{16}$. Печ. л. 21,0; усл. печ. л.19,5; уч.-изд. л. 24,8.
Тираж 250 экз. Заказ № 2911. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
http://publish.tsu.ru; e-mail; rio.tsu@mail.ru